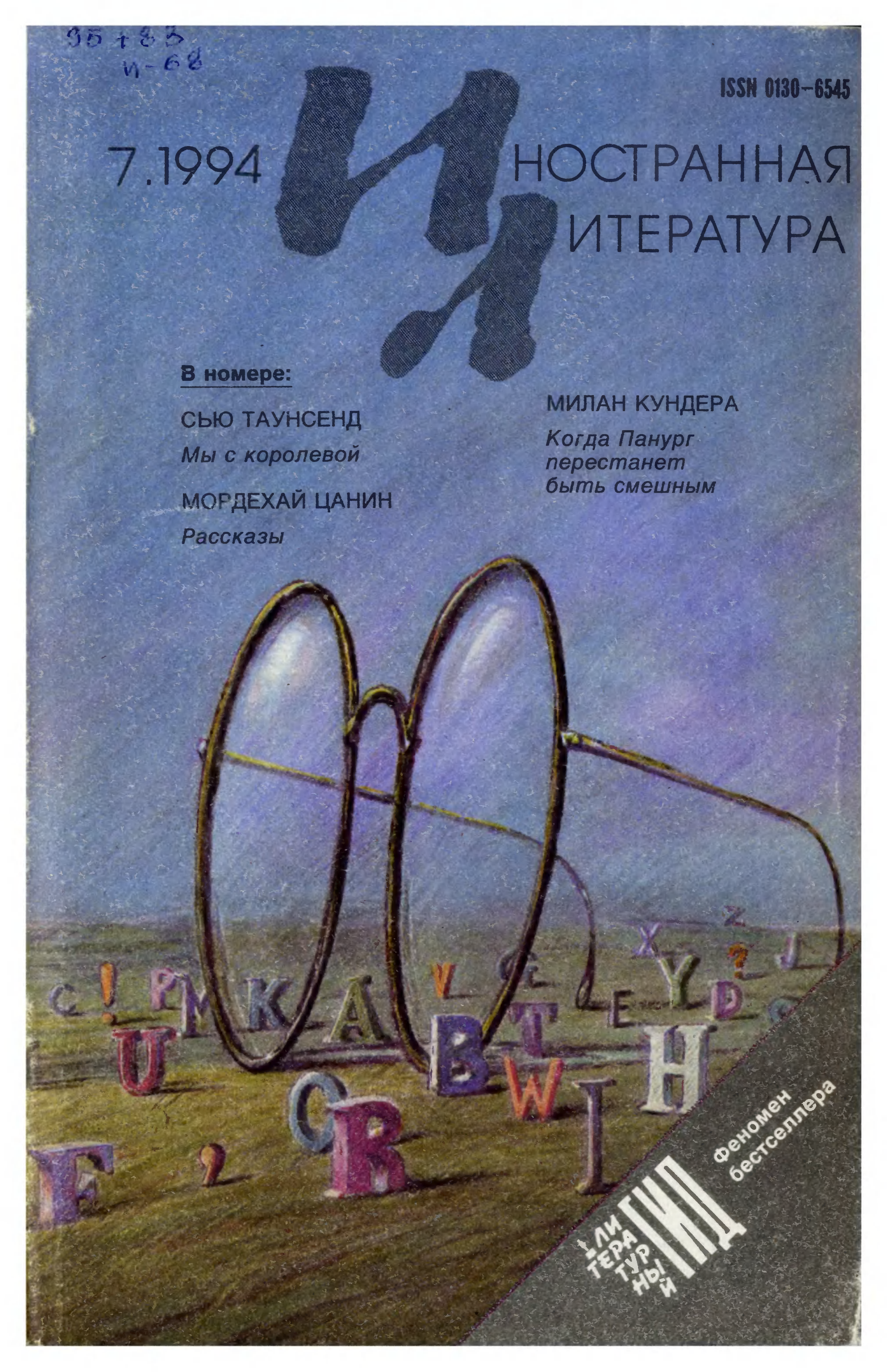
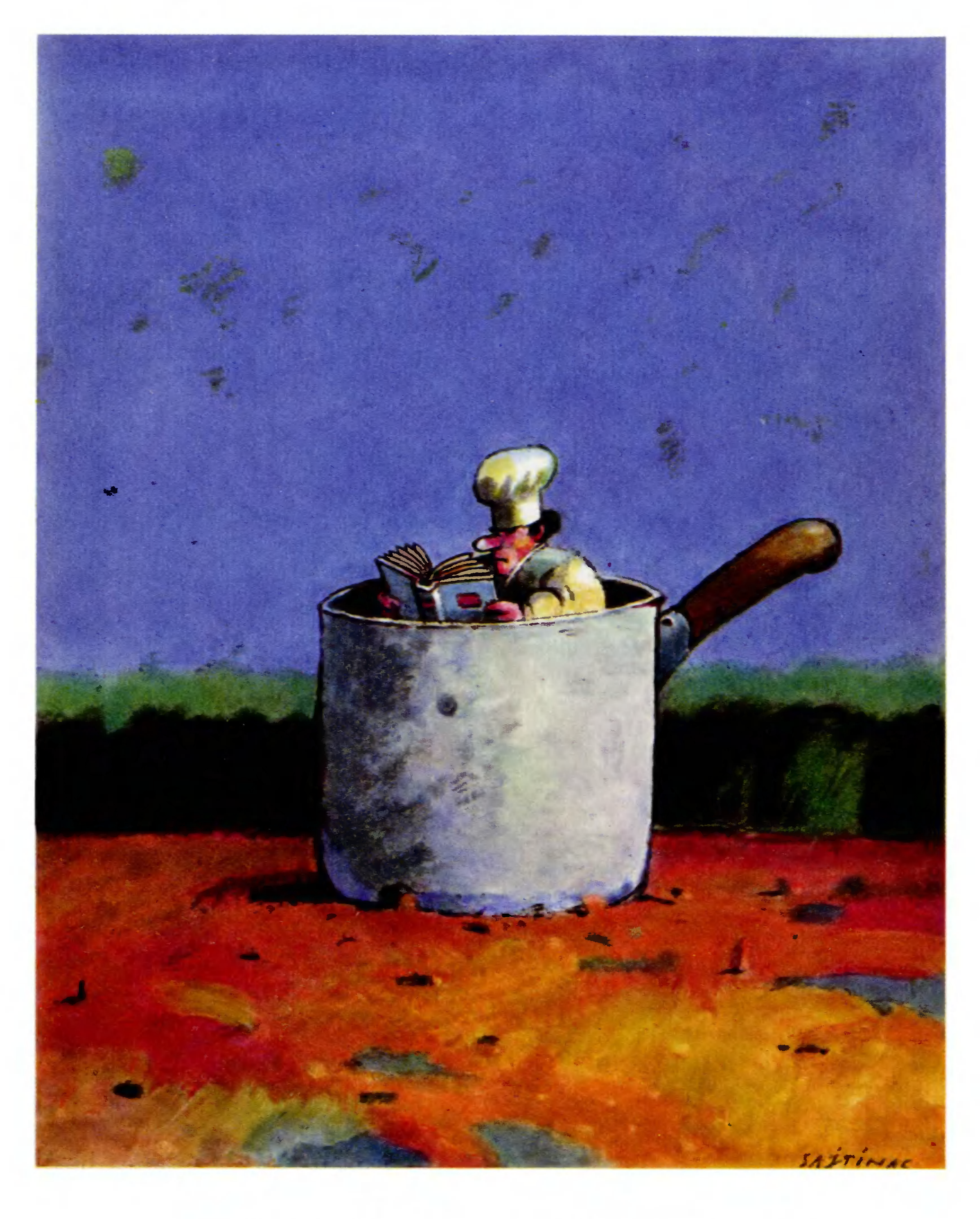


ISSN 0130-6545
7.1994
ИНОСТРАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
В номере:
СЬЮ ТАУНСЕНД
Мы с королевой
МОРДЕХАЙ ЦАНИН
Рассказы
МИЛАН КУНДЕРА
Когда Панург
перестанет
быть смешным
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД
феномен
бестселлера



Берем восемь свежих яиц, разбиваем их над миской, добавляем молока и венчиком взбиваем. Солим. Кладем трюфели. Немного черного перца...


ИНОСТРАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
МОСКВА



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ
С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ —
ТРУДОВОЙ
КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ

7 июль
1994

СОДЕРЖАНИЕ

СЕН-ЖОН ПЕРС — Фрагменты поэм *(Перевод с французского Н. Стрижевской и М. Ваксмахера. Вступление Н. Стрижевской)* . . . 5
МОРДЕХАЙ ЦАНИН — Рассказы *(Перевод с идиш и послесловие Л. Беринского)* . . . 13

Литературное наследие

МАЦУО БАСЁ — Проза в жанре хайбун *(Перевод с японского и вступление Т. Соколовой-Делюсиной)* . . . 46

Литературный гид
ФЕНОМЕН БЕСТСЕЛЛЕРА

СЬЮ ТАУНСЕНД — Мы с королевой *(Роман. Перевод с английского И. Стам)* . . . 56
БОРИС ХЛЕБНИКОВ — Секрет бестселлера . . . 179
АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ — Бестселлер: русский акцент . . . 183
ВЛАДИМИР РАННЕВ — Что несет с базара русский читатель (Заметки социолога) . . . 187
ВИКТОР БЕЙЛИС — Необязательные заметки о литературном успехе и денежном интересе . . . 191

Критика

МИЛАН КУНДЕРА — Когда Панург перестанет быть смешным *(Эссе. Перевод с французского Ю. Стефанова)* . . . 194
Писатели мира о русской прозе советских лет (А. Кёстлер, Ф. Мориак, О. Хаксли, Д. Бассани, Э. Уилсон, Э. Витторини, Д. Дос Пассос, Э. Бёрджесс, Ч. Милош. *Перевод М. Ландора и Е. Лысенко. Составление и послесловие М. Ландора)* . . . 205
ТОНИ МОРРИСОН — Нобелевская лекция 1993 *(Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой)* . . . 211

Трибуна переводчика

В. ГОЛЫШЕВ, В. ХАРИТОНОВ — Призрачное посредничество (К 90-летию со дня рождения М. Ф. Лорие) . . . 215

У книжной витрины . . . 220
Авторы этого номера . . . 223

В следующем номере «ИЛ»

Роман Т. КОРАГЕССАНА БОЙЛА **«Восток есть Восток»** — одно из самых ярких произведений американской литературы девяностых годов. Это эксцентрическая трагикомедия о взаимном притяжении и отталкивании западной и восточной цивилизаций, о толерантности и ксенофобии.

Журнал знакомит с творчеством неизвестных пока русскому читателю польских поэтов ЯНА ТВАРДОВСКОГО и ТОМАША ГЛЮЗИНСКОГО.

Бестселлер американских журналистов Д. КАПЛАНА и А. ДАБРО **«Якудза»** и статья В. ГОЛОВНИНА **«Якудза отступают, но не сдаются»** рассказывают об истории преступной организации, до недавних пор считавшейся самой эффективной и неуязвимой в мире, и о борьбе с ней в Японии.

Цветные иллюстрации номера:
на 1-й и 3-й стр. обложки — работы немецкого художника Герхарда Глюка;
на 2-й и 4-й стр. обложки — работы немецкого художника Борислава Сайтинака

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

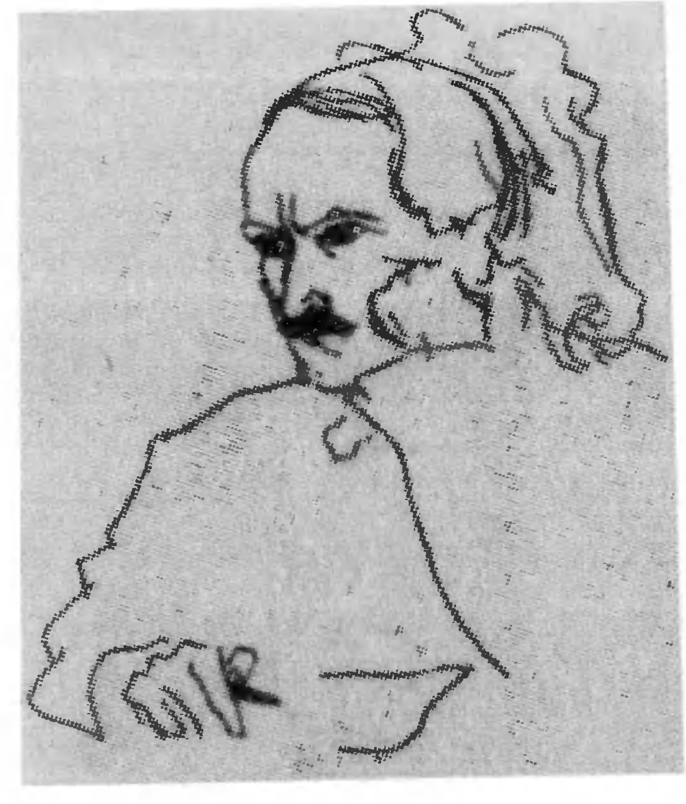
В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. МАРТЕМЬЯНОВА**
Технический редактор **С. В. БЕЙЛЕЗОН**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61
Сдано в набор 05.04.94. Подписано в печать 12.06.94. Формат 70 × 108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл. печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 22,75. Заказ № 4524.

Тираж 33 130 экз. Цена по подписке 1700 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



СЕН-ЖОН ПЕРС

С французского

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
1960



Сен-Жон Перс — фигура во французской литературе XX века поистине исполинская; вселенная, созданная тысячестраничным ансамблем его поэм, не имеет себе равных. Величие его поэтического мира было оценено сразу едва ли не всеми большими поэтами нашего века, независимо от склада их таланта,— от Рильке до Клоделя, Элиота, Одена или Жува.

Биография Сен-Жон Перса почти не прочитывается сквозь призму его поэм, что не часто случается в нашем столетии. Сам он настаивал на том, что «личность поэта ни в малой мере не принадлежит читателю, который имеет право лишь на завершенное произведение, оторвавшееся, как плод от дерева». И жизнь Алексиса Сен-Леже Леже, родившегося в Гваделупе в 1887 году, профессионального дипломата, чью карьеру оборвали в 1940 году война и изгнание, жизнь Алексиса Леже — путешественника, ученого, полиглота, этнографа, знатока обычаев, верований и нравов полумира — эта жизнь только частично совпала с жизнью Сен-Жон Перса-поэта, получившего в 1960 году Нобелевскую премию и всемирную славу.

Его жизнь не знала малых дел — так же как его поэзия не знала малых форм. «Хвалы», «Анабасис», «Изгнание», «Снега», «Ливни», «Ветры», «Створы», «Хроника» — вереница поэм, написанных версетом, то есть подобием библейского стиха, «стихом летописаний и пророчеств», превращенным Сен-Жон Персом в многокрасочную поэтическую форму, переливающуюся аллитерациями и созвучиями. Это невиданный эпос, сказ о движении истории и стихий, со своей мифологией, вбирающей мифы и предания всего мира, факты из истории всех народов. Толкования, прочтения каждой из его поэм и всей системы его образов, его метафизики сложны и порой далеки друг от друга. Строфы полифоничны, принципиально многозначны и, по мысли Сен-Жон Перса, должны быть восприняты именно как целое, как единый мир. Все обретает связь со всем в этом тигле музыки, а гул, раскачка стиха воистину смыслоносны.

Один из современников назвал Сен-Жон Перса «гончаром истории», чье «святое ремесло» — лепка из глины былого, былей и легенд своей космогонии, устанавливающей *связи*, преодолевающей хаос реального исторического бытия. Это воистину философская лирика, ибо ее главный смысл, ее пафос — постижение путем описания. Ее стройность, ее симфонизм, ее поющая архитектура — это внесение в хаос гармонии.

К Сен-Жон Персу больше, чем к любому другому поэту нашего столетия, применимо определение «поэт цивилизации», ибо он ощущает себя наследником всей человеческой истории, временные пласты в его строфах не просто совмещаются, они существуют *одновременно*. Сам Сен-Жон Перс сказал однажды, что его стих «...представляет собой сумму сжатий, опущений, эллипсисов». Сверхплотность поэтической ткани, вобравшей в себя и научные термины, и архаизмы, исторические и культурные ассоциации, переплетения вторых и третьих значений слов, сообщает причудливому эпосу Сен-Жон Перса многоголосие и многосмыслие, ибо никакое толкование не исчерпает его глубин. Чтение его предполагает сотворчество.

В издательстве «Русский путь» готовится к выходу первое большое собрание поэм Сен-Жон Перса на русском языке. Несколько страниц будущей книги мы представляем сегодня читателям «Иностранной литературы» [1].

НАТАЛЬЯ СТРИЖЕВСКАЯ

---

[1] Не останавливаясь подробно на творческой биографии, основных темах и философских концепциях поэта, отсылаем читателей к предыдущей публикации Сен-Жон Перса в «ИЛ» (1989, № 7), где его творчество анализируют Морис Ваксмахер и Роже Гароди.— *Прим. ред.*

ИЗГНАНИЕ

Снега

Франсуазе-Рене Сен-Леже Леже [1]

I

А потом снега внезапно пали; первый снег неведенья, что в невесомость нитей сплетает в небе явь и сновиденья и вновь забвенье в память претворяет; и время веет холодом холста. Серела соль рассвета и светлел и меркл светильник, сумерки редели; в шестом часу примерно было нам даровано убежище судьбы, где белизна и, словно хлопья, реют в лучах восхода оды тишины.

Ночь напролет, пока полет перо неслышное в тиши и тьме вершило, к земле клонясь под ношею души, кружился снег и множились и жили своею жизнью города и ввысь влеклись, словно утратив вес, и рос рой светляков в лесах стекла и стен. И в этом смысл был затаен, та суть, что снам ясна, словам неуловима и перед коей разум нем.

Ничто не познано, ничто не поздно, ничто не вновь, ни яви и ни снов, а только на фронтон слетают и тают снежинки обнаженные, летит на камень плит, мерцает на лету чистейший снег, чей век недолог, словно трепет век. На старой бронзы зелень, на острия легированных лезвий, на песок и щебень, на дюны грубого фарфора, на дюймы льда на витражах собора, и на сверкающие плиты лабрадора искристо-синего, и на ветви в инее, звенящие, как шпоры. Ничто не сказано, ничто не кануло, ни снов, ни слов,

а только вздох рожденья, что похож на дрожь кинжала, извлеченного из ножен... Нежданно все оснежено, и можем мы лишь дивиться чуду: наблюдать, как поздняя заря безмолвно, сове подобно расправляет перья при первом дуновеньи дольнем, распрямляет стан белой далии. И отовсюду нам вьюжат дали. Да снизойдут к нам снега во славе, да ниспадут на террасы светлые, где Архитектор прошедшим летом увидеть дозволил нам гнездо козодоя.

II

Я знаю, корабли мычаньем долгим взывают гневно к богам и людям, в метельном мраке замкнуты плотно, как в створках устрицы, и тщетно мира нищета взывает к пилотам, простирая реки к устьям. Я знаю, у начала вечных рек венчанье вод свершается и свода небесного, сто белоснежных свадеб ночные бабочки справляют и союз соцветья заключают, и в разгаре до полночи молочной на вокзале, задымленном зарей, над белым мелом снега омелы бал.

В шестом часу примерно, на заре, уже гудки заводов прозвучали и утро розовело над озер прозрачной гладью, где одни огни сигнальные и лозы звезд в воде двоились, незаметно озаряя бесшумный шелк непрошеных снегов. И перламутр незамутненный мудр в глубинах голубых. О, на какой вопрос ответ его скрывает рост? О, утра предчувствия вещие! Предтечи ответов вечных! Безупречность земли беспечная!..

Снег все летит на лепку и литье, на литургий латынь, на фризы и фронтоны, жилище пастора, аллеи парков; снег падает на пустоши и груды мусора, орудья пахаря, творений пафос — снег невесомей кориандра зерен, снежок нежнее молока в апреле... Наносит снег с востока на ступени, уступы стен старинных цитаделей; на силосные башни и на пашни; на ранчо скотоводов и первый камень города; на пепелища на полях былых сражений;

[1] Мать поэта. *(Прим. перев.)*

на земли мертвые после дождей кислотных, морозами отбеленные, и на высотные сосны корабельные, орлами увенчанные подобно знаменам трофейным... Что означает то, что нежно ночь щекой прижалась к топору первопроходца? Кто знает, что́ охотник поведать хочет?.. Снег падает вне веры и времен на заросли колючей ежевики, на па́ры зверьков пушистых. Супруга мира, жизнь моя! И лишь порою там, где тишина хранит сон лиственниц, приподнимает грусть служанки маску.

III

Ужель морей тех было не довольно, ужель земель тех было не довольно, где колеи тянулись наших лет и таяли, как снег; и новый берег нам не для того ль дарован, тот берег, где мы тянем невод наших дорог, а он тяжел, как небо, не для того ли, чтобы в хоре снега исчез наш след... И на большой дороге самой просторной части света вы раскатаете ли годы словно свиток, расстелете ли смысл десятилетий, снег, сеятель разлук, тот снег, что в женском сердце поземкою заносит ожиданье?

И та, кого я вспоминаю прежде всего людского рода, к своему Богу поднимает вежды из глуби прожитого, и на челе ее сияет нежность. Ее благословенье мне принадлежит по праву рождения. Оставьте нас вдвоем вести беседу без слов, привычных вашей яви, от сердца к сердцу, о вы, само долготерпенье, о вы, само смиренье! И словно Ave, как чистейшее моленье, звучит над нами песнопенье рода и поколенья. И долго, словно боль, во мне не утихает нежность...

«Высокородной дамой ваша душа стояла немо и надменно в тени крестообразной, но тело женское, плоть бедная, согбенная под гнетом лет, страдала с каждой из женщин... В сердце полоненной страны прекрасной, чей однажды мы сожжем венец терновый, как жаль всех женщин и юных лет и лет преклонных, что ждут мужей напрасно в доме опустелом. Кто вас проводит дорогой вдовьей в часовни ваших подземелий, где лампы тусклы и пчела священна?

И все эти годы моего молчанья на чужбине я часто видел, как печально в белом шиповнике, иль в розах чайных ваши глаза усталые смежались. Лишь вы одна имели жалость к той немоте, что на сердце мужчины лежит как черный камень... Ведь наши годы — земли ленные, которыми владеть никто не вправе, и словно Ave, как чистейшее моленье, за нами следом мчит песнопенье рода и поколенья, и долго, словно боль, во мне не утихает нежность...

Валил ли снег сегодня ночью, мело ли на том конце земли, где мы, молясь, ладони соединяли?.. А здесь на улицах грохочут цепи и люди бегут вдогонку за своей тенью. Мы и не знали, что столько цепей на свете, чтобы обуть колеса, спешащие по утренней пороше дню навстречу. А этот стук лопат у нашего порога, о стражи недреманные! И негры с метлами бредут по снегу вдоль сугробов, как сборщики налогов на соль. И только лампа

выживает, источенная раком ночи. И птица, что из розового пепла все лето воскресала снова и снова, как птица Фаза из Часослова тысячного года... Супруга мира, жизнь моя, супруга мира, грусть моя! Пусть веселит нас крепкий ветер, упругий, лживый! Печаль людей таится в людских душах, но также сила, которой нет имени, но также благо сиюминутное, улыбки ждущее...»

IV

Один, я подвожу итог, на высоте мансарды, что омывает Океан снегов. Минут случайный гость, лицом к лицу с присяжными сугробов, я отвяжу ль свою кровать, словно пирогу — от причала?.. Как те, кто разбивает лагерь каждый день все дальше от родимого порога, кто каждый день уводит свой корабль к другому берегу, кто постигает бытия сокрытые начала; им внятен

ход вещей, и, поднимаясь вверх по теченью рек к истокам в зеленых сполохах, им выпадает быть застигнутыми врасплох жестоким сверканьем молнии, пред коим никнет любой язык в безмолвии.

Так ходок полунагой средь Океана снегов вдруг останавливает маятник веков и устремляется в погоню за сутью, что превыше слов... Супруга мира, жизнь моя! Супруга мира, мысль моя! И выходя под утро из глуби вод первозданных, как путник в ночь новолунья, чьи движенья странны, а поступки непредсказуемы, я отправляюсь бродить в древнейших недрах речи, в канувших в нети пластах фонетики; я доберусь до языков, самых богатых из всех звучавших на земле когда-то, до самых скаредных из наречий,

как те из дравидийских языков, что не имеют двух различных слов для «завтра» и «намедни». Идите к нам, последуйте за нами, отринувшими слов тугие путы; мы восходим медленно к чистейшей радости добуквенной, к античной длинной фразе. Мы пробираемся средь залежей элизий; средь свалок утраченных приставок, мы пролагаем путь для небывалых речений, недоступных для лингвистов, там, где само дыханье, что привыкло быть безгласным, поверх всех гласных и губных, зубных согласных стремится к чистой музыкальной ноте, к ясной коде.

...И это было на восходе, незадолго до наступленья утра; под сенью слов чистейших было нам даровано убежище судьбы, обитель предвестий мудрых, разума во славе; и словно Ave, словно моленье, за нами вьется хоровод метельный, за нами стелется снежный розарий... О, свежесть зонтичных и сложноцветных, о, холод зерен в стручках бобовых! о, сухость горбушки на зубах путника!.. Какая флора грехи нам отпустит, благословит нас в краю свободном цветущей ветвью? Чтó за челнок из кости в руках женщин скорбных соткет свежий холст, что пойдет на корпию для ран и ожогов живущих,

какая иголка в миндальных пальцах жен юных подрубит рубища для живущих? Супруга мира, боль моя, супруга мира, скорбь моя! И бузины холодной ветвью нас хлещут сны! И нас повеселит еще, о мир, твой крепкий лживый упругий ветер!.. Там, где реки покуда еще подо льдом не встали, там, где снега покуда всё не застлали, сегодня вечером мы переправимся на другой берег души бездонной... На ту сторону, где белеют, расстелены, полотнища сновидений, где простираются владения преходящие, где человек свою судьбу обрящет...

*

И далее — страница, куда ничто не будет вписано.

1944

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

ВЕТРЫ

(Фрагменты поэмы)

Атланте и Аллену П.

I

1

Это были большие могучие ветры над всеми ликами нашего мира,
Большие могучие ветры над миром, с ликующим гулом гулявшие вольно,

Не зная преград и не ведая меры и нас, попутных людей, оставляя

На обочинах узких попутного года... Да, гуляли большие могучие ветры над всеми ликами всех живущих!

Порфиру обнюхивая и власяницу, слоновую кость и обломок кувшина, исследуя мир вещей и предметов,

Исправно неся свою службу, летели над самыми звонкими строфами гимнов, что мы слагали во славу атлетов, что мы слагали во славу поэтов,—

Это были большие могучие ветры в погоне за всеми приметами мира,

За всеми приметами, всеми предметами, недолговечными и быстротечными, во всем этом хрупком мире вещей...

Открывались ветрам равнодушье и сухость, что вьют себе гнезда в человеческом сердце,—

Не оттого ли истлевшей соломой тянуло над нашими городами,

Над городами, над площадями, и в ужасе вздыбливались мостовые? И тошнота подступала к горлу —

К мертвым Устьям земных кладовых. И бог отвращался от свершений людских.

Ибо весь этот век изнывал и томился в удушающей сухости ломкой соломы, в странных сучках и колючках странных, в засохших стручках и дрожащих ветках,

Точно большое плечистое древо в лохмотьях и в сбруе зимы минувшей, в жалкой ливрее почившего года;

Точно большое плечистое древо, что дрожит на ветру под скрип своих сучьев, заляпанных комьями высохшей грязи,

Точно большое нищее древо — оно растранжирило свое богатство и стоит на ветру с лицом, опаленным жаром любви и неистовством страсти, страсти, что песню свою не спела.

«О страсть, ты еще споешь свою песню...» И страница моя наполняется гулом,

Как это большое волшебное древо, что под отрепьями нищеты своей зимней сохраняет свою первородную гордость, гордится роскошеством своих фетишей, фетишей своих и своих талисманов,

И качает в ветвях скорлупки пустые — саранчи прошлогодней оболочки сухие, и завещает небесному ветру рои грядущих сыновних крыльев, молодую листву высокого слова,—

Ах, языка могучее древо, населенное сонмами смутных пророчеств, гулом загадочных бормотаний,— так бормочет растерянно слепорожденный, попавший в лесопосадки знанья...

IV

6

О вы, кому буря долгожданную свежесть приносит, живая сила и новая мысль освежат ваше ложе живых, исполненных жизни людей, и отвратительный запах несчастья не осквернит белья ваших жен.

Ваши лица опять обратятся к богам, снова на ваши деяния лягут горячие отсветы пламени, гудящего в горне кузнечном, и услышите вы — вы и идущий к вам Год — приветственный возглас новых форм и новых существ, что рождаются на обломках бесчисленных раковин и на крошеве ветхих надкрылий прошлогодних майских жуков.

И вы можете бросить в огонь большие мечи цвéта печени в масле. Мы лемеха из них выкуем, лемеха для плугов, мы землю познáем, когда она открывается навстречу любви, зыбучую землю в неспешном ее колыхании

под бременем сладким любви, в ее движенье, текучем и медлительно-вязком, словно смола.

Нежность, пой свою песню в последнем трепете вечера, когда затихающий бриз навевает дремоту на умиротворенное стадо.

И вот в этот вечер наступает конец большому могучему ветру. Веером ветра ночь обмахнулась на вершинах других. И земля в далеких таинственных далях нам рассказывает о своих заветных морях.

И боги, напиток испив, забредут ли когда-нибудь снова на землю людей? И будут ли наши извечные темы о рождестве всех наших богов по-прежнему обсуждаться в ученых собраньях?

О, не раз еще Провозвестники прибудут на землю к ее дочерям, и не раз еще девы земли зачнут от них дочерей для услады поэта.

И не раз еще наши поэмы пойдут по дороге людей, неся семена и плоды новым людским поколениям,—

Новую расу творя среди людей моей расы, новую расу творя среди дочерей моей расы и неся мой голос живой над дорогой людей от сердца к сердцу, все дальше и дальше,

До берегов далеких и мглистых, где скрывается смерть!..

7

Когда исполинская буйная сила расчистила русло людей на земле,

В дереве старом с сухими ветвями ожило вновь молодое струенье пророчеств,

А из подземных неведомых Индий уже поднималось другое, новое дерево возвышенной стати —

Со своею листвой магнетической и с душистым грузом новых плодов.

1945

СТВОРЫ [1]

(Фрагменты поэмы)

Строфа

I. Верхние Города были залиты светом по всему обращенному к морю фронту...

. . . .

4

Хохот вод, ты был слышен даже в домах, далеко отстоявших от моря.

За сверкающим пологом ирисов и проворных серпов открывалась вдали благодатная щедрость равнины; начиненную золотыми масками землю рыли дикие свиньи; старики со своими клюками шли на приступ фруктовых садов, и вечерами над маревом синих, наполненных лаем ложбин рожок деревенского сторожа перекликался порой с протяжным гудением раковин продавцов морского улова... В клетках зеленых, сплетенных из ивовых прутьев, люди держали желтых овсянок.

О, пусть движенье вещей к своим берегам, всех вещей к своим берегам, подобное их переходу в руки новых владельцев, наконец нас избавит от власти Кудесницы древней — Земли, с ее дикими желудями, и с толстой косою Цирцеи, и с отражением рыжих закатов в зрачках прирученных зверей!

Вожделения час багровел в лавандах морских. Звёзды цвета мяты

[1] Створы *(морск.)* — опознавательные знаки для определения фарватера.

пустынь одна за другой пробуждались. И пастухов закатное Солнце, прекрасное, как исступленный паломник в развалинах храма, под жужжание пчел опустилось на верфь, у бассейнов, где ремонтируют подводные части судов.

Здесь вместе с литейщиками и корабельными кузнецами пьянствовали чужеземные мореходы, мастера разгадывать ребусы дальних дорог. Здесь к ночи заметно сгущался запах женского лона, идущий от моря в пору отлива. И огни сумасшедшего дома алели в железных корзинах своих. Слепец за крабом охотился возле могил. И луна над кварталами смуглых гадалок

Хмелела от скрипучего голоса флейты и воплей пронзительных олова: «Огни наступившего вечера — мученье мужчин! Сотни бессловесных богов на каменных полках каминов. И неизбывное присутствие моря сзади ваших семейных столов, моря с его женским запахом водорослей, не таким унылым и пресным, как пропитание скудное, которым вас кормят жрецы... Сердце мужское твое, о прохожий, займет нынче вечером место среди завсегдатаев порта, точно плошка с пламенем рдяным на носу иноземного судна». ⟨...⟩

III. Трагедийные Лицедейки спустились...

Трагедийные Лицедейки спустились с обрывистых склонов. И воздели руки в честь Моря: «О, прежде мы возвещали шаг человека по камню — это нам удавалось получше!

Неподкупное Море, ты решаешь нашу судьбу!.. Ах, мы слишком высокого мнения были о человеке под маской! Но и лицедействуя под соленые шутки толпы, мы не утратили память о возвышенном слоге, что когда-то на этих прибрежьях звучал.

Наши тексты валяются в грязи и пыли у всех городских застав, их топчут ногами торговцы хлебом, их попирают торговцы вином. Все парики наши пышные черного волоса, все перья роскошные наши достоянием улицы сделались, и их на себя примеряют, кривляясь, жрицы свободной любви. И наши большие театральные маски капканами стали для конских копыт.

О кошмарные Чудища, обезьяньи, драконьи морды свои соразмерить попробуйте с огромными нашими яйцевидными шлемами, подобными головоногим страшилищам, что заползают в поисках пищи в норы чужие на дне... Дряхлые львицы пустынь восседают балластом на каменной кромке, окаймляющей сцену. И золотая сандалия величайшего Трагика в смердящей яме арены блестит

Рядом с патрицианской звездою и зелеными ключами Заката». ⟨...⟩

*

«Да, то была нескончаемо долгая пауза ожиданья и скудости, когда всеми провалами текста подстерегала нас смерть. И среди размалеванных декораций такая нас грызла тоска, и за всеми нашими масками таким отвращением полнилась грудь от любой исполнявшейся пьесы!..

Нашим каменным циркам увидеть пришлось, как неотвратимо теряет весомость шаг человека по сцене. Разумеется, на раззолоченных наших бутафорских столах красовались по-прежнему все роскошные фрукты этого века, и по-прежнему поставцы авансцены были щедро уставлены винами мецената. Но к бокалам другим уже прикасались уста благосклонных богов, и усталому Морю уже не терпелось уйти из сновидений Поэта.

Станет ли Море с его фиолетовой солью отстаивать превосходство над нами молодых надменных актрис, осененных дыханием славы?.. Где же они, наши прекрасные тексты, наш благородный суровый устав?.. И дабы могли мы и впредь выносить неподъемное бремя служения сцене, под крылом какого Властителя, из числа каких Сотрапезников предстоит нам поддержку искать?

В прибрежном краю за бесконечным кипением толп звучала всегда эта чистая нота тоски по другим сновиденьям, нас манили всегда великие сны об

искусстве ином, высокие сны о другом, прекрасном деянье, и величайшая маска всегда восходила на горизонте людей, о Море живое великого текста!.. Ты нам говорило про другое вино для людей, и над серой унылостью наших пошлых ролей кривились порой недовольные губы — это был знак пресыщения,

И мы знаем теперь, отчего покидала нас жизнь среди всех наших выспренних строф».

*

«Отлив, мы взываем к тебе! Жадно мы будем ловить, чужеземная зыбь, неустанный твой бег по безбрежным просторам. И если для встречи достойной с тобою должны к тебе мы прийти в новом, уже свободном обличье, мы отбросим, как хлам, весь реквизит свой и память свою.

О Море, большого искусства кормилица, мы предлагаем Вам наши тела, омытые крепкими винами драмы и зрителей. Мы слагаем с себя перед ликом морским, как у подступов к храму, свое облаченье для сцены, шутовские наряды свои для арены. И как в дни трехгодичных больших фестивалей работницы сукновален — или другие, что палками в баках краски мешают, или те, что, раздетые догола и красным залитые соком до самого паха, в чанах давильных виноград выжимают,— у дорог выставляют свою немудреную деревянную утварь,— так и мы, тебя восславляя, приносим тебе орудия своего ремесла.

Мы к волна́м свои маски слагаем и плющом увитые тирсы, и кладем свои скипетры и тиары, кладем свои длинные, точно ферулы волшебниц, черного дерева флейты, и наши доспехи кладем, наши колчаны и наши кольчуги, и туники и руна приносим свои для наших заглавных ролей; султаны приносим из розовых перьев — ими увенчаны наши каски, и приносим двурогие медные шлемы — варваров войско в них мы играем, и щиты тяжеленные с грудями богинь!.. И приносим для вас, иноземное Море, огромные наши парадные гребни, похожие на инструменты ткачей, и приносим серебряные зеркала, что отшлифованы сотнями наших ладоней, точно трещотки, под стрекотанье которых в неистовстве пляшут поклонницы древней Кибелы; и множество крупных наплечных жемчужин в форме жука, и немало больших ажурных аграфов, и наших свадебных фибул.

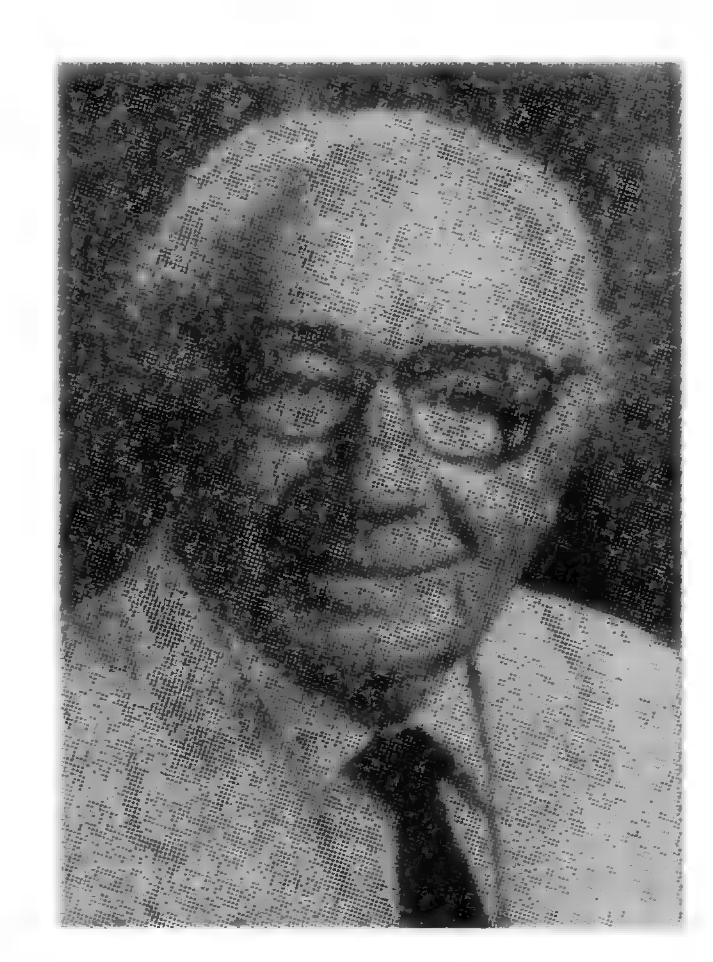
Мы слагаем с себя и свои покрывала, и хламиды высоких трагедий, обагренные кровью убийств, и шелка́, испещренные пятнами вин, что мы пили за столами Князей; и клюки убогие нищенок, и посохи бедных просительниц со светильником жалким и с прялкою вдов, и водяные часы наших стражников, и роговой фонарь часового; и лютню из черепа сернобыка, и больших орлов с золотою отделкой, и другие трофеи алькова и трона — здесь кубок застольный и урна, сделанная по обету, сосуд для воды и медный таз для омовения гостя и для освежения Иноземца после дальней дороги, кувшины и склянки для яда, расписные шкатулки Прелестниц и дорогие презенты Посольств, золотые ларцы для посланий и царские грамоты переодетого Государя — вместе с веслом, уцелевшим от кораблекрушения, с черным парусом, предвестником плохих новостей, и с факелами жертвоприношения, с королевской хоругвью впридачу и с опахалами торжественных шествий, а также с трубами красной меди, в которые Провозвестницы наши трубят... всю бутафорию дряхлую легенды и драмы мы вам приносим! мы вам приносим!..

Но мы сохраним, обетованное Море, свои на деревянных подошвах сандалии и сохраним у себя на запястьях золотые браслеты Любовниц — в них мы будем скандировать творенья грядущие, великие драмы, которые вскорости созданы будут, скандировать и завораживать публику волшебной пульсацией нездешних ритмов».

. . . .

1953—1956

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА



МОРДЕХАЙ ЦАНИН

Рассказы

Перевод с идиш Л. БЕРИНСКОГО

Бенцион Второй

В тесной комнатушке портного Файтла было оживленно и весело. Бенцион, местный дурак не дурак, но парень, что называется, с теми еще закидонами, сидел, помахивая папиросой в желтых костлявых пальцах, и распевал-горланил разухабные песни. Два подмастерьишка Файтловых подпевали ему, да и сам Файтл, в другой раз не умевший и звука без хрипа издать, сипло вторил ребяткам. Впрочем, развеселились они сегодня не так просто, не без причины, что нередко и бывает с портными, когда дух, как говорится, приподнят, а игла шустро ходит в руках, догоняя или рядышком идя с бесконечным, то бодрым, то слегка подуставшим, мотивом. Сегодня Файтл купил наконец «Зингер», чудо-машину, что знай себе строчит и строчит — как по маслу бежит и стрекочет! Теперь не придется ему, человеку, чье слово дороже не то что денег, а золота! — теперь ему не придется выворачивать себе пальцы, день и ночь ковыряя иголкой, когда срок подошел и заказчик, можно сказать, уже на пороге, а клифт не готов. Вот она, великолепная эта машина, настоящий, всамделишный «Зингер», который поможет ему, человеку дельному, Файтлу, не без стараний, конечно, и двух этих бравых помощников, подняться, как говорится, на ноги, а заодно и кое-кому доказать, чего его слово стоит, то есть если сказал он: «Камзол ваш готов будет к Песаху»,— это значит, что камзол готов будет к Песаху, а не к осени на Суккот.

Бенцион, гость довольно здесь частый, пел теперь, потирая от удовольствия руки и пророчески разглагольствуя между песнями про то, что, мол, с этой вот швейной машины в мире начинается новая эра и людям скоро вообще не придется работать, а только отдавать приказания: «Ну-ка, машина, сострочи-ка мне пару брюк!», или «Состряпай-ка, машина, мне кашицу, да понаваристей, пожирней!», или «Поел бы я щец капустных!» — она тут же, умная эта машина, в доску расшибется, а сошьет тебе брюки в срок и такой подаст на тарелке гречишник, что весь город сбежится и будет стоять под окнами нюхать.

Но была у Бенциона Второго, так прозвал его город, и своя особая причина для торжества. Еще несколько лет назад, когда город увидел, что не все с головой у осиротевшего отпрыска Бенциона Первого в порядке, стали добрые люди к нему приставать: обучись, мол, какому ни есть ремеслу — портновскому или столярному, можешь сделаться даже, если хочешь, живодером либо кузнецом, ручищи-то вон какие, льва удушишь и не заметишь. Но Бенцион — он не вьючное вам животное, чтобы дать себя захомутать.

— Смотри,— поднимал он к небу желтый свой палец,— если б там Бог возжелал, чтобы Бенцион Второй стал трудиться на этой земле, он сотворил бы его сразу с ножницами в руках или с рубанком. Но Богу, как видишь, хотелось, наверно, чтобы я, Бенцион, наслаждался здесь папироской, с удовольствием ел борщ с мясцом или кашу со смальцем, вот он и отправил меня в белый свет без утюга и, смотри, без кувалды, а, наоборот, снабдил меня ртом и парой ноздрей, при помощи которых — стоит только немного принюхаться — я сразу скажу тебе, где что варят и жарят, откуда каким потянуло дымком.

Он смеялся в лицо подавальщикам добрых советов, об одном лишь, казалось, мечтавших на свете: навесить на этого Бенциона ярмо.

— Умные люди ведь,— хохотал он,— а такие все дураки!

Если была у него папироска и он мог позабавиться, то колечки пуская, то, очень ловко поймав ртом и проглотив их, вдруг выстрелить из ноздрей двумя упругими струйками дыма,— если только было у Бенциона чего покурить, он согласен был день-другой и поголодать, подержать, раз уж выпало, пост. В дни такого поста бродил он по городу и все принюхивался: у кого каша в казанке допревает, где борщец зимним вечером тихо доваривается или — летним утром — зеленые щи. Но ежели начинался голод табачный и совсем — ну просто совсем уже! — нечего было курнуть, это убивало, уничтожало его, он разваливался на части, все тело болело и ныло, как избитое палкой. Тогда губы не размыкались спеть песню, недужный, он слонялся по улицам, низко-низко склонясь головой и высматривая в щелях мостовой, в углублениях между булыжниками хоть заплеванный окурок какой, чинарик, «бычок». А встретив прохожего с цигаркой во рту — долго провожал его, обернувшись, взглядом, полным алчного блеска и зависти, как у голодного пса.

Вот почему Бенцион так обрадовался, когда Файтл купил себе новенький «Зингер», он решил, что близятся времена, когда он, Бенцион, заимеет такое же чудо, и тогда ему только останется нажимать на какую-нибудь там кнопку чи шо, и —рраз! — сама, смотришь, вылетела папироска, и даже прикуривать не надо: дымит!

Курильщик он был заядлый, он даже город напугал однажды своей этой страстью, то есть не самим, конечно, курением, а тем, что за десяток-другой папирос отпадет он, поганец, от веры и крестится сдуру. А дело так было: считалось в городе, что яблочко недалеко от яблоньки падает. Отец Бенциона, Бенцион Первый, известный при жизни бунтовщик, во все свои годы занимался тем, что сбрасывал с трона царя, а сынок его, Бенцион Второй, решил, по-видимому, так городу показалось, сбросить с себя даже ту малость еврейства, что в нем и на нем еще оставалась, и разменять, как говорится, этот червонец повыгодней. Оснований у города для подобных домыслов хватало, достаточно, к примеру, того, что люди своими глазами видели, как однажды сам ксендз на базарной площади стоял и гладил Бенциона по дурной его голове, а потом они вместе куда-то ушли — еврей и католик. А с чего вдруг, скажите, станет ксендз привечать еврейского парня, кроме как ради того, чтобы сделать из него мешумеда, выкреста, и через это, сохрани нас, Господи, и помилуй, новые возвести наветы и беды на наших евреев.

Если бы люди, однако, видели, что случилось минутой раньше, когда ксендз еще только к площади приближался...

В то утро Бенцион ходил по улицам подавленный, озабоченный, с потемневшим взглядом и лицом бесцветней, чем пепел. Ноздрями он втягивал воздух, принюхивался: не потянет ли откуда каким табачком, хоть табачинушкой, крошкой табачной, желтой каемкой на недокуренной гильзе! Нет. Здесь такие все жмоты, хоть евреи, хоть гои, да и наезжающий из окрестных сел мужик! — свою цигарку, свою самокрутку, козью ножку он до того досмолит, что аж пальцы дымятся, до ногтей дососет ее, жадень!

И все ж отыскал хищный взор Бенциона пару рядом лежавших чинариков, не приплеванных и не притоптанных даже, и, конечно же, бросился к ним, как человек, умирающий с голоду, набрасывается на черствую корку хлеба. В эту минуту, в этот, можно сказать, роковой миг злая судьба и принесла сюда ксендза, и успел ксендз заметить, какая безумная радость вспыхнула в глазах еврейчика, когда подбирал он окурки.

— Огонька не найдется? — спросил Бенцион, даже не взглянув на прохожего, не видя, к кому обращается. Зато ксендз увидел юное, одухотворенное больной страстью еврейское лицо, излучающее странный свет. Ксендз провел ладонью по густым волосам юноши и сказал:

— С собой я огня не ношу, но если ты пойдешь со мной, я дам тебе еще и папирос, чтобы не подбирал ты на улицах грязь и мусор.

Бенцион за ним и пошел, как тень, не выбрасывая на всякий случай уже найденных двух окурков, а заботливо и надежно их зажав в кулаке и неся, словно истинное сокровище.

На дворе у ксендза сильно пахло из дома едой, поставленной в печь, и еще чем-то теплым, уютным. Навстречу к ним вышла молодая и очень толстая женщина с тройным подбородком, свисавшим, как дряблый зоб индюка. Маленькими, заплывшими жиром глазками она пристально посмотрела на Бенциона, потом повернулась к обоим спиной и спросила:

— А этого где нашел юношу, отче, столь прекрасного ликом, уж не на исповеди ли в костеле?

— Сей несчастный курит подножный сор,— отвечал ксендз коротко и повел Бенциона внутрь, в полуосвещенную комнату, где вдоль стен до самого потолка высились шкафы, все дубовые и набитые книгами. Ксендз велел Бенциону присесть и протянул ему огромную резную коробку, полную плотно уложенными штабельками папирос. Бенцион снял с головы и сунул под себя рваный картузик, двумя пальцами выбрал из раскрытой коробки одну папиросу с длинной роскошной гильзой.

— Можешь еще взять,— сказал ксендз улыбаясь. Не спуская глаз с ксендза и внимательно следя за выражением его лица, Бенцион чуть дрожащей рукой вынул еще несколько папиросок и с наслаждением понюхал их.

— Знаешь ли ты, как называется такая комната с книгами? — спросил ксендз мягким голосом.

— Библиотека,— отвечал Бенцион.

Словно вспомнив о чем-то важном, ксендз встал, обошел вокруг стола и, чиркнув спичкой, поднес огонек Бенциону.

— Никогда не твори благих дел твоих наполовину, сын мой! — Ксендз, давая ему прикурить, нагнулся так низко, что почти коснулся лицом лица Бенциона.

Еще как следует не прикурив, Бенцион, боясь потерять хоть малейшую толику дыма, глубоко затянулся и долго не выпускал его, как будто совсем проглотил. Вдруг — пыхнув носом и ртом — выстрелил три белые струйки, сразу свернувшиеся колечками, и стал вглядываться в эти зыбкие цепи и звенья, и лицо у него, пока он смотрел, оттаивало, отходило и становилось похожим на лицо улыбающегося во сне человека, которому снится добрый и сладостный сон. Глядя на юное, еще совсем нежное лицо Бенциона, ксендз тоже улыбался чему-то и даже притронулся подушечками пухлых пальцев к мягким, почти детским щекам Бенциона.

— Ты мне нравишься, отрок, ну а скажи, читать ты умеешь? — Ксендз все еще стоял рядом, ища глазами, куда деть погасшую спичку.

— Еще как умею, ого, без запинки шпарю! — самодовольно и с готовностью откликнулся Бенцион.

— И что же ты, книги читаешь? — продолжал расспрашивать ксендз.

— После отца у нас там остались какие-то книжки, ну, разные, по ним я и выучился. Отец умер,— пояснил Бенцион, и вдруг голос у него зазвенел. Ксендз обнял двумя руками голову юноши, поцеловал его в лоб и сказал:

— С этого дня можешь сюда приходить когда пожелаешь, можешь брать папиросы в шкатулке, можешь брать книги, сиди кури себе и читай, сколь душе твоей будет угодно. А скажи, попадались тебе книги по философии? Или исторические романы? Знаешь ты, кто такой Выспяньский? Мицкевич? Словацкий? Слышал про такую науку — история? Вот здесь,— он обвел рукой комнату,— здесь ты найдешь это все. Если придешь, а меня нет дома, то Марта есть, моя экономка, она разрешит тебе взять любую книгу, какую захочешь...

Как выкликают духов — Марта возникла в проеме двери и стояла, выпятив огромную грудь. Она вошла в ту минуту, когда ладонь ксендза покоилась на темени юноши. Увидев свою экономку, ксендз, как обжегшись, отдернул руку, а в заплывших жиром глазках Марты полыхнул стальной отблеск, и взгляд ее стал острым и длинным, как стрела, а дряблый зоб задрожал, и еще, казалось, мгновенье — она закричит, закудахчет, забьет крыльями, как индюк.

— Обед готов,— произнесла она наконец и, еще раз со злобой взглянув на ксендза и юношу, исчезла.

— Пойдем, отрок, трапеза ждет, пообедаем вместе. Ты, отрок, нравишься мне.— Ксендз опять провел нежно ладонью по густым его волосам.

Бенцион, услышав эти слова, вскочил как ужаленный, как безумный — в зубах папироса, в руке — смятый картуз, в другой — еще несколько папирос.

— Что случилось? — Ксендз ухватил его за плечо.

— А вот кушать у вас мне никак нельзя! — Лицо Бенциона было темным, взгляд блуждал и метался, как челнок в ткацком станке, слева направо, справа налево, словно парень искал путь к бегству, и, найдя наконец, рванул с места и побежал, да так юрко и вертко, как будто прожил здесь многие годы и знал в доме все ходы и выходы. Отбежав подальше, он спрятался за углом соседнего дома и, отдышавшись, стал, раскрыв горсть, жадно нюхать папиросы, точно вдыхая аромат благоуханнейших роз.

Постояв еще малость, прямым ходом двинулся к Файтлу-портному. Подмастерья сидели, поджав ноги, на длинном портновском столе, шили и что-то под нос себе напевали. Файтл делал вид, что тоже им подпевает, и раздувал древесные угли в большом утюге. Веселость и легкость, царившие здесь, сразу передались Бенциону, он подхватил знакомый мотив, всем по очереди показывая без слов, как показывает победитель свои трофеи, кучку дорогих папирос на раскрытой ладони: ну что, видели?! Потом не выдержал, прервал песню и выкрикнул:

— Ну и наштопан же куревом, черт батьке его!

— Кто наштопан? — спросил подмастерье.

— Да ксендз, чертяка отцу его!

Файтл, сплюнув на указательный палец, попробовал, разогрелся ль утюг, затем обернулся и посмотрел Бенциону в лицо.

— А ты как у него оказался, у этого ксендза? Ты что, вправду чокнутый?

Бенцион, паясничая, поднес палец к губам и, изображая таинственность, сказал глухим шепотом:

— Ш-ш-ш... Это большой секрет.

— Да? Ну вот вам и весь сказ! — Файтла как будто осенила какая-то мысль, он словно нашел вдруг ответ на давно не разгаданную загадку.

— И с каких это пор у евреев с ксендзами секреты? А вы, может, и свиней с ним вместе пасете?

Бенцион затянулся поглубже и, разом выпустив несколько колец дыма, запел:

Нет, свинины я не ем —
кугель мне спеките,
лучше жить на воле, чем
быть рабом в Египте.

— Ну-ну, заварил ты, я вижу, ту еще кашу! — рубанул рукой воздух Файтл и снова склонился над утюгом, раздувая угли.

Город видел собственными глазами, как на площади ксендз гладил Бенциона, этого дурня, ладонью по темени, это надо же — средь бела дня! И как ксендз куда-то увел его. Куда? Сомнений не оставалось: Бенцион крестился. Или крестится со дня на день, болван. Оно и само по себе немалое горе — шутка ли, был еврейский парень, а стал выкрест, мешумед, хуже чем гой! В случае с Бенционом, правда, было что-то и утешительное: меньше одним дураком у евреев! Но вот ведь, однако, беда: стоит им как-нибудь нацепить крест еврею на шею, самому что ни на есть никудышному, как у гоев тут же разгорается аппетит, давайте, евреи, дуйте скопом до нас, в нашу веру! — в их, то есть поганую гойскую веру. Меняйте, евреи, свой, мол, Ветхий Завет на наш Новый, на их, то есть гойский! — и дело с концом, будем братья...

Вот почему и решил Файтл всерьез поговорить с Бенционом насчет того, как оно случается и что тогда ожидает парня.

— Бенцион,— сказал Файтл,— одной жопой на две ярмарки не ездят. Й-э-эсли тебе захотелось позором покрыть отца своего, даже там, где он сейчас пребывает, или натворить неприятностей твоей маме в раю — на то ты и чокнутый, но взять веру предков и выменять ее на горстку цигарок, оставаясь при этом среди евреев,— такая притча, нет, у нас, парень, не сложится.

Бенцион дико как-то захохотал, такого регота, что и смехом не назовешь, Файтл никогда еще от него не слыхал.

— Й-э-эсли отец мой,— в тон ему отвечал Бенцион,— разругался с еврейским богом, то я, конечно, не очень знаю теперь, в каких сам я с нашим Господом отношениях. Ну, а у гойского бога мне и подавно искать вроде нечего... Но и папироски, надо сказать, тоже ножками сами не приходят. А эти холеры дотягива-

ют до ногтей, и окурки от них такие, что мне, Бенциону, остается холера им в бок. Хаим-шинкарь курит самые дорогие цигарки, и, когда я прохожу мимо, я просто херею: Я прошу его: «Хаим, разок, один раз затянуться!» Так он вынимает цигарку из хавала, бросает себе под каблук и вправ растаптывает — на, кури и затягивайся! Тот же Лейбл-мануфактурщик. Стоит перед лавкой и чмокает, слюнявит одну за другой. «Реб [1] Лейбл,— прошу я его,— только пару затяжечек!» Тот набирает полную пасть дыма, точно сразу три штуки воткнул себе, а мне: «Геть, мишигенер [2], пока ноги целы!» Так взял я теперь те ноги, пока целы, и понес их до ксендза. Ксендз дает мне папиросок столько, сколько хочу, дает ксендз. Еда у него, понятное дело, масть треф, но я мяса не ем у него. А насчет папиросок — табак полный кошер, и накуриваюсь я там в свое удовольствие, а кому то не по святописанному — есть прямой адрес...

Обвинительная речь Файтла, произнесенная в пошивочной мастерской, до ушей города дошла изрядно перелицованной. Ну, прежде всего: город не знал, что от песенок Бенциона сам Файтл просто тает, наслаждаясь ими не меньше, чем по праздникам слушая прославленного Герш-Лейба. И потом, хазана [3] Герш-Лейба можно услышать только в праздник и в Йомим-Нороим, а Бенцион днем и ночью петь готов, и песен у него в запасе на три жизни вперед. Откуда их столько у дурня: нежных, грубых, похабных, томительных, разудалых — один Бог знает. И ведь помнит парень все те наголоски, припевки, распевы, держит их в голове, как благочестивый еврей утреннюю «Мойдэ ани» [4].

Можно, конечно, допустить и представить себе, что, обернись дело иначе и не сбеги Бенцион от ксендза в первый день их знакомства, ксендз, может быть, и уломал, подбил бы парнишку креститься, и тогда уж город с полным правом бил бы в грудь себя, крича, что такое предвидел, что ведь он, город, всегда говорил про яблочко, недалеко от яблоньки падающее! А теперь, дескать, видите сами: точно так как Бенцион Первый огорчал Бога, так и отпрыск его за папашей кривою дорожкой последовал.

Ход событий, однако, не посчитался с мнением города, и все произошло по-другому, по предначертанному.

При первых же признаках мук, то есть отсутствия табака, Бенцион бегом бросился к дому ксендза, постучался в массивную дверь и вошел, и вот он сидит уже — папироска во рту, в руках книга. И началось. Сперва чтение давалось ему нелегко, приходилось по два, по три раза перечитывать то одну строку, то другую, и так до поморок, до мурашек в мозгу. Понемногу, однако, приходя день за днем, паренек вчитался, а в мастерскую к Файтлу совсем теперь не заглядывал. Читать интересную книжку, затягиваясь дымком отборного табака — что в мире может быть лучше, а истинный мир — и это тоже извлек Бенцион из книг — он вот здесь, на этих полках и в книжных шкафах вдоль стен в доме ксендза. Если б мог Бенцион, он бы разом, одним большущим глотком проглотил эти книги, в которых столько всего понамешано и так перемешано, что куда там всей мешанине, на которой замешана в городе жизнь! В одной книжке — читаешь, аж кровь кипит! — про любовь между мужчиной и женщиной, в другой — про войну и страшные убийства, в третьей — про морские путешествия и всякие чудеса, и такие приключения, от которых кровь стынет. А разве отложишь, захлопнув, исторический, как ксендз его называет, роман или книгу эту самую, философскую, хотя, по правде сказать, в такой книжке Бенцион мало что понимает...

Бенцион решил: то, что он ходит в дом ксендза и читает там книги,— это пусть будет тайной до тех пор, пока он все книжки здесь не прочтет и не выкурит все папиросы из огромной коробки с резными узорами! Так что в случившемся позже повинен не Бенцион, а ксендз, он один.

Однажды, когда Бенцион сидел, углубившись в книгу, а была это «Хижина дяди Тома», ксендз окликнул его, велел присесть к нему на колени и попробовать пересказать прочитанные страницы. Бенцион так за все благодарен был ксендзу, что капризничать постеснялся и неохотно, но просьбу выполнил. И как только очутился

[1] Реб — господин *(иврит). (Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Мишигенер — дурак, сумасшедший *(идиш).*
[3] Хазан — кантор, певчий *(иврит).*
[4] «Я благодарю» — ежедневная утренняя молитва *(иврит).*

он на коленях у ксендза, тот жадно принялся целовать и ласкать его и так распалился, что парнишку охватил непонятный, неведомый прежде страх, книжка выпала у него из рук, а когда он нагнулся, чтобы поднять ее, ксендз вдруг стал на нем задирать капоту [1]. Бенцион вскочил, из халатика выскользнул и кинулся в дверь. Ксендз, опешив, остался сидеть с его жалкой одежкой на сильно дрожащих коленях.

Все это происходило в полном безмолвии, без единого вскрика и возгласа, но в дверях Бенцион почему-то столкнулся на бегу с толстой Мартой. «О Езус!» — простонала она, пытаясь схватить, задержать его, но Бенцион оттолкнул ее с такой силой, что та шмякнулась жирной спиной о противоположную стену.

— О Мария!

Только на улице, отдышавшись в тени, Бенцион опомнился и заметил, что стоит без капоты, раздетый. Он пошел назад, постоял у тяжелой двери, несколько раз собирался с духом, чтобы толкнуть ее, но никак не решался и только выкрикивал короткие проклятья и брань, сжимая и разжимая пустой кулак и не находя в нем ни одной папиросы. К испытанному только что страху прибавилось чувство непереносимого голода, не простого — табачного. Непонятный озноб охватил его, он весь затрепетал, поднял к небу лицо, словно ожидая, что оттуда вдруг упадет папироска. Потом ноги сами, как два обособленных от него существа, понесли его, и несли, и несли его все быстрей, а он, запрокинув голову, неподвижно смотрел в пролетающее над ним небо.

На базаре, куда Бенцион прибежал, ему все показалось незнакомым, будто он появился из другого, дальнего мира. Он стоял и медленно озирался. Где сейчас дядюшка Том? Ах, дядюшка Том, такой добрый, приветливый, а тут все чужие, все такие враждебные. Но почему ж, почему? Он стоял раздетый, поводил глазами, блуждающим взглядом чего-то искал, и хотя весь вид его вызывал жалость, нашлось несколько базарных зевак, оравших ему:

— Ты, Бенцион Второй, не сегодня так завтра голяком начнешь бегать!

Бенцион молчал и только рассеянно осматривался, словно силясь понять, куда это его занесло. Вдруг увидел между двумя выпуклыми булыжниками грязный чинарик, нагнулся и поднял его, взял в зубы и снова стал озираться, ожидая, наверно, что кто-нибудь поднесет ему прикурить. Этого не случилось, и теперь оставалось одно: бежать. Он побежал, а мальчишки вслед кричали ему: «Бенцион Второй, Бенцион — дурной!»

Внезапно он остановился, обернулся и спокойным голосом, словно ничего особенного не происходит, стал объяснять пацанам:

— Я же не виноват, что мой отец Бенцион умер в Сибири еще до того, как я родился на свет, и что имя мне дали по умершему моему отцу. Ну, понятное дело, если отца моего звали Бенционом, то и выходит, что он был Бенцион Первый, а я, значит, Бенцион Второй...

Сказав это, он опять сорвался с места и понесся, точно за ним гнались. В мастерскую Файтла он влетел задохнувшись, запыхавшись. Подмастерья онемели от неожиданности, прервав жалостливую песню, такую длинную, как нитка, которой хватает ровно настолько, чтобы стежок за стежком елочкой выложить целый борт модного пиджака. Файтл, наклонившись и, как всегда, раздувая утюг, даже вздрогнул, когда вдруг Бенцион подошел к нему и резко пригнулся, чтобы прикурить от подернутых пеплом углей.

— Что с тобой, Бенцион? — Файтл тревожно, с головы до ног, осмотрел парня.— Ты откуда явился, из ада вырвался? Где ты капоту свою потерял? Или мелухэ-хавулэ [2] с тебя в преисподней ее сорвала, эта нечисть не постесняется! Да ты взгляни на себя, на кого ты похож, прости, Господи, речи мои...

Бенцион глубоко затянулся ядовитым дымом, исходившим больше от тлеющей гильзы, чем от давно выкрошившегося из нее табака, неподвижным взором смотрел в потолок и не отвечал. Файтл без слов, но выразительно переглянулся с подмастерьями и повертел пальцем у лба, дескать, правильно говорят люди, дурь — не корь, на всю жизнь хворь.

— Что вы там чухаетесь? — разорался он вдруг на помощников,— пошевеливайтесь, а то, если вот так вот гадать да понуриться: чем посикала курица? — не заработаем, ребятки, и на картофельные латки...

---

[1] Капота — традиционная одежда восточноевропейских евреев, нечто вроде халата *(идиш)*.
[2] Царство нечисти *(иврит)*.

Подмастерья, хорошо знавшие любимые песенки Бенциона, затеяли было одну из них, закачались, в такт мелодии протягивая иглу с длинной ниткой, но ничего не вышло — Бенцион песню не подхватил, оставался безмолвным, и мысли его были где-то далеко-далеко.

Назавтра Бенцион пришел к дому ксендза пораньше, спрятался, как умел, за углом соседнего дома и стал тревожно наблюдать за ксендзовой дверью. Повыглядывав из засады часа полтора, он вдруг в нетерпенье стал тереть ладонь о ладонь, словно отогревая их. Это ксендз вышел из дому и направился в свой костел.

Бенцион проводил его долгим взглядом, и как только тот скрылся в огромном проеме кованой черной двери, выскочил из укрытия и пошел прямо к дому.

— Я вчера здесь халат забыл,— жалостным голосом начал он объяснять толстой Марте, преградившей путь своей большой грудью.

— Ты мне сказок-то тут не рассказывай... Забыл он! Да ты рванул от него как угорелый... От него все удирают...

— Мне халатик мой нужен, халатик мой...— Он стоял и клянчил и канючил, как попрошайка.

Марта впустила его и сразу исчезла в боковой комнате.

Бенцион бросился в комнату справа, из которой вчера убегал. На письменном столе стояла, все еще раскрытая и доверху наполненная папиросами, резная коробка, а рядом лежала раскрытая книжка, «Хижина дяди Тома». Он запустил в папиросницу руку, нагреб горсть папирос, потом схватил книгу и выбежал обратно на кухню, где навстречу шла уже Марта, неся драную его капоту на вытянутых руках.

— Чего лазишь без спросу куда не положено? — сердито сказала она и отняла книгу.— Хочешь читать — там садись и читай, а из комнаты книг не носи. До обеда он занят на исповеди, можешь хоть каждый день приходить, только из дому ничего не таскай. Есть хочешь, небось? Говори, не стесняйся.

Бенцион, точно не слыша ее, попросил огонька прикурить, и толстуха поднесла ему зажженную спичку. От глубокой и долгой затяжки Бенцион опьянел. Марта завела его в боковую комнату, откуда вынесла только что капоту, и сказала:

— Ладно, миленький мой, читай здесь, читай сколько душе твоей будет угодно; а проголодаешься — скажешь. Ты ведь знаешь, что ты парень миленький, знаешь, да? Моло-оденький такой, м-и-ленький...

Бенцион и не слушал, какой вздор она там несет, он был уже в другом мире, а глаза не видели ничего, кроме зыбких колец синеватого дыма, которые он выпускал по привычке, а обнаружив, что папироса кончается, взял другую и от первой ее прикурил. Он сидел теперь на полу, между шкафом и большой кроватью Марты, на которой, топорщась, топырясь, высилась гора подушек. Он сидел на полу и порывисто перелистывал «Хижину дяди Тома», все никак еще не находя страницу, на которой вчера ксендз так неожиданно и так дико прервал его. Наконец отыскал и начал читать.

Опять вошла Марта, Бенцион поднял голову и спросил:

— А вы читали, про что в этой книжке?

— Да на кой мне оно! — отмахнулась толстуха.— Давай-ка ты лучше поскорее отсюда, сейчас он вернется. Хочешь — завтра приходи, начитаешься вдоволь и напустишь мне здесь полную комнату дыма.

Бенцион поднялся и попросил несколько папиросок с собой.

— А еще другого чего не хочешь? — странно улыбаясь, спросила Марта, ушла в комнату ксендза и вернулась с двумя папиросками. Подавая их, погладила его по руке и сказала:

— Ты хоть и еврей, а мне понравился. Миленький ты. Ты приходи завтра, пораньше с утра, как сегодня пришел.

Утром, не дойдя еще до двора ксендза, Бенцион почуял запах съестного, идущий из дома, это Марта готовила там что-то вкусное. Он зашагал быстрее, а едва увидев ее в дверях и даже не поздоровавшись, со слезами в голосе попросил:

— Папироску...

Марта отвела его прямо на кухню, приказала сесть за стол и молча поставила перед ним полную тарелку горячих щей под клубящимся нежным парком.

— Ешь,— велела она и сунула ему в руку ложку.

— Покурить бы...— он просительно на нее глянул снизу вверх.

— Ешь-ешь,— повторила она,— твой табак от тебя не уйдет.

Она смотрела на него заплывшими глазками, ей нравилось, с какой жадностью он ест то, что она сварила.

— А ты, может, уже и женатый? — вдруг спросила она.

Бенцион поднял глаза и покачал головой: нет.

Марта улыбалась теперь непонятной улыбкой, и глаза у нее на лице совсем утонули, пропали. Потом она пошла принесла папироску и положила ему на стол.

— Вот тебе вместо сладкого,— как-то нежно сказала она, стоя у него за спиной, за спинкою стула. И вдруг перегнулась и смачно поцеловала его в щеку.

— Ты мне нравишься, миленький мой.

Бенцион ощутил у себя на лице ее теплые руки, ее дыхание, и все это вместе: капустные щи, папироса с белой дорогой гильзой, женская нежность толстухи — подожгло ему кровь. Вдруг захотелось петь. Он опустил ложку в щи, но, подумав, вынул обратно. Обстановка показалась неподходящей: как-то вроде не подобает здесь петь еврейские песни. Он усмехнулся, поднял взгляд к этой толстой женщине, которая стояла, гладила его по щекам и перебирала его с шелковым отблеском волосы. Желание петь распирало его, и, скоренько опустошив тарелку, он вскочил на ноги, закурил ожидавшую его на столе папиросу и с радостью в голосе весело заорал:

Так и шьет, шьет портняжка
Не спеша, понемножку.
Всю неделю шьет да шьет,
А суббота как придет —
У портняжки дырка с трешкой.

Марта обняла его и своим ртом залепила рот ему, коротко шепнув:

— Люди услышат...

И еще крепче прижалась губами к его неотертым от щей и хлебных крошек губам. Не глядя, поискав рукой, вынула у него дымящую папироску из пальцев и бросила себе под ноги. Вся как в огне, с распаленным лицом и совсем исчезнувшими глазками, она почти силой отвела его в свою комнату, ловко, одним махом сбросила на пол гору подушек с кровати и всей тяжестью тучного тела навалилась на Бенциона. Он пыхтел, задыхался под этой разгоряченной тушей, но пламя охватило уже и его, и теперь он пытался обнять неохватное ее тело, а рука не дотягивалась до руки, и объятие не получалось. Марта завладела им, как жар, как лихорадка, как горячечный бред овладевает человеком, и он, весь пылающий и растерянный, давал ей делать с собой все, что той было угодно.

— Ты еврейчик укусненький,— шептала она ему в ухо, не выпуская его из объятий даже в минуты, когда он совсем угасал, хотя жарко все равно было так, что дыхание перехватывало.

В ту пору Бенцион редко когда заходил в мастерскую, и Файтлу очень его не хватало, притом что ни ему самому, ни подмастерьям-помощникам этот чудной парень никогда и не подумал бы в чем помочь. Но зато с ним пелось повеселей, а с веселой песней настолько же веселей, насколько от грустной песни — грустней на душе. И руки тогда половчей свою делают справу, и шустрее снует, волоча свою нитку, игла. И случалось, спросит Файтла подсобник:

— А куда б это наш Бенцион запропастился?

На что у Файтла всегда готов был ответ:

— Да отправился, видно, папироску Бог весть где искать...

Но папиросок Бенцион не искал больше. Экономка ксендза поселила его в своей комнате среди гор подушек и пуховичков, заперла его там, не против, конечно, воли его, но так все обставив, что тому и самому-то из-под подушек себя выгребать не ахти как хотелось. Марта кормила его, одаривала ароматными папиросками, распаляла в нем страсть своим жарким телом, и опять доводила его до остуды, и опять разжигала в нем плотский огонь, так что совсем к себе приковала его, к своей пышной кровати. И похоже, при этом ничуть не боялась, что ксендз прознает, кого прячет она у себя под хозяйскою крышей — еврейчика, улепетнувшего со святейших колен!

Вот лет пять уже, да, шестой, как она, овдовев и не имея детей, стала экономкой у ксендза. Ни словом, ни намеком каким ксендз ни разу не дал ей понять, что хотел

бы с ней спать. Поначалу недоумевала: ну ладно, сан, допустим, жениться не дозволяет, но ведь он еще молодой и при полном здоровье мужик, как же может обходиться без женщины? После разобралась: там, в костеле, на исповедях завлекает он мальчишек в боковое к себе помещеньице, угощает карамельками, папиросками, чем еще... Про себя она ксендза называла свиньей, кабаном, диким хряком, а потому на вопрос его, спустя денька три после бегства еврейчика с его колен,— на вопрос, где халатишко Бенциона, Марта довольно грубо ему отвечала, что не торгует жидовским тряпьем на барахолке и потому выбросила дрянь в мусор, а ксендзу-то оно на что?

Бенциону уютно и хорошо было в комнате Марты. Ароматные папиросы на белых, с золотой каемочкой, гильзах постоянно держали его в сладком дурмане, а еще он пьянел, просто до очумения, от книг, из которых, впрочем, ни одной, наверное, не дочитал до конца, каждый раз хватаясь за следующую, за другую. Перед ним открывались изумительные миры, и он входил в них, не умея, не зная, как думать и что про них понимать. Он бы разом хотел прочитать все книги, какие здесь видел. Поначалу его увлекли сказки и приключения, а воображение его потрясла «Хижина дяди Тома», но потом он стал брать и книги другие, с названиями непонятными, странными, а еще непонятней было то, что писалось в них. Но он продолжал их читать, сам не зная зачем. На обложках прочитывал он имена: Платон, Кант, Франциск Ассизский, Спиноза. Как-то раз, листая тонкую книжицу, он узнал, что настоящее имя Бенедикта Спинозы — Барух, что тот был евреем, после чего стал ему этот Барух Спиноза все равно что родной человек, он бы даже мог описать, как Барух выглядел в жизни, потому что, несомненно, похож был на дядю Баруха, брата матери, которого Бенцион хорошо еще помнил. Книгу Баруха Спинозы читал он и без конца перечитывал среди взбитых подушек и пуховиков — ничего в ней не понимал и начинал сначала. Ну почему, почему ему все так понятно и ясно в книгах про всякие приключения и чудеса, а вот эту тонюсенькую книжонку — хоть убей! — одолеть он не может. Но нет, книжку Баруха, чуть ли не дяди родного, он ни за что не бросит и другую в руки еще очень не скоро возьмет!

И вот из тумана слов постепенно, понемногу начинают прорисовываться какие-то контуры, картины, образы, с каждым разом все более очерченные и зримые. И однажды, когда Марта принесла ему миску горячих клецок, зашипевших на языке, он спросил ее:

— Марта, а ты знаешь, что Бога нет?

Толстуха осенила себя крестным знамением:

— Господи, спаси! Может, хочешь сказать ты, что у евреев нет Бога? У нас-то Бог есть.

— Барух говорит, что Бог — это весь мир,— прошепелявил Бенцион, ворочая во рту языком и пытаясь остудить на нем клецку.

— Кто этот твой Барух? — Марта опалила его огненным взглядом,— он что, антихрист? Он жид, этот Барух? Ну конечно, а не то разве б стал говорить, что нет Бога...

Словцо это — «жид» — как-то вырвалось у нее, и, смутившись, Марта чмокнула Бенциона в щеку и сказала:

— Доедай клецки — и в постельку! Очень хочется.

Бенцион быстро покончил с клецками и отодвинул от себя пустую тарелку.

— Пойдем.

Марта пошла за ним следом...

Бенцион много читал, но часто отвлекался мыслями и вспоминал Файтлапортного и его двух помощников. Эх, рассказать бы им, что говорит в своих книгах Барух, они-то евреи ведь, они поймут. С Мартой все ясно, ей только одно интересно и нужно — тащит его в постель и всегда, как назло, на самой интересной странице. Ей, конечно, ни слова не понять из того, что пишет Барух, точно так как ему, Бенциону, поначалу не понять было, про что она это толкует, когда вдруг сказала:

— А я понесла. У меня от тебя будет ребенок.

— От меня? Как это — от меня?

И поднял глаза, ища в ее взгляде ответа, разъяснения того, что сказала она.

— У тебя будет ребенок, Марта, да? Мой ребенок?

Он посмотрел на ее живот, но большого живота, какой всегда бывает у беременных женщин, не увидел.

— А рожать мне нельзя,— вздохнула Марта, и слезы блеснули у нее на ресницах,— ксендз меня выгонит.

— Почему он должен тебя выгонять? Это же будет мой ребенок! — Он вдруг обнял руками ее руку так порывисто, нежно, словно рука Марты была уже ребеночком, которого он пытался защитить от опасности.— У меня будет свой ребенок... Свой будет ребенок...

Он повторял и повторял эти слова, и лицо у него светилось странной, рассеянной радостью.

— Ты что, помешался, ты что, ты, может, и впрямь сумасшедший, а? — вздрогнула Марта, не понимая, что с ним происходит.

— Я? Сумасшедший? И ты тоже так думаешь, ты тоже, Марта?

— Что — я тоже? — переспросила она и склонила голову ему на плечо.

— Ничего... А когда он у тебя родится, ребеночек мой? — спросил он, помолчав, шепотом.

— Да я ж говорю, нельзя мне... Какая же я разнесчастная, Господи... Придется бежать мне из города...

Он впервые видел ее плачущую.

— А мой ребеночек? — вдруг крикнул он так, точно ребенок лежит уже здесь, в этой комнате, а Марта собирается его унести, украсть, утащить.

Она глянула на него, убрала прядь волос у него со лба и сказала тихо, словно сообщая великую тайну.

— А мы убежим с тобой вместе и будем как муж и жена.

— А ребенок, ребеночек как?

Марта не отвечала. Она вынула у него из пальцев незажженную папиросу, вставила ему ее между губ и вздохнула: «О, Езус Мария!», потом, чиркнув спичкой, поднесла огонек. Бенцион затянулся клубом дыма, и на лице его появилась улыбка удовлетворения. «Бенцион Третий,— мечтательно шепнул он сам себе по-еврейски,— Бенцион дер дритер...»

— Что, любименький? — поинтересовалась Марта,— что ты сказал?

«Отец мой был Бенцион Первый, я — Бенцион Второй, а мой сын, значит, будет — Бенцион Третий»,— продолжал он бормотать на идиш, ничего ей не объясняя, не отвечая ей. Он был уже в другом мире — далеко от ксендзова дома и от этого города.

Как пьяница с перепою не отдает себе отчета в том, что утратил ясность мыслей и верное ощущение времени и пространства, так Бенцион не осознавал, насколько он изменился с тех пор, как он начал читать книги, беря их из шкафа у ксендза. Поначалу, конечно, его в этот дом манила большая коробка с папиросами, которую он всегда мысленно видел перед собой, как заблудившемуся путнику мерещится в ночи огонек, жилье человека. Но понемногу жажда познания, в нем таившаяся, слилась с неизбывным табачным голодом, и все это вместе как цепями приковало его к маленькой комнатке Марты. То, что он спал с толстухой в любое время, когда она просила его о том, было для него своего рода платой за папиросы, вкусную еду и книги, которые она не мешала брать ему, любую, какую захочет! Выбирал он книгу случайно, то привлеченный золотым шрифтом на обложке, то тиснением на кожаном переплете. Но стоило ему начать читать, как он сразу же попадал в другой мир, и со временем миры эти у него все перемешались, дядя Том оказывался в пространстве рядом с Франциском Ассизским, а потом оба они переходили в чудную вселенную Баруха Спинозы. Все эти миры, вначале чужие ему, заставляли потом волноваться, тревожиться за них, отдавать им мысли и душу. В тесной комнатке Марты над горою подушек Бенцион возносился до самого неба и выше небес, и его утешало и радовало, что и Франциск Ассизский был таким же бедным, почти что нищим, как сам он, Бенцион, а когда в этом хаосе прочитанного он вдруг узнал от Спинозы, что существует некий такой «универс», в неисчислимое множество раз огромней нашего мира, в котором живет и он, Бенцион, и Файтл-портной с подмастерьями, и весь штетл [1] с улицами, синагогами, базаром, костелом,— он представил себе, что там, в этом барух-спинозовском универсе, теперь обретаются Франциск Ассизский и дядюшка Том, и попали туда они, в бездонную высь, потому

[1] Штетл — местечко *(идиш)*.

лишь, что были они бедняками и, ничего при себе не имея, могли налегке вознестись к самой обители Бога. Это позже уже он узнал от того же Спинозы, что Бог вовсе не на небе живет, а что весь универс — это и есть Бог. Читая Баруха, Бенцион верил каждому слову, которое понимал он или не понимал. Как же иначе, ведь это Барух сказал, чуть ли не дядя его родной, мамин брат!

И вдруг — потрясение всех вселенных, мира книжного и мира окрестного. Марта шепотом объявила ему, что беременна, что у него, у Бенциона, будет теперь свой ребенок. Но только с ребенком этим ей придется бежать. Как — бежать? Куда — бежать? Да куда глаза глядят... Но ведь ребенок, она же сама говорит, его? А ему, Бенциону, как быть теперь? Если раньше он был свободен и беден, как Франциск Ассизский или дядюшка Том в своей хижине, то теперь Марта носит в себе его ребеночка, а сама бежать собирается. И даже сказать не желает куда. И Бенциону от всего этого очень страшно. Будь мама жива, он пошел бы к ней и спросил бы, что делать. С мамой он не стыдился бы поговорить, да и с отцом тоже, пожалуй, но отец умер где-то в далекой Сибири, куда отправили его по этапу... Файтл? Может быть, с ним посоветоваться и с ребятами-подмастерьями, недаром же столько песенок вместе пропето...

Стояло знойное лето, самая что ни на есть пора, когда тихопомешанные впадают вдруг в панику, в неосознанный ужас и помутненный их разум отказывается понимать: что и где происходит с ними? В такой-то вот день Бенцион, ничего не сказав толстой Марте, вышел из дома ксендза, озабоченно озираясь по сторонам. С собой прихватил он лишь горсть папирос из коробки.

В пошивочной, куда влетел он, как буря и вихрь, водя по сторонам блуждающим взором, сразу смолкла, оборвав свой стрекот, машинка, а иглы у подмастерьев так и застряли в стежке. Файтл по привычке смахнул размотавшийся на плече коленкоровый метр и, взглянув исподлобья на гостя, произнес полным сомнения голосом — полным сомнения в том, что явился именно тот человек, за которого он выдает себя:

— Да-а-а? Блудливый котенок явился? Не в Петербурге ль шататься изволили? Царские поместья обозревали? Или, может быть, молодой человек, от призыва скрывались?

Бенцион молчал, присев на обычное свое место, потом достал не спеша из кармана сломавшуюся там папироску, небрежным жестом оторвал прозрачную полоску от гильзы, послюнил ее и склеил табачный обломок. Прикурил, глубоко затянулся и, выпустив облачко дыма, сказал наконец:

— Кто из вас слышал что-нибудь про Баруха Спинозу?

Один из парней, сидевший на самом углу стола, скособочившись на портновский манер и кивая головой в такт каждому шажку иглы, этак поиграл плечами и отозвался, уличая, не без удовольствия, Бенциона в невежестве:

— Ты, ха-ха, Бенцион Второй, имеешь, конечно, в виду Баруха Шульмана, того самого, что стрелял в варшавского губернатора...

Сказав и этим как бы исчерпав тему, парень победоносно оглянулся вокруг себя и, добивая, как ему казалось, Бенциона, даже песню запел про Баруха Шульмана: знай, мол, наших! Бенцион, чего он никогда прежде не позволял себе, прервал его, вдруг заорав:

— Ты, говно! В виду я имею как раз Баруха таки Спинозу. Того самого, что написал про универс.

Файтл, впервые видевший Бенциона в таком возбуждении, рубанул рукой воздух, подавая знак подмастерью, чтобы тот заткнул свой фонтан, а сам угрюмо пробормотал себе под нос:

— Ни с того ни с сего — нате вам: верзн! Верзн на нашем добром идиш означает «блевать», так с чего б это вдруг? Пусть верзнают враги наши, из себя изверзая все, что съели сегодня, вчера и весь год миновавший...

— Никакое вовсе не «верзн», а «универс»! — так и подпрыгнул Бенцион на стуле. Файтл, взглянув на помощников, повертел молча пальцем у лба, и вдруг всем им стало очень жаль Бенциона. Все трое смотрели на юношу и качали головой: а, подумать только, что стало с человеком, пока он где-то там пропадал! Бенцион же, затянувшись поглубже и заметив, как непривычно тихо в пошивочной, заговорил:

— Вы-то, ясное дело, уверены, конечно, что каждый из вас, и я вместе с вами, и все люди на этой земле — мы и есть мироздание? Говно все это, вот это что!

И шито говняными нитками. Вам небось кажется, что солнце, луна, звезды и все остальное там вэйсэхвос — это и есть вселенная, космос? Как бы не так! Плюнуть и растереть — вот что все это! Знать бы вам, что такое есть универс! Космос! В универсе, в космосе — целые вселенные таких вселенных, как наша вселенная!

— И что же, во всех этих самых вселенных есть люди? — недоверчиво, но примирительным тоном спросил подмастерье, желая показать Файтлу, что тот прав, что не напрасно называют Бенциона в городе чокнутым.

Но Бенцион опять пришел в ярость, ему не дают, ему здесь мешают говорить! Выждав, он рассерженно отозвался:

— А эти все, по-твоему, все эти, что тут живут на земле,— это, по-твоему, люди?

— Смотри-ка, а он не так глуп, он ведь толк говорит.— Файтл снял и снова накинул себе на плечо размотавшийся метр.— В каких только школах набрался ты этого, Бенцион?

Выпустив две упругие струйки дыма, Бенцион раздумчиво, словно себе самому объяснил:

— Бог,— учит нас Барух,— это бобэ-майсэс, бабушкины, как говорится, сказки. Универс, космос — вот что такое Бог!

— Ну и ну! Выходит по-вашему, что Бог и есть этот самый верзэр или как ты еще его называешь...

— Космос! — подсказал подмастерье.

— ...или как ты еще его называешь. И что, такое у этого верзэра огромное брюхо, что вмещает все-все сотворенное Богом? И он не лопнет? — Файтл состроил ехидную мину.— И как теперь с Ним обстоит, с нашим Небесным Отцом, да не во грех мне будь Он здесь упомянут, с Ним уже все, покончено? Он не нужен уже? «Не годен», как врачи говорят на призыве? Твой покойный папаша, Бенцион Первый, все царя собирался сбросить, а сынок его, значит, Бенцион Второй, самого уже Бога свергает?

— Бог не сидит в Петербурге,— отвечал Бенцион,— его с трона не скинешь. Зато в космосе нету Сибири.

— Но есть ад, чтоб ты знал, есть гехенем! И за речи такие очень больно стегают там железными прутьями. Новое дело, верзн, Барух, все бы напасти на его голову, прости меня, Господи...

Очень напугали разглагольствования Бенциона обоих парней-подмастерьев. Ни о чем таком от него они прежде не слышали. Выходит, пока он пропадал где-то, он якшался с теми типами, с подстрекателями, что собираются на свои сходки в лесах и призывают там всех подряд к бунту и стачкам. Ну, понятно, яблочко недалеко от яблоньки падает... Да, пошел, значит, наш Бенцион по кривой дорожке родителя, и дай Бог, чтобы так же не кончил дни свои, как отец...

Файтл, любивший послушать, как поет этот юноша, и полюбивший его самого больше, можно сказать, самой жизни своей, Файтл был теперь о Бенционе мнения совершенно другого. То-о-о, что молокосос проповедует всякую крамолу и ересь,— это б ладно еще, это город, видимо, прав: не все дома у парня. Но ведь тут уже пахнет другим, тут, надо так понимать, дело идет к завершению всей этой истории с ксендзом, когда тот на глазах у людей, посреди площади на базаре гладил Бенциона по его дурной голове, тут, по всему судя, быть вскорости сопляку настоящим мешумедом, а?

Ксендз, наверно, прячет и содержит Бенциона в костеле, обучает там его всяким молитвам и прочему, а потом окунет его, как у них полагается, в какую-то, что ли, бочку, ополощет, смоет с него остатки еврейства — и выйдет тот полным гоем, хоть свининкой, парень, кормись!

К Файтлу в пошивочную Бенцион, переполненный всем, что узнал в тесной комнатке Марты, шел с уверенностью, что стоит им только выложить все, портному и его двум подмастерьям, про универс и про космос, а заодно и про то, что у него, Бенциона, теперь будет свой ребенок, может быть, сын,— и они тут же сядут думать, кумекать и, поразмыслив, дадут ему какой-нибудь дельный совет насчет того, как впредь ему быть со всем этим: и с универсом, и с ребеночком... Но до этого не дошло. Файтл грубо его оборвал, сперва разразившись гневной и издевательской речью, а потом — молча сев за свою машинку и больше не желая его замечать. Молчали и оба помощника Файтла, и это было обидней всего. Все в городе

подмастерья, которых знал Бенцион, были оторвами, бунтарями и забастовщиками, а забастовщики никого не боятся. Чего же эти-то испугались? Кого им бояться, Файтла? Что он, отправит их, что ли, в Сибирь? Нет, не так представлял себе встречу с друзьями Бенцион, когда уходил от Марты, покидая дом ксендза.

Тяжелое и тоскливое чувство охватило его. Он совсем, совсем одинок, никто, ни один человек на свете не хочет его понимать, даже ребята у Файтла в пошивочной, с которыми столько песен спето... А сам Файтл? Пригнулся к машинке — и молчит вон, молчит... Не попрощавшись, не пожелав им даже обычного «помогай Бог», Бенцион поднялся и вышел...

На улице еще стоял зной, но солнце уже подернулось желтоватой предвечернею дымкой. В ранних сумерках в темнеющем воздухе роились, жужжали стаи, полчища сверкающих оводов. Владельцы лавчонок и магазинчиков сидели или стояли перед распахнутыми настежь дверьми, и Бенциону показалось на миг, что все эти люди спят сидя и стоя. Никто на него, одиноко шагавшего посередине улицы, и не взглянул. Никого у него в этом городе больше нет, ни Файтла-портного, ни ребят-подмастерьев, которые опять там, наверно, запели уже, но голосов их он с этого дня никогда, никогда не услышит. Да и Барух-то, Спиноза этот с его универсом и космосом стал вдруг далеким-далеким, унесся куда-то, бросив его, Бенциона, совсем одного. Марта вон говорит, что понесла от него. Что она от него понесла, что она могла взять у него и куда понести? И что она все время прячет, таит от него... Мухи и оводы кружили, жужжали над самым лицом, Бенцион пробовал их отгонять, пробовал прихлопнуть в ладонях. Хлопки получались гулкие, но пустые; промелькнув у глаз, истязатели разлетались, опять возвращались и дразнили его. Он побежал, но они погнались за ним, кружа и жужжа ему в самые уши: «Ну и где он, твой дядя Барух, он тоже бросил тебя?»

Бенцион поднял голову. Желтизна сгустилась, и теперь взгляду не на чем было остановиться. Неужто они в самом деле спят, эти люди, сидящие и стоящие в дверях своих лавок? Ждут клиентов, видят во сне покупателя? А может, он, Бенцион,— единственный, кто здесь не спит? Ну что ж, он пришел сюда к ним от Марты, к Марте вернется, Марта сообщила ему под большим секретом, что понесла от него. Он знает, что прячет она от него, она прячет ребеночка, его, Бенциона, ребеночка. А он к ней не может пойти и сказать: «Отдай, Марта, это мое!» Ксендз, конечно, дома сейчас, он сорвет с Бенциона капоту и начнет бить его за украденные папиросы. Вот, еще осталась одна! Бенцион закурил и хотел дымом отогнать привязавшихся оводов. Дым как будто только их подзадорил, и они затеяли с Бенционом веселую игру в догонялки и прятки. Ему бы удрать от них, спрятаться в доме ксендза, но ксендз его изобьет, а Марта будет смотреть и плакать. А плакать-то ей и нельзя. Вот если бы дядя Том был здесь или где-то поблизости, Бенцион пошел бы к нему, переждал до утра, пока ксендз уйдет из дома, а потом бы отправился к Марте...

Мучительное желание покурить и увидеть Марту привело его к дому ксендза, но страх не дал зайти. Теперь он думал, что Марта рассказывала ему, Бенциону, про свою беременность уже очень когда-то давно, что с тех пор успела она, наверно, убежать из города, как и собиралась. И стоит ему только показаться на пороге, ксендз схватит его за ворот капоты и жестоко, ужасно изобьет, считая, что это из-за него, Бенциона, Марте пришлось бежать, бросив ксендза, оставив его без еды и без экономки. Ни приблизиться к страшным дверям, ни уйти Бенцион не решался. Так прошел и кончился день, потом еще один день и еще один. Он прятался по-за углами домов, выслеживал, ждал, но по утрам даже, когда ксендз отправлялся в костел, Бенцион не смел подойти, постучаться в дверь — он боялся уже не застать Марту, а вместе с ней и ребеночка.

А лето все не кончалось, и зной все держался. В липком воздухе люди и животные шатались как пьяные; Бенцион, изголодавшись без Марты и без табака, ходил как в тяжелом угаре. Наконец, в какое-то утро, он набрался скорее отчаянья, нежели смелости, и только ксендз вышел из дому — подошел и толкнул рукой дверь.

— Ты к кому? — преградила путь ему, став на пороге, старая женщина.

— К Марте,— пролепетал Бенцион.

— Никакой тут нет Марты,— зло сказала старуха и хотела было захлопнуть дверь.

Но ответа ее Бенцион не слышал. Что-то бросило его внутрь, в комнату

с книгами, с огромной резной на столе коробкой, из которой он столько раз брал папиросы. Он оттер старуху плечом, прошел в комнату и сгреб со стола полную доверху папиросницу. Старуха заверещала, кинулась хватать вора, Бенцион смахнул папиросы в полу капоты, бросил коробку под ноги разоравшейся бабы и побежал — в таком ужасе, словно старуха повисла на нем и не отставала и гналась за ним, сидя у него на спине.

Остановился он далеко за городом.

Озираясь вокруг и не найдя, на что стоило бы смотреть среди обморочных полей, он присел на камень и стал выбирать из приподнятой полы папиросы, аккуратно их укладывая в рядок. Каждую папиросу брал двумя пальцами, обнюхивал ее, вбирая дразнящий, щекочущий дух табака,— словно рассыпал букет и вдыхал ароматы разнообразных цветов. Вот это богатство! Он почувствовал, что должен с кем-то радостью своей поделиться. Поднял глаза к раскаленному желтому небу, струйка зноя скатилась у него по спине.

— Марта! — позвал он, напрягая взгляд, чтобы лучше рассмотреть в небе то, что он там увидел. А увидел он, что Марта возносится выше и выше, в самую даль, и, поднимаясь, уменьшается и уменьшается, и сквозь прозрачную спину ее с двумя оттопыренными по бокам локтями виден ребеночек, которого Марта держит там на руках, улетая и унося с собой,— ребеночка, его, Бенциона, ребеночка.

— К универсу, Марта? — крикнул он, и голос у него сразу сорвался.— Марта, не кради у меня ребеночка! Я все равно найду путь к универсу и разыщу тебя там. Слышишь, Марта?

Марты больше не было. Вместе с ребеночком превратилась она в светозарное пятнышко, и пятнышко это становилось все крошечней, неприметней. Наплывшее облако пушком ваты промакнуло пятно, потом и от облака ничего не осталось. Зной стоял чудовищный, но ледяной ужас сковал Бенциона.

— Я найду тебя, Марта! — он выбросил в небо кулак. Он поднялся, закурил папиросу и, напоследок затянувшись покрепче, снял с себя капоту и разбитые ботинки с ног. Сложил в ботинок горсть папирос, связал оба шнурка и медленно осмотрелся, как заблудившийся путник отыскивает дорогу. Справа тракт, слева поля... И вдруг, словно выбрав наконец направление и прикидывая, долго ль еще идти, он посмотрел исподлобья наверх, в оплывающее жаром небо.

— К универсу! — гаркнул он.— К универсу!

И, перебросив через плечо оба связанных пропыленных ботинка, пошел вдаль по тракту, прочь от города, дальше и дальше...

Ядвига

Историю эту я в сотый раз вспоминаю и снова рассказываю себе самому, как случайному, бывает, попутчику пересказываешь чью-то жизнь, невеселую или, напротив, забавную повесть, услышанную, в свою очередь, столь же случайно от попутчика где-нибудь в поезде, ночью, в пути.

Мне, реалисту, как говорится, до мозга костей, реалисту во всем и при любых обстоятельствах,— мне самому почти невозможно поверить в то загадочное, даже, пожалуй, таинственное, чем, несомненно, отличаются пережитые события, я и до сих пор продолжаю искать хоть какого-то сколько-нибудь разумного объяснения, истолкования этой долгой истории.

По совершении над крошечным моим тельцем известного обряда обрезания было дано мне отцом моим имя — имя хасидского рабби, совпадающее с именем умершего к тому времени моего деда, и назвали меня ни больше ни меньше: Авраам Иехошуа Хэшл. Лет до четырнадцати-пятнадцати я шел проторенной стезей благочестивейших моих предков и сам на себя возложил, после бар-мицвы [1], все тяготы, накладываемые на хрупкие плечи еврейского юноши нашим строгим Заветом. Вскорости же я, однако, почувствовал, что ярма сего не снесу, и, с дороги прямой своротив, пошел, как говаривали про таких, «писать в поле вензеля». То есть, переутомясь и наскучив проблемами «бодливого быка» и «яйца, снесенного в день субботний», я направил стопы мои в область наук исторических, спервоначалу все же — на ниве нашей, еврейской. Но мне — а к тому времени я по горло успел уже

[1] Бар-мицва — обряд, символизирующий достижение религиозного совершеннолетия *(иврит)*.

нахлебаться похлебки иешивной [1],— мне в еврейской истории не хватало, увы, многих звеньев, в основном, полагаю, по причине привнесения в область сей строгой науки талмудической формулы, по которой не имеется в Торе понятия «раньше» и понятия «позже», так что в тягость не меньшую, нежели Заповеди, стала мне история евреев, и переметнулся я в историю общую, так сказать, всечеловеческую, дабы потом, верил я, через познание поворотов событий всемирных понять ход времен уже собственно наших, еврейских. Вот эти-то штудии и сделали из меня железного рационалиста, а вскоре и наипреданнейшего приверженца Торы от Маркса. Точно так же как, обучаясь в иешиве, я ревностным усердьем моим думал приблизить пришествие нашего Мессии, точно так жаждал теперь я все в этом мире перевернуть вверх дном, чтобы мир наконец стал, что называется, «человеком приличным». Притом, что мне хорошо уже было известно, чтó за штучка сей человек, какие злобные инстинкты и извращения таятся в этом существе, чей принцип бытия сравним разве со вздорной затеей играющих малых детей, что строят дворцы из песка и тут же их рушат. Марксистское мое святошество не менее было фанатичным, чем вера и благочестие прямых моих предков и раввинов-дедов, но при этом имя мое, трижды еврейское мое имя Авраам Иехошуа Хэшл носил я с гордостью, с тем же, может быть, чувством достоинства, с каким разные неевреи берегут дворянские свои имена, помнят родословное древо, хранят фамильный герб или меч.

Как отец мой, бывало, рассказывал, все полные мои тезки, жившие до меня, то есть каждый прежний Авраам Иехошуа Хэшл обязательно был представителем семьи или рода еврейского духовенства и цадиков [2]. Первым в родословии отца стоял цадик из Апта, Авраам Иехошуа Хэшл; вторым — реб Авраам Иехошуа Хэшл из Меджибожа; третьим — адмойр [3] и ученый муж Авраам Иехошуа Хэшл из Тернополя; и четвертым — цадик Авраам Иехошуа Хэшл из славного места Копичинца.

Следует признать, что, даже став истинным еретиком, отрицающим Бога революционером, готовым крушить любой установленный порядок в этом мире несправедливостей, я, знакомясь с кем-либо, всем тоном старался подчеркнуть, акцентировать мое имя, как это всегда делают снобы, рожденные во дворянстве. Порой я ругал себя за эту мою слабость — хвастать хасидским происхождением, пробовал стать выше этого, все приписывал естественному желанию нравиться женщинам. Может быть, и случайно, но всегда встречались мне женщины, чью чувственность возбуждали, дразнили титулы их возлюбленного, офицерский мундир или благородное имя. Мое же, трижды еврейское — Авраам Иехошуа Хэшл! — звучало для женщин, с которыми я ложился в постель, словно имя какого-нибудь там графа Замойского или Чарторийского. Одна из красавиц, сама, правда, из семейства раввинов, сменившая, как и я, веру предков на веру коммунистическую, в интимнейшую минуту страстно, помню, прошептала мне на ухо... мое полное имя и с жаром призналась, что это, должно быть, все вместе взятые прежние цадики, накопившиеся в моем роду, изо всех сил стараются через меня, предоставляя ей редкостный случай вознестись в небеса, прямо в рай наслаждений.

Оккупировав часть Польши, в которой я жил, нацисты ограбили меня — отняли мое имя, мою родословную. У них для меня имя было короткое: jude. Этим названием они пытались принизить меня, низвести до уровня племенного животного, изъять из сообщества личностей, отдельных человеков, людей. Мне недостало духовной мощи благочестивых предков, умевших при подобных жизненных обстоятельствах стать выше своих истязателей и выше страданий, не поступаясь ни малейшей толикой достоинства. И притом, что вера в существование Бога давно во мне испарилась, я все же поднял лицо мое к небу и сказал Ему: если нацисты Тебе предпочтительней, чем я, Авраам Иехошуа Хэшл, получивший имя сие в честь нескольких поколений цадиков и хасидских раввинов, если Ты до сих пор не содеял так, чтобы у злодеев отсохли руки, терзающие Твой народ, то я выбрасываю из бытия моего самое еврейство мое — и, может быть, христианин в лице моем будет Тебе милей.

Я обратился в поляка, стал католиком, правда умершим несколькими годами раньше и оставившим миру паспорт на имя Эдварда Потоцкого. Этот паспорт от

[1] Иешива — высшее религиозное учебное заведение *(иврит)*.
[2] Цадик — праведник *(иврит)*.
[3] Адмойр — титул хасидского раввина *(иврит)*.

него я и принял в наследство вместе с именем, которое у поляков вызывает восторг и чувство преклонения; кроме паспорта, у меня была еще и славянская внешность: прямые светлые волосы и голубые с зеленоватым отливом глаза. Теперь, знакомясь с людьми, а тем паче с женщинами, я умело интонировал, ловко подчеркивая — точно так, как некогда свое трижды еврейское,— мое новое имя, звучавшее скорее как титул: Потоцкий. Дворянство — это всегда дворянство, и моя новая принадлежность к высокому роду благоприятнейшим образом воздействовала на женщин, чьих объятий я добивался и связь с которыми, что весьма было немаловажно, укрепляла мою безопасность. Одна из женщин, Ядвига звали ее, с таким жаром восторгалась моей родословной, точно сама ее жизнь зависела от моего дворянского имени.

Ядвига была совершеннейшим типом польской девушки: золотые, почти до полу, когда она их, бывало, распустит, тяжелые косы, вздернутый носик, изысканная, исполненная спокойствия речь. Она была медицинской сестрой и не снимала с груди своей черного эбонитового креста. Идя с ней по улице, мог я не опасаться за себя, а уж спать с ней мне было — как с волшебной камеей, мир окрестный просто переставал для нас существовать.

В одну из жарких таких ночей Ядвига и наградила меня за мужскую стойкость мою титулом.

— Барон Потоцкий,— шепнула она,— ты беспримерен.

Такое выражение любви и восторженности — шутка ль, барон! — означало для меня больше, нежели удовлетворение снобистских амбиций, которых я так и не сумел побороть в себе. Барон, барон Потоцкий в постели знойной, раскаленной, как магма, польки Ядвиги? — да с нею я пройду сквозь любые опасности, подстерегающие евреев в этом аду. Я больше не сомневался, что Ядвига — мой талисман, который убережет меня, сохранит мне жизнь.

Однажды на рассвете, после ночи, до тяжелого опьянения наполнившей любовью наши тела, Ядвига прижалась и, губами лаская мне мочку уха, спросила с затаенной женской ревностью в голосе, случалось ли мне спать с еврейками. Я так и выпрыгнул из моего полусна, точно палкой по голове оглушенный.

— Что? Я — с еврейками? Когда есть на свете такие красавицы, как Ядвига?

— Ты уснул и что-то во сне говорил, это был идиш,— отвечала она так тихо, словно боялась белых стен вокруг нас.

— Тебе померещилось,— весь напрягся я,— может быть, я что-то там буркнул на языке этих диких швабов, что-нибудь из постоянных их «ферфлухтер» или «доннерветер», что доносятся со всех сторон, куда ни пойдешь.

— Да нет же,— заупрямилась Ядвига,— когда я жила с родителями, у нас соседи были евреи, я легко отличаю идиш от немецкого.— Этим, возможно, для Ядвиги, с ее золотистыми косами до полу и эбонитовым крестом на груди, эпизод был исчерпан, потому что она тут же меня обняла и еще раз одарила женскою милостью так нежно и с такой самозабвенностью, точно я был последней ее надеждой на свете. А на самом деле ведь это она, Ядвига, была моей надеждой на жизнь, эта полька с ее юным, божественным телом, словно сам Создатель ее сформовал как образец вечной женственности и любви на земле — любви ненасытной и неостывающей.

Как знать, может быть, во мне именно нашла она своего мужчину, что, впрочем, необязательно означает — единственного. Но несколько слов ее о том, что я говорил во сне по-еврейски, стали началом моих кошмаров, недоверия и подозрений. Женское любопытство не знает границ. Если застряла в голове ее мысль, догадка, вопрос, не еврей ли я, то она пойдет на все, но доберется до правды. Страх, что такое может случиться, не давал мне, как прежде, быть с ней откровенным, распахнутым, и, сам того не желая, я замкнулся, стал чураться ее — даже в постели. Только б чем-нибудь не укрепить ее подозрений! И насколько раньше я весь отдавал ей себя, свою душу и тело, настолько же стал я теперь осмотрителен с ней, осторожен, пускался на хитрости, то и дело придумывая разные уловки, с единственной целью: сбить с толку, убедить ее в том, что я не еврей.

Эдвард Потоцкий, польский дворянин, становился все менее надежной для меня защитой. Ядвига, конечно, и виду не подавала, что не во всем уже верит мне, во взгляде ее, я мог бы поклясться, появилось нечто такое, чего не было прежде, до самого того злополучного утра, и во мне постепенно созревала мысль: с Ядвигой надо расстаться. Раньше мы оба так заняты были нашей общей постелью, что ни

разу, кажется, не удосужились перемолвиться о том, что́ вокруг нас, за стенами дома, происходит, что́, к примеру, творят нацисты с евреями. Ядвига для меня была женщиной, только женщиной, и такое положение вещей меня, в общем, устраивало бы и впредь и даже было б спасительным, если бы знать, что у нас с ней никогда не дойдет до сцен ревности, до взаимных упреков. Но в совместной жизни мужчины и женщины это почти неизбежно. И в какой-то момент ее может прорвать, и тогда она бросит мне в лицо это слово: еврей. Да, решил я, надо бежать.

Это было в последние месяцы 1940-го. Евреев по всей Польше заперли в гетто. Коренное, как это называется, население заключило с нацистами что-то вроде негласного перемирия, и жизнь потекла почти нормальная, насколько, разумеется, это возможно в условиях войны. Но эта почти нормальная жизнь была уже не для меня. В душе польского дворянина Эдварда Потоцкого поднялась своя внутренняя стена, каменная ограда некоего гетто, отделенного и от гетто общееврейского, и от мира «арийского». Порой мне казалось, что я должен открыться Ядвиге и покончить с мучительными сомнениями, стать с ней снова уверенным и свободным, как прежде. И тогда не придется мне пускаться в опасные странствия, я останусь здесь, с моею Ядвигой, которая так привязалась ко мне, прилипла, можно сказать, как только умеет женщина прилепиться к мужчине, пробудившему в ней страсть к плотскому наслаждению. Нет, потерять меня она не захочет. Оба будем мы оберегать мою тайну, если надо — еще почти целый год, до самой следующей осени, когда, как считают многие, война будет закончена... Однако подозрения и страхи росли, прорастали в душе, как бурьян, днем лишали меня уверенности в моей безопасности, а по ночам, рядом с Ядвигой, холодом страха сковывали все мое существо. Я понимал, что Ядвига не может этого не замечать. Ее чувства обострены как нож, и она, конечно же, знает, догадывается, что со мной происходит. Знает, но вот ведь молчит. До каких же пор мы будем играть в эти страшные прятки?

Я, наверное, пребывал в состоянии истерическом, в том состоянии, когда страхи и мнительность сильнее всякой логики, и вот, точно так, как я одним махом отсек от себя свое имя Авраам Иехошуа Хэшл и стал тем, кем я был сейчас, Эдвардом Потоцким, с той же решимостью положил я бежать от Ядвиги, без всяких там долгих прощаний и слез. Бежать. Перебраться на другой берег Буга, занятый Красной Армией.

При всем том, что после раздела Польши моя вера в страну Октября пылилась в руинах, а до меня дошло наконец, что Советский Союз вступил в сговор с нацистской Германией, я все же не сомневался, что под советской оккупацией моя жизнь будет в меньшей опасности, чем под оккупацией гитлеровцев рядом с Ядвигой. И однажды утром, после очередной тревожной и тягостной ночи моих диких, истерических и нелепых попыток окольным путем, всяческими уловками, обиняками убедить Ядвигу в том, что я не еврей, я вышел, напоследок еще раз оглянувшись, из ее дома и больше в него не вернулся уже никогда.

Сегодня-то кажется мне, да нет, я просто уверен, что в последнюю эту безумную ночь Ядвига что-то почувствовала, догадалась, что со мной происходит нечто особенное, чего не было раньше. И она как будто решила по-своему, на свой лад лишить меня жизни и всю ночь громким голосом возносила молитвы о том, чтобы мы тут же, сейчас, в эти огненные мгновения умерли вместе, а живой и сладостный дух нашей любви вознесся бы в беспредельность и вечность. Как ребенок, лепетала она, уговаривая меня согласиться на это, а я, рационалист, вчерашний марксист, собравшийся уже от нее дать деру, отвечал ей:

— Мечта хороша тем, что она мечта — и не более. Единственное, что в живом человеческом теле имеет ценность,— это сама жизнь, и в ту минуту, как жизнь кончается, с ней кончается все: Бог, мироздание, вечность, Ядвига и Эдвард Потоцкий.

Я решил — и ушел не простившись. Я предал Ядвигу, подарившую мне самое возвышенное, что один человек может дать другому,— свою любовь. И в минуту ухода, и позже, уже добираясь трамваем к вокзалу, и потом, стоя на перроне в ожидании поезда, я пребывал в сомнении, нет, скорее в отчаянье: что же это я делаю? Происходящее ужасало меня, но я помнил и знал, что это не первое мое предательство: я предал своих родителей, я предал свой род и свое имя, что ж, предательством больше, предательством меньше... Нет, это ужасно!

Три кошмарных нескончаемых дня пробивался я к Бугу. В пути я отчетливо понял, что план мой — самоубийственный. Повсюду рассказывали, как опасен переход через Буг, большинство перебежчиков гибнут, настигнутые немецкой пулей или встречным выстрелом красноармейца. Ах, зачем я ушел от Ядвиги, ее польское происхождение, ее католичество, а в придачу еще мое дворянское имя — все это вместе обещало такую безопасность, о которой многие и мечтать не могли.

Мне очень хотелось вернуться назад, к моей Ядвиге, но явиться сейчас к ней означало просто-напросто выдать себя, прийти и прямо признаться, что да, я — еврей. А она, оскорбленная, конечно, моим предательством, бегством, она в лучшем случае прогонит меня. И будет права. Мне только придется выслушать кучу упреков и обвинений, и я понапрасну подвергну себя смертельной опасности.

Есть такие в мире дороги, где на каждом шагу перед тобой встает стальная стена, а обратный путь перекрыт, назад ходу нет.

В селах, расположенных ближе к реке, нацисты оставляли только тех крестьян, которые соглашались хватать перебежчиков и передавать их в руки гестапо — хватать всякого, кто попросит переправить его на другой берег или сам попытается отвязать лодку. Бидон керосина или килограмм сахару — таков был обычный тариф, цена одной жертвы. И все же я, не имея пути к отступлению, шел вперед и вперед, как идет сомнамбула по самому краю обрыва в лунную ночь, когда воздух наполнен магнитными волнами.

Стояли короткие зимние дни с трескучими морозами и наметанными под самое небо сугробами. Я не знал точно, сколько идти мне еще, приближаюсь ли я к берегу реки или, может быть, удаляюсь в противоположную сторону, в заманившую меня снежную беспредельность. Сила, толкавшая меня в спину все дальше и дальше, привела меня наконец к какой-то избе на околице села, что посреди сыпучей пустыни. Впрочем, могло мне и показаться, что дом стоит в одиночестве, но вокруг не было слышно ни собак, ни вечерних в этот час петухов. Я постучал в ставень раз, другой, третий, и сонный женский голос по-польски спросил:

— Кто стучит? Кого надо?

— Я заблудился, потерял дорогу в этой чертовой темноте,— отозвался я упавшим, сразу ослабшим голосом.

Она отворила, и на меня пахнуло теплом, смешанным с женским духом.

— Дети спят,— сказала она и отступила внутрь дома, точно ожидая чего-то еще.

— Я шел и чувствовал, что сейчас усну на ходу, в такой мороз я уснул бы навеки,— шепотом объяснил я, словно доверяя ей какую-то тайну.

— Еврей?

— Поляк и католик. Мое имя — Эдвард Потоцкий.

— Потоцкий? — Она аж задохнулась.

В доме стояла тишина, густая, теплая, и в этой тишине разлился вдруг розоватый трепещущий свет. Это она, наклонившись, раздувала в печи еще тлевшие под золой угли. В розовом отсвете увидел я женское лицо, и две длинные косы, переброшенные через плечо, и полные груди, округло выкатывающиеся из рубашки. Ни слова не говоря, женщина засуетилась у чугунков, потом в разгоревшуюся печь поставила глиняный кувшин. Уже подавая мне подогретое молоко, прямо в кувшине, она едва слышно сказала:

— Согрейтесь немного.

От древесных углей расходился какой-то особый, огненный свет. Стоя спиной к источнику этого света, в рубахе по щиколотки, женщина напоминала святую, вернее — изображение святой: стройная и ростом выше обычной женщины. Я пил молоко из кувшина и посмотрел через край и внезапно увидел перед собой Ядвигу, две косы ее, перекинутые на грудь. И меня, как волной, вдруг накрыл, захлестнул женский дух, нежный запах Ядвиги, мной овладело такое чувство достоверности, абсолютной уверенности в том, что это она, моя Ядвига, что я боялся пошевелиться на лавке, куда я присел, было страшно, что видение растает, улетучится в воздухе.

Вдруг женщина приблизила свое лицо и сказала:

— Я дам тебе место, и ты отдохнешь до рассвета. Знаешь, эти швабы так и рыщут, с первыми петухами...

Как-то сладостно растягивая слова, она говорила со мной голосом, наполненным густой негой, как это бывало с Ядвигой в минуты, когда она очень хотела меня.

Женщина стояла, наклонясь ко мне, и я глазами искал между двух полных ее грудей черный эбонитовый крест, но креста не нашел, и только томящий ожиданием дух шел оттуда, замутняя сознание. Она тронула меня за плечо, я весь задрожал.

— Пойдем,— шепнула она,— ты устал.

— Да, Ядвига,— невольно вырвалось у меня,— я и вправду смертельно устал и хочу скорее к тебе в постель...

В ужасе спохватившись, я начал оправдываться:

— Простите, в голове помутилось...

Женщина, словно не услышав сказанного, протянула мне руку. Я взял руку ее, и она повела меня с такой осторожностью, как если бы я был слепым, а в доме стояла бы беспросветная мгла. В боковой комнатке — вот там и в самом деле оказалось очень темно, и темнота отдавала овчиной и мешками с мукой — ноги у меня утонули вдруг в чем-то мягком, от неожиданности я пошатнулся и упал, да так и остался лежать на полу, как на расстеленной широченной кровати.

От бесконечных опасностей и напряжения последних дней я был слишком утомлен и возбужден, чтобы сразу уснуть. Потом усталость как-то отодвинулась от меня, я открыл глаза и увидел, что в проеме дверей стоит женщина в длинной рубахе, и, как спьяну, позвал я ее:

— Ядвига, иди ко мне, иди, Ядвига. Я стосковался по тебе, по волшебному твоему телу, ну иди же.

Она припала ко мне, я почувствовал мягкую нежность ее полных грудей. В одно мгновение мы загорелись, вспыхнули пламенем, таким жарким, словно оба решили себя сжечь, уничтожить. Мы были два огненных факела, то ярко вспыхивающих, то ненадолго как будто гаснущих, чтобы вновь разгореться — ярче прежнего. Наконец мы совсем погасли и затихли, обессиленные, только услаждая еще друг друга долгими тягучими поцелуями. Потом женщина встала и ушла, и сквозь сладкую дрему я слышал за прикрытою дверью веселые голоса детей. Я уснул. Сон мой, наверное, был глубоким. Проснулся я от прикосновения.

— Я отправила детей в село, к знакомым,— сказала она и легла рядом, горя всем телом. Она не давала мне передохнуть, терзала, рвала меня на куски, требуя еще и еще, и опять, и снова. И снова разгорался я от ее пламени, а в недолгие минуты затишья она успевала мне что-то сказать, и короткие фразы ее сложились в печальную повесть: она не знает, вдова ли она теперь или жена еще своему мужу, которого забрали в армию перед самой войной, и с тех пор о нем ни духу ни слуху. Может быть, он погиб, а может, швабы его взяли в плен и отправили на работы в Германию? Спросить некого. У них двое детишек, близняшки, может быть, уже сироты. И вот сейчас, когда вдруг явился я, она всею душой благодарна Святой Деве Марии за ниспосланное с небес счастье, но эти швабы, они так и рыщут, и шарят по всей округе. Они охотятся на евреев и на контрабандистов-поляков, которые перебираются с того берега и шпионят в пользу большевиков. Да и жители на селе только тем и занимаются, что следят друг за другом, вынюхивают, во все суют нос. И хотя я поляк и католик, долго мне у нее оставаться нельзя, а то прознают в селе, и если когда-нибудь муж все же вернется, он топором отрубит ей голову, на глазах у детей.

Еще пять ночей и четыре дня она не отпускала меня. Днем ходила к реке, выясняя: как и что и какая там шляется нечисть. По ночам — сгорала рядом со мной, не переставая возносить благодарствия Святой Ядвиге за явленное свыше чудо, и этим чудом был я. Я понял, что ее тоже зовут Ядвигой и потому-то не очень она удивилась, когда я в первый раз назвал ее этим именем, болтнул как спьяну, что хочу к ней в постель.

В одну из ночей она проводила меня к реке и, прощаясь, залила мне слезами лицо, из последних сил сдерживая рыдания и горестно сетуя, как долго не кончается горе и как скоротечно счастье, похожее на ветер в поле: налетит и умчится.

Без особых опасностей и приключений я перешел по льду на другой берег, не услышав ни единого выстрела. Дошел до ближайшего штетла, где еще жили евреи. Тогда почти в каждом штетле еще жили евреи. Я представился им на идиш, назвавшись при этом Эдвардом Потоцким, чем вверг их в полное недоумение и, похоже, панический страх: если я говорю на идиш, которому, как известно.

в польских гимназиях не обучают, то какой же я Эдвард Потоцкий, а если это мое настоящее имя, то откуда он у меня, этот неподдельный кондовый мамэ-лошн [1], летучий, живой, безупречный? Да и вообще, с чего это вдруг являюсь я к ним в такие невеселые времена, когда люди, подобные мне, давно уже в Сибирь сосланы? Евреи старались не пускаться со мной в долгие разговоры, полагая, что и для меня будет лучше, если я поскорей доберусь до железнодорожной станции и направлю, как говорится, стопы свои куда-нибудь в глубь страны, в большой город, в Брест, например, или в Белосток, или в Лемберг, как тогда еще назывался Львов, и там уж мне будет легче разобраться с самим собой — с евреем по имени Эдвард Потоцкий.

Все страхи, какие существуют на свете,— одного общего происхождения, каждый страх вызывает колотун в сердце, ты весь напрягаешься, а потом обмякаешь. Не железнодорожную станцию отправляться искать хотелось мне, а улечься в сугроб и уснуть, уснуть навеки. Ах, зачем, зачем я сбежал от Ядвиги с ее черным эбонитовым крестом на груди? Рядом с ней мне почти ничего не грозило, мне было уютно у нее и спокойно, как младенцу на руках у матери. Рядом с ней я бы выжил среди этих пожарищ и страшных облав. А ведь я все время опасался, что на меня донесут и выдадут немцам. Она, девушка-христианка с косами до полу и крестом на груди, была моим талисманом, амулетом, камеей, но два-три слова на идиш, сорвавшиеся у меня с языка во сне, и моя истерия потом — вот что лишило меня покоя и уверенности в завтрашнем дне. Где в этих снежных пространствах искать эту железнодорожную станцию, не лучше ль вернуться к Ядвиге, пасть к ногам ее и просить прощения? Я бы что-нибудь мог ей соврать, и она бы, конечно, была рада поверить чему угодно и простить меня. Да, хорошо бы, но только вот как проделать весь этот обратный путь, снова пройти через столько опасностей? И что же, опять прятаться несколько дней и ночей в крестьянской избе, у той женщины, посреди снежной пустыни? С ней, конечно, было хорошо, сладко, но своей ненасытной, голодной, алчной любовью она просто-напросто изведет, погубит меня, как оно, несомненно, случилось бы, останься я там еще на какое-то время. Такая смерть — приятней, конечно, чем гибель от пули или под пытками, но итог ведь один: небытие. А что до Ядвиги, моей первой Ядвиги, то и она, притом, что девушка она добрая, сумеет ли она в самом деле простить мне мое предательство? После всего, чего лишилась она, после знойных наших ночей, нашей близости, нежности, почти неземной, неведомой на земле большинству мужчин и женщин, после этих утрат даже самая благородная любовница могла бы ожесточиться. И вот представляю себе: гестапо. И всего только несколько слов: «У меня там еврей засел, скрывается под фальшивой фамилией, называет себя Эдвардом Потоцким, пойдите заберите его, от вознаграждения за выдачу еврея отказываюсь...»

В Лемберге я повстречал двух бывших коллег, учителей, с которыми я когда-то работал в Польше, преподавая в школе историю. Я спросил совета у них, стоит ли мне, безопасности ради, объявить себя здесь, в новой для меня стране, Авраамом Иехошуа Хэшл Кригером или оставаться уж, как есть, Эдвардом Потоцким? Они дружески мне объяснили, что хрен редьки не слаще, что хоть то, хоть другое имя может меня в такие, как здесь сейчас, времена довести до беды, до гибели.

— Здесь мы с вами на Украине,— заметили они мне, а у щирых украинцев с поляками свой давний и совсем еще не закрытый счет. Запорожские казаки вам о чем-нибудь напоминают, пан Потоцкий? Ну а евреи, евреи в этих краях всегда оказывались меж двух огней — между украинцами и поляками, а теперь еще оказались между украинцами и большевиками. Если же мне оставаться Потоцким, то это, помимо прочего, вызовет у многих опасные для меня ассоциации с контрреволюцией. Так что самым разумным было бы сжечь мне свой «тамошний» документ, дабы не сочла меня власть советов фашистским шпионом, засланным для укрепления «пятой колонны»...

Времени на раздумья не оставалось, я спешно решил, что в такой ситуации мне следует стать... украинцем. Мои светлые волосы и мои голубые с зеленоватым отливом глаза, в которых ничего, кажется, от вековечной еврейской тоски не просвечивает, пригодятся, нужно только купить надежный документ. Все мое состояние было — двести долларов, страшно помятых и вытертых; за полста я выправил себе паспорт с настоящей моей фотографией, на имя Богдана Шевчука, уроженца города Тернополя, города, кстати говоря, где когда-то стоял во главе еврейской общины достославный Авраам Иехошуа Хэшл, именем которого я недавно еще назывался в еврейской моей ипостаси.

[1] *Букв.* материнский язык *(идиш)*.

Среди лембергских, ярко выраженных евреев мне было нетрудно выдавать себя за украинца, православного христианина, хотя ни украинским, ни русским я не владел. Новая моя родословная оказалась, однако, недолговечной: вскоре нацисты напали на Советский Союз, и людей, как сорванные бурей листья, взмело страшным вихрем, а вместе с другими взметнуло и понесло куда-то меня, украинца Богдана Шевчука. Памятуя уроки истории, я панически боялся украинского гнева, мой документ, я понимал это, меня не спасет. Я бежал на восток, удирал всеми способами, пешком, на подводах, на грузовиках, сжигавших в баках бензин до последней капли и потом застревавших где-нибудь на обочине, как мертвецы, на тягачах, которые ехали, казалось, из никуда в никуда и никуда, действительно, не прибывали, я уползал на четвереньках, спасаясь от бомбовозов с крестами на крыльях. В этой неразберихе я потерял украинское свое происхождение — потерял пиджак с моим документом и остался весь гол и наг, еще более наг, чем человек без одежды: я остался без паспорта.

Человек без паспорта.

Может ли человек жить без печени, без легких, без селезенки? Точно так же не может он жить без паспорта. Если бы я всю оставшуюся мне отныне жизнь описывал свои тогдашние странствия, бездомность и одиночество, то все равно мне бы времени не хватило. Но не это самое страшное. Бездомный человек может выспаться под мостом, в собачьей будке, опустевшей после подохшего пса, или на лавке в парке, но все это лишь при условии, что у него имеется паспорт, паспорт, подтверждающий, что он, человек этот, действительно и есть он, как таковой, а не кто-то иной. Все полиции мира утверждают, что они защищают законопослушных граждан, на самом же деле они защищают только власть и ее представителей. Советский блюститель порядка нашел меня спящим под мостом. Он не спросил, почему я сплю в таком неудобном, не подходящем для отдыха месте, нет, он велел предъявить ему паспорт. С трудом, на ломаном русском, объяснил я ему, и это было чистейшей правдой, что, спасаясь от наступавшей немецкой армии, я потерял свой пиджак, а вместе с ним паспорт. Из того, что он отвечал мне, я понял, что, если бы он здесь меня обнаружил в корчах от печеночных колик или сердечного приступа, он бы дал спокойно мне окочуриться, но вот так — живой и без паспорта? Мыслимое ли дело: человек без паспорта!

Следователь, к которому меня доставили, высказался еще более определенно: человек без паспорта — это шпион. Только шпиону незачем таскать с собой всякие документы, а также пиджак или, скажем, кальсоны, потому что везде у него есть связные, такие же шпионы из его шпионской организации. Вот кто я есть такой, вот что я за тип. Положение мое еще более усугубилось, когда он спросил у меня фамилию, а я... До войны я и во сне ответил бы, что зовут меня Авраам Иехошуа Хэшл Кригер, что это имя мне при рождении дали по умершему моему деду, знаменитому цадику из Апта. Теперь же, сменив за короткое время три фамилии, я, когда следователь мне свой задал вопрос, как-то вдруг растерялся, не сразу нашелся, что ответить ему. Собственно, я просто не знал, как будет лучше, сказать ли, что я — Эдвард Потоцкий, то есть назваться именем представителя польского контрреволюционного класса помещиков, или заявить, что я украинец Богдан Шевчук, но тогда следователь с полным правом и по всей справедливости может достать свой револьвер и на месте меня застрелить. Украинец, не знающий ни украинского, ни русского?

Со спокойствием поразительным следователь разъяснил мне, что человек, не только не имеющий паспорта, но еще и не сразу сумевший назвать свое имя — шпион на сто процентов, а кроме того, наверняка еще космополит, международный саботажник, маравихер, выблядок, и прочее, и тому подобное. А что самое важное — фашист.

Это он меня, меня, после всего, что я вынес и вытерпел, называет фашистом!

— Ну так знай же, я — еврей! Еврей я! И сейчас я тебе докажу это! — крикнул я и стал судорожно расстегивать штаны.

Гримаса брезгливости исказила лицо следователя, и он, как-то кисло и едко усмехнувшись, сказал:

— Врешь ты, ты — американский сукин сын. Ты, белобрысый урка, это ты-то еврей?

— Еврей! Снаружи и сверху — да, я похож на славянина, но загляни поглубже,

пониже... Ну, а ежели это тебя не устраивает, то вот: я — Богдан Шевчук, украинец, родился в Тернополе, в городе, где жил и правил на раввинском дворе знаменитый цадик Авраам Иехошуа Хэшл из аптской хасидской династии, имя которого я и ношу...

Я до смерти устал, мне было все равно уже, что со мной сделают, и я все больше запутывался в своих показаниях. К моей «биографии», начертанной следователем, я от себя приобщил еще факт моей принадлежности к семейству раввинов. Подозрения его росли, а в воображении, наверное, всерьез начал складываться портрет очень крупного международного преступника, опасного для всего прогрессивного человечества.

В конце концов — о, достанет ли сил мне довести мое повествование до конца? — я оказался в лагере, что-то вроде поселка под городом Беломорском. Господь сотворил здесь прекраснейший ландшафт, леса и обширные воды, но сразу же проклял эти места, снабдив их нескончаемыми ночами, мраком и убийственными морозами. Из заключения меня все же выпустили, не то я, наверное, там бы и умер и похоронен был бы, согласно моим показаниям, как Богдан Шевчук.

В Беломорске я познакомился с одной молодой учительницей, удивительно напоминавшей Ядвигу. Звали ее Катя. От Ядвиги она отличалась своим ясным и дробным, как колоколец, смехом и всегда веселым расположением духа. Ядвига лишь по ночам бывала страстной и женственной, днем она угасала и меркла. Дед Кати был сослан сюда еще при царе, а отец — в советские уже времена. Сама она, Катя, была чудный бутон, цветок русских просторов, пересаженный в эту вечную мглу и мороз.

Россию Катя любила необычайной, какой-то почти плотской любовью, и, когда она вслух мне читала Пушкина, Есенина или Ахматову, лицо у нее начинало светиться, озаряемое внутренней радостью. Она широко распахивала обе руки, и ей, должно быть, казалось, что она обнимает родину и прижимает ее к своей взволнованной, колышущейся полной груди. Она преподавала историю, в этом смысле мы были коллеги, но в истории русской ей слышался некий особый мотив, звенящий в душе только русского человека, только русского народа, ее народа. Сентиментальный мотив, ясный, как слеза, что скатывается век за веком с русского лица.

Я любил Катю, и не просто любовью мужчины к женщине. Может быть, из-за сходства ее с Ядвигой и моего неизбывного чувства вины за предательство — я и намеком не дал Кате понять, как я желаю ее, что за алчные грезы о ней овладевают мной по ночам. Лишь однажды, когда Катя опять наизусть почитала мне из русской поэзии, я полушутя и полувсерьез, с застывшей улыбкой сказал ей, что, даже и не надеясь на ее поцелуй, я был бы счастлив навсегда остаться в Беломорске, чтобы только слышать колокольчиковый ее смех и тайную дрожь в горле, когда она читает Есенина...

Подоспело известное соглашение между лондонским польским правительством и Советским Союзом об освобождении польских граждан, заключенных во всяческих центрах для беженцев и лагерях. Катя, в которой я не переставал видеть, на нее глядя, Ядвигу, помогла мне в непростом для меня деле: объяснить властям, как могло случиться, что Богдан Шевчук — польский беженец. Беломорск я покинул. Прощаясь со мной, Катя плакала, а у меня так вдруг защемило сердце, что я понял: если бы я в свое время не бежал от Ядвиги без прощальных сцен, а попытался расстаться с ней по-людски, нормально, то из ее глаз точно так же лились бы неутешные слезы, такие же слезы, какими плакала сейчас Катя.

Являться в польское представительство под именем Богдана Шевчука не имело смысла. В Куйбышеве я сжег украинский свой остов и воскрес уже как Збигнев Якубовский. Мое новое имя и моя славянская внешность сократили мне путь к создаваемой польской армии генерала Андерса. С этой армией я и оказался однажды в Палестине, и стало мне ясно, что здесь, среди соплеменников, лично моя война кончилась. Кто из евреев в Палестине не поверит мне, что я еврей? Мой польский идиш! А одно только имя мое — Авраам Иехошуа Хэшл Кригер, хотя я и значусь в моем военном удостоверении Збигневом Якубовским, поляком-католиком.

Но — горькая моя судьба! Никого не нашел я, кто бы мог подтвердить мое истинное происхождение.

Велась тайная агитация: евреев из армии Андерса призывали дезертировать. Они укрывались в киббуцах, предполагалось, что временно, пока армия оставит страну. Меня агитировать никто не стал, еврея во мне даже не заподозрили. И получалось так, будто я, поляк и католик, которому попросту осточертела война, хочу спрятаться, затеряться среди евреев. Мои вечные в скитаних метаморфозы выработали во мне одно ценное свойство: не валиться, не падать с ног, даже когда земля под ногами качается. Я сжег военное удостоверение, явился в ближайший киббуц и сказал:

— Получайте меня... Я еврей из армии генерала Андерса. Я довольно неглуп, и у меня достаточно сил, если нужно где подставить плечо. Хотите — я учитель истории, не хотите — я готов рубить дрова и вывозить мусор. Мою войну я закончу здесь.

Своей открытостью и своим идиш я понравился тем, с кем разговаривал, и они начали меня записывать. Просто необъяснимо, что в тот момент случилось со мной, что побудило меня назвать им не настоящее мое имя, а имя какого-то Стефана Шварца, уроженца города Кракова, в Западной Галиции. Документ мой, объяснил я им, остался в военной канцелярии, убегая, я не сумел его взять. Но почему, откуда, зачем всплыло в моей памяти никогда, кажется, и не слыханное мной это имя — Стефан Шварц?

Дело в том, что еще до всего этого я, из моих разговоров с киббуцниками, понял, что по причине славянской моей внешности имя Авраам Иехошуа Хэшл может показаться кое-кому слишком, как бы это сказать, еврейским. А вот Стефан Шварц — это нормально, ассимилированный еврей из Кракова, это им будет легче понять. Так и остался я Стефаном Шварцем, но чтобы чувствовать себя в киббуце совсем уж как дома, я приучил товарищей называть меня просто Авреймелом, как меня называли в детстве, моим первым из трех еврейских имен.

Годы, прожитые в киббуце, были годами свободы.

Здесь я впервые ощутил себя по-настоящему вольным человеком — никакого паспорта, никакого полицейского надзора, ни даже простого британского патруля. Казалось, давняя мечта стала реальностью, так что потом, когда я оставил киббуц, я долго еще по нему скучал. То, о чем я страстно грезил когда-то, будучи коммунистом, до тех пор пока греза моя не была развеяна страшной действительностью на родине коммунистической революции,— все это нашел я в киббуце. После провозглашения государства Израиль, проходя, как все жители страны, новую регистрацию, я попросил записать меня под моим настоящим именем — Авраам Иехошуа Хэшл. На что чиновник заметил мне:

— Реб ид [1], не делайте глупостей. От вашего Авраама Иехошуа Хэшла разит галутом [2]. Как, впрочем, и от вашей нынешней фамилии Шварц. Вот имя — Стефан — это неплохо. Стефан — это вам вполне подойдет. С таким именем вам будет легче найти хорошее место, а то что это нынче за имя — Авраам Иехошуа Хэшл? Нет-нет — только Стефан! Стефан — с таким именем можно даже работать в каком-нибудь посольстве за границей. Ну, а если уж выбирать между вашим сегодняшним Шварцем и прошлым Кригером, то я бы советовал вам несколько гебраизировать этого Шварца и принять фамилию Шхори [3] или даже Шахар [4], что могло бы для вас символизировать наступивший после долгой черной ночи рассвет. Совсем ведь неплохо, а? Стефан Шхори или Стефан Шахар — да вы сразу станете, что называется, человеком! Вам откроются все перспективы, все просторы и дали...

Я, не перебивая, дослушал его, потом спросил:

— Может быть, вы объясните мне, почему от имени Авраам Иехошуа Хэшл или от фамилии Шварц разит галутом, чем Стефан, или Эдвард, или Вальтер больше подходят израильтянину, нежели Авраам, Иехошуа или Хэшл? Разве Эдварды и Стефаны стояли у горы Синай или все же Авраам и Иехошуа, столько там претерпевшие?

Слова мои, похоже, чиновнику не понравились, и он позволил себе обратить мое внимание на то, что, по его мнению, такие люди, как я,— а я как-никак

---

[1] Господин еврей *(идиш)*.

[2] Галут — еврейское изгнание, диаспора *(иврит)*.

[3] От «шахор» — черный *(иврит)*.

[4] Заря, рассвет *(иврит)*.

преподаватель истории, человек, поживший в киббуце,— такие люди должны подальше держаться от своего галутного происхождения, от племени, которое пошло, как стадо овец, на заклание, а проще сказать — на убой.

— Нам предстоит стать,— произнес он несколько торжественным тоном,— народом западным, европейским, я бы сказал — западноевропейским, чтобы на равных войти в семью культурных народов. С таким именем, как Стефан Шхори или Стефан Шахар, вы можете оказать поддержку нашей идее и внести свою лепту в дело сотворения нового народа вместо народа, познавшего позорный галут. Стефан Шхори или Стефан Шахар — это хорошая визитная карточка, так сказать, западноевропейская...

За годы скитаний, большей частью в морозном и всегда затянутом ночным мраком Беломорске, я приобрел некоторый запас выдержки и хладнокровия, черт, присущих характеру русскому. Чтобы выжить, мне пришлось усвоить тогда эти качества, которые я там не оставил, а увез с собой и взращивал потом в киббуце, в новой жизни. Только потому я не вышиб сейчас двух-трех передних зубов этому дураку доктринеру, не повыбивал стекла в его кабинете, а даже, напротив, собрав остаток спокойствия, тихо ему сказал:

— Поляки-антисемиты говорили, что от евреев несет чесноком и луком, вы же дальше идете и заявляете, что даже не от евреев уже, а от самих их еврейских имен разит галутом. Не извольте гневаться, но я скажу вам: от вас разит большевистским начетничеством, притом, что вы, наверное, сионист, и, может быть, сионист неплохой. Дело, видите ли, в том, что каждому «изму», будь он левый или правый, присущ собственный большевизм. Разумеется, не всякий большевизм имеет в своем распоряжении Сибирь, чтобы сгонять туда тех, кто не желает разговаривать фразами из «Краткого курса». Ведь, не будь того идеала, что созрел в умах и душах людей именно, извините, галутных, не было б здесь сегодня еврейского государства и не сидела б тут ваша персона, комментирующая мое еврейское происхождение и мое еврейское имя. Вы оперируете фразами из «Краткого курса» уже вашего большевизма и повторяете бред о том, что наши евреи шли на закланье, как овцы. Только люди, мучимые, возможно, тайным чувством вины, люди, сидевшие сложа руки, в то время когда нацисты сжигали миллионы евреев, только такие люди могли выдумать этот жалкий и дешевый поклеп на истинных героев, своими страданиями заслуживших и получивших право — и народы мира, сами испытывающие это чувство вины, признали это их право — на свое, на еврейское государство.

Выслушав мою тираду, чиновник, точно вовсе меня и не слушал, сказал голосом адвоката, заранее получившего свой гонорар:

— Запомните, адон [1], что я сегодня вам говорю,— он взглянул на свои наручные часы, как будто часы записывали его слова,— с таким именем, как Стефан Шахари или Стефан Шахор, вы сумели б достичь всего, на что вы способны. А с вашим Авраамом Иехошуа Хэшлом Кригером вы так и останетесь здесь пришельцем, чужаком.

После этих его слов гнев мой разом улегся: ну что с него взять? Время, прожитое в киббуце, в замкнутом идеальном мирке реализованных принципов социализма, без забот о куске хлеба, изолировало меня от внешнего мира, я почти ничего не знал и не мог знать о тех сложных общественных процессах и сдвигах, которые шли в стране. Я верил, а может быть, мне хотелось верить, что все израильское общество, все социальные слои в молодом государстве живут ценностями, легшими в основу уклада киббуцной жизни. Чиновник — сам, скорее всего, того не желая — распахнул передо мной дверь в реальность, в действительность, и эта действительность меня потрясла.

Как и в те давние дни, когда я, бежав от Ядвиги и пробираясь к Бугу, должен был бы, если б не моя истерия, остановиться и, поразмыслив спокойно, вернуться к ней, к девушке, чье польское происхождение и католическая вера служили мне надежной защитой, как и позже, когда мне следовало к ней возвратиться из Лемберга, где никак не мог я решить, кем мне быть: евреем, поляком или украинцем, так теперь единственной для меня разумной возможностью было бегство обратно, вспять, назад из этой ошеломившей меня действительности, назад в прошлое, вплоть до тех самых дней и пределов, где я снова бы мог стать собой и опять

[1] Господин *(иврит)*.

с гордостью называть себя Авраамом Иехошуа Хэшлом, этими тремя истинно еврейскими, благороднейшими именами цадиков и мудрецов, именами, побуждавшими отдаваться мне даже отвергших или просто не признающих этих цадиков и мудрецов женщин, евреек и неевреек.

Соблазн возвратиться в прошлое, пройти весь обратный во времени путь так усиливался и рос во мне, словно это и вправду было возможно. Утром, в мире реальном, я говорил себе, что доведу себя до сумасшествия, стану настоящим маньяком. Я, испытанный, стойкий рационалист, впал в мечту, грежу о чем-то бессмысленном, о том, чтобы день ото дня становиться моложе, еще раз пережить прожитое, опять спать с женщинами, которые укладывались в постель со мной, дойти, добраться во времени до знойных ночей, проведенных с Ядвигой, хранительницей и спасительницей самой жизни моей. Оказаться опять в Беломорске, услышать колокольчиковый голос Кати, напевность, с которой читает она стихи Пушкина или Есенина. Еще раз испытать все опасности, страхи... Самое в этом нелепое было то, что по ночам, во сне или в полудреме, все невозможное становилось возможным и почти реальным. Ядвига с ее золотистыми косами, упавшими ей на грудь, ее черный эбонитовый крест, свисающий с шеи, Ядвига в видениях прощала меня и мое предательство. «Дети порой совершают ужасные глупости,— говорила она,— а ты у меня совсем как дитя». В грезах моих я рассказывал Кате, как я предал Ядвигу, бросил ее без слова прощания, черной неблагодарностью отплатив за все, чем была она для меня, за спасенную, может быть, свою жизнь. Катя смеялась, как колокольчик, и объясняла, что предательство мое — не предательство, ведь я предал ее в первый раз, а любой поступок, совершаемый впервые, может оказаться глупым, неверным, но в другой раз человек эту глупость не повторит...

Там, на дне моих грез, при слабых отсветах логики, я обдумывал даже, как мне на обратном пути во времени избежать тех или иных опасностей, о которых я помнил. Настоящим кошмаром там был для меня мой паспорт, который в глазах всех полиций и полицейских есть сам человек, сам гражданин, а все остальное в данной личности — заведомо преступное приложение, этакий неприятный довесок. Еще я пытался сообразить, как обойти мне всяческие посты, пункты проверки и тому подобное, как не видеть этих пустых, напыщенно глупых физиономий нацистов. Ночью, в моем забытьи, этот смутно обдуманный обратный бросок во времени вполне удавался. Из сознания выпадал мерзкий мой разговор с чиновником, я снова оказывался в киббуце, познавал радость новой жизни среди людей мира более справедливого, доброго.

Как-то решил я съездить в свой киббуц, сел на автобус и через пару часов вышел в другой, что ли, реальности, где даже деревьям, наверное, дышалось привольней. Дорогой, в полудреме, я думал о том, что на этом обратном пути в прошлую жизнь я должен быть намного внимательней, чем в прошлый раз, должен присматриваться ко всему вокруг и глубже, как настоящий историк, понимать происходящее, чтобы преподавать потом детям историю истинную — науку о будущем мире справедливости и красоты, о мире, который им, детям, еще предстоит заложить, как закладывают сад или парк.

Я стал ездить в мой добрый киббуц еще и еще. В одну из таких поездок, а добирался я из Тель-Авива через Хайфу, где нужно было пересесть на местный автобус, я на автовокзале увидел со спины женщину, сильно напоминавшую своей походкой Ядвигу. Та же поступь, та же царская стать. Женщина шла впереди, шагах в пяти от меня, и я невольно стал ее догонять и, еще прежде, чем поравняться с ней, вскрикнул:

— Ядвига!

Испуганное лицо женщины.

— Ядвига, это ты!

— Нет,— сказала женщина почти с возмущением.— Меня зовут Ципора Розен.

Мы стояли, не в силах тронуться с места, разойтись своими путями. Я повторил:

— Ядвига, Ядвига, это же я, Авраам Иехошуа Хэшл... то есть нет, это я, Эдвард Потоцкий.

Боясь закричать, она сунула себе пальцы в рот, но я все же услышал:

— Эдвард... Эдвард...

Мне не хватило смелости обнять ее, расцеловать. О, это чувство вины! Она же — она стояла передо мной оцепеневшая, каменная.

— Ядвига. Я узнал бы тебя среди многих миллионов людей,— пролепетал я.

— И сбежал бы, затерялся среди многих миллионов людей, бросив меня на растерзание фашистам.

— Ты еврейка, Ядвига? — ахнул я, все вдруг поняв и не будучи в силах что-либо ей прямо ответить.

— Я от них пряталась, как и ты, Эдвард. В тебе нашла я свою защиту, в тебе, поляке и католике. А ты...

— Давно здесь, в Израиле? — Я опять сменил тему.

— Приехала два года назад, с мужем и двумя детьми.

— Ну вот, а я собрался уже было назад, туда...— произнес я, обращаясь скорее к себе самому, но она, кажется, поняла.

— Этот путь закрыт, Эдвард.

— Не Эдвард — Авраам Иехошуа Хэшл.

— Красивое имя,— сказала Ядвига.

— Ну а как же Эдвард? — Я искал в ее взгляде тепла, близости.

— Эдвард исчез, пропал,— сказала она и вскинула руку: — Такси!

Такси поглотило — разом и целиком — мой путь в прошлое, я стоял потрясенный, потеряв ощущение времени, то есть того, что в обыденной жизни мы называем «раньше» и «позже».

Царица Фатима

В черной своей джабале [1], укрывшей голову и лицо по самые брови, Фатима напоминает ребенка. Черный цвет в сочетании с блестками надо лбом и сверкающими бусинками придают ей вид еще более детский. Но Фатима давно не дитя. Две упругие грудки торчат у нее, как рожки у молодой козочки, и Фатиме приятно бывает их гладить, когда рядом нет никого.

В канун рамадана исполнилось ей тринадцать. А недавно она подслушала, как отец, Ахмет ибн Наиф, сказал ее матери, что пора бы уже и подумать о будущем дочери. Фатима услыхала их разговор среди ночи, проснувшись от любовных стенаний матери, а потом отец еще долго говорил про нее, про Фатиму, что, мол, девчонка созрела, как спелый гранат, и что добрый выкуп за дочь был бы на пользу сейчас, на мохар [2] этот можно было б и новый шатер купить, и овечье стадо расширить. Однако Наджия, мать Фатимы, возражала:

— Ты не спеши. Дочь наша стала как прекрасная лунная ночь, и тело у нее чистое, как вода в роднике, а уму девочки можно лишь поражаться. Зачем сбывать ее первому встречному, лучше выждать, сколько понадобится, и выдать ее за человека достойного, у которого были б и богатство, и власть.

В ту ночь Фатима не могла уже больше уснуть, и в сердце ее поселилась печаль, и печаль эта не отпускает ее, и никак, по сей день, не найдет Фатима никакого снадобья, никакого средства от грусти.

Случилось, заявился к ним, надо думать — к отцу, старый Исмаил Халд ибн Саид. Не дойдя до шатра шагов десять, остановился и ударом тяжелого посоха, да и голосом громким, хотя и исполненным благочестия, дал хозяевам знать, что пришел. Старика со всем уважением пригласили войти, а он, в свою очередь, соблаговолил принять угощение, покурил наргиле и отведал крепкого кофе. Язык у него развязался, и он начал рассказывать про всякие чудеса, происходившие, по словам его, в стародавние времена.

— Да, в прежние поры... Чудеса случались тогда настоящие. Что знает про то молодежь? Ничего молодые не знают. Белый свет сегодня развращен и испорчен, вот почему чудотворные силы покинули мир. Сегодня в пустыне тарахтят и как сумасшедшие носятся автомобили. Застрянет такая жестянка в песках, подгоняй к ней верблюдов, чтоб вытащили тарахтелку. Не так бывало когда-то. Когда-то бывало так: тянется караван по раскаленной пустыне, и вдруг налетает песчаная

[1] Джабала — черная верхняя одежда *(арабск.)*.

[2] Мохар — выкуп *(арабск.)*.

дикая буря, солнце желтою мглой покрывается, и глаза у погонщиков засыпает песком, так что больше не видят они пути и не чувствуют под ногами дороги. Ну, а верблюды... Только буря начнется — у верблюдов появляются крылья. Подогнут, подберут они ноги и точь-в-точь как орлы через темные тучи перелетают, а там опустятся где-нибудь у источника прохладной воды, в густой тени пальм. Мало вам этого? Ну что ж, бывало и этак. Покарал одного бедуина Аллах за прегрешения, навел хворь на отару его и в единую ночь истребил все его стадо, до последней овцы. Бедуин лбом о землю бьется, молится истово, плачет и жалобно просит, чтобы простил его Всемогущий и вернул ему стадо. Едва рассвело, выходит он из шатра своего и собирается в путь неизвестный, по округе милостыньки подсобрать, раздобыть хоть черственькой питы [1] для детей своих малых. Но видит он вдруг: позади шатра стоит белорунное стадо овец, овцы кем-то словно одна к одной подобраны, от одной словно матери на свет рождены, и у каждой — молока вымя полное, и у каждой — шерсть такая, что пора хоть сейчас валить наземь да стричь. Стал счастливец овец пересчитывать, считал он, считал, до конца не добрался. Дал Аллах ему вдвое больше против того, что прежде имел он и что Всемогущий у него отнял. Мало вам этого? Еще один бедуин, из очень старинного рода, раскинул шатер свой у самого вади [2], ну, вы знаете, возле той вздорной речушки, что так весной разливается, словно бесы в ней волну нагоняют. Раскинул шатер бедуин, а как раз половодье схлынуло, вся долина стоит зеленая, как бескрайнее пастбище, стада со всех четырех сторон света прокормиться могли бы там, и хватило б травы им на целое лето, до новых дождей. И вот отправляет бедуин свою дочь отару пасти — кормить, значит, и охранять. А овцы — они овцы и есть, все им кажется, что, чем дальше от дома, тем трава гуще. Ну, идут себе овцы, идут шаг за шагом, а девица за ними. Ей тоже трава вдалеке зеленей, пышней показалась. Запах свежего пастбища овец опьянил, опьянил и пастушку, и забыли все вместе, что всякий день, даже самый долгий, подходит к концу и свет дня пропадает в ночи. В созвездиях небесных пастушка не разбиралась и путь свой продолжала с отарой напрямки и в сторону нового дня.

Ну и, ясное дело, забрели они в чужую страну. И чужие люди схватили юницу и к царю привели, к правителю этой страны. Царь тут же велит своим слугам обнажить лицо девушки и до конца всю раздеть ее. И как только была она раздета — царя ослепила ее красота. Лицо чистое, гладкое, как поверхность зеркальной воды в роднике, и сияет, как медь начищенная. Берет царь ее в жены, наряжает во всяческие уборы и разные кольца там, драгоценные камни, из тех, что излучают ночью солнечный свет, который вобрали в себя на протяжении дня. А через какое-то время призывает Аллах к себе царя, а царь перед смертью завещает, чтобы впредь страной правила его молодая жена. И вот эта простая пастушка, перегонявшая с одного пастбища на другое своих глупых овец, теперь властвует над человеческим стадом, и правит, надо сказать, рукой твердой и крепкой, ибо стадо людское, как и овечья отара, любит крепкую над собой руку...

Фатима и прежде, до всех этих историй, рассказанных старым Исмаилом Халд ибн Саидом, погружена была в сладостный смутный туман грусти и грез. Рассказ про пастушку еще жарче распалил ее воображение. Днем, под вольными небесами, а ночью на смятой бессонницей постели мечтала она о царе далекой страны и пыталась представить себе долину, настолько обширную, что можно в ней заблудиться.

О том, зачем приходил старик в их шатер, Фатима не задумывалась, ей это было неинтересно. Но всякие чудеса, про которые Исмаил Халд ибн Саид рассказывал, глубоко запали ей в душу. Ах, будь та долина поближе и знай Фатима, в какой стороне искать ее, отправилась бы она вместе с отарой, чтобы только, может быть, глянуть, какою тропинкой, по какому зеленому лугу ушла, погоняя овец, пастушка-царица...

А приходил и рассказывал свои небылицы Исмаил Халд ибн Саид по причине очень понятной: сладостными речами хотел усыпить он бдительность Ахмета ибн Наифа, убаюкать хозяина, смягчить и задобрить сердце его, дабы тот отдал ему, старику, юную дочь свою в жены. И будет тогда у него молодая жена, ведь те две, что есть у него, детей больше ему не рожают; что же это за жены! А Фатима — он

[1] Пита — хлебная лепешка *(иврит)*.
[2] Вади — речное русло, речная долина *(арабск.)*.

собрал, как пучок прутиков, и приложил ко лбу своему четыре высохших скрюченных пальца,— а Фатима была бы в доме его настоящей царицей!

Ни о чем таком не догадывалась Фатима, потому-то и не поняла она, с чего это вдруг, на нее рассердившись за что-то, назвала ее мать... царицей:

— Тоже мне царица нашлась!

Почему вдруг — царица? А может, она и вправду царица? Мало ли, как оно получилось, что она пасет отару отца, разве та пастушка, про которую говорил старый Исмаил Халд ибн Саид, не бегала также за овцами? А вдруг и ей, Фатиме, Аллах такую же предназначил судьбу? Вот было ж недавно: день дождливый выдался, весь туманный какой-то и огненный, и на самом краю небес, вон там, над дальнею кромкою мира, увидела вдруг Фатима дворцы и мечети, белые, с высокими башнями и балкончиками. Ах, как сердце заколотилось: не страна ли это, в которой стала пастушка царицей? Ее повлекло, потянуло туда, и, глаз не сводя, смотрела она на небесные эти дворцы, и кто знает, если бы не разбредшаяся отара... К тому же вспомнила Фатима, как рассказывали у них в шатре старики, да и не одни только старики, а и люди еще молодые, про подобные наваждения. Эти видения, встающие на краю неба в дни, когда разом и солнце сияет и льет дождь,— это все искушения и соблазн, и не дай Бог позволить им заманить тебя, увести в несусветные дали. Потому что так точно, как они неожиданно возникают, они вдруг пропадают, эти чертоги горние и города, в мгновенье расходятся, расплываются, тают, и человек, чрезмерно приблизившийся к ним, тоже может исчезнуть, пропасть вместе с ними, с дворцами и башнями, стоящими перед глазами...

Как зачарованная, смотрела Фатима на воздушные замки, и хотелось забыть ей унылые наставления старцев и предостережения гостей помоложе. Она уже было кликнула пса, чтоб загонял овец вправо, в ту самую сторону, однако овцы, бежавшие прямо, к источнику, сбить с пути себя, слава Аллаху, не дали. Они остановились и упрямо застыли как каменные, пригнув к земле кудлатые головы, а баран, всегда предводительствующий ими, злобно и хрипло заблеял. На сей раз Фатима уступила овцам, может быть, им тоже известно, что нельзя ходить туда, к этим бесплотным, воспаряющим над землей замкам...

Огорченная, с тяжелым сердцем погнала Фатима стадо дальше. Рядом, вывалив красный язык, бежал пес... Вдруг — почуяв близость воды — овцы бросились как очумевшие и понеслись, с ног сбивая друг дружку, налетая одна на другую. Фатиме на мгновение показалось, что она теряет власть над отарой. Она тут же скомандовала псу обогнать стадо и остановить барана, бежавшего, как всегда, первым. Увидев пса, преградившего ему путь, баран резко застопорил, выставив передние ноги и пригнув голову с массивными скрученными рогами, готовясь ударить. Но Фатима уже тут как тут, она на месте, она, выручая пса, опускает свою тяжелую палку на крепкий бараний загривок и в гневе кричит: «Нет, будет так, как велела я!» И упрямый баран подчиняется ей, а следом за ним — все стадо, сразу мирное такое и послушное, готовое выполнить любое желанье ее и каприз, малейший намек на приказ хоть самой Фатимы, хоть верного ее пса.

Фатима и прежде задумывалась: до чего же глуп он, этот баран. Силища у него — как у десяти овец сразу или, может быть, еще больше. Когда он, бывает, страшным ударом валит наземь провинившуюся овцу, та летит, кувыркаясь и переворачиваясь в воздухе несколько раз, а потом, уже после того, как поднялась и стала на ноги,— еще один раз! Если бы ему вдруг взбрело ударить так Фатиму — он на месте убил бы ее. Все, что есть у Фатимы против него,— толстая палка да еще пес, который и власть-то свою над отарой чувствует только тогда, когда рядом хозяйка. Но баран их все же боится — и пса, и ее, Фатиму. Аллах, наверно, вселил в него этот страх, потому что уж так сотворил Аллах этот мир, чтобы человек страшился Аллаха, а бараны и овцы — человека.

Об этом и обо всем таком Фатима задумывается давно уже, еще когда была она девочкой, но раньше ее мысли как-то неясно туманились, а с тех пор, как старый Исмаил Халд ибн Саид стал заходить к ним в шатер и рассказывать необычайные свои истории, Фатима поняла, что стадо пасет и свою власть над ним проявляет,— по воле Аллаха, да, по одной только воле Аллаха, она — владычица этой отары и правительница над ней.

В медресе Фатима не училась, ее братья учились там. Отец говорил, что девчонке учиться не надо, это даже грех, и немалый грех перед Аллахом, сотвори-

вшим, как известно, мужчин для того, чтобы господствовать и повелевать, а женщин — рожать детей и заниматься домашней работой. А пасти овец, считал отец,— наука нехитрая, была бы собака повыносливей и дубинка покрепче, остальному научит сама отара. Фатима и вправду очень быстро выучилась пастушескому делу и усвоила главное: овцам нужно совсем немного, травы вдоволь да воды до упою, особенно в жаркий день, ну а еще им необходимо пароваться, чтобы приносить новых овец взамен тех, что люди зарезали и зажарили на праздник. И еще Фатима поняла: пожелай она только — и все это стадо она запросто может уморить голодом, даже если глупые овцы будут, блея, стоять рядом с пастбищем, на самом краю его. И от жажды они могут перемереть, стоит ей захотеть этого, в двух шагах от источника! Но так она никогда не поступит. Отцу нужны овцы здоровые, сытые, а поэтому следует вовремя их кормить и поить, а они будут отдавать свое молоко, многочисленных своих ягнят, свою шерсть и вкусное мясо.

— Пес, кто я, а, пес? — вдруг спрашивает Фатима. И пес, привыкший от нее слышать одни лишь команды и окрики, не понимает ее, смотрит своей госпоже в глаза и поводит мохнатым хвостом, пытаясь, наверно, постичь и осмыслить: чего она от него требует? Так ничего и не поняв, он подлащивается к ней, ложится на землю и жмется к ногам ее, униженно и тихо скуля, точно просит, чтобы она простила его, сжалилась, смилостивилась, придавила его ногою к земле, этим самым его осчастливив.

— Я — царица,— говорит Фатима горделиво,— царица над овцами, вот я кто! И твоя, пес, я тоже царица, понятно? А ты — ты мой верный слуга, правда, пес?

Имени для пса у Фатимы нет, она так его просто и называет: пес. Это слово она знает с младенчества... Ах, если бы Аллах пожелал, он дал бы овцам человеческий облик, и тогда была бы она, Фатима, царицей уже над стадом людей, а не каких-то безмозглых овец! О, как правила бы она... Но что там, опять овцы к воде понеслись, она кричит им, пробует остановить их, но упрямый баран большими прыжками вылетает, прорвавшись, вперед, отара за ним... Впрочем, пес проворней его, он вонзает острые свои клыки в баранью лодыжку, и на золотом песке распускается, как огромный цветок, багряный бутон свежей крови. Фатима кричит псу:

— Хватит! Фу! Нельзя! Пугать ты пугай его, а калечить не смей! Ты над ним не хозяин, я — хозяйка его и госпожа, я — царица! Пошел вон...

Баран поднимается на ноги, Фатима пропускает его мимо себя и смотрит, как настырное это животное бежит дальше, к желанной воде.

Фатиме и самой очень нравится этот родник. Целый бы день проводила у его неглубокой, но такой чистой и прохладной воды, склоняясь над ним и отражаясь в зеркальной поверхности. Она любит этот час, когда овцы уже напились и лежат, погружаясь в глупые свои сны. Дремлет пес, настороженно закрыв глаза и помахивая хвостом, отгоняя назойливых оводов, роем вьющихся над собакой и стадом, беспрестанно жужжа и мешая всем спать. Тогда Фатима снимает фустан [1], открывает лицо и плечи и смотрит в воду на свое отражение. Она знает, что она красивая, как лунная полночь, что тело ее сияет ярче меди начищенной.

Она долго смотрится в воду, переводит взгляд с овала лица на упругие грудки, что, повиснув, наполнились и округлились, пробуждая в ней какую-то грусть и тайную смуту, смысл которой ей непонятен.

И случилось, что, пока она тихо смотрелась в источник и ласкала груди свои, вдруг зарябилась, покрылась вода хмурью, морщинками,— это овод упал туда и забился, затрепетал, пытаясь спастись, отвоевать свою жизнь у смерти.

И то, что вдруг увидала Фатима на воде, устрашило ее. Гладкий лик отражения внезапно покрылся морщинами, вокруг пары грудок расплылись какие-то зыбкие складки, точь-в-точь как у матери у ее, выкормившей кучу детей. Ужас и злость смешались в душе Фатимы, она быстро окунула в воду ладонь, вынула овода и стала разглядывать, как мокрое существо, волоча отяжелевшие крыльца, взбирается вверх по влажному ее пальцу. Вдруг — с каким-то неосознанно-мстительным чувством — она крепко сжала руку в кулак. Пес смотрел на свою госпожу и ждал. Фатима подала ему знак и подбросила мертвого овода. Пес поймал его в воздухе и проглотил.

— Все! Больше нет! — сказала псу Фатима и снова склонилась над зеркалом успокоенной гладкой воды, и опять лицо ее там отразилось ясной полной луной, а две грудки повисли, как два круглых спелых граната в утренней хладной росе!

[1] Фустан — платье *(арабск.)*.

Достало бы сил Фатиме, накрыла б она источник обломком скалы, чтоб ничего уже впредь не могло замутить в этом зеркале ее отражения, ее красоты и томительной, невнятно манящей неги двух грудок, чтобы все навсегда оставалось таким, как сейчас на воде. И пройдут, может быть, годы, может быть, не так уж и много лет, и предстанет Фатима во всей красоте своей перед царем, и приедут они вместе сюда, к источнику, и откинут камень, и откроется царю красота еще большая, нежели та, что его ослепила. Но насколько хватает ей сил, чтобы сдерживать стадо и не дать ему разбрестись, разбежаться, настолько слабы ее руки, и не может она приподнять, к примеру, больную или раненую овцу и отнести домой. Только когда рождается, а так бывает, прямо на пастбище, в траве, нежный ягненок, в ней просыпается вдруг какая-то неведомая ей самой сила, и она способна тогда на руках нести ягненочка далеко-далеко, как если бы это было ее дитя, плод ее созревшего тела.

Как-то случилось, что ужалила овцу змея, и вечером, когда стадо возвращалось домой, овца упала, и никакие уговоры, угрозы, удары палкой помочь не могли. Пес заглядывал в глаза своей госпоже, словно спрашивая, чем еще может быть он полезен тут, кроме как бегать вокруг умирающей твари и оглушительно лаять и махать мохнатым хвостом. Никаких приказов Фатима ему не отдавала, а с овцой продолжала бесполезный свой разговор:

— Вставай, овца! Да ну поднимайся же, слышишь, овца! Овца, ты лучше не умирай! А то придет мой отец и зарежет тебя! Вставай, овца, поднимайся на ноги, ну же!

Овца тяжело дышала, живот у нее раздувался и опять, как бурдюк, опадал. В конце концов Фатима ее бросила и ушла с отарой домой.

— Там овца упала,— сказала, придя, она матери,— ее укусила змея, а у меня нет сил донести ее.

Отца дома не было, он куда-то ушел и еще не вернулся.

— Все от Аллаха,— отвечала дочери Наджия,— и люди тоже, случается, падают и больше не приходят в себя. Возвратится отец и принесет овцу, надо ее заколоть и засолить мясо.

Ахмет ибн Наиф пришел поздно, только узкая алая полосочка неба еще повисала вдали, как знак и обет, что ночь, которая наступит сейчас, не навеки, что будет еще после этой ночи рассвет, золотая заря. Отец взял с собой одного из братьев Фатимы, и они отправились за больною овцой.

До пастбища, где Фатима пасла днем отару, было неблизко. Ночной сумрак сгущался, мрак стер все очертания вокруг, тьма легла беспросветная. Ахмет ибн Наиф, зоркому глазу которого нет равных на свете, овцу не нашел. И тогда напомнил Ахмет ибн Наиф себе самому: «Да не будет песчаная дюна тебе указателем на пути, и не ищи ту вещь на земле, которую спрятала ночь».

Возвращаясь домой, Ахмет громко, чтобы слышал сын его, начал перечислять все то, что он сделает с погибшей овцой, с ее мясом и ее шкурой. По его представлениям, змею к ней подослал сам Аллах, и та убила овцу, потому что всякий раз ему, Ахмету, трудно резать здоровую ярочку, которая еще может давать молоко и прекрасную шерсть. О, как заботится Аллах о каждом человеке на свете! И еще раз, уже во время вечерней молитвы, вспомнил Ахмет ибн Наиф про свою овцу, и опять восславил величие и милосердие Аллаха.

На рассвете, задолго еще до того, как выгонять Фатиме стадо, собрался Ахмет и пошел искать не найденную с ночи овцу. Утром путь оказался совсем близким, да особо и разыскивать не пришлось, словно место, где бросила дочь овцу, само вышло навстречу мириться с Ахметом ибн Наифом: на ветках кустов висели лохмотья окровавленной шерсти, а на траве багровели куски свежезастывшей крови. Хотя солнце еще не взошло, Ахмет прикрыл лоб и поднял взор к небу:

— Акбар алла,— произнес он восторженно,— о, как заботишься ты о каждом творенье своем, даже о голодных шакалах и жадных гиенах. Акбар алла!

Может быть, случай с растерзанной овцой как-то ускорил решение Ахмета ибн Наифа. Нет, не напрасно, видать, продолжал без устали старый Исмаил Халд ибн Саид рассказывать бесконечные свои истории о старине, предания, которые раз от разу становились все прозрачней, понятней, и все ясней вырисовывался размер выкупа, который готов был старик внести за Фатиму. Но уже и другие достойные люди заговаривали с Ахметом о дочери, весть о красоте которой ветер, наверно, разнес по округе, задувая в шатры ее имя и сладостно вея о ней со всех четырех сторон света.

И пришла пора покупать туфли для Фатимы. В базарный день взял Ахмет свою дочь и отправился в город. А за всю свою юную жизнь была Фатима в городе только два раза, ну может быть — три. Обычно город сам заранее встречал ее каменными домами и минаретами, башнями гордых мечетей, и каждый раз было это чудом необыкновенным, чудом, которое, чем ближе подходишь к нему, тем оно достоверней.

На сей раз, однако, в достоверность того, что открылось глазам, было трудно поверить: Фатима увидала издали громадное стадо, толпящееся и спускавшееся вниз по улице, точь-в-точь как толпится отара, почуяв опасность или — когда овцы измучены жаждой — различая по каким-то приметам близость воды. Пройдя рядом с отцом немного еще, Фатима разглядела, что стадо, оказывается, это вовсе не овцы, а люди. Стиснутые стенами домов, люди спускались вниз по улице плотным скопищем, а один человек шел впереди, что-то громко выкрикивая, какие-то резкие, отрывистые слова, которые те, кто шел следом, подхватывали и повторяли, и получался один слепившийся, как огромный ком, рев. Фатима посмотрела на отца, ей хотелось спросить его, кто он, тот, что идет впереди, или, может, в стаде людей тоже есть всегда свой баран, который ведет их? И показалось ей вдруг это стадо таким же видением, какие встают в пустыне над краешком неба, и подобно тому, как потом оплывают и тают воздушные замки и минареты, так, может быть, растворятся сейчас и исчезнут эти водовороты существ, это стадо обезумевших и озверевших овец, принявших зачем-то человеческий облик.

Фатима не успела спросить об этом отца, потому что там набежали откуда-то еще люди, в мундирах, и начали палками избивать всех подряд, кто подвернется. Ахмет крепко сжал руку дочери, и они, почти убегая, свернули в какой-то проулок, спускавшийся круто вниз.

Пока отец уводил ее дальше и дальше, Фатима все допытывалась:

— Абу, кто они были, те, что били других? Вроде псов? Вроде собак, что ходят с отарой?

Отец ей не отвечал. Он сам был потрясен и растерян. В первый раз в своей жизни он видел такое: люди внизу разбегались, многие оставались лежать на земле окровавленные, избитые, изуродованные. Фатиме хотелось плакать. В ужасе прижимаясь к отцу и глядя на страшное зрелище, она вспомнила вдруг одно жуткое происшествие, которое с ней приключилось давно уже, сразу после того, как отец впервые ей доверил отару. Как в пустыне бывает, невесть откуда взялась и обрушилась с высей песчаная буря, а потом небеса отворились, и хлынули воды. Песок колол глаза, овец своих Фатима больше не видела. А овцы теснились в смятенье и панике, пытаясь перескочить, перепрыгнуть одна через другую, порываясь бежать куда-то, как-то спасаться, но лишь обреченно метались и блеяли. Истошно лаял пес, а открыть глаза и помочь псу навести хоть какой-то в стаде порядок, хоть немного успокоить отару Фатима не могла. Она сидела на земле и плакала. Бедные овцы, что с ними делается? Что будет с нею самой? Пес, услышав, как она плачет, прильнул к ней и тоскливо, жалостно подвывал, как только умеет выть тоскующая собака.

Потом хлынул обильный дождь, смывая плотный налет песка с ее плеч и спины, а слезы из глаз промыли ресницы, и сквозь полосы падающего дождя стало видно, как разбегается стадо, широко, во все стороны, по всем направлениям просторного окоема. Отдельные кучки овец там и сям толпились, опираясь головой друг о дружку. Среди этих разбросанных овечьих группок Фатима искала взглядом барана, обычно ведущего за собой стадо, но потом увидала его далеко-далеко, он и сейчас оказался впереди всех, он — бежал, бросив отару, спасаясь в одиночку. Потом он опустился на все четыре колена и стал ждать, когда кончится буря, и овцы опять соберутся вокруг него, и опять он пойдет впереди — впереди многоголового стада. Домой тогда она возвратилась, потеряв половину отары, пес плелся следом с опущенной головой, как человек, виновный во всем — и в том, что вдруг грянула буря, и в том, что столько пропало, разбежавшись куда-то, овец. Ахмет взял сыновей, и они пошли и собрали недостающую часть отары прежде, чем наступила ночь, собрали и привели их — напуганных и истерзанных, как истерзаны и напуганы бывают одни только овцы.

Сейчас, пока Фатима, торопливо идя за отцом, смотрела на то, что происходит внизу, под крутым склоном улочки, ей вдруг показалось, что весь этот кошмар

с бурей и овцами случился с ней именно здесь, на обрыве этом, да-да, здесь это было тогда, а сейчас — повторяется.

— Абу, ты помнишь? — спросила Фатима.

— Что? — не понял отец.

Она не ответила. То, что открылось перед ней, наполняло туманом голову, сердце, горчащим дымом першило в мозгу и в душе... Бегущие и лежащие на земле овцы, но почему-то с человеческими лицами... И почему-то все это происходит в такое ясное утро, когда в синем небе ни облачка...

Где же пастух, где тот, кто должен стеречь и оберегать их всех, валяющихся теперь на земле кто навзничь, кто на правом или левом боку, в лужах крови? И кто послал псов так уродовать этих овец с лицами, как у людей? Фатиме нужно было очень многое спросить у отца, но она видела, как сам он растерян, и — из почтения к нему — ни о чем не спросила.

Возвращаясь домой с парой новеньких туфель, переброшенных через плечо, Фатима не могла забыть эту улицу и не переставала сравнивать увиденное с тем, что она наблюдает в своей отаре, в стаде овец. И никакого объяснения этому совпадению не находила.

Ахмет ибн Наиф вдруг спросил:

— А ты помнишь, что рассказывал старый Исмаил Халд ибн Саид про одного царя, который властвовал над своим народом, но не берег его. Только доил, как доят послушное стадо, как стригут с него шерсть или палкой колотят, когда нужным считают.

— Плохой царь в этом городе, очень плохой! — сказала Фатима гневно и, помолчав, что-то собиралась добавить, но расхотела. Ей подумалось, что сама она хорошо присматривает за стадом, которое ей доверил отец, а когда она, заблудившись однажды, попадет в далекую, за горизонтом, страну и станет там женою царя, она будет властвовать в той стране так, как властвует сейчас — водит овец на сочные пастбища и к источникам с чистой прохладной водой. Фатима, как сказано, в медресе не училась, там учились братья ее, но все, что она увидела в городе, разом и бесследно развеяло смутный туман, клубившийся раньше в ее мыслях и девичьих чувствах. Теперь она знала, ясно так осознала и увидела путь, который лежал перед ней: царица над овцами, она станет царицей над огромной отарой людей и будет править ими заботливо и справедливо, как правит отарой отца ее, Ахмета ибн Наифа.

От переводчика

С горячечных эксклamаций либо скорбно-занудных: во-пе-е-ер-вых... во-вторы-ых... в-третьих...— загибаний пальцев и тягостных отпеваний языка и культуры идиш начинается — и должен начинаться — любой разговор о современном писателе, пишущем на идиш. В самом деле, для кого же он пишет, кому несет творческую радость и печаль свою?

За полтора каких-нибудь года пребывания здесь, на родине всех евреев, насобирал я на улицах, в подворотнях и на свалках Тель-Авива, Бат-Яма и Акко большую библиотеку на языке идиш, некоторым из книг в которой по сто, а то и более лет,— раритеты!

Читать почти некому. Неадаптированного Шекспира — кто бы читал?

Менделе... Шолом-Алейхем... Анский... Дер Нистер... Классики литературы на языке идиш, полуклассики... А вот не желаете ль Ницше на идиш? «Гамлета» — на идиш? Само собой — Пушкина, Льва Толстого и Чехова, Ленина — если по-русски кто подзабыл.

Желающих нет.

Черниховский вот, Бялик, Мойше Альперн — любимцы мои...

Гибнет культура, целая цивилизация! — хочется кричать по ночам, глядя на полусвисающие с узких, сбитых гвоздиком полочек обветшалые корешки: Гёте, Диккенс, Марк Твен, это из общеизвестных. А вот объемистая, 500 с лишним страниц, просто роскошно выпущенная «Французская поэзия» с иллюстрациями Мане, Пикассо, Макса Жакоба. Год издания — 1968-й. Для кого была издана эта книга? Переводчик на идиш — М. Литвин, он что, сумасшедший?

А те две сотни активно еще работающих на этом языке в разных странах писателей, причем есть среди них и молодые, и даже такие, что пришли в эту литературу, оставив свое прежнее писательство на других языках,— они что, совсем умом тронулись?

Нет, что-то побуждает их, что-то подсказывает им, что «неперспективный» этот язык (и тысячелетняя культура, которую он несет с собой и в себе) не исчерпан еще, а, напротив, полон, как говорится, живительных соков, он так и брызжет жизнью, юной силой, неизрасходованностью. При любом повороте исторической нашей судьбы — идиш, по пушкинскому слову, нет, весь он не умрет. Иммунитет его от смерти, против смерти — в его восприимчивости и родовой непритязательности. Он вберет хоть французское, хоть цыганское, если нужно тебе, словцо, кибернетический термин от Норберта Винера или русскую феню, по которой он ботает, падла, не хуже афганца с Арбата. Не от татар и немцев и не через русский, а с языком идиш ворвались в воскресший, но все равно не раскошелившийся на гласные иврит все эти «блд», «дрк» или даже неоновый по вечерам «кбнмт» над тель-авивским рестораном — чем особо нам тоже гордиться, скажет профессор-гебраист, не приходится.

— Идиш умрет? — спрашиваю я Мордехая Цанина. Он молчит в ответ, ему восемьдесят восемь.

Если идиш умрет — это будет не смерть, а убийство, чудовищный акт насилия маленького уродца — одного, в сущности, десятилетия — над величественной Историей.

А пока что — помилуйте! — этот идиш обслуживает еще сотни тысяч людей, и многие языки в мире еще могут ему позавидовать. Недаром же он включен в девятку языков международных! А то, что на языке этом с каждым днем все меньше — до катастрофичности — читающих, то это процесс, как сказано, не природоестественный, но — сам по себе результат Катастрофы и целой череды не столь громоподобных уже катастроф ашкеназийского еврейства в советской империи, США и Израиле. И если в США это происходило опосредованно, то ситуация с языком идиш и вообще восточноевропейской еврейской культурой в современном Израиле первых десятилетий — вполне узнаваема для недавних советских «лиц еврейской национальности» в том же, к примеру, рассказе М. Цанина «Ядвига». Атмосфера чиновничьей, по согласованности, дискриминации ашкеназийства с нескрываемой целью искоренения галутного сего «позора» в истории еврейского народа — великолепно, с точки зрения публицистической достоверности, обрисованная в этом рассказе,— тема, слышимая как гневный и неумолчный крик во всем творчестве и во всей жизни Цанина, во всех жанрах его прозы и аспектах общественной деятельности: в публицистических выступлениях, в речах с трибун, в задушевных беседах с коллегой или читателем, одиноко забредшим в «Бет Лейвик» — в Союз писателей и журналистов идиш, который он, Цанин, много лет, по справедливости, возглавляет.

Короткую прозу М. Цанина (в России его произведения публикуются впервые) отличают тончайшая стилистическая нюансировка, зримая рельефность и ощутимость психологической среды, а в сфере содержательной — проверенная долгой жизнью мысль о незакрепощении человека, бережном отношении к этому нежному, хотя и озверевающему порой существу, будь это подверженный болезненным странностям паренек из рассказа «Бенцион Второй» или библейский Иов, на примере судьбы которого автор — открыто, от своего же писательского имени — полемизирует с самим Сатаной и даже с самим Творцом, попустительствующим Сатане в деяниях страшных и противочеловеческих.

Тематика рассказов М. Цанина проламывает брешь в никем персонально, но всеми вместе установленных границах литературы на идиш. Вот — полярная, но в чем-то контрапунктирующая памфлету «Месье Сатан», идиллическая, но с подвохом к концу, новелла «Царица Фатима», тихая и полная неги акварель из жизни мирных арабов: пастушка, овечья отара, прохладный родник и прекрасный мираж на горизонте... Много ль найдется сегодня еврейских писателей, осмелившихся — в контексте дня — взять для новеллы такую тему и такой материал, так тончайше и с таким лиризмом сказать о народе, при одном, казалось бы, упоминании о котором на еврейскую память приходят современный терроризм и тысячелетняя нетерпимость? Но террорист не бывает — народом. О чем и толкует писатель, с озабоченной нежностью выписывая портрет юницы, вдруг и разом налетевшей на стену — на реальность жестокого, жесткого мира.

В наши дни Мордехай Цанин — самый, пожалуй, крупный писатель, представляющий перед своим народом, да и перед другими народами литературу и шире — Словесность идиш.

МАЦУО БАСЁ

Проза в жанре хайбун

Перевод с японского Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

От переводчика

В истории японской поэзии нет фигуры, по масштабу равной Басё. Он пользовался непререкаемым авторитетом при жизни, к его творчеству неизменно обращались поэты последующих поколений, его имя занимает одно из ведущих мест в ряду легендарных и обожествленных исторических личностей. И хотя число созданных им трехстиший-хайку относительно невелико (едва больше тысячи), ни один поэт не удостаивался такого количества комментаторской и исследовательской литературы, причем писать о нем — что тоже редкость для японской традиции — начали сразу же после его смерти.

Басё прожил недолгую, но необычайно яркую в творческом отношении жизнь. Его имя неизменно связывают со становлением жанра хайку в японской поэзии, ибо благодаря Басё трехстишие-хайку сделалось одной из ведущих поэтических форм, уравнявшись в правах с безраздельно царившим ранее пятистишьем-танка. Басё разработал новую поэтику хайку, которая определила дальнейшее существование этой формы. Причем новаторство его основывалось не на отказе от канонов, к чему призывали последователи доминировавшей в начале XVII века поэтической школы хайку Данрин, а на возвращении к традиции. Придерживаясь той истины, что, только освоив старое, можно творить новое, Басё вместе с тем предостерегал от бездумного подражания великим поэтам древности. «Не стоит искать следы древних,— говорил он,— нужно искать то, что искали они».

Поэзия Басё любима и в современной Японии. Трудно найти японца, который не знал бы наизусть нескольких трехстиший поэта. Хайку Басё переведены на все западные языки. Знакома поэзия Басё и нашим читателям. В 1964 году вышел томик его стихов в прекрасных переводах В. Марковой. Русские читатели познакомились с такими шедеврами, как «На голой ветке / Ворон сидит одиноко. / Осенний вечер». Или: «Старый пруд. / Прыгнула в воду лягушка. / Всплеск в тишине». Но далеко не всем известно, что Басё был не только великим реформатором японской поэзии, но и создателем нового прозаического жанра, хайбун (с более поздними образцами которого читатели «Иностранной литературы» имели возможность познакомиться по публикациям наследия Бусона и Иссы [1]).

Хайбун — жанр, в котором соединяются свойства прозы и поэзии. Если искать аналогию в западной литературе, то, пожалуй, хайбун ближе всего стихам в прозе. Будучи формально прозой, хайбун обладает всеми свойствами поэзии хайку — лаконичностью и простотой языка, богатством скрытых подтекстов.

Проза хайбун — яркий пример соединения двух культурных традиций, китайской и японской. И в древнем, и в средневековом Китае были популярны малые формы повествовательной прозы — записи о разном, наставления, рассуждения

[1] «Иностранная литература», 1990, № 11, 1992, № 5—6.

на разные темы, эпитафии, письма и т. п. Как правило, сюда относились бесфабульные произведения описательного характера, основными чертами которых были краткость и свободная, непринужденная манера изложения. Очень часто это была ритмическая проза, пользующаяся всем арсеналом приемов, принятых в поэзии: параллелизмами, метафорами и пр. Именно с прозой такого типа связан японский жанр хайбун. Однако при всей бесспорности китайского влияния на становление этого жанра нельзя недооценивать и роли японских национальных традиций. Взять хотя бы возникшую еще в X веке и почти сразу же занявшую одно из ведущих мест в литературе дневниковую прозу или жанр дзуйхицу (небольшие фрагменты и эссе на разные темы). В прозе хайбун применяется столь любимый в японской литературе прием цитирования, когда слово или строка из всем известного произведения японской или китайской классики вводится в текст, придавая ему особую емкость и глубину.

Прозу типа хайбун писали многие поэты и до Басё. Это были предисловия и послесловия к антологиям хайку, вступления-котобагаки к самим трехстишиям, небольшие прозаические отрывки на разные темы, написанные по тому или иному случаю. Но только после Басё хайбун стал самостоятельным прозаическим жанром, способным в полной мере выявить творческую индивидуальность поэта.

Басё родился в 1644 году в провинции Ига. Его родители были довольно бедны. Отец преподавал каллиграфию и, судя по всему, был человеком, сведущим в литературе, так что уже в детстве Басё приобщился к китайской классике. Он рано начал сочинять стихи, принимал участие в поэтических состязаниях. С двадцати девяти лет жил в Эдо, был чиновником, затем профессиональным учителем хайку. Басё был человеком глубоко и разносторонне образованным. Он любил китайских поэтов Ду Фу и Ли Бо, из своих японских предшественников особенно ценил Сайгё. Он изучал дзэн и чтил великих китайских философов Лаоцзы и Чжуанцзы. Все это нашло отражение и в его поэзии, и в его прозе.

К прозе хайбун Басё обратился в последнее десятилетие своей жизни (скончался он в 1694 году), которое было самым плодотворным периодом его творчества. Именно в эти годы он много странствовал («Ворон-скиталец, взгляни! / Где гнездо твое старое? / Всюду сливы в цвету»), и в результате этих странствий появились на свет пять его дневников, которые представляют собой значительную часть его прозаического наследия. Именно в эти годы Басё написал «Записки из Призрачной обители», которые считаются первым произведением в жанре хайбун. Тогда же возник и псевдоним, под которым поэт вошел в историю литературы. Настоящее его имя было Мацуо Тоситиро (существуют и другие предположения), до Басё он называл себя Сохо, Манэфуса, Тёсэй, Кукусай.

В прозе хайбун нашел свое выражение основополагающий принцип мировоззрения Басё «фуэкирюко» — «постоянство и изменчивость», который был выработан им в последние годы жизни. Постоянство и изменчивость — два свойства, две стороны любого предмета, любого явления. Окружающий мир изменчив и зыбок, но в каждом его проявлении всегда содержится частица вечности, истинная суть, уловить которую — главная задача поэта.

Темы для своих хайбун Басё черпал из повседневной действительности, предметом его поэтического внимания могла стать любая малость, любой пустяк, все то, чем пренебрегали его предшественники. Стремясь уловить и выразить в слове истинный облик окружающего мира, Басё одновременно запечатлел в своих произведениях мир собственной души, и это одна из причин того, что они непременно найдут отклик и у современных читателей.



Портрет Басё кисти известного художника Есы Бусона.

Хижина из хвороста

Наскучив городской жизнью, которую вел последние девять весен и осеней, переезжаю в окрестности Фурукавы [1].

Часто вспоминаю человека, сказавшего некогда: «В Чанъани живущие любят почести и богатство. Человеку без денег трудно здесь, в Чанъани, прожить» [2]. Не потому ли, что и сам я беден?

Бедная хижина.
Ветер принес горстку листьев к порогу —
На них вскипячу себе чай.

Слово о переносе банана

Хризантемы лучше всего растут у восточной ограды, друг мой, бамбук — у северного окна [3]. О достоинствах алых и белых пионов споры идут повсюду, и пылью этого мира загрязнены их лепестки. Лотос не растет из обычной земли, и если вода нечиста, цветы не расцветают. Не помню, в каком году перенес я жилище свое в здешние пределы, тогда же и посадил банан. Очевидно, местность эта банану пришлась по душе — он дал несколько побегов, листья его, разросшись, затенили двор и даже заслонили стреху, крытую китайским мискантом. Созвал я друзей, и дали они хижине имя. Старым друзьям моим, да и ученикам тоже банан полюбился, поэтому, ростки отрезая и корешки отделяя, их я то одному посылал, то другому, и так шли год за годом.

Однажды вздумалось мне отправиться в Митиноку, и вот, опасаясь, что за время моего отсутствия Банановая хижина придет в полное запустение, пересадил я банан по другую сторону ограды и замучил живших по соседству людей просьбами стряхивать с его листьев иней и оберегать от порывов ветра, даже написал им о том, так, забавы ради, балуясь кистью. Скитаясь по чужим землям, и о сосне — как она там в одиночестве — болел душою, тоска же по оставленным друзьям и банану была просто невыносима, но вот миновали пять весен и пять осеней, и снова окропил я свой банан слезами.

В середине пятой луны нынешнего года в душу так или иначе проник аромат померанцев, и к людям повлекли прежние чувства. Больше не покидал я здешних пределов и, поблизости от старой хижины своей возведя домик в три пролета, покрыл его, как положено, китайским мискантом, криптомериевые столбы аккуратно обстрогал, из веток бамбука сделал крепкую дверь, обнес домик прочной оградой — вот и чертог на берегу пруда, обращенный на юг. Калитку же навесил наискосок, чтобы видно было Фудзи. Оттуда, где поток реки Чжэцзян разделяется на три [4], хорошо любоваться луной, поэтому уже с третьего дня негодовал на тучи и страдал от дождей. Готовясь к ночи полнолуния, прежде всего пересадил банан. Его листья так сделались широки, что на них можно положить цитру-кото. Когда ветер вдруг разрывает лист пополам, печалюсь так, будто повредили хвост птице фынхуан или порвали зеленый веер. Хоть и расцветают иногда на банане цветы, нет в них яркости, хоть и толст его ствол, топор никогда его не коснется. Подобен он негодным

---

[1] Зимой 1680 года Басё поселился в предместье Эдо, Фурукаве, в хижине, подаренной ему учеником Сугияма Сампу (1647—1732). Около хижины посадили банановую пальму и стали называть ее Банановой хижиной (Басё-ан). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Басё цитирует стихотворение великого китайского поэта Бо Цзюйи (772—846) «Провожаю Чжан Шаньжина...».

[3] Китайский каллиграф Ван Цзыю (IV в.) очень любил бамбук и, даже если селился где-нибудь на время, обязательно сажал бамбук в своем саду, говоря: «Ни дня не могу прожить без друга моего». Северное окно — образ тишины, покоя, чистоты.

[4] Образ из стихотворения Ду Фу (712—770).

деревьям [1], в горной глуши растущим, и дух его достоин почтения. Монах Хуай Су [2] на листьях банана учился писать. Чжан Ханцюй [3], глядя на новые листья, совершенствовался в учении. Я не собираюсь следовать их примеру, я просто отдыхаю в его тени и люблю его беззащитность перед ветром и дождем.

Предостерегаю от уединенной жизни

Ах, какой же я лентяй! В последнее время даже гости стали докучать мне, и я многажды клялся себе: «Не буду больше ни с кем видеться, не буду больше никого приглашать!» Но лунной ночью или снежным утром так томится по другу душа! Молча пью вино, самого себя спрашиваю, самому себе отвечаю. Распахнув дверь хижины, любуюсь снегом. Затем снова пригубливаю вина и то берусь за кисть, то откладываю ее... Ах, какой же безумец!

Пью вино,
И заснуть все трудней и трудней.
Снежная ночь.

Записки из хижины «Призрачная обитель»

За горой Исияма и далее за горой Ивама есть еще одна гора, ее называют Кокубуяма. Название это, должно быть, перешло к ней от храма Кокубундзи еще в давние времена. Если перебраться через узкий поток у подножья и, поднимаясь по окутанному зеленой дымкой склону, трижды повернуть и еще шагов двести пройти — увидишь храм Хатимана. Говорят, божество это является воплощением будды Амиды [4]. В домах, где склоняются к единому [5], с возмущением отвергают подобную мысль, но, по-моему, достойны почитания и те, кто придерживается учения о двуединстве, кто умеряет свой блеск и уподобляется пылинкам, милости раздавая. Недавно один человек отправился поклониться храму и в тамошних пределах, исполненных святости и покоя, обнаружил покинутую хозяином хижину, крытую травой. К стрехе подступают буйные заросли полыни и бамбука, крыша протекает, стены покосились, давно уже стало это жилище обителью лис и барсуков. Называют хижину — Призрачная обитель.

Хозяин, некий монах, приходился дядей храбрецу Кокусую из рода Сугинума, но тому уже восемь лет, как от него осталось лишь имя — Старец из Призрачной обители.

Между тем человек, которому давно перевалило за четвертый десяток и который лет десять назад распростился с городской жизнью [6], сбрасывает плащ гусеницы миномуси, оставляет позади домик улитки и, направляя стопы свои в Оу, бредет по дорогам Кисаката, открыв лицо палящим солнечным лучам; утруждая ноги свои, он взбирается на сыпучие дюны дикого побережья северного моря,

---

[1] Образ из «Чжуанцзы», китайского философского трактата IV в. до н. э.: «Бродя по склону горы, Чжуанцзы увидел огромное дерево с пышными ветвями и листвой. Лесоруб остановился около дерева, но его не выбрал.

— Почему его не рубишь? — спросил Чжуанцзы.

— Ни на что не годно,— ответил Лесоруб.

— Дерево негодное, а поэтому может дожить до своего естественного конца,— заметил Чжуанцзы, спустился с горы и остановился в доме старого друга». (Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая. М., 1967.)

[2] Хуай Су — известный китайский монах и каллиграф (725—785). В молодости был очень беден и за неимением бумаги учился писать на листьях банана.

[3] Чжан Ханцюй (Чжан Цзай, Цзыхоу, 1020—1077) — китайский философ, много писавший о листьях банана. Новые листья банана символизировали в его писаниях обретение новых достоинств, новых знаний.

[4] Хатиман — бог войны и справедливости, одно из самых почитаемых божеств синтоистского культа. Согласно учению рёбусинто, совмещающего синтоизм с буддизмом, Хатиман является местным воплощением будды Амиды — будды Чистой земли, буддийского рая.

[5] Речь идет о направлении в синтоизме, приверженцы которого требовали чистоты веры синто, как исконно японской, и выступали против соединения ее с конфуцианством и буддизмом.

[6] Басё имеет в виду себя, свое переселение в Банановую хижину.

а в нынешнем году отдается на волю волн этого озера [1]. Уподобившись уточкам нио, спешащим обрести приют под сенью случайного тростникового стебля, к которому теченье прибило их плавучее гнездо, он обновляет стреху, ставит плетень и, хотя не было у него желания задерживаться в этих горах, к началу четвертой луны начинает думать: «Не скоро от этих вершин оторваться сумею» [2].

Весна совсем недавно покинула горы, еще цветут камелии, но горные глицинии уже цепляются за ветви сосен, а иногда пролетает мимо кукушка, и даже сойка порой навещает меня, дятел же, будто не замечая их, не перестает стучать, и все это несказанно меня развлекает; душа блуждает в землях У и Чу, на восток и на юг простирающихся, тело же остается на берегу рек Сяо и Сян у озера Дунтиху [3]. Горы высятся на западе и на юге, жилища людские где-то вдали; южный ветер прилетает с далеких вершин, северный насыщен морскою прохладой. С горы Хиэ, с вершины Хира видно, как в дымке теряются сосны Карасаки, там замок, а там мост и лодки, с которых ловят рыбу. Голоса дровосеков, по склонам Касатори бродящих, песни крестьян, срывающих ранние побеги в полях у подошвы горы, перестукивание пастушков-куина [4] в вечернем небе, в котором, мерцая, снуют светлячки,— словом, здесь в избытке того, что ласкает зрение и слух. К тому же гора Микамияма напоминает вершину Фудзи, и мысли устремляются невольно к старому жилищу на равнине Мусаси [5]. На горе же Танаками я вспоминаю о тех, кто бывал здесь в давние годы. Есть здесь и другие горы — пик Сасахо, вершина Сэндзаэ, гора Хакамагоси. Селение Куродзу темнеет густо, совсем как в той песне из «Манъёсю» [6], где говорится: «охраняют сети»... Когда обзор не затянут облаками, я поднимаюсь на гору позади хижины, делаю себе помост в кроне сосны, стелю на него соломенное сиденье. Седалище обезьяны — вот как я это называю.

Я вовсе не ученик почтенных Вана и Сюйцюаня [7], которые вили гнезда на яблонях и хижины строили на вершине горы Чжубо. Просто, став спящим на ходу жителем гор [8], я располагаюсь на круче высокой и вытягиваю ноги или, устроившись где-нибудь в пустынных горах, сижу, вылавливая вшей. Иногда, когда вздумается, я зачерпываю чистой воды из родника в ущелье и сам готовлю себе еду. Я вздыхаю, глядя на звонкие капли, хозяйство мое скудно весьма. Тот, кто жил здесь до меня, сердцем стремился к высокому, у него не было охоты заботиться об изящной утвари. Помимо молельни, есть здесь лишь небольшое помещение, куда убирается на день постель.

Как бы то ни было, прознав, что в столице изволит теперь пребывать священник с Цукуси, с горы Кора, сын одного человека из Камо, провинции Каи, я через одного своего знакомца попросил его дать название моему жилищу. Он, словно играючи, обмакнул кисть и, написав два слова: «Призрачная обитель», прислал мне. Так и останется эта надпись на память об этом жилище. Тот, кто живет в горах, кто ночлег находит в поле, не должен обзаводиться утварью. На столбе у моего изголовья висит лишь шляпа из коры дерева хиноки, растущего в долине Кисо, да плащ, плетенный из тростника, привезенного из Коси. Днем я принимаю случайных гостей: то старца сторожа из храма, то жителей ближайшей деревни, и до той поры, пока солнце не скрывается за горою, они рассказывают мне о деревенских делах, столь для меня непривычных: о том, как кабан потравил посевы риса, как зайцы повадились на поле фасоли. Ночами же, в тишине, в ожидании луны, я сижу вдвоем со своей тенью, затем развожу огонь и с полутенью [9] рассуждаю о хорошем и о дурном.

---

1 Имеется в виду озеро Бива.

2 Образ из стихотворения японского поэта Сайгё (1118—1190).

3 Земли У и Чу, реки Сяо и Сян, озеро Дунтиху — образы из стихотворения Ду Фу.

4 Куина — болотный пастушок, птица, которая издает своеобразные звуки, похожие на стук.

5 Жилище на равнине Мусаси — имеется в виду Банановая хижина.

6 «Манъёсю» — японская поэтическая антология VIII века.

7 Почтенные Ван и Сюйцюань — старцы-отшельники, персонажи из стихотворения Хуан Тинцзяня (1045—1106). Первый построил хижину на вершине горы Чжубо, а второй устроил на яблоне в саду гнездо и, сидя в нем, принимал гостей.

8 Один из распространенных образов китайской поэзии — отшельник, который путешествует во сне.

9 Образ из «Чжуанцзы»: «Полутень спросила у тени: «Раньше ты двигалась, теперь ты остановилась, раньше ты сидела, теперь ты встала. Откуда такое непостоянство поведения...» («Древнекитайская философия», М., 1972, т. 1).

При всем том я не хочу сказать, что так уж люблю уединение и намереваюсь затеряться бесследно в горах и лугах. Я просто хвор и устаю от людей, потому и уподобился отрекшемуся от мира. Порой задумаешься — а что я, недостойный, совершил за прожитые мною годы и луны? Иногда завидовал тем, кто усердствует на службе, иногда готов был открыть калитку в ограде жилища Будды, а в конце концов вверил судьбу свою непостоянным ветру и облакам, стал усердно воспевать цветы и птиц, на какое-то время даже сделав это источником своего существования, и в конце концов только это и осталось мне, беспомощному и бесталанному. Бо Лэтянь [1] утратил душевное равновесие своей телесной основы, старец Ду [2] довел себя до изнеможения. Люди разные бывают — и мудрые и глупые, но разве не всем суждено жить в этом призрачном мире? Примирившись с этой мыслью, я лег спать.

Дерево сии [3]
Прежде других мне подарит приют
В летней роще.

О закрывании ворот [4]

Конфуций полагал, что дурно предаваться любовным утехам, да и Будда предостерегал от любострастия среди первых пяти своих заповедей, тем не менее человек очень часто бывает не в силах устоять перед соблазном, слишком много таится в нем притягательного. Лежа под цветущей сливой где-нибудь на недоступной для чужих взоров горе Курабу, горе Мрака, сам того не желая, пропитываешься ароматом цветов, а если вдруг отлучится куда-то страж, охраняющий заставу Людские взоры на холме Синобу, холме Тайных встреч, разве сумеешь устоять перед искушением? [5] Многие, на ложе из волн соединив рукава с дщерью рыбацкой [6], продавали дом свой и лишались жизни, но, по мне, куда в большее заблуждение впадает человек, который, достигнув старости, мечтает о долгом пути, сокрушает душу заботами о рисе и деньгах, не умея проникнуть в душу вещей. Мало кому суждено перевалить за седьмой десяток, расцвет же человеческой жизни приходится лет на двадцать с небольшим. Первая старость подобна сну одной ночи. Перевалив же за пять или шесть десятков, человек отвратительно дряхлеет; ночами его одолевает сон, по утрам же, едва воспряв ото сна, какими желаниями обременяет он свой разум? Люди глупые помышляют о многом. Те из них, кто, приумножая мирскую суету, преуспевают в том или ином мастерстве, обыкновенно преуспевают и в понимании того, что хорошо, а что дурно. Превратив мастерство свое в источник существования, они, погрязши в мире алчности, допускают гнев в свое сердце и все глубже вязнут в топкой грязи, утрачивая надежду на просветление. Как сказал старец Южный цветок [7], отраднее всего старость тех, кто перестает отличать прибыль от убыли, кто забывает о том, стар ли он или молод, и пребывает в покое. Приходит гость, и завязывается никому не нужный разговор. Или же ты сам выходишь из дома и мешаешь другим в их повседневных трудах. И то и другое достойно порицания. Не лучше ли запирать, как Сунь Цзин [8], двери и, как Ду Улан [9], держать на замке ворота? В отсутствии друзей находя отраду, в бедности — богатство, пятидесятилетний глупец сам, для себя и заповеди пишет.

---

[1] Бо Лэтянь — китайский поэт Бо Цзюйи.

[2] Ду — китайский поэт Ду Фу.

[3] Сии — литокарпус Зибольда, вечнозеленое дерево с широкой кроной.

[4] Образ закрывания ворот как символ удаления от мирских соблазнов и сосредоточения на истинном широко распространен в китайской и японской литературе.

[5] Гора Курабу (*букв.* — гора Мрака), холм Синобу (*букв.*— Тайный) — частые образы японской любовной поэзии.

[6] Дщерь рыбацкая — образ из стихотворения неизвестного автора из антологии «Синкокинсю». Имеется в виду женщина из веселых кварталов. Соединить рукава — обычная для японской поэзии метафора любовного свидания.

[7] Южный цветок — имеется в виду китайский философ Чжуанцзы (IV в. до н. э.).

[8] Сунь Цзин — человек, живший в Китае в III веке н. э. Обычно он сидел, затворившись в собственном доме, и читал. Когда его начинало клонить в сон, он подвязывал голову к стропилам.

[9] Ду Улан жил в Китае в V веке н. э. Известен тем, что тридцать лет просидел за запертой дверью.

«Утренний лик» [1].
И днем замка не снимаю
С калитки своей.

В день Встречи звезд [2] сожалею о дождливой осени

На седьмой день месяца фумидзуки [3] шестого года Гэнроку [4] ночной ветер гонит по небу темные тучи, белые волны бьются о берег Серебряной реки, сваи Сорочьего моста уплыли, подхваченные потоком, а у легкого листка ладьи сломаны весла, словом, ясно, что звезды наверняка лишились своего временного пристанища. Разве не жаль впустую провести эту ночь? Я зажигаю фонарь, и тут появляется человек, декламирующий стихи Хэндзё и Комати [5]. Ими воодушевленный, пытаюсь рассеять тоску звезд, застигнутых дождем.

Басё от имени Комати:

Половодье.
Звезды ночлег обрели
На голых утесах.

Сампу от имени Хэндзё:

Бедной ткачихе
Сегодня лишь самый жестокий
Не одолжит плаща [6].

Похвала Унтику [7]

Монах Унтику из столицы нарисовал какого-то почтенного наставника,— уж не себя ли? — сидящего к нам спиною, и сказал мне: «Сделай надпись к этой картине». Было ему тогда за шестьдесят, да и мне уже близилось к пятидесяти. Жизнь наша — сон, вот и себя он запечатлел спящим [8]. Под стать и надпись — словно бессвязное ночное бормотанье...

Обернись же!
Ведь и моя унылая осень
Подходит к концу.

Надпись на столе

В часы досуга кладу на него локти и, отрешась от всего, «медленно дышу» [9]. В часы покоя разворачиваю свитки и ищу в них дух святости и мудрости. В часы покоя беру кисть и стремлюсь к сокровенным пределам Вана и Су [10]. Этот умело

---

[1] Утренний лик — название цветка — вьюнок, ипомея.

[2] Имеется в виду праздник Танабата, который празднуется на седьмой день седьмого месяца. По преданию, в этот день на мосту, переброшенном сороками через Небесную реку (Млечный Путь), встречаются звезды Волопас (Алтаир) и Ткачиха (Вега), все остальное время живущие в разлуке.

[3] Фумидзуки — шестой месяц по лунному календарю.

[4] Шестой год Гэнроку — 1693 год по западному летосчислению.

[5] Содзё Хэндзё — японский поэт X века. Оно-но Комати — японская поэтесса X века.

[6] Трехстишия Басё и Сугияма Сампу написаны на тему пятистиший Хэндзё и Комати из антологии «Госэнсю» (951).

[7] Китамуки Унтику — знаменитый каллиграф (1630—1702), оказавший на Басё большое влияние.

[8] Образ из «Чжуанцзы»: «Когда ему что-то снится, он не знает, что это сон. Во сне он даже гадает по своему сну и только после пробуждения знает, что это был сон. Но существует еще великое пробуждение, после которого сознают, что это был великий сон... И я и ты — все мы лишь сон». («Древнекитайская философия», т. I).

[9] Цитата из «Чжуанцзы»: «Наньго Цзыци сидел, опираясь на стол. Смотрел в небо и медленно дышал. Сидел отрешенный, словно душа его покинула тело». («Древнекитайская философия», т. I).

[10] Ван и Су — известные китайские каллиграфы Ван Сичжи (321—379) и Хуай Су (725—785).



сделанный стол один для трех нужд годится. Высота его восемь сунов [1], площадь — два сяку [2]. На ножках вырезаны триграммы Неба и Земли [3]. Я учусь у затаившегося дракона и кобылицы [4]. Раздельно ли брать? Иль в двуединстве...

О том, как покидают жилище

Бродил, то там, то здесь находя приют, а на зиму затворился в доме на улице Татибана [5], и вот уже позади луны муцуки и кисараги [6]. О поэзии решив позабыть отныне — мол, довольно с меня,— крепко замкнул уста, но душа стремилась к прекрасному, все вокруг искрилось, излучало сияние, наверняка сердцем моим овладел дух поэзии. И вот, все бросив, я снова покидаю жилище. Заложив за пояс около сотни сэнов, вверяю жизнь свою посоху да плошке. Поэзия нисходит и к тому, кто прикрывается рогожей,— вот в чем я убедился.

Похвала сосне из сада Сэйсю [7]

Вот сосна. Высотой около девяти сяку [8], нижние ветки простираются более чем на дзё [9], верхние нависают одна над другой многослойными ярусами, хвоя зелена и густа. Ветер словно струнами цитры-кото перебирает ветвями, и звуки, им порожденные, вызывают дождь, вздымают волны. Они походят то на пение струн, то на трели флейты, то на грохот барабана, в плеске же волн слышатся переливы небесной флейты. В наши дни люди, любящие пионы, собирают в саду своем диковины и кичатся один перед другим, некоторые же, взращивая хризантемы, насмехаются над мелкими цветами, в чужих расцветшими садах. Что касается хурмы, мандаринов-кодзи и прочего, то обычно смотрят только на плоды, никто ни слова не скажет о форме веток и листьев. Одна лишь сосна сверкает зеленью и после того, как на ветки ее ляжет иней, во все времена года остается она зеленой, хотя и выглядит по-разному. Бо Лэтянь сказал: «Сосна отторгает застарелое, потому и живет тысячу лет». Она не только услаждает взор и утешает душу своего хозяина, ей открыта тайна движения жизненных токов, потому на нее и надо равняться, размышляя о своем жизненном пути.

Слово о прощании с Кёрику [10]

Прошлой осенью сошлись ненадолго, но не успела начаться пятая луна нового года, а сердце уже печалью полнится при мысли о скорой разлуке. Однажды, предвидя близкое прощанье, он постучал в дверь моей хижины, и весь день провели

[1] Сун — мера длины — 3,03 см.

[2] Сяку — мера поверхности 0,033 кв. м.

[3] Триграммы Неба и Земли — две основные триграммы китайской классической Книги Перемен (Ицзин). Небо — триграмма, состоящая из одних активных черт, выражет активное начало. Земля — триграмма, состоящая из одних пассивных черт, выражает пассивное начало.

[4] «Учусь у затаившегося дракона и кобылицы» — образы из Книги Перемен. Затаившийся дракон — образ зреющего в пассивном активного начала, которое в какой-то момент вырывается наружу и обретает полноту силы. Кобылица — образ мягкости, гибкости, покорности.

[5] Татибана — улица в Эдо. Вернувшись в Эдо после семилетних странствий, Басё некоторое время жил там у своего знакомого.

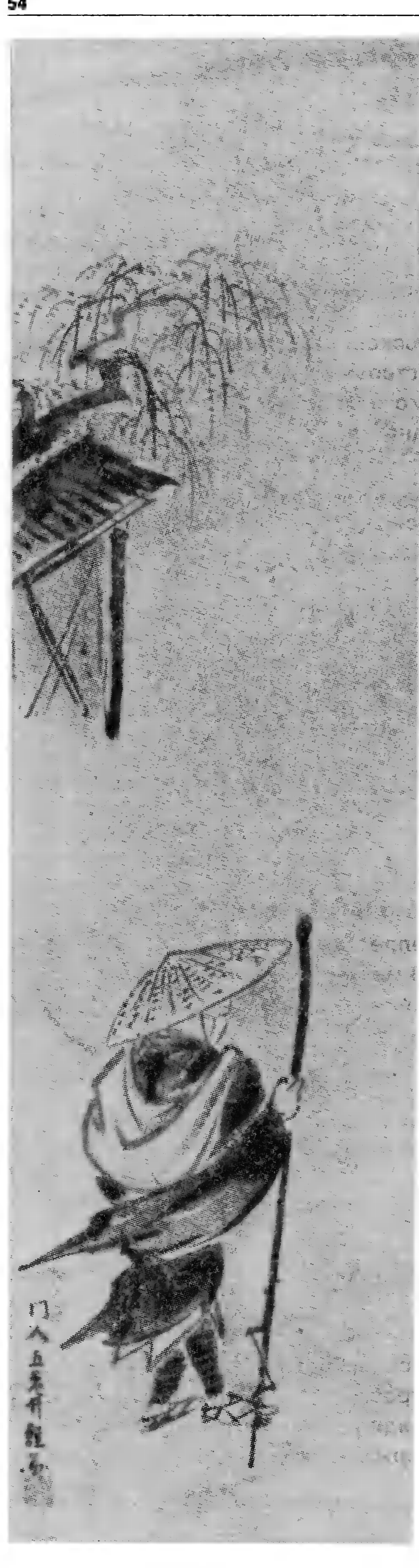
[6] Муцуки и кисараги — соответственно первый и второй месяцы по лунному календарю.

[7] Такэути Сэйсю — поэт хайку из Катада, современник Басё.

[8] Здесь сяку — мера длины, равная 30,3 см.

[9] Дзё — мера длины, равная 3,03 м.

[10] Морикава Кёрику (1656—1715) — художник и поэт школы Басё.



мы в тихой беседе. Это вместилище дарований любит живопись и питает слабость к изящным речам [1]. Однажды попытался я выяснить — за что любит он живопись? Ответил: «За изящные речи». Спросил тогда: «А чем привлекают тебя изящные речи?» Ответил: «Живописью». Получается — два умения освоив, проявился в одном. И в самом деле, раз говорят: «Слишком многих талантов благородный человек стыдится» [2],— тот и достоин восхищения, кто, совершенствуясь в двух умениях, проявляется в одном! Если говорить о живописи, то в ней он — мой учитель. Если об изящных речах — то здесь он мой ученик. При этом в картинах учителя дух проникает в сокровенные глубины, кистью же владеет он в совершенстве. Его мастерство простирается до пределов, недоступных моему взору. Мои же изящные речи подобны очагу летом и вееру зимой. Они противны людским устремлениям и не имеют пользы. Лишь слова Сякуа [3] и Сайгё [4], даже самые пустяковые, вроде бы случайно брошенные на ветер, способны пленять сердца. Верно, не зря и государь Готоба [5] писал: «В их песнях есть истинное, есть и привкус печали». В словах государевых обретя опору, не будем терять из вида эту узкую тропку. А вот что писал об искусстве кисти Великий учитель с Южных гор [6]: «Не ищите следы древних, ищите то, что искали они». «То же самое можно сказать и об изящных речах» — с этими словами я зажег фонарь, проводил гостя за калитку из хвороста, и мы расстались.

Конец лета Шестого года Гэнроку.

Басё отправляется в путь.
Рисунок кисти Морикавы Кёрику.

---

[1] Изящные речи — имеется в виду поэзия хайку.

[2] Цитата из Конфуция.

[3] Сякуа — монашеское имя поэта и теоретика литературы Фудзивара Сюндзэй (1114—1204).

[4] Сайгё (1118—1190) — великий японский поэт, оказавший большое влияние на Басё.

[5] Готоба (1180—1239) — японский император, большой любитель поэзии.

[6] Имеется в виду философ и поэт Кободайси (774—835). В одном из его трактатов говорится: «Занимаясь каллиграфией, стремитесь уловить смысл, который вкладывали древние люди в знаки, не следует подражать отпечаткам их кисти».



Слово «бестселлер» на русской почве постигла судьба многих иностранных заимствований, которые переживают здесь вторсе рождение с бесследной потерей первоначального смысла. Из английского bestseller — «хорошо продающаяся», просто «ходкая» книга — бестселлер стал в нашем языке синонимом занимательности и даже гениальности книги, символом писательского таланта, метафорой успеха, гарантией качества. Иначе говоря, в повседневном употреблении это слово утеряло помету «экон.» (экономика), приобрело другую стилистическую окраску, и, произнося его, наш соотечественник меньше всего думает о книжном бизнесе, рынке и рекламе.

Поэтому главная цель нынешнего «Литературного гида» — возвратить слову его смысл. Поставленная задача обусловила и выбор литературной иллюстрации. Роман хорошо известной читателям журнала английской писательницы Сью Таунсенд «Мы с королевой» — рядовой (типичный, обыкновенный) бестселлер: не шедевр, но и не дамское чтение, не кулинарные рецепты (они, кстати, становятся бестселлерами чаще всего), но и не квазинаучные фантазии. В меру ироничный, в меру смешной, абсолютно профессиональный, поддающийся — какая тема! — рекламе роман был замечен публикой и благополучно раскуплен ею.

Кто же создает бестселлер — писатель? издатель? читатель? (См. статьи Б. Хлебникова и А. Мокроусова.) Почему в России это явление возможно пока лишь в экзотических вариантах (см. статьи А. Мокроусова и В. Бейлиса)? Ввиду отсутствия стабильного книжного рынка (см. статью В. Раннева)? Или ввиду присутствия определенной читательской ментальности, сформированной не сегодня и не вчера, а последними двумя веками (см. статью В. Бейлиса)?

Один американский острослов заметил, что бестселлер — это позолоченная гробница посредственности. В ближайшие годы нам, видимо, предстоит проверить справедливость этого утверждения.

■



СЬЮ ТАУНСЕНД

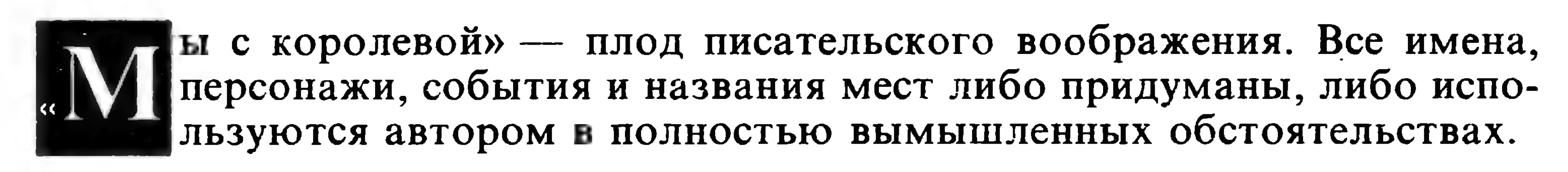
Мы с королевой

РОМАН

Перевод с английского ИННЫ СТАМ

Посвящается Габриэль, Бейли и Ниллу

От автора



«Мы с королевой» — плод писательского воображения. Все имена, персонажи, события и названия мест либо придуманы, либо используются автором в полностью вымышленных обстоятельствах.

Проснувшись, станешь дураком опять.
Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь» [1]

АПРЕЛЬ

1. Не знает сна лишь государь один [2]

Лежа в постели, королева вместе с Гаррисом смотрела телевизор. Был четверг, 9 апреля 1992 года, 11.20 вечера; всеобщие выборы подходили к концу. Гаррис зевнул, показав острые зубы и пурпурно-красный язык.

— Наскучили тебе выборы, золотко? — спросила королева, поглаживая его по спине.

Гаррис загавкал на телевизор: на экране судорожно дергались крошечные человечки в цилиндрах — произведение компьютерной графики.

Не вникая в суть, королева некоторое время просто наблюдала за их забавными движениями и вдруг поняла: эти красные, синие и оранжевые человечки представляют нынешний состав палаты общин. А на переднем плане долговязый мужчина, размахивая руками, скороговоркой бормочет о том, что едва ли можно всерьез полагаться на опросы общественного мнения и скорее всего ни одна из ведущих партий не получит в парламенте большинства. Взяв пульт дистанционного управления, королева уменьшила звук. Ей припомнилось, как сегодня днем секретарь, вручая ей вырезку из какой-то консервативной газеты, сказал: «Быть может, сударыня, это вас позабавит».

---

[1] Перевод Т. Щепкиной-Куперник. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] У. Шекспир. «Генрих IV», часть II. *Перевод Е. Бируковой.*

Заметка ее и впрямь позабавила. Какой-то спирит-медиум, услугами которого пользовалась газета, утверждал, будто он вошел в контакт со Сталиным, Гитлером и Чингисханом и те дружно заверили медиума, что, явись им такая возможность, они не мешкая побежали бы на избирательные участки и проголосовали за лейбористов. За обедом королева показала эту заметку Филипу, но он не нашел в ней ничего забавного.

Гаррис глухо заворчал, спрыгнул с кровати и, переваливаясь, заковылял к телевизору. На часах было 11.25. Когда объявили результаты выборов в Базилдоне, он злобно облаял экран. Откинувшись на подушки в полотняных крахмальных наволочках, королева задумалась: интересно, кто будет завтра целовать ей руку — обходительный Джон Мейджор или приятный во всех отношениях Нил Киннок? Она не отдавала предпочтения ни одному из них. Лидеры обеих партий открыто поддерживали монархию и ничуть не походили на миссис Тэтчер, чьи безумные глаза и сдавленный голос совершенно лишали королеву душевного равновесия на их регулярных встречах по четвергам. Интересно, подумала королева, настанет ли такой день, когда премьер-министр — лидер победившей партии — окажется *противником* монархии?

Нарисованные компьютером человечки исчезли с экрана, а их место заняли взволнованные политики, отвечающие на вопросы журналистов; Гаррису стало скучно, и он прыгнул обратно на постель. Повертевшись на мягчайшем пуховом одеяле, он наконец угомонился и лег. Королева протянула руку и ласково погладила его на ночь. Затем сняла очки, выключила телевизор и, улегшись в наступившей тьме, приготовилась заснуть. На нее сразу нахлынули семейные заботы. Королева прошептала молитву, которой более шестидесяти лет назад ее научила Крофи, ее гувернантка:

А ежели вдруг я умру во сне,
Возьми, Господь, мою душу к себе.

И прежде чем сон окончательно сморил ее, королева, вздохнув, подумала: а что было бы с нею и ее семьей, если бы на выборах победили республиканцы? Этот кошмар преследовал королеву и ночью.

2. Глотнем воздуха

Бросив сигарету на шелковый коврик, Джек Баркер придавил ее каблуком. Королева болезненно поморщилась. Между ними заструился едва ощутимый запах тлеющей ткани. Во взгляде королевы сквозило презрение. У Джека забурчало в животе. Когда он еще учил таблицу умножения на девять, у них в классе висел ее портрет. Маленький Джек нередко поглядывал на него, ища поддержки и вдохновения. Принц Чарльз наклонился и поднял окурок. Оглянулся, ища, куда бы его бросить, но ничего подходящего не нашел и сунул себе в карман.

Тут заговорила принцесса Маргарита:

— Лилибет, мне до смерти хочется курить. Ну пожалуйста!

— Можно нам открыть окна, мистер Баркер? — спросила королева. Ее идеальное произношение пронзило Джека, словно хрустальная игла. Он бы ничуть не удивился, увидев, что из раны сочится кровь.

— Ни в коем разе,— ответил он.

— А мне положен отдельный дом, или я обязана жить с дочерью и зятем?

Королева-мать одарила Джека своей знаменитой улыбкой, но руки ее, теребившие широкую ярко-голубую юбку, скрутили ткань узлом.

— Вам, как пенсионеру, положен одноэтажный домик. Все граждане нашей страны имеют на это право, и вы тоже.

— Ах, одноэтажный? Прекрасно. Лестницы мне уже не по силам. А прислуга будет жить в доме или отдельно?

Засмеявшись, Джек бросил взгляд на сопровождавших его республиканцев — шесть мужчин и шесть женщин, тщательно отобранных

для участия в этой исторической церемонии. Они рассмеялись вместе с Джеком.

— Вы, видимо, не понимаете. Прислуги вообще не будет — ни фрейлин, ни поваров, ни секретарей, ни горничных, ни шоферов.

Он обернулся к королеве:

— Придется вам время от времени захаживать, помогать матушке. Впрочем, ей, возможно, будут возить готовые обеды из столовой.

Услышав это, королева-мать расцвела.

— Значит, я голодать не буду?

— Пока у власти народная республиканская партия,— заявил Джек Баркер,— ни один человек в Британии не будет голодать.

Принц Чарльз откашлялся.

— Гм, а нельзя ли, гм, полюбопытствовать, где именно?.. То есть каково местоположение... гм?..

— Если вас интересует, куда вы все переселяетесь, я этого сообщить не вправе. Могу только сказать вот что: жить вы все будете на одной улице, но среди незнакомых вам трудящихся людей. Вот здесь перечислено все, что вам разрешается взять с собой.

Джек протянул им фотокопии списков, его жена составила их всего два часа назад. Списки были озаглавлены: *Предметы первой необходимости; Мебель; Оборудование для муниципального домика на две спальни и для одноэтажного бунгало, предоставляемого пенсионеру*. У матери список значительно короче других, отметила королева. Джек протянул бумаги, но никто не шагнул ему навстречу, чтобы взять их. Джек не двигался. Он был уверен: кто-нибудь из них все равно не выдержит. В конце концов поднялась со стула Диана, она терпеть не могла публичных сцен. Взяв у Джека бумаги, она вручила каждому члену королевской семьи по списку. Воцарилась тишина: все усердно читали. Джек потрогал лежавший в кармане пистолет. Только он один знал, что пистолет не заряжен.

— Но здесь ничего не сказано о собаках, мистер Баркер,— заметила королева.

— По одной на семью,— ответил Джек.

— А лошади? — спросил Чарльз.

— А по-вашему, можно держать лошадь в садике муниципального дома?

— Нет. Разумеется. Спросил не подумав.

— В списке не указана одежда,— робко сказала Диана.

— Да вам много не понадобится. Только самое необходимое. Вам же теперь не нужно будет являться при полном параде на всякие там мероприятия, верно?

Принцесса Анна встала и подошла к отцу.

— Вот и слава Богу! С паршивой овцы хоть шерсти клок, черт возьми. Что с тобой, папа?

Принц Филип был в шоке; он впал в него еще предыдущей ночью, когда, включив в 11.25 телевизор, чтобы не пропустить специальный ночной выпуск о ходе выборов, узнал, что от округа Кенсингтон-Уэст избран Джек Баркер, основатель и лидер народной республиканской партии. Не веря собственным глазам, принц Филип смотрел, как Джек Баркер произносит речь в зале муниципалитета перед набившимися туда ликующими избирателями. Пожилые плательщики подушного налога исходили радостным криком вместе с юнцами в рваных джинсах и с серьгой в носу. Принц Филип снял телефонную трубку и посоветовал жене включить телевизор. Полчаса спустя она сама позвонила ему:

— Филип, зайди, пожалуйста, ко мне.

До глубокой ночи сидели они перед телевизором, глядя, как все новые кандидаты от республиканской партии под вопли торжествующих толп объявляются избранными в парламент. Один за другим присоединялись к королевской чете их дети. В половине восьмого утра слуги принесли завтрак, но есть никто не стал. К одиннадцати часам народная

республиканская партия получила 451 место, и Джон Мейджор, премьер-министр от консервативной партии, вынужден был признать свое поражение. Вскоре после этого Джек Баркер провозгласил себя премьер-министром. Первым делом, заявил победитель, он отправится к королеве и прикажет ей отречься от престола. Улыбающиеся полицейские жестами приглашали микроавтобус с тринадцатью республиканцами проехать к Букингемскому дворцу. Солдаты королевской гвардии, стащив с себя медвежьи шапки, приветственно размахивали ими. Личные слуги королевы пожимали республиканцам руки. Подали даже и шампанское, но оно было вежливо отклонено.

До того как его избрали членом парламента от округа Кенсингтон-Уэст, Джек Баркер возглавлял небольшой профсоюз, отпочковавшийся от союза технических работников телевидения. Перед всеобщими выборами в течение трех недель Джек и его всем и вся недовольные соратники регулярно, но незаметно для телезрителей передавали в эфир лозунг, воспринимавшийся ими лишь подсознательно: «ГОЛОСУЙТЕ ЗА РЕСПУБЛИКАНЦЕВ — ПОКОНЧИМ С МОНАРХИЕЙ».

Накануне выборов, в субботу, «Таймс» выступила с призывом свергнуть монархию. Стотысячная колонна антимонархистов двинулась от Трафальгарской площади к Кларенс-хаусу [1], не подозревая, что королева-мать сидит в это время на скачках. Сильная гроза разогнала противников монархии еще до ее возвращения, но из окна лимузина она все же увидела валявшиеся на мостовой транспаранты:

«К ЧЕРТУ В ПАСТЬ КОРОЛЕВУ-МАТЬ».

Это, конечно же, ошибка, подумала она, они имели в виду «Божья благодать на королеву-мать», не иначе.

В тот же вечер она заметила, что прислуга, вопреки обыкновению, сумрачна и нелюбезна. Целых полчаса пришлось прождать, пока горничная задернет в спальне шторы.

А на следующий день британцы, над чьими мозгами Джек и его подручные поработали на славу, отправились голосовать и сделали-таки свой выбор.

Постучав, в комнату вошел офицер королевской гвардии.

— Они требуют вас, сэр,— сказал он.

— Я вам не «сэр»,— обрезал его Джек.— Зовите меня просто Джек Баркер, ясно? — Потом, обратившись к королевской семье, добавил: — Пойдемте на балкон, глотнем воздуха.

От долгого путешествия по дворцу Джек запыхался и был в неважном виде. Давненько он так далеко не ходил.

— Сколько у вас комнат? — неожиданно для себя спросил он у королевы, пока они тащились по бесконечным коридорам.

— Достаточно,— ответила королева.

— Четыреста тридцать девять, мы полагаем,— решил уточнить Чарльз.

Они свернули за угол и услышали низкий глухой рык — словно заворчал в берлоге медведь, которого разбудили рогатиной. Когда республиканцы и члены королевской семьи ступили в центральную залу, этот гул ошеломил их. Джек Баркер вышел на балкон, и толпившиеся внизу заревели во всю глотку:

— Джек, не робей, гони их взашей!

Джек глядел сверху на собравшихся под балконом граждан Великобритании. Толпы их так запрудили широкую улицу, ведущую к дворцу, и окрестные парки, что не видно было ни тротуара, ни зеленых газонов. Теперь на него, Баркера, легла ответственность за питание этих людей, их образование, за исправную работу канализации в их домах; и денежки на все это тоже должен добывать он. Справится ли? По плечу ли ему такая ноша? Сколько времени они ему дадут, чтобы он успел показать, на что способен?

---

[1] Резиденция королевы-матери в Лондоне.

Перекрывая шум, Джек крикнул:

— Члены бывшей королевской семьи, выйдите, пожалуйста, сюда ко мне.

Выпрямив спину, королева поправила висевшую на руке сумочку и шагнула на балкон. Завидев знакомую маленькую фигурку, огромная толпа смолкла было, но потом, будто дети, решившие пойти наперекор строгому родителю, вновь взревела:

— Джек, не робей, гони их взашей.

Когда и остальные члены королевской семьи потянулись на балкон, раздались улюлюканье и свист. Диана хотела взять мужа за руку, но он нахмурился и убрал руки за спину. Принцесса Маргарита, вставив сигарету в черепаховый мундштук, закурила. Принц Филип взял дочь под руку, словно рев толпы, обретя материальную силу, мог сбить их с ног.

Королева-мать улыбалась и, как водится, помахивала ручкой. В ее возрасте менять привычки уже трудновато. Ей страстно хотелось хлебнуть джина с тоником. У нее не было обыкновения пить до обеда, но очень уж необычайный выдался сегодня день. Как только закончится эта тягостная церемония, она спросит у мистера Баркера, нельзя ли ей пропустить стаканчик.

Один из республиканцев вручил Джеку полиэтиленовую сумку из магазина «Сейфуэйз» [1]. В ней лежало что-то громоздкое и увесистое. Сумка натянулась от тяжести.

Два республиканца раскрыли ее, и Джек вытащил корону Британской империи. Унизанная по краю жемчугом, корона была усыпана изумрудами, сапфирами и бриллиантами. Джек повернул корону так, чтобы рубин «Черный принц» был виден толпе. Затем, воздев руки, поднял ее над головой и швырнул вниз, во двор. Пока корона падала, королева думала о том, как она всегда ненавидела ее и боялась. Перед коронацией ее по ночам преследовал один и тот же кошмар: вот она встает с трона, и королевский венец валится у нее с головы. А теперь, глядя сверху на слуг, которые, ползая на четвереньках, подбирали рассыпавшиеся по двору драгоценные камни, она вспомнила, как взволнованно сопел архиепископ Кентерберийский, водружая ей на голову семифунтовую корону.

— Помашите им на прощанье,— распорядился Джек Баркер.

Члены королевской семьи послушно помахали, и каждому припомнились более счастливые дни: свадебные платья, поцелуи, клики восхищенной толпы. Они повернулись и вошли во внутренние покои. А толпа теперь неистовствовала, приветствуя Джека со товарищи, да так, что сотрясались картины на стенах дворца. Джек долго задерживаться не стал, культ личности он поощрять не намерен. Это вызвало бы лишь ревность и недовольство; а Джеку хотелось как можно дольше сохранить любовь и уважение своих соратников. Ему всегда нравилось руководить. В начальной школе он ведал раздачей молока: расставив перед одноклассниками бутылки, он нарочито медленно распределял соломинки; потом собирал бутылочные крышечки из серебряной фольги и скатывал их в большой шар; вырученные за ценный металл деньги шли на нужды слепых. Если кто-то из детей нечаянно ломал соломинку, Джек наотрез отказывался заменить ее целой.

Дома у пятилетнего Джека царил полный кавардак. В школе ему именно потому и нравилось, что там были твердые правила. Когда их толстая учительница мисс Биггс кричала на него, он чувствовал себя в безопасности. Мать Джека не кричала никогда; она вообще с ним почти не разговаривала, разве только приказывала сбегать в магазин купить пяток сигарет «Вудбайнз».

Разгоняя рукой табачный дым — Маргарита все-таки закурила,— королева поинтересовалась:

— Сколько же нам отведено времени на сборы?

[1] Супермаркеты известной фирмы, торгующей продуктами и промтоварами по умеренным ценам.

— Сорок восемь часов,— ответил Джек.

— Совсем в обрез, мистер Баркер,— заметила королева.

— А вы еще не поняли, что ваше время давным-давно вышло? — спросил Джек и, обращаясь ко всем членам королевской фамилии, распорядился: — Отправляйтесь к себе и ждите. О дате переезда вас известят. Ну что, полегчало? — бросил он Чарльзу.

Сделав вид, что не понимает, о чем говорит Баркер, Чарльз сказал:

— Мистер Баркер, можно мы тоже переедем в воскресенье? Я хотел бы помочь матери.

— Ну конечно,— в голосе Джека зазвучала издевка.— Это ваша прерогатива. Прерогатива, впрочем, уже не *королевская,* чего нет — того нет.

Чувствуя, что в присутствии матери ему надо продемонстрировать бóльшую волю к сопротивлению, Чарльз сказал:

— Члены моей семьи в течение многих лет преданно служили нашей стране, и более всех — моя мать...

— Ей за это хорошо платили,— огрызнулся Джек.— Я мог бы вам назвать десяток людей, мне лично знакомых, которые трудились на благо страны вдвое больше, чем ваша мать, а получали за это *шиш.*

Слово «шиш» всплыло у Джека в памяти из детства, полного нищеты и унижений,— именно тогда и сформировались его политические взгляды.

Почесав наманикюренным ногтем нос, принц Чарльз сказал:

— Но ведь мы способствовали утверждению определенных норм...

Джек обрадовался, что у них завязался-таки этот разговор. Мысленно он репетировал его множество раз.

— Если ваша семья чему и способствовала,— начал он,— так это утверждению иерархии, в которой вы — на самом верху, а остальные, само собой, под вами, внизу. В результате в нашей стране господствует классовая система. Нас душит классовый страх, мистер Виндзор. И чем быстрее росли богатство и влияние вашего семейства, тем глубже погружалась страна в болото застоя. Я же кладу конец этой несообразности.

Королеве надоело слушать всю эту республиканскую чушь.

— В таком случае вам, наверное, придется подыскать новый национальный символ, что-то вроде президента?

— Нет,— отрезал Джек.— Британский народ сам станет своим национальным символом, все пятьдесят семь миллионов.

— Пятьдесят семь миллионов людей затруднительно будет даже просто сфотографировать,— обронила королева и, открыв, звонко защелкнула свою сумочку. Джек заметил, что в сумочке нет ничего, кроме белого кружевного платка.

— Вы позволите мне удалиться? — спросила королева.

— Безусловно,— ответил Джек, слегка наклонив голову.

Королева вышла из зала и пошла по коридорам. По дороге она читала перечень вещей, которые ей дозволялось вывезти с собой, и описание ее нового жилища.

ПЕРЕУЛОК АДЕБОР, 9

РАЙОН ЦВЕТОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Это довоенное строение на две спальни, имеющее общую стену с соседним домом и расположенное в районе Цветов, было недавно полностью отделано заново; оно включает в себя следующее: парадный вход, переднюю, гостиную, кухню, ванную комнату, лестничную площадку, 2 спальни, кладовку и уборную. Возле строения имеется подъездная дорожка; перед домом и позади него — сад.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Первый этаж

Парадный вход: дверь, ведущая в прихожую.

Прихожая: лестница на второй этаж, встроенный шкаф.

Гостиная: 14 футов 10 дюймов х 12 футов 7 дюймов, с газовым камином.

Кухня: 9 футов 6 дюймов х 9 футов 9 дюймов, необставленная; имеется мойка, газовая плита и дверь, выходящая в сад за домом.

Ванная комната: набор из двух предметов, куда входят чугунная ванна и раковина; имеются окна матового стекла и газовая колонка; стены частично отделаны кафелем.

Второй этаж

Лестничная площадка: с нее ведет лестница в чердачное помещение.

Спальня 1: 13 футов 1 дюйм х 10 футов 1 дюйм.

Спальня 2: 9 футов 5 дюймов х 9 футов 2 дюйма.

Кладовка: 6 футов х 6 футов.

Уборная с окном матового стекла.

СНАРУЖИ: К строению через сад проложена дорожка; дорожка от боковой калитки ведет в сад сзади дома.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Настоящим не дается никаких гарантий, что колонка или системы отопления и водоснабжения находятся в полной исправности.

3. Невиданно скромная жизнь

Уже смеркалось, когда мебельный фургон подъехал к дому номер девять по переулку Адебор. Королева с окаменевшим лицом взирала на свое новое жилище. А дом угрюмо взирал на нее из мрака, будто затаил недоброе. Окна были забиты наглухо. Какой-то богатырь со злым азартом приколотил к рамам шестидюймовыми гвоздями древесностружечные плиты. На крыше в водосточном желобе рос маленький явор.

Королева поправила на голове платок и выпрямила спину. Взглянула на жалкую парадную дверь; наша мебель здесь ни за что не пройдет, подумала она, и вдобавок у нас общая стена с соседями — как там она у моряков называется? Какое-то веселенькое, музыкальное словечко. А, *переборка!* В доме номер одиннадцать отворилась дверь, вышел мужчина в майке и комбинезоне и стал на бетонном пороге. К нему присоединилась женщина, светловолосая и дородная, в явно тесноватом для нее костюме и в красных пушистых тапочках без задников. Вечерний ветерок шевелил длинный ворс, и тапочки напоминали подводных тварей, которые на морском дне ищут себе пропитание.

Эти мужчина и женщина были супруги Тредголд — Тони и Беверли,— новые соседи королевы. Не скрывая любопытства, они таращились на мебельный фургон. Соседний дом пустовал больше года, и Тредголды наслаждались роскошью относительного уединения. Они орали во всю глотку, бабахали дверьми и занимались любовью, ничуть не ограничивая себя в своих звуковых проявлениях, а теперь этому пришел конец. Для них это был грустный день. Они надеялись, что новые соседи будут респектабельными, но в меру.

Водитель вышел из фургона, обогнул его и открыл королеве дверцу. Она спустилась на землю, радуясь, что на ее твидовую юбку не пожалели материала.

— Пошли, Филип,— подбодрила она мужа, но Филип продолжал сидеть в кабине фургона, прижимая к себе портфель, словно это грелка, а он умирает от переохлаждения.

— Филип, этому джентльмену пора ехать, его ждут дома.

Водитель фургона был очень польщен, что королева назвала его джентльменом.

— А куда спешить-то,— великодушно сказал он.

На самом деле ему не терпелось поскорее вернуться в свой муниципальный домик и рассказать жене, как он сегодня ехал по шоссе М1, как беседовал с королевой про гомеопатию, про собак и про трудности переходного возраста у детей.

— Я помогу вам вытащить ваши вещички,— предложил он.

— Вы очень добры, но ведь республиканская партия настаивает на том, чтобы мы с мужем привыкали управляться сами.

— В нашем доме за них не голосовал никто,— доверительно шепнул водитель фургона.— Мы всегда голосуем за консерваторов, всю жизнь.

— А в *нашем* доме кое-кто их поддержал,— так же доверительно сообщила королева.

Водитель мотнул головой в сторону принца Филипа:

— Уж не он ли?

На это королева лишь рассмеялась.

В переулке раздался рев второго мебельного фургона. Дверцы кабины распахнулись, и оттуда выскочили внуки королевы. Королева помахала им, и мальчики бегом бросились к ней. Принц Чарльз помог жене выйти из фургона. Диана старательно подготовилась к тяготам новой жизни: она надела джинсовый костюм и ковбойские сапожки. Взглянув на дом номер восемь по переулку Адебор, принцесса вздрогнула. Принц Чарльз, однако, улыбался. Вот она наконец, простая жизнь.

4. Шикарные господа

На табличке с названием переулка четыре металлические буквы давно отвалились. Теперь в дрожащем свете уличного фонаря можно было прочесть: «Переулок АД».

Да, подумала королева, это и вправду Ад, не иначе, потому что за всю мою сознательную жизнь я ничего подобного не видела.

А ведь она посетила множество районов муниципальной застройки — открывала местные общественные центры, проезжала сквозь бурно ликующие толпы, выходила из машины, шествовала по красным ковровым дорожкам, получала букет цветов от двухлетней крохи в платьице из магазина «Мать и дитя»; она выслушивала приветственные речи косноязычных сановников; дернув за шнур, открывала мемориальные доски, расписывалась в книгах почетных посетителей. Потом снова — ковер, машина, вертолет, затем вверх, все выше, выше и — прочь. Ей случалось смотреть по Би-би-си-2 документальные съемки городских трущоб, доводилось слышать, как неприглядного вида бедняки рассказывают, перебивая сами себя и не умея закончить фразу, о своей ужасной жизни, но она считала такие программы чем-то вроде социологических изысков, наподобие передач про обряд обрезания у индейцев Амазонки; все это было настолько далеко от ее жизни, что никакого реального значения уже и не имело.

В воздухе стояла вонь. Кто-то жег в переулке автомобильные покрышки. Едкий дым медленно переваливал из одного двора в другой. Ни один дом по этому переулку не мог похвастаться целыми окнами. Заборы были либо сломаны, либо напрочь отсутствовали. В садиках валялась всякая дрянь, черные пластиковые мешки для мусора были разодраны оголодавшими собаками, мерцающие телевизоры ревели во всю мощь. В переулок въехал полицейский фургон и остановился. Ухватив зазевавшегося на тротуаре юнца, полицейский запихал его в кузов, и фургон с барахтающимся в кузове юнцом укатил. Приподнятая на кирпичах вместо домкрата, возле тротуара стояла развалюха, некогда бывшая машиной, под ней лежал человек. Еще несколько сидели рядом на корточках, подсвечивая лежащему фонариками и наблюдая, как идет дело; у всех были татуировки, старомодные стрижки, в ладони у каждого дымилась сигарета. В белых туфлях на «шпильках» по переулку пробежала женщина, догоняя карапуза в одной рубашонке. Ухватив малыша за пухлую ручку, она волоком втащила его в дом.

— Сиди и не высовывайся,— визгливо крикнула она.— Кто из вас, окаянных, не закрыл эту чертову дверь? — Этот гневный вопрос предназначался, видимо, другим ребятишкам, постарше.

Королеве припомнились сказки, которые, бывало, рассказывала

в детской за чаем Крофи. О домовых и ведьмах, о дальних странах, где живут недобрые люди. Королева всякий раз просила Крофи перестать, но та — ни в какую. Только потешалась над нею.

— Да ладно уж тебе,— повторяла она.— Больно уж ты неженка.

При маме Крофи никогда так не разговаривала и не высмеивала ее.

А ведь Крофи знала, подумала королева. Знала. Вот и готовила меня к жизни в переулке Ад.

Уильям и Гарри, пользуясь отсутствием няни, носились по переулку взад-вперед, возбужденные необычным путешествием. Мама с папой стояли у парадной двери старого грязного домишка и пытались вставить в замок ключ.

— А что ты делаешь, папа? — спросил Уильям.

— Пытаюсь войти в дом.

— Зачем?

— Затем, что мы будем здесь жить.

Уильям и Гарри громко расхохотались. Папа не очень-то часто шутит. Иногда, правда, заводит дурашливым голосом речь про каких-то Гунов [1] и тому подобную ерунду, но по большей части он совершенно серьезен. Хмурится и читает нотации.

— Это наш новый дом,— сказала мама.

— Какой же он новый, когда он старый? — удивился Уильям.

И мальчики опять залились смехом. Уильям даже потерял равновесие и, чтобы удержаться на ногах, привалился к просмоленному забору, отделявшему их двор от соседнего. Видавший виды забор не выдержал веса его хрупкого тела и рухнул. Глядя, как Уильям, повизгивая от смеха, валяется на разлетевшихся в щепы досках, Диана непроизвольно поискала глазами няню — няня всегда, в любых обстоятельствах знала, что делать, но няни нигде не было. Диана наклонилась и подняла сына с обломков забора. Захныкавший Гарри цеплялся за край ее куртки. Чарльз ожесточенно саданул дверь ногой, и она открылась; в нос ударил тяжелый запах сырости, запустения и прогорклого масла для жаренья картошки. Чарльз включил в прихожей свет и поманил жену и детей в дом.

Закурив сигарету, Тони Тредголд протянул ее Беверли. Потом закурил сам. Над его галантным обхождением частенько потешались в Рабочем клубе района Цветов. Однажды в битком набитом баре, проталкиваясь с полным подносом к своему столику, он произнес: «Прошу простить», и тут же его гетеросексуальность была публично поставлена под сомнение.

— «Прошу простить»? — передразнил толстяк с бешеными глазками.— Ты кто будешь, педик, что ли?

Тони с размаху опустил поднос толстяку на макушку; после чего немедленно направился к Бев извиняться, что задержался и еще не принес выпивку. Вот это манеры!

Тредголды слышали, как почти невидимая в сумерках фигурка велела высокому мужчине выйти из фургона. Она что, иностранка? Разве ж она по-английски говорит? Но, попривыкнув к ее речи, они поняли, что это все-таки английский, но какой! Шикарный! Самый что ни на есть шикарный язык.

— Слушай, чего это они таких больших господ у нас в переулке поселили? — спросила Беверли.

— А я откуда знаю,— отозвался Тони, вглядываясь во мрак.— Где-то я ее раньше видел. Это не она работает сестрой-регистратором у доктора Хана?

— Нет, точно не она,— сказала Беверли (которая то и дело бегала к врачу и потому знала, что говорит).

— Вот уж, черт возьми, повезло так повезло: такая шикарная публика вдруг у нас в соседях!

[1] «Гуны» — так назывался юмористический, на грани абсурда радиосериал 1951—1960 гг. Известно, что принц Чарльз был большим поклонником этих передач и игравших в них актеров.

— Зато они, по крайней мере, не нагадят в ванну, как предыдущие ублюдки.

— Что правда, то правда,— согласился Тони.

Принц Филип безмолвно взирал на дом номер девять. Рядом ожил, замигал уличный фонарь, бросая странные, неестественные блики на обветшалое новое пристанище принца. Фонарь продолжал театрально мигать, будто надеялся убедительно изобразить морской шторм. Водитель фургона опустил сзади аппарель и полез в кузов. Такого прекрасного товара он в жизни не видал — за все двадцать с лишком лет работы на перевозке мебели. Пес, сидевший в клетке в глубине фургона, зарычал, защелкал зубами и стал свирепо бросаться на прутья клетки.

— У них и собака,— заметил Тони.

— Пускай себе, лишь бы слушалась хозяев,— отозвалась Беверли.

Тони сжал плечо жены. Славная она девочка, подумал он. Без всяких там предрассудков.

Принц Филип заговорил.

— Это, черт возьми, ни в какие ворота не лезет. Я отказываюсь. Я скорее соглашусь жить в какой-нибудь поганой канаве. А этот распроклятый фонарь сведет меня с ума,— крикнул он, обращаясь непосредственно к фонарю, который тем временем продолжал изображать шторм; когда же Филип, ухватившись за фонарный столб, принялся трясти его изо всех сил, фонарь перешел к изображению урагана.

— Все ясно,— сказала Беверли.— Он псих, один из этаких, знаешь — их выпускают, чтобы они хоть померли среди нормальных людей.

В это время Филип, ринувшись к раскрытому кузову, заорал на собачонку:

— Молчать, Гаррис! Засранец эдакий!

— Может, ты и права, Бев,— обронил Тони.

Они уже собрались вернуться в дом, но тут королева обратилась к ним:

— Извините, пожалуйста, быть может, у вас найдется взаймы секач?

— *Сикач?* — переспросил Тони.

— Да, секач,— королева подошла к калитке.

— *Сикач?* — озадаченно повторила Беверли.

— Ну да.

— Я не знаю, что такое «сикач»,— сказал Тони.

— Не знаете, что такое секач?

— Нет.

— Его используют для рубки.

Терпение королевы было на исходе. Она обратилась к ним с простой просьбой; но ее новые соседи оказались явно слабоумными. Ей, конечно, известно, что качество образования в стране сильно снизилось, но все же — не знать, что такое секач... Полное безобразие.

— Чтобы попасть в дом, мне необходимо какое-нибудь орудие.

— Пушка, что ли?

— *Орудие!*

Тут водитель фургона предложил им свои услуги в качестве переводчика. Проведя в беседах с королевой несколько часов, он чувствовал, что ему теперь по плечу любые языковые загадки.

— Дама интересуется, есть ли у вас *топор*.

— Ну, есть топор, только вон тому типу я его не дам,— заявил Тони, указывая на Филипа. Пройдя по тропинке через садик, королева подошла к Тредголдам, и свет, падавший из их прихожей, осветил ее лицо. Беверли ахнула и довольно неуклюже присела в реверансе. Тони пошатнулся; ухватившись, чтобы не упасть, за планку двери, он вымолвил:

— Он там за домом. Сейчас притащу.

Оставшись одна, Беверли разразилась слезами.

— Это от шока,— объясняла она потом, когда они с Тони уже лежали в постели, но не могли заснуть.— Ну пойми, кто ж этому поверит? Я сама, Тони, поверить ну никак не могу.

— Я тоже, Бев. Ты ж понимаешь, королева в соседках! Давай подадим заявление об обмене, а?

Это предложение немного успокоило Беверли, и она заснула.

Доски от парадной двери отодрал Тони Тредголд, но первым, взяв у жены ключ, отпер дверь и вошел в дом принц Филип. Дом оказался, конечно же, смехотворно мал.

— У нас в саду, помню, детский домик и то больше был,— сказала королева, вглядываясь в гостиную.

— Да у нас машины и те, черт возьми, были больше,— сказал принц Филип и сердито затопал вверх по лестнице.

Все кругом было оклеено рельефными обоями и окрашено в светло-кремовый цвет под названием «магнолия».

— Очень симпатично,— сказал водитель фургона.— Чистенько.

— Еще бы,— заметил Тони,— после того как отсюда выставили Смитов, муниципалитету пришлось вызвать взвод спецуборщиков. Знаете, в защитных комбинезонах, в шлемах таких — туда еще кислород подается. Смиты эти были отчаянные грязнули. Так что вам повезло — после них дом привели в порядок, отделали как положено.

Беверли принесла из дому всем по кружке крепкого чая. Целую, без трещин, кружку она подала королеве. Принц Филип получил лучшую из оставшихся, с ярмарки в парке «Олтон Тауэрс», о чем и гласила надпись на ней. Себе Беверли оставила самую неказистую, подтекавшую, с надписью «ЕЖЕДНЕВНО СПИ С СУПРУГОМ И ЗАБУДЕШЬ О НЕДУГАХ». Зазвонил телефон, все вздрогнули. Принц Филип отыскал его в шкафчике для газового счетчика.

— Тебя.— Он протянул трубку жене.

Звонил Джек Баркер.

— Ну и как вам там нравится? — спросил он.

— Мне нравится. Кстати, а *вам-то* как все это нравится?

— Что именно?

— На Даунинг-стрит. Работы ведь масса. Все эти бесконечные красные коробки с государственными бумагами...

— Красные коробки! — фыркнул Баркер.— У меня есть дела поважнее. Спокойной ночи.

Королева положила трубку и сказала:

— Пожалуй, пора уже вносить мебель.

5. Кабинет на кухне

В десять часов Тони Тредголд, повозившись немного с антенной, включил королевский телевизор в розетку, болтавшуюся в треснувшей стене.

— Уф, обрыдла эта политика,— сказал он, когда на экране появилось лицо Джека Баркера, и дернулся было выключить телевизор, но королева сказала:

— Пожалуйста, не выключайте, не надо.

И, усевшись поудобнее, стала смотреть.

В программе «В гостях у премьера-министра» впервые показали кухню дома номер десять по Даунинг-стрит. Новый кабинет Джека — шесть женщин, шесть мужчин — расположился вокруг большого кухонного стола, стараясь выглядеть как можно непринужденнее. Во главе стола сидел на виндзорском стуле Джек и глядел в камеру. Искусно разложенные режиссером официальные бумаги, кофейные чашечки, ваза с фруктами и маленькие букетики садовых цветов призваны были создать атмосферу неказенной деловитости.

Рукава бумажной рубахи Джека были закатаны до локтей. Его и без того красивое лицо особенно выигрышно смотрелось благодаря умело наложенному гриму. В выговоре Джека сочетались мягкие гласные севера и жестковатая южная интонация. Зная, что у него приятная улыбка, он

пользовался ею вовсю. Еще раньше он привел в смятение референтов, объявив, что речи свои намерен писать самолично; и теперь с помощью «бегущей строки» произносил спич собственного сочинения. Даже самому Джеку его рацея показалась нелепой и напыщенной. Но менять что-либо было уже поздно.

— Сограждане! Мы уже более не подданные ее величества! Сегодня каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок нашей страны может высоко держать голову, ибо мы освободились наконец от пагубы классовой системы, которая столько лет отравляла жизнь нашему обществу. Отныне все чины, звания и титулы, дающие особые привилегии, отменяются. Сохранятся лишь обращения «мистер», «миссис» и «мисс».

Членам королевской семьи, благоденствовавшим за счет народа, предстоит переселиться в другой район и жить обычной жизнью, среди обычных, простых людей. Реверансы, поклоны или обращения к ним каким-либо иным образом, кроме вышеприведенного, будут караться как уголовное преступление. Их земли, имения, картины, мебель, драгоценности, стада и прочее теперь целиком принадлежат Государству. И да будет известно тем, кто вздумает завоевывать расположение членов бывшей королевской семьи, что подобное поведение, будучи замеченным властями, подлежит наказанию.

Тем не менее права экс-королевской семьи охраняются законами нашей державы. Всякий, кто станет их запугивать или оскорблять, угрожать им, причинять вред или вторгаться в их жилища без приглашения, будет привлечен к судебной ответственности. Надо надеяться, что члены бывшей королевской семьи сумеют войти в местное общество, что они найдут себе дело по душе и станут полезными гражданами нашей страны — чего за ними не наблюдалось уже много сотен лет.

Сокровища Британской Короны будут проданы с аукциона Сотби, как только завершатся необходимые приготовления. Вырученные средства пойдут на поддержание жилищного фонда Британии. Японское правительство уже проявило интерес к этой распродаже. Неверно, что Сокровища Британской Короны «бесценны». Все имеет свою цену.

Итак, сограждане, выше голову! Многовековое ярмо сброшено.

— Ну что скажешь? — спросил Джек.

— Жеманничал ты чего-то,— ответила Пат Баркер.

Они сидели на кровати в доме номер десять по Даунинг-стрит. Кровать была завалена пачками документов, набросками всевозможных проектов, официальными и частными письмами. Факс изрыгал все новые порции сообщений, поздравлений и оскорблений. Непрестанно пощелкивал автоответчик. Пять минут назад Джек уже поговорил с американским президентом. Тот заверил Джека, что ему «всегда было как-то не по себе с этой вашей монархией, Джек».

Джек невольно затрепетал от счастья, услыхав знакомый голос, лениво цедивший слова. Надо будет заняться этой своей особенностью. Есть, есть у него склонность впадать в телячий восторг от встреч и разговоров со знаменитостями, но, вероятно, теперь, когда он сам стал знаменитым...

Протягивая мужу сандвич с сыром и хрустящей картошкой, Пат спросила:

— А что ты собираешься делать с фунтом стерлингов, Джек?

Деньги хлынули вон из страны таким потоком, будто прорвало дамбу.

— Собираюсь в понедельник встретиться с японцами,— ответил тот.

Королева с усилием поднялась с набитой вещами коробки, сидя на которой смотрела телевизор. Впереди столько дел. Она вышла в коридор и увидела, что Тони и Беверли волокут вверх по узенькой лесенке двуспальный матрац. За ними карабкался Филип, таща резную спинку кровати.

— Лилибет,— сказал он,— я не могу отыскать в фургоне вторую кровать.

— Но я точно помню, что просила две,— нахмурилась королева,— одну себе, другую тебе.

— И как прикажешь нам сегодня спать? — поинтересовался Филип.

— Вместе,— ответила она.

6. Вивисекция дивана

Ковры оказались чересчур велики для крошечных комнатушек.

— Есть у меня один приятель, Спигги зовут,— сказал Тони.— Он аккурат по коврам мастер. В два счета бы вам все что надо подрезал; и взял бы фунтов двадцать.

Королева взглянула с лестничной площадки вниз, на гобелены, сваленные в прихожей; они походили на яркие расписные рулеты.

— А то и новые можно купить,— вставила Бев.— Вы уж извините, но я что хочу сказать? Ваши-то малость потерты, верно? Местами чуть ли не до дыр.

— Да за двести пятьдесят Спигги вам бы весь дом коврами устлал, в лучшем виде,— решил подсказать Тони.— У него есть отличный мохнатый палас, оливково-зеленый, у нас в гостиной такой же.

Часы уже показывали половину одиннадцатого, а мебель все еще стояла в фургоне. Водитель спал, уронив голову на руль.

— Филип?

Королева устала — она в жизни еще так не уставала. И никак не могла принять определенное решение. Ей хотелось укрыться в своей комнате в Букингемском дворце, где уже приготовлена для нее ночная сорочка. Хотелось проскользнуть под полотняную простыню, упасть головою на мягкие подушки и заснуть навсегда — или на худой конец до утра, когда принесут поднос с чаем. Филип сидел на лестнице, сжав голову руками. Он помогал таскать ковры из фургона и теперь был совершенно измучен. А он-то думал, что сохранил хорошую форму. Теперь ясно, в какой он форме.

— Ничего я не знаю, черт побери. Поступай как хочешь.

— Пошлите за мистером Спигги,— сказала королева.

Спигги явился сорок пять минут спустя; при нем был специальный острый нож, металлическая рулетка и четыре банки пива «Карлсберг». Королева была не в силах наблюдать, как Спигги кромсает ее драгоценные ковры. Она вывела Гарриса погулять, и когда они дошли до конца переулка, ее вежливо отправили обратно обходительные полицейские, охранявшие поспешно воздвигнутый барьер. Из крохотной будки вылез инспектор Дентон Холиленд и объяснил, что остальная часть района Цветов ей и членам ее семьи заказана — «впредь до специального распоряжения».

— Вашему сыну я уже все разъяснил,— сказал инспектор.— Он искал магазин, где продают жареную рыбу с картошкой, но мне пришлось и его вернуть обратно. Таков приказ мистера Баркера.

Королева четырежды прошлась по переулку. Вокруг не было ни души, кроме случайной дворняжки. А ведь я теперь живу в гетто, подумалось королеве. Надо считать себя военнопленной. Я должна сохранять мужество и ни в коем случае не давать поблажек самой себе. Она постучала в дверь дома, где обитал теперь сын.

— Можно?

В передней стояла Диана. Королева сразу заметила, что невестка плакала. Выражать сочувствие сейчас не стоит, подумала королева.

— Наши ковры в эти комнатушки не влезают,— сглатывая слезы, проговорила Диана,— а мебель все еще в фургоне.

Показались принц Чарльз и водитель мебельного фургона, с великим трудом тащившие огромный китайский ковер.

— Да нет, дорогая, не войдет, конечно, и не надейся,— пропыхтел принц Чарльз.

— Побереги спину, Чарльз,— напомнила королева.— Тут есть один человечек, на этой же улице, он может обрезать ковры по размеру...

— Мне все же кажется, мамочка, что тебе, гм, не пристало... не слишком ли это снисходительно звучит... Я имею в виду, учитывая наше теперешнее положение... называть кого бы то ни было «человечком»?

— Но он и вправду человечек,— возразила королева.— Мистер Спигги ростом даже меньше меня; он специалист по настилке ковров. Попросить его зайти?

— Да ведь этим коврам цены нет. Это было бы, гм... н-да, сущим вандализмом...

Наверху на лестничной площадке показались Уильям и Гарри — в тапочках от Барта Симпсона и в пижамках.

— А мы спим прямо на матраце,— пропищал Гарри.

— В спальных мешках,— хвастливо добавил Уильям.— Папа говорит, это у нас приключение.

Диана повела королеву по дому. Времени на осмотр ушло немного. Интерьером здесь занимался человек, который слыхом не слыхал о Теренсе Конране [1]. Диана вздрагивала, глядя на лиловые с бирюзой обои в супружеской спальне, на полистиреновые плитки, которыми был выложен потолок, на заляпанное рыжей краской подъемное окно.

Завтра же позвоню в «Интерьер», подумала Диана, попрошу редактора заехать с образцами красок и обоев.

— А нам повезло,— сказала королева,— у нас весь дом отделан одинаково.

Обе женщины побаивались предстоящей ночи. Ни той, ни другой не приходилось до сих пор ночевать с мужем в одной спальне и тем более в одной кровати.

В детской, лежа на спине, мальчики с восторгом разглядывали обои с изображением Супермена.

— Посмотри-ка туда.— Уильям указал на круглую ляпушку плесени над окном.— Это планета Криптон.

Но Гарри уже спал; одна ручонка у него свалилась с матраца на грязные, ничем не прикрытые доски пола.

Допивая последнюю банку пива, Спигги обозревал плоды своих трудов. В свете голых лампочек ковры горели яркими красками. Королева собрала обрезки и унесла их в кладовку — готовясь к тому дню, когда их вплетут обратно и вновь расстелят в Букингемском дворце. Теперешний абсурд долго ведь не продлится. Это всего лишь отрыжка истории. Мистер Баркер наломает дров, и простой народ возопит, требуя восстановить у власти консервативное правительство и монархию — иначе и быть не может, верно? Безусловно. Англичане славятся своей терпимостью, своей тягой к справедливости. Экстремизм им совершенно несвойствен. Даже в мыслях королева старалась отделять англичан от шотландцев, ирландцев и валлийцев — в тех-то горячая кельтская кровь частенько дает о себе знать.

— С вас пятьдесят фунтов, ваше величество,— сказал Спигги.— Время-то уж, так сказать, сильно за полночь.

Королева открыла сумочку и заплатила причитающееся. Деньгами она заниматься не привыкла и отсчитывала купюры медленно.

— Ну все, пока,— сказал Спигги.— Теперь пойду загляну к принцу Чарльзу. Он небось еще не лег?

Было уже четыре утра, когда Спигги прошел через полицейский кордон в конце переулка; в кармане у него прибавилось сто фунтов, да и в пивной сегодня будет что рассказать! Он просто дождаться не мог наступления дня, язык у него так и чесался.

[1] Теренс Конран — современный английский художник по интерьерам, владелец целого ряда модных магазинов мебели, домашней утвари и проч.

В половине пятого утра на пороге дома номер девять Тони Тредголд пилил диван, который некогда принадлежал Наполеону. В переулке Ад не принято жаловаться на шум. Шум — дело обычное, на его создание уходят и днем и ночью немалые силы. Вот если шум стихает, тогда обитатели переулка Ад подходят к дверям и окнам, выясняя, что же такое стряслось.

Диван не выдержал и развалился на две части. Одну придержала Беверли. Подождав, пока Тони с Филипом отнесут бо́льшую половину в гостиную, она поволокла обрубок вслед.

— Забить в него завтра с полдюжины шестидюймовых гвоздей, и будет как новенький,— сказал Тони, гордясь своими плотницкими успехами.

Взглянув на любимый диван, королева поняла, что, даже распиленный пополам, он все равно велик для гостиной.

— Вы были очень любезны, мистер и миссис Тредголд,— сказала она.— А теперь идите спать, я прошу вас.

— Как здесь стало красиво,— Беверли оглядела комнату.— Малость тесновато, но очень красиво.

— Погодите, вот развесят картины, тогда...— зевая, сказала королева.

— Да, вон та мне особенно нравится,— Беверли тоже зевнула.— Это кто ж ее нарисовал?

— Тициан,— ответила королева.— Спокойной ночи.

Умываясь и раздеваясь ко сну, и королева, и принц Филип испытывали смущение. Все комнаты были забиты мебелью. Протискиваясь в узких проходах, они то и дело задевали друг друга и без конца извинялись. Наконец в сереньком рассветном полумраке они улеглись, размышляя об ужасах прошедшего дня и о предстоящих кошмарах.

С улицы донеслись вопли молочника, пытавшегося спасти свой товар от местного воришки. Королева повернулась к мужу. А ведь он все еще красив, подумала она.

7. Маленькие сокровища

Страж Столового Серебра в упор разглядывал Джека Баркера, нового премьер-министра.

Очень даже симпатичный, думал он. Пониже, чем кажется по телеку, но очень симпатичный. Костюмчик, правда, простоват, туфли тоже не из дорогих, зато лицо красивое, с правильными чертами, глаза *восхитительные* — фиалковые, и ресницы длиннее, чем паучьи лапки. Так бы и съел.

Было девять часов утра. Они спускались на лифте в шахту бывшего бомбоубежища, расположенного на территории Букингемского дворца. Джек подавил зевок. Он всю ночь прокорпел над своими расчетами.

— Вы небось вечером рады-радешеньки скинуть это идиотское облачение? — спросил Джек, глядя на гетры, пряжки и камзол с аксельбантами и замысловатыми застежками.

— Да нет, я люблю всякие блестящие штучки, чего уж там,— сказал страж, вынимая из кармана жилета ключи. Лифт остановился.

— На какой мы глубине? — спросил Джек.

— Сорок футов, но до цели еще не добрались.

Выйдя из лифта, они зашагали по коридору, вдруг сделавшему крутой поворот, так что теперь они шли едва ли не вспять.

— Как вас зовут? — спросил Джек.

— Официально я — Страж Столового Серебра.

— А неофициально?

— Малькольм Балтитьюд Босток.

— И давно вы здесь работаете, мистер Босток?

— С тех пор как школу кончил, мистер Баркер.

— Нравится вам тут?

— Да, я вообще люблю красивые вещи. Летом скучаю по дневному свету, но дома у меня в спальне стоит кварцевая лампа.

Они подошли к толстенной, в четырнадцать дюймов, стальной двери, запертой на сложный кодовый замок. Мистер Босток вставил в скважину ключ, и дверь, пощелкав, отворилась.

— Секундочку,— произнес страж и включил свет.

Они оказались в помещении величиной с футбольное поле, разделенном перегородками на комнаты без дверей. В комнатах высились стеллажи, занавешенные синтетической пленкой.

— На что-то конкретное хотите взглянуть, мистер Баркер? — осведомился мистер Босток.

— На все,— ответил Джек.

— Бо́льшая часть коллекции находится, как вы сами понимаете, в Сандрингеме [1],— сказал Босток и отдернул пленку; глазам Джека открылось множество искусно вырезанных фигурок животных. Джек взял в руки кота, украшенного драгоценными камнями.

— Красиво.

— Это Фаберже.

— Как вы думаете, сколько они стоят? — спросил Джек, указывая на сверкающий зверинец.

— Ну откуда же мне знать, мистер Баркер,— сказал мистер Босток, ставя кота на место.

— А вы прикиньте.

— В прошлом году, вообще-то, одна заметочка и впрямь привлекла мое внимание. Про черепаху Фаберже; на аукционе она пошла за двести пятьдесят тысяч.

Джек снова поглядел на миниатюрные фигурки. Бормоча себе под нос, он принялся их пересчитывать.

Мистер Босток сказал:

— Их здесь четыреста одиннадцать.

— Целую больницу можно построить,— буркнул Джек.

— *Несколько* больниц,— не без самодовольства поправил мистер Босток.

Они двинулись дальше. Джек дивился, с какой беспечностью хранятся сокровища.

— Что и говорить, прибраться бы нам здесь не помешало,— заметил мистер Босток, укладывая в пластмассовую коробочку несколько выпавших из нее изумрудов.— Эту вот только четверо дюжих парней поднять могут.— Он указал на массивную серебряную супницу.— А золото чистить — вообще охренеешь,— пожаловался он чуть позже, раздвигая синтетическую завесу, за которой высились горы золотых тарелок, чаш и блюд.

— Настоящее золото? — прошептал Джек.

— Высшей пробы.

Джеку вспомнилось, что женино золотое обручальное кольцо куда ниже пробой обошлось ему десять лет назад в сто пятнадцать фунтов, а ведь в нем-то была дырка!

— Сюда кто-нибудь спускается? — спросил он у мистера Бостока.

— Она, собственной персоной, примерно дважды в год, но это скорее — вроде смотра личного состава. Когда она на все это глядит, у нее глаза не горят. А последний раз пришла и спросила, нельзя ли понизить температуру; не любит она тратить денежки попусту.

— Ну, понятное дело, ей приходилось проявлять прижимистость,— заметил Джек, трогая ножны — подарок аравийского принца королеве Виктории.

Он прекратил выпытывать, сколько стоят сокровища. Цифры утратили всякий смысл, а мистеру Бостоку было явно неловко рассуждать о деньгах.

---

[1] Сандрингем — королевское поместье в графстве Норфолк.

— Стало быть, здесь лишь часть коллекции, да? — спросил Джек, когда они обошли весь этот склад чудес.

— Только верхушка айсберга.

Поднявшись на лифте к свету Божьему, птичьему щебету и урчанию автомашин, Джек поблагодарил мистера Бостока и сказал:

— На этой неделе сюда заедут несколько иностранных господ, надо будет поводить их, показать коллекцию. Я вам сообщу.

— Позвольте спросить, что это будут за иностранные господа? — поинтересовался мистер Босток, обратив лицо к солнцу.

— Японцы,— ответил Джек Баркер.

— А позвольте спросить, мистер Баркер, я остаюсь в прежней должности?

Джек ответил одним из своих предвыборных лозунгов:

— В Британии Баркера будет работать всё и все.

И они зашагали рядышком по росистой лужайке, обсуждая японские церемонии и уточняя, как низко должен кланяться Страж Столового Серебра гостям, которые явятся вовсе не вручать дары, а покупать их.

8. Клиент не поддается

Ее разбудил холод, и сознание беды охватило ее прежде, чем она успела собрать все свои душевные и физические силы. Гаррис отчаянно скребся в дверь спальни, ему приспичило погулять. Королева накинула поверх ночной рубашки кашемировую кофту, спустилась вниз и открыла псу заднюю дверь. Апрельский воздух был сыр и холоден; наблюдая, как Гаррис задирает в заиндевевшей траве лапку, она заметила, что дыхание клубами белого пара вырывается у нее изо рта. В садике были кучей свалены пустые банки из-под краски. Их пытались подожечь, но ничего не вышло; там их и бросили. Королева позвала пса в дом, но Гаррис, желая обследовать новую территорию, засеменил на своих забавных лапках в угол сада и исчез во мгле.

Вскоре он появился вновь, неся в зубах дохлую крысу. Морозом ее скрючило так, будто она приняла смерть в страшных мучениях. Пришлось хорошенько стукнуть Гарриса деревянной ложкой по голове, чтобы он отдал добычу королеве. Однажды в Белизе ей довелось проглотить ложку блюда из крысы. Отказ был бы страшной обидой. А королевские военно-воздушные силы жаждали сохранить в Белизе свой пункт дозаправки.

— Утречко доброе. Хорошо спалось?

Это Беверли, в оранжевом халате, вышла снять с веревки заледеневшее белье. Джинсы стояли по стойке смирно, будто по-прежнему напяленные на Тони.

— Сегодня днем он идет на собеседование насчет работы, так что надо было высушить ему все лучшее.

Беверли щебетала, а сердце у нее так и колотилось. Как прикажете говорить с человеком, чью голову вы, привычно лизнув, наклеиваете на конверт? Беверли отцепила парадный джемпер Тони, застывший с воздетыми рукавами, в позе ликования и торжества.

— Гаррис нашел крысу,— сказала королева.

— Кысу?

— Крысу, видите?

Беверли поглядела на мертвого грызуна, валявшегося у королевских ног.

— Возможно, это не последняя? — спросила королева.

— Да вы не волнуйтесь,— сказала Беверли.— Они в дом не заходят. Во всяком случае, очень редко. На огородах-то им куда как привольно.

Послушать Беверли, так можно подумать, что крысы регулярно снимают поместье где-нибудь на курорте, резвятся в плавательном бассейне, напоминающем формой почку, и перемывают косточки нежащимся на солнце бездельникам.

В парадную дверь постучали. Извинившись, королева поспешила в тесную прихожую. Накинув поверх ночной рубашки и кофты еще и пальто, она стала открывать дверь. Это оказалось делом нелегким. Она, конечно, давненько сама не открывала дверей где бы то ни было, но все же раньше это давалось ей куда легче. Изо всех сил она тянула створку на себя. Пришелец за дверью приоткрыл тем временем прорезь для почты. На королеву глянули карие, переполненные душевным теплом глаза, и она услышала сочувственный женский голос:

— Привет, меня зовут Триш Макферсон. Я ваш советник по социальным вопросам. Слушайте, я знаю, вам приходится тяжко, но вряд ли вам станет легче, если вы не пустите меня на порог, правда?

При словах «советник по социальным вопросам» королева вздрогнула и отступила от двери. Триш не забыла, чему ее учили; главное — никакой агрессивности. Она переменила тактику:

— Ну же, миссис Виндзор, откройте дверь, и мы с вами побеседуем по душам. Я приехала специально, чтобы помочь вам справиться с психологической травмой. Давайте-ка поставим чайник и выпьем по чашечке чайку.

Королева сказала:

— Я не одета. Я не могу принимать посетителей в таком виде.

Триш весело рассмеялась.

— Из-за меня можете не волноваться; я людей видала в самых разных видах. Мои подопечные, когда я к ним прихожу, обычно еще лежат в постели.

Триш твердо знала, что она сама — человек хороший, и не сомневалась, что ее подопечные, особенно если копнуть поглубже, тоже люди неплохие. Она искренне жалела королеву. Коллеги Триш наотрез отказывались взять дело Виндзоров, зато Триш сегодня утром заявила на все бюро:

— Хоть они и королевской крови, но такие же люди, как все. Для меня это просто-напросто двое пенсионеров, лишенных привычного места жительства; и они нуждаются во всяческой поддержке.

Не желая вызывать у подопечных враждебные чувства, Триш написала записку на бланке Бюро социальных услуг, подсунула ее под дверь и удалилась. Записка была следующего содержания: «Зайду сегодня днем, около трех. Ваша Триш».

Королева поднялась наверх, соскребла лед с внутренней стороны окна и стала сверху наблюдать за Триш, чем-то вроде кухонной лопатки очищавшей ото льда ветровое стекло машины. Подобной лопаткой королева иногда пользовалась в Балморале [1] во время приемов на открытом воздухе. Одета Триш была в ацтекском стиле, ее запросто можно было принять за героиню спектакля «Охота за Королем Солнце» [2], случайно забежавшую в переулок Ад прямо со сцены. На ногах у нее красовалось нечто вроде кусков козлиной шкуры. Сев в машину, она пометила в досье: «Клиент не поддается воздействию; в 10 утра еще не одета».

Убедившись, что машина уехала, королева подошла к мужу, спавшему на спине крепким сном. С его хрящеватого носа свисала капелька. Королева утерла капельку своим носовым платком. Она не могла решить, что ей делать дальше, как строить день: с умываньем, одеваньем и причесываньем ей самой было явно не справиться. Я даже дверь в собственном доме не сумела открыть, с горечью подумала она. Одно она знала твердо: в три часа дня для посетителей ее дома не будет.

В заледеневшей ванной не было горячей воды, и она помылась холодной. Голова походила Бог знает на что: от привычной прически уже не осталось и следа. Она долго трудилась, но в конце концов просто обвязала голову шарфом на цыганский манер. Как же непривычно и неловко было самой одеваться, до чего же увертливы эти пуговицы!

---

[1] Балморал — королевская резиденция в Шотландии, близ Абердина.
[2] Известная историческая драма Питера Шеффера (род. в 1926 г.).

И почему молнии то и дело заедает? Как вообще можно сообразить, что с чем носят? Ей вспомнились коридоры, вдоль которых сплошь тянулись шкафы; в них рядами висела ее одежда, уже подобранная по цвету. Как не хватало ей ловких пальцев фрейлины, чтобы застегнуть лифчик! Вот уж нелепое сооружение! И как только другие женщины справляются со всеми петельками и крючочками? Надо быть прямо-таки акробаткой, чтобы сцепить их без посторонней помощи.

Одевшись, королева преисполнилась гордости: все-таки она это осилила. Ей захотелось поделиться с кем-нибудь своим достижением, как в тот давний день, когда она впервые сама завязала шнурки на ботиночках. Крофи тогда была ею страшно довольна.

— Молодчага. Конечно, тебе самой заниматься всем этим не придется никогда, но уметь все равно надо — так же, как пользоваться таблицами логарифмов.

Единственным источником тепла в доме был газовый камин в гостиной. Накануне вечером Беверли зажигала его, но сейчас королева была в полном замешательстве. Она открыла кран до упора, поднесла спичку к керамической горелке — никакого эффекта. Ей очень хотелось обогреть хотя бы одну комнату, пока не проснулся Филип, а еще (быть может, это слишком уж честолюбивые мечты?) она намеревалась приготовить завтрак: чай с тостами. Ей представилось, как, сидя у газового камина, они с Филипом будут обсуждать свое новое житье-бытье. Ей всегда приходилось ублажать Филипа: его грызла обида, что он всюду должен идти на шаг позади нее. По характеру он не годился на роль второй скрипки. В нем крылся целый оркестр перессорившихся между собой музыкантов.

Когда она подносила последнюю спичку к непокорному камину, в гостиную вошел Гаррис. Он проголодался, замерз, его некому было покормить, кроме нее. Она разрывалась между камином и Гаррисом. Столько дел, подумалось королеве. Столько работы. И как только обычные люди все успевают?

— А секрет в том, что нужно опустить в щелку пятьдесят пенсов,— разъяснил принц Чарльз, которому наконец удалось попасть в дом матери; входную дверь ему так и не открыли, зато на его стук открыли окно гостиной — в него он и влез. Чарльз подошел к шкафу с газовым счетчиком и показал матери щель в металлической коробке.

— Но у меня нет монетки в пятьдесят пенсов,— сказала королева.

— У меня тоже. Может, у папы есть?

— А у папы откуда?

— Верно. У Уильяма, наверно, есть в копилке. Может, мне... гм... пойти и?..

— Да, и скажи, я ему верну.

Королева поразилась, как сильно изменился сын. Он полез было через окно обратно на улицу, затем вдруг вернулся.

— Мама...

— Что, родной?

— Сегодня утром к нам приходила советница по социальным вопросам.

— Триш Макферсон?

— Да. Она была очень мила. Сказала мне, что я могу подлечить уши бесплатно, в государственной клинике. Сказала, что я перенес психологическую травму... гм... и мне кажется, она... ну... вроде как, гм... права. Диана думает, не заняться ли ей своим носом. Он ей всегда жутко не нравился.

Чарльз выпрыгнул из окна гостиной, а королева подумала: какой у него счастливый вид, и когда? В день, который должен бы стать самым горестным в его жизни!

Наверху заворочался Филип. Он ощутил на кончике носа что-то крайне неприятное.

— Подайте мне платок, и побыстрее! — приказал он несущест-

вующему слуге. Через несколько мгновений он вспомнил, где находится. Беспомощно оглянувшись, уступил обстоятельствам и сам вытер нос простыней. Затем повернулся на другой бок и снова заснул; он сделал свой выбор: предпочел мир королевских грез ужасающей действительности, где он был обычным гражданином, проснувшимся в нетопленном доме.

Королева вскрыла картонный ящик с надписью «ЕДА». Внутри она нашла буханку толсто нарезанного хлеба с надписью на обертке: «МАМИНА ГОРДОСТЬ», полфунта масла «Анкор», банку клубничного джема, банку говяжьего фарша, банку томатного супа фирмы «Хайнц», банку тушенки, банку молодого картофеля, банку зеленого горошка, банку персиков (кусочками) в сиропе, пачку несладкого овсяного печенья, пачку печеньиц с джемом «Мистер Киплинг», банку растворимого кофе «Нескафе», пачечку чая в пакетиках «Тайфу», пакет стерилизованного молока, пакет сахарного песка, коробочку кукурузных хлопьев, пачку соли, бутылочку соуса с изображением парламента на этикетке, полуфабрикат кекса «Птичий глаз», пакетик с несколькими ломтиками сыра «Крафт» и шесть яиц (очевидно, с птицефабрики, потому что на коробке не было хвастливой надписи о том, что куры вели здоровый образ жизни на открытом воздухе).

Гаррис жадно взирал на банки, но королева сказала:

— Для тебя, милый друг, ничего нет.

Она взяла в руки банку с говяжьим фаршем. С виду очень похоже на еду для собак, подумала она, но вот как ее вскрыть?

«Для открывания пользуйтесь ключом»,— прочла она и тут же нашла ключ: он прижался ко дну банки, как часовой к будке. Ну а теперь, с ключом, что прикажете делать дальше? Гаррис раздраженно тявкал, наблюдая, как королева возится с банкой мясного фарша: она пыталась просунуть кончик металлической ленты в отверстие в ключе.

— Потерпи, пожалуйста, Гаррис,— попросила королева.— Я и так стараюсь изо всех сил; сама проголодалась и замерзла, а ты мне ничуть не помогаешь.

Так же, подумала она (не сказав ничего вслух), как и мой муж,— лежит себе наверху в постели и тоже ничуть не помогает.

Она повернула ключ, и Гаррис ринулся к банке, из которой вырвался тяжелый кровяной дух. Гаррис неистовствовал, и тут даже королева, чья готовность терпеливо сносить громкий собачий лай вошла в поговорку, не выдержала и шлепнула пса по носу. Злобно зыркая, Гаррис убрался под мойку. После продолжительной борьбы королева все же сняла с банки дно; из-под него показалась плотная розовая, испещренная пятнышками жира масса. Но сколько королева ни трясла банку, фарш с места двигаться не желал. Может, попытаться просто ухватить мясо пальцами?..

Когда Чарльз снова влез к ним через окно, зажав в гордо воздетой руке, словно ценную добычу, пятидесятипенсовую монету, он нашел мать в прихожей; она стояла, опершись о полукруглый комод Уильяма Гейтса, служивший теперь столиком. На его изысканной крышке темнела лужица крови. Под комодом Гаррис яростно терзал жестяную банку, издавая первобытный гортанный рык. Сверху доносились знакомые устрашающие звуки: там на что-то гневался отец. Один психолог научил Чарльза, как действовать в таких случаях,— и он блокировал изрыгаемые отцом непристойности, сознательно сосредоточившись на времени создания Гейтсова комода.

— Тысяча семьсот восемьдесят первый год,— сказал он,— сделан по заказу Георга Четвертого.

— Да, верно, какой ты молодец, милый, только вот как бы мне не истечь кровью до смерти. Будь добр, пригласи ко мне моего врача.

Сняв намотанный на голову шарф, королева обвязала им кровоточа-

щие пальцы. На верхней площадке появился дрожащий от холода Филип в шелковом халате.

Они прождали четыре с половиной часа, прежде чем королеву принял доктор из Королевской больницы. На всех окрестных дорогах лежал густой туман, и травмопункт Королевской больницы оказался забит автолихачами и их жертвами.

Чарльз, королева и вооруженный полицейский в штатском проехали через кордон в конце переулка Ад, как раз когда туда въезжал фургон с мебелью принцессы Маргариты. Заглянув в полицейскую машину и увидев закапанную кровью кашемировую кофту и закрытые глаза сестры, принцесса Маргарита незамедлительно впала в истерику и завизжала:

— Они нас всех поубивают!

Водитель мебельного фургона кровожадно посмотрел на нее. Проведя в ее обществе три часа, он бы с радостью завязал ей глаза платком, поставил к стенке и всадил пулю в сердце. И даже не дал бы выкурить напоследок сигарету.

Добрую половину дня Чарльз с матерью просидели за тонкой занавеской в крохотной палате Королевской больницы. Со всех сторон неслись невыносимые звуки людских страданий. Они слышали предсмертные стоны и хрипы, а также безудержный смех юных сестер, пытавшихся стянуть потрепанную резиновую куклу с пениса пожилого господина. Королева едва сама не расхохоталась, когда его жена сказала сестрам:

— *Я так и знала,* что у него кто-то есть.

Но она не рассмеялась, а насупилась. Крофи учила ее владеть своими чувствами, и королева была благодарна Крофи за эту полезную науку. Иначе как бы могла она выдерживать все эти бесконечные приветственные речи на непонятных языках, зная, что придется еще прослушать и их перевод на английский? А потом самой вставать и зачитывать свой набор банальностей, а потом обходить строй почетного караула, сознавая, что любой мужчина (или женщина) больше всего боится, как бы она не остановилась возле него (или нее). А что она говорила, остановившись? «Откуда вы родом? Сколько времени служите?» Больно бывало смотреть, как они, заикаясь, отвечают. Однажды она спросила у восемнадцатилетнего морячка: «Нравится вам на флоте?» И он мгновенно ответил: «Нет, ваше величество». Она тогда нахмурилась и пошла дальше. А ведь ей хотелось улыбнуться и похвалить его за столь редкую искренность. Она распорядилась, чтобы его не наказывали.

— Извините, что заставил вас ждать, миссис Виндзор. Меня зовут доктор Анимба.

Доктора уже предупредили, кто его следующий пациент, и все же, беря в руку окровавленную кисть королевы, он почувствовал, что у него повышается давление. Он осторожно снял пропитанную кровью повязку и осмотрел глубокие порезы на большом и двух других пальцах.

— Как же это у вас вышло, ваше вел... миссис Виндзор?

— Порезалась о консервную банку с фаршем.

— Весьма частая причина травм. Необходимо вмешательство закона. Выпуск таких банок должен быть запрещен.

Доктор Анимба был серьезный молодой человек, убежденный, что закону под силу излечить большинство социальных болезней.

— Доктор Анимба,— вступил в разговор Чарльз,— моя мать прождала приема почти пять часов.

— Да, знаю, это нормально.— Доктор Анимба встал.

— Нормально?

— Конечно. Вашей матери еще повезло, что она не надумала поесть

консервов в субботу вечером. Под воскресенье у нас дел всегда невпроворот. А теперь мне пора идти. Скоро подойдет сестра.

Прошелестев занавеской, он исчез. Королева снова вытянулась на больничной каталке и крепко зажмурилась, чтобы не выдать слез, жегших ей веки. Она обязана держать себя в руках во что бы то ни стало.

— Это другой мир,— произнес Чарльз.

— Во всяком случае, другая страна,— откликнулась королева.

Они слышали, как доктор Анимба вошел в соседнюю комнатушку, где находились резиновая кукла и ее жертва. Они слышали, как доктор прикладывает энергичные усилия, дабы отделить резину от плоти. Слышали, как он произнес:

— Необходимо вмешательство закона.

Покраснев от смущения, Чарльз сказал:

— Как раз завтра я должен был открывать в Тонтоне новую больницу.

— Думаю, жители Тонтона переживут твое отсутствие,— заметила королева.

Они замолчали, ожидая появления обещанной сестры. В конце концов королева заснула. Принц Чарльз смотрел на нее, на ее растрепавшиеся волосы, на окровавленную кофту. Взяв в ладони ее здоровую руку, он поклялся беречь мать как зеницу ока.

9. Faux pas [1]

В тот же день крохотную гостиную Дианы заполнили посетители — одни женщины. Некоторые принесли с собой альбомы для автографов. В комнате стоял густой запах духов, которые обычно дарят на Рождество. Духов, которые производятся на маленьких фабричках Юго-Восточной Азии. Вайолет Тоби, одна из соседок Дианы, рассказывала историю своей долгой жизни. Остальные женщины ерзали, закуривали сигареты, одергивали юбки. Они уже много раз слышали эту повесть.

— И вот, как увидела я письмо это самое, сразу все поняла. Приходит он с работы домой, а я его и спрашиваю: «Кто такая эта чертовка Ивонн?» Он аж побелел весь. А я говорю: «Убирайся отсюда, и чтоб духу твоего здесь больше не было». И на этом у меня со вторым все.

Диана, как ее учили, подбодрила рассказчицу:

— И вы снова вышли замуж?

Вайолет, которую подбодрять не было нужды, рассмеялась.

— Да я сейчас уже за пятым замужем.

И все женщины в гостиной тоже рассмеялись.

— Пять мужей. Одиннадцать детей, пятнадцать внуков, шесть правнуков, а теперь положила глаз на одного малого, он в Британском легионе служит.

Поглядывая в зеркальце, вделанное изнутри в ее пластиковую сумочку под змеиную кожу, Вайолет намазала губы ярко-алой помадой.

— Халда ты грязная, вот ты кто, Вайолет,— заявила Мэнди Картер, соседка Дианы с другой стороны; это ее забор повалил накануне вечером Уильям. Мэнди прижимала к плечу запеленутого младенца — последнее свое дитя, по имени Шэдоу.

Взглянув на одежду Мэнди, Диана с трудом подавила дрожь отвращения. Эластичные хлопчатобумажные джинсы — и туфли на шпильках! Бр-р-р! А эти стоящие дыбом светлые волосы! Посекшиеся концы — точно стрелки весеннего китайского лука. Жуть. И эти бледные груди, вываливающиеся из розовой акриловой блузки с обширным вырезом,— сверхвульгарно.

— Чего-то вашего мужа с его мамашей долгонько нет,— заметила Вайолет Тоби.

— Да,— отозвалась Диана.— А больница далеко отсюда?

---

[1] Неверный шаг, промах *(франц.)*.

— Две мили по шоссе,— сказала молодая женщина, у которой на шее был вытатуирован паук.

— Я шесть с лишним часов в больнице проторчала, когда Клайв мне челюсть сломал,— сказала Мэнди.

— Господи помилуй! — воскликнула Диана.— А кто такой Клайв?

— Папка его,— сумрачно ответила Мэнди, указывая на Шэдоу.— Я тогда ни есть, ни курить, ни пить — ничего не могла.

— Только трахаться, да? — сказала Вайолет.— Аж мне слышно было — через два-то дома.

Диана вспыхнула. Боже упаси, она не ханжа какая-нибудь, но ей очень не нравится, когда женщины употребляют крепкие выражения. Она подняла глаза; в это время мимо изгороди из влажных кустов бирючины шел инспектор Холиленд. Он сурово глянул на собравшихся в гостиной. Женщины дерзко засвистели, а татуированная громче всех — будто подзывала такси на шумной лондонской улице.

Холиленд уже шагал по дорожке. Лавируя между гостьями, Диана пошла открыть дверь. Инспектор откашлялся, собираясь с мыслями. Он напрочь забыл, как ему предписано к ней обращаться. Миссис Виндзор? Миссис Спенсер? Миссис Чарльз?

Диана ждала, пока у инспектора пройдет приступ кашля.

— Им здесь находиться не положено,— выпалил он наконец, указывая на сидящих в гостиной женщин.— Вы не должны пользоваться особым вниманием.— Он наконец овладел собой.— Буду очень признателен, мадам, если вы попросите их уйти.

— Но это невозможно. Так грубо я с ними не могу обойтись.

Гостиная одобрительно загудела; к двери тут же подскочила Вайолет — руки в карманах атласной куртки до пояса, на морщинистом лице застыло надменное выражение.

— Никакого такого особого внимания мы ей не оказываем. Зашли по-соседски — узнать, может, нужно чего.

— Ну конечно,— насмешливо ухмыльнулся Холиленд.— И к любой другой так же бы зашли, правда?

— Да, так бы и зашли, ей-Богу,— искренне сказала Вайолет.— Мы здесь, в переулке Ад, держимся друг за дружку.

Она повернулась к Диане:

— Ну что, пойдем займемся кухней?

Холиленд отвернулся. Согласно финансовым отчетам Вайолет, ее муж Уилф и их семеро взрослых детей еще не уплатили за этот год подушного налога; как, собственно, и за *прошлый* год. Так что у него будет возможность отыграться.

И тут Диана заметила бегущую по мостовой принцессу Маргариту: высокие каблуки цокают по асфальту, шубка распахнулась, пряди волос выбились из замысловатого узла на макушке. Подбежав к ограждению, она сцепилась с молодым полицейским. Инспектор Холиленд что-то произнес в рацию — и почти в тот же миг взревела автомобильная сирена, всю улицу залило резким белым светом.

— Господи помилуй! — воскликнула Вайолет.— Прямо как в Кольдице [1] каком-нибудь!

— Да это Марго,— сказала Диана.— Пытается прорваться, несмотря на комендантский час.

Инспектор Холиленд самолично проводил принцессу Маргариту обратно к ее дому.

— Но мне *необходимо* попасть в «Маркс и Спенсер» [2] до закрытия,— услышала Диана.— Я же не умею готовить.

Прикрыв входную дверь, Диана вернулась к соседкам. Она уже предвкушала, как наденет фартук, пойдет на кухню и станет там греметь

---

[1] Кольдиц — город в Германии, где во время второй мировой войны в неприступном замке была устроена сверхсекретная тюрьма для военнопленных.

[2] Магазины известной английской фирмы, торгующей готовой одеждой и продуктами.

всякими кастрюлями и сковородками, в точности как пел в одной песенке Малыш Ричард [1]. Возьмет у Вайолет на вечер специальную сковороду и приготовит для всей семьи яичницу с фасолью и жареной картошкой. Чарльзу придется отступить от своей жесткой диеты, пока она не наладит поставку бобовых. А у Вайолет вряд ли есть лишняя банка чечевицы.

Когда все занялись делом, Мэнди спросила:

— А чего вам будет особенно не хватать?

— Моего «мерса»,— не задумываясь, ответила Диана.

— «Мерса»?

— «Мерседеса-бенц 500 SL». Цвет у него красный металлик, а скорость — сто пятьдесят семь миль в час.

— Стóит небось будь здоров,— заметила Мэнди.

— Н-да, около семидесяти тысяч фунтов,— призналась Диана.

В комнате воцарилась тишина.

— И кто же за него платил?

— Герцогство Корнуоллское.

— А это еще кто? — удивилась Мэнди.

— Ну, в общем, мой муж,— сказала Диана.

— *Семнадцать* тысяч, говорите? — Вайолет поправила свой розовый слуховой аппарат.

— *Семьдесят* тысяч,— проорала Филомина Туссен, единственная чернокожая в этой комнате. Все опять замолчали.

— За машину? — От возмущения у Вайолет дрожал подбородок.

Диана опустила глаза. Она еще не знала, что одежду, вызвавшую у нее такое презрение, эти женщины, которые вымыли ей кухню, купили в благотворительных магазинах. Лифчик Вайолет — особо большого размера — был приобретен за двадцать пять пенсов в магазине «Помогите престарелым».

Молчание нарушила Мэнди:

— Мне бы тоже, черт возьми, не хватало, да только не машины, а няньки.

Тут Диана вспомнила, что не видела Уильяма и Гарри с тех пор, как к ней пришли эти гостьи. Она громко позвала мальчиков, думая, что они наверху, но никто не ответил. Она выглянула в унылый садик позади дома, но не увидела там ни единой живой души, кроме Гарриса и принадлежавшей Мэнди Картер явно нечистокровной овчарки, чье расположение Гаррис силился завоевать. Псы вились друг возле друга. Маленький и большой, плебей и аристократ. Овчарку звали Король. Выбежав из дому, Диана принялась звать:

— Уильям, Гарри!

Уже почти стемнело. В домах вспыхивали голые, без абажуров лампочки — переулок Ад готовился к ночи.

— Мальчики еще никогда не гуляли в темноте,— сказала Диана.

Это новое свидетельство изнеженности ее детей вызвало у женщин смех. Они ведь то и дело посылали поздним вечером своих малолетних ребятишек в бакалейную лавку, которую держит индиец. А как иначе? Неужто, имея собаку, самой же и лаять?

— Да они где-нибудь тут играют,— стала успокаивать ее Вайолет.

Но Диана не желала успокаиваться. Набросив шелковую куртку с капюшоном, она зашагала в своих ковбойских сапожках по переулку Ад, разыскивая сыновей. В конце концов она нашла их в доме номер девять: расставив перед газовым камином кораблики, они с дедушкой разыгрывали морскую битву. Диана наблюдала через окно эту сцену, пока Гарри, заметив ее, не махнул ей ладошкой. Принц Филип был в пижаме и халате. Он не побрился, редкие пряди волос свисали на уши. На серебряном столике времен Вильгельма III [2] стояла банка тушеных бобов с зазубренной крышкой.

[1] Американский негритянский певец 60-х гг., один из королей рок-н-ролла (наст. имя Ричард Уэйн Пеннимен).

[2] Вильгельм III — английский король (1650—1702), правил с 1689 г.

— Чарльз звонил,— крикнул в окно Филип.— Они все еще в больнице. Не могу пригласить вас к себе: эта проклятая входная дверь не открывается. А ключ от черного хода потерян, черт его подери.

Поняв намек, Диана вернулась к своим домашним обязанностям. Когда все шкафы в кухне засияли чистотой, женщины сделали перерыв, чтобы попить чаю и выкурить по сигаретке.

— Может, хоть ненадолго да уймутся,— обронила Вайолет.

— Кто уймется? — удивилась Диана.

— Тараканы. Их у нас у всех полным-полно. Никакою силой не избавишься. Хоть ракетами по ним стреляй, все равно через три дня — тут как тут. Ну а теперь,— сменила Вайолет тему,— давайте бумагу: нужно застелить полки, прежде чем ставить туда продукты.

Ничего подходящего у Дианы не нашлось, и Вайолет забарабанила в стену, отделявшую ее гостиную от гостиной Дианы.

— Уилф! — крикнула она.— Принеси-ка сюда вчерашнюю газету.

В ответ прозвучало что-то неразборчивое, и через считанные минуты Уилф Тоби уже стоял на пороге. Это был необычайно высокий мужчина, с могучими плечами, огромными ручищами и ножищами. Из тех, кого адвокаты называют в своих речах кроткими великанами. Уилф Тоби, однако, кротостью не отличался. Он страдал хроническим бронхитом, и непрерывная борьба за глоток воздуха сделала его раздражительным и угрюмым. Он боялся смерти и жил в постоянном страхе, словно каждый день для него — последний. Ему казалось, что Вайолет уделяет ему недостаточно внимания. Она куда больше времени проводит у чужих людей, считал он, чем в собственном доме. Услышав неровное хриплое дыхание Уилфа, Диана успокоилась: она поняла, что́ за странные звуки пугали ее и не давали уснуть прошлой ночью. Это сипло дышал Уилф за разделяющей их стенкой.

Уилф взглянул на Диану — и влюбился с первого взгляда. Он никогда еще не видел живьем и совсем близко подобной красавицы. Ее фотографии ежедневно попадались ему в газетах, но он и не подозревал, что у нее такое свежее лицо, нежная кожа, такие застенчивые синие глаза, теплые губы. У всех известных Уилфу женщин лица были жесткие, грубые, словно жизнь колошматила их без всякой жалости. Когда Диана брала у него газету, он посмотрел на ее руки. Длинные бледные пальцы с розовыми ногтями. Уилфу страшно захотелось потрогать эти пальцы. Интересно, они на ощупь такие же гладкие, как на вид? Он критически оглядел Вайолет, свою жену с четырехлетним стажем. Как это его угораздило связаться с нею? Впрочем, он отлично знал как. Она просто затравила его, точно зайца. От нее не улизнешь.

— Ну давай, громилушка, либо заходи, либо топай отсюда. А то дом выхолаживаешь.

Вы только послушайте, как жена с ним разговаривает. Ни капли уважения.

— Заходите, пожалуйста,— сказала, улыбаясь, Диана.

В другое время никакая сила не заставила бы Уилфа переступить порог дома, битком набитого женщинами из переулка Ад, но ему страх как хотелось видеть Диану, слушать ее чудный голос. До чего ж она красиво говорит — правда-правда.

При появлении в доме мужчины женщины попритихли. Даже Вайолет, складывавшая листы «Ньюс оф зе уорлд» [1], чтобы застелить полки и ящики, понизила голос. Перед Дианой промелькнули заголовки:

«ИЗБИЕНИЕ» ФУНТА

Вчера пошли слухи, что фунт едва жив после того, как зарубежные дельцы совершили на него, по выражению одного финансового эксперта, «зверское нападение». «Это было жестокое избиение»,— сказал он.

[1] Английская бульварная воскресная газета.

Оно произошло после «двойного несчастья» — сокрушительной победы Джека Баркера на выборах в четверг и отмены в пятницу монархии. Управляющий Английским банком призвал дать стране передышку.

Пираньи

Представитель лондонского филиала Токийского банка вчера заявил: «Фунт — это золотая рыбка, плавающая в аквариуме, полном пираний».

Закончив, Вайолет с гордостью оглядела плоды своих трудов.

— Ну вот, теперь все чисто и красиво,— сказала она. И, повернувшись к Уилфу, рявкнула: — Чаю небось дожидаешься?

— Сыт я,— буркнул Уилф. Да разве он вообще теперь сможет есть?

Диана мечтала, чтобы они все ушли, однако не могла придумать, как им на это намекнуть. Но тут Шэдоу, получивший временное пристанище на бархатном диване, пробудился и своими воплями прогнал прочь и мать, и ее товарок.

— Если чего нужно будет, стучите в стенку,— приказала Вайолет.

— Хоть ночью, хоть днем,— добавил Уилф.

— Вы были очень любезны,— сказала Диана.— Сколько я вам должна?

Она открыла кошелек. Но когда подняла глаза, то по лицам своих посетительниц поняла, что совершила большой faux pas.

Вернувшись к дому номер девять, Чарльз и Елизавета узнали, что Тони Тредголд ударом ноги распахнул входную дверь и теперь подстругивает ее снизу.

— Покоробилась от сырости,— объяснил Тони,— вот и не открывалась.

Принц Филип, Уильям и Гарри, сидя на лестнице, наблюдали за Тони. Все трое жевали сандвичи с джемом, неумело приготовленные Уильямом.

— Как дела, старушка? — спросил Филип.

— Устала до смерти.— Забинтованной рукой королева пригладила растрепавшиеся волосы.

— Чертовски долго вы там пробыли,— заметил муж.

— Врачи страшно загружены,— объяснил Чарльз.— Мамина травма не опасна для жизни, вот нам и пришлось подождать.

— Но ведь мать у тебя, разрази меня гром, не кто-нибудь, а *Королева,* черт возьми! — взорвался Филип.

— *Была,* черт возьми, королевой, Филип,— негромко заметила королева.— А теперь я миссис Виндзор.

— Маунтбеттен,— лаконично поправил ее принц Филип.— Ты теперь миссис Маунтбеттен.

— Моя фамилия — Виндзор, и я не намерена ее менять.

— А моя фамилия Маунтбеттен, ты — моя жена, следовательно, ты — миссис Маунтбеттен.

Тони Тредголд стругал как одержимый. Они явно забыли о его присутствии.

— А *наша* фамилия как, папа? — спросил Уильям у Чарльза.

Чарльз поочередно посмотрел на родителей.

— Гм, мы с Дианой пока еще этого не обсуждали... гм... С одной стороны, фамилия Маунтбеттен не может не привлекать благодаря дяде Дику, но, с другой стороны, не может также и, гм... ну... гм...

— О Господи! — В голосе Филипа зазвучали угрожающие нотки.— Ну давай-давай, выкладывай!

Тони подумал, что королеве пора бы и присесть; выглядит она хуже некуда. Он взял ее под руку и провел в гостиную. Газ в камине не горел; порывшись в карманах, Тони нащупал пятидесятипенсовик и сунул в счетчик. Вспыхнуло пламя, и королева благодарно склонилась к теплу.

— Сдается мне, мамаше вашей неплохо бы выпить чайку,— подсказал Тони Чарльзу.

Тони уже понял, что от Филипа в доме толку ждать не приходится, мужик даже одеться сам не может. Но и Чарльз, заметил Тони, подметая стружки и зачищая шкуркой нижний край двери, уже целых четверть часа попусту мечется по кухне, безуспешно пытаясь найти заварку, молоко и десертные ложки; Тони пошел к себе и попросил Бев поставить чайник.

Королева неотрывно смотрела на огонь. А она-то полагала, что этот давний фамильный спор Виндзоров с Маунтбеттенами порос быльем,— и вот на́ тебе, снова поднял свою мерзкую голову. Во всем виноват Луис Маунтбеттен. Когда родился Чарли, этот гнусный сноб уговорил карлайлского епископа отметить, что негоже-де лишать ребенка, рожденного в законном браке, отцовской фамилии. Эти соображения безвестного священника попали на первые полосы всех центральных газет. И тогда лорд Маунтбеттен всерьез развернул кампанию по возвеличиванию своего имени, добиваясь, чтобы царствующая династия его приняла. Королева разрывалась тогда, желая, с одной стороны, угодить мужу и Луису Маунтбеттену, а с другой — стремясь выполнить волю короля Георга V, основавшего, как он надеялся, Виндзорскую династию на веки вечные. Королева закрыла глаза. Луиса уже давно нет на свете, однако влияние его ощущается до сих пор.

Вошла Беверли с подносом в руках; на нем стояли четыре дымящиеся кружки с чаем и два стакана оранжевой шипучки. В жарко-рыжей жидкости болтались толстые полосатые соломинки. На тарелке, покрытой бумажной салфеточкой, лежало сухое печенье. Чарльз взял поднос у Беверли из рук и стал топтаться, прикидывая, куда бы его поставить. Королева наблюдала за сыном с нарастающим раздражением.

— На мой письменный стол, Чарльз!

Чарльз водрузил поднос на столик «чиппендейл» [1], стоявший у окна, и стал раздавать кружки и стаканы. Пышнотелая Беверли смущала и волновала его. В какой-то миг он мысленно увидел, как она, обнаженная, закутанная в кисею, любуется собственным отражением в зеркале, которое держит Амур. Венера девяностых годов XX века.

— Это миссис Беверли Тредголд, Чарльз,— представила ее королева.

— Здравствуйте, как поживаете? — сказал Чарльз и протянул руку.

— Спасибо, в полном порядке.— Беверли ухватила его руку и энергично встряхнула.

— Мой сын, Чарльз Виндзор,— сказала королева.

— Маунтбеттен,— поправил Филип. И, обращаясь к Беверли, сказал: — Его зовут Чарльз Маунтбеттен. Я его отец, и фамилия у него моя.

Чарльз подумал, что давно уже пора положить конец жуткому отцовскому деспотизму. А какую фамилию носила в девичестве его прабабка, королева Мария? Тек. Да, точно. Чарли Тек — неплохо, пожалуй, звучит?

— Мы потом это обсудим, Филип,— остановила мужа королева.

— Нечего тут обсуждать. Я — глава дома. Сорок лет я шагал позади тебя. Теперь моя очередь выйти вперед.

— Ты, значит, хочешь вести дом, да, Филип?

— Да, хочу.

— В таком случае,— сказала королева,— пойди-ка на кухню и ознакомься с многочисленными приспособлениями и операциями, необходимыми для завариванья чая. Не можем же мы вечно уповать на щедрость миссис Тредголд.

— Если хотите, я научу вас заваривать чай,— сказала Беверли.— Вообще-то это пара пустяков.

Но принц Филип пренебрег ее великодушным предложением и, обращаясь не к ней, а к Тони, пожаловался:

---

[1] Стиль английской мебели XVIII в.

— Не могу включить горячую воду; а побриться необходимо. Займитесь этим, ладно?

Тони разобрала злость. Ей-Богу, подумал он, этот тип разговаривает со мной как с паршивым псом.

— Извините,— сказал он,— мы с Бев уходим, хотим пропустить стаканчик. Ты готова, Бев?

Беверли обрадовалась: под этим предлогом она сможет покинуть дом, в котором сгущаются тучи семейных неладов.

Тони отправился домой, прихватив с собой ящик с инструментами. Ну и денек выдался — псу под хвост по всем статьям. Вакансия забойщика кур по законам Корана, объявленная фирмой «Халал», уплыла: перед Тони оказалось еще сто сорок четыре претендента, мужчины и женщины всевозможных вероисповеданий.

Беверли ненадолго задержалась у соседей, чтобы показать принцу Филипу, как подогреть на плите в кастрюльке воду для бритья. Нужно следить, объяснила она, чтобы ручка кастрюли торчала не вперед, а к стене.

— Тогда ребятишки не опрокинут ее ненароком.

В кухню вошел Чарльз и стал сосредоточенно наблюдать, словно ему демонстрировали военный танец племени маори. Незаметно подошли оба его сына с мордашками в оранжевых разводах и ухватили его за руки. Они припомнить не могли, когда им раньше удавалось так подолгу видеть отца. Вода запузырилась, и Беверли показала, как выключить горелку.

— Ну а теперь что делать? — уныло спросил Филип.

Это уж дудки, черта с два я стану тебя брить, подумала Беверли и с облегчением покинула дом бывшего королевского семейства.

— Ну чисто малые дети,— говорила она Тони, переодеваясь в платье-для-пивной.— Чудеса еще, что задницу сами себе вытирают.

10. Как согреться

На следующее утро мороз стал еще злее.

— Филип, уже девять часов, а ты еще не побрился.

— Я отращиваю бороду.

— Но ты и не умылся.

— В ванной чертовски холодно.

— Ты уже два дня подряд носишь одну и ту же пижаму и халат.

— Я же выходить не собираюсь. Так чего ради утруждаться?

— Но тебе обязательно надо выйти.

— Зачем?

— Подышать свежим воздухом, размяться.

— В переулке Ад, черт бы его побрал, свежим воздухом и не пахнет. Дыра вонючая. Мерзопакостная. Знать не желаю про его существование. К дьяволу всё — буду сидеть дома до самой смерти.

— И чем будешь заниматься?

— Ничем. Просто лежать в постели. А теперь — поставь поднос с завтраком, задерни эти чертовы шторы и ступай, ладно?

— Филип, ты разговариваешь со мной как со служанкой.

— Я твой муж. Ты моя жена.

Филип принялся за завтрак. Яйца всмятку, тосты и кофе. Королева задернула шторы, отгородив спальню от переулка Ад, и спустилась вниз, чтобы позвать Гарриса в дом. Гаррис ее очень тревожил. Он попал в крайне дурную компанию. В саду перед королевским домом стала собираться стая сомнительного вида дворняг, судя по всему совершенно беспризорных. Гаррис не предпринимал никаких попыток отвадить их, напротив, он даже явно радовался приходу этих разбойников.

Филомина Туссен проснулась оттого, что в соседний одноэтажный домик въезжала королева-мать. Встав с кровати, Филомина накинула

теплый халат, подаренный ей Фицроем, старшим сыном, на восьмидесятилетие.

— Грей свои кости, старуха,— сурово сказал тогда сын.— Надевай эту чертову хламиду.

Филомина читала, что королева-мать пьет и играет в азартные игры. Сама она подобных занятий не одобряла и сейчас обратилась с молитвой к Богу:

— Господи, хоть бы соседка меня не трогала.

Она порылась в кошельке, ища пятидесятипенсовик. Зажечь газ сейчас, днем, или вечером, когда она будет смотреть телевизор? Этот вопрос она задавала себе ежедневно круглый год, кроме лета. Трой, средний ее сын, говорил ей:

— Слушай, мам, если тебе нужно, пускай газ хоть весь день горит; ты нам только свистни, и денежки появятся тут как тут.

Но Филомина была женщина гордая. Она медленно, одну за другой натягивала на себя одежки. Потом подошла к шкафу, где висело ее зимнее пальто. Надела его, обмотала шею шарфом, напялила фетровую шляпу и лишь тогда, приняв все оборонительные меры против холода, направилась в кухню готовить завтрак. Первым делом пересчитала куски хлеба: пять; затем оставшиеся яйца: три. Есть крохотный кусочек маргарина — хватит разве что на помазанье при крещении младенца. Встряхнула коробку с кукурузными хлопьями. На полмиски наберется, а до пенсии еще два дня протянуть надо. Наклонившись, она открыла дверцу холодильника.

— Чего ему попусту гудеть, когда вокруг мороз.

Она выдернула вилку из розетки, и холодильник смолк. Достав кусочек сыра, она с великим трудом (сильно болели узловатые пальцы, изуродованные артритом) натерла щепотку на кусок хлеба и сунула его в духовку.

Она сидела в нетерпеливом ожидании, досадуя, что расходуется газ. В конце концов она вынула бутерброд из духовки, хотя сыр еще толком не растаял, и, по-прежнему закутанная, в шляпе, пальто, шарфе и перчатках, принялась за полуготовый завтрак. Было слышно, как за стеной смеется королева-мать и втаскивают в дом мебель. Обращаясь через стену к королеве-матери, Филомина сказала:

— Погоди, погоди, моя милая. Скоро тебе станет не до смеху.

Накануне вечером Филомина видела по телевизору Джека Баркера, который сказал, что бывшая королевская семья будет жить на государственное пособие. Что пенсионеры — королева, принц Филип и королева-мать — будут получать столько же, сколько и Филомина. Прикрыв глаза, она произнесла:

— За все, что Ты дашь мне, благодарю Тебя, Господи. Аминь.

И она принялась за завтрак. Откусив кусочек, она долго и тщательно жевала, чтобы растянуть удовольствие. Хорошо бы съесть еще ломтик, но ведь она откладывает деньги: скоро опять вносить абонементную плату за телевизор.

А королева-мать потешалась над нелепой миниатюрностью окружающего.

— Совершенно восхитительный домик,— хохотала она.— Просто прелесть. Вполне подошел бы в качестве конуры для крупной собаки.

Кутаясь в норковую шубку, она осматривала ванную. Раздался новый взрыв смеха; видно было, что хохотунья всегда панически боялась зубоврачебного кресла.

— Я просто в восторге,— заливалась королева-мать.— Какая вместительная ванная, и взгляни, Лилибет, даже крючок для пеньюара есть.

Королева посмотрела на крюк из нержавеющей стали, торчащий в двери. Есть из-за чего приходить в восторг — обыкновенный крючок, практичный предмет обихода, созданный с конкретной целью: чтобы на него вешали одежду.

— Лилибет, здесь нет туалетной бумаги,— шепнула королева-мать.— Где же ее берут?

Кокетливо склонив голову набок, она ждала ответа.

— Покупают в магазине,— сказал Чарльз.

Он в одиночку выгружал коробки из фургона, который только что подъехал к домику его бабушки. Зажав под мышкой торшер, он держал в другой руке шелковый абажур.

— Ах вот оно что? — Казалось, улыбка навеки застыла на лице королевы-матери, будто высеченная в горе Рашмор [1].— Здесь все невероятно интересно!

— Вот как?

Королеву раздражало, что мать не желает хотя бы на миг предаться отчаянию. Ведь на самом-то деле домик поистине отвратительный — тесный, скверно пахнущий и холодный. Как же мать здесь сможет жить? Она ведь даже шторы ни разу сама не задернула. И вдруг пожалуйста, изо всех сил, хоть это и глупо, старается не теряться в таком жутком положении.

Прибыл Спигги выполнять уже знакомое задание и был встречен преувеличенно радостными возгласами. Королева-мать не поверила цифрам в памятке, полученной от Джека Баркера. Не может же комната быть размером девять футов на девять, решила она. Одну цифру, видимо, пропустили — Баркер имел в виду девятнадцать футов. Поэтому огромные ковры из Кларенс-хауса перевезли в фургоне в переулок Ад. За этим проследили, сослужив ей последнюю службу, те из челяди, кто не успел напиться в стельку.

Спигги извлек из сумки орудия разрушения: острый нож, металлическую рулетку, черную клейкую ленту — и принялся кромсать бесценный ковер, подарок Персии, чтобы он уместился возле камина, выложенного оранжевой плиткой. Спигги вновь был героем дня. Королева-мать прогуливалась в садике за домом, рядом с ней семенила ее корги [2] по кличке Сьюзан. В кухонное окно соседнего домика за ними наблюдала чернокожая женщина. Королева-мать помахала ей, но та нырнула в глубь дома и скрылась из виду. Улыбка на губах королевы-матери чуть дрогнула, но тотчас заиграла вновь, наподобие биржевых сводок в «Файнэншл таймс», когда в Сити выдастся трудный день.

Королева-мать отчаянно нуждалась в любви. Она могла существовать лишь в атмосфере всенародного обожания; без него она бы погибла. Бóльшую часть жизни она прожила без мужской любви, и преклонение простых людей служило ей в какой-то мере утешением. Ее слегка обеспокоило недружелюбие соседки; тем не менее, когда она вернулась из садика в дом, улыбка вновь сияла, как и прежде.

Спигги поднял голову от ковра. В его глазах королева-мать прочла восхищение. Она заговорила с ним, стала расспрашивать о жене.

— Сбегла,— коротко обронил Спигги.

— А дети?

— С собой забрала.

— Так вы, стало быть, беспечный холостяк? — Голос королевы-матери весело звенел.

Спигги насупился.

— Кто это вам сказал, что я без печки?

— Бабушка имела в виду,— разъяснил Чарльз,— что вы, наверное, живете без забот, не обремененный всевозможными семейными обязанностями.

— Мне денежки с неба не валятся, я вкалываю,— сказал Спигги.— Вы бы сами попробовали потаскать туда-сюда тяжеленные ковры.

Столь явное непонимание привело Чарльза в замешательство.

[1] Гора в штате Дакота, в которой высечены огромных размеров головы четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Автор — американский скульптор Г. Борглум (1867—1941).

[2] Редкая порода собак.

И почему его родственники не умеют просто поговорить с соседями, без этого... гм... постоянного... гм?..

Королева стала передавать собравшимся изящные фарфоровые чашечки с блюдцами.

— Кофе,— объявила она.

Спигги напряженно наблюдал, как члены бывшего королевского семейства обращаются с крошечными чашками. Они продевали указательные пальцы в ручки, поднимали блюдца к лицу и отхлебывали. Однако указательный палец Спигги, мозолистый, распухший от многих лет физического труда, никак не лез в ручку чашки. Он взглянул на собственные пятерни. Моментально устыдившись, сунул кулаки в карманы комбинезона. Самому себе он теперь казался неуклюжей скотиной. А у них тела словно бы светятся — будто стеклом облитые. Вроде как для защиты, что ли. У Спигги же тело было похоже на карту, испещренную условными обозначениями: травмы на работе, драки, заброшенность, бедность — все прожитое оставило свои видимые меты. Спигги сгреб чашечку правой рукой и в один глоток выпил скудное содержимое. Да тут комару не хватит нос обмочить, проворчал он себе под нос, ставя чашечку на блюдце.

Принц Чарльз с трудом пробился сквозь небольшую толпу, собравшуюся у ворот бунгало королевы-матери. Поодаль, ссутулившись, дрожал на ледяном ветру бритоголовый паренек. Он подошел к Чарльзу.

— Видак нужен?

— Вообще-то да,— сказал Чарльз.— Моей жене нужен. Мы свой забыли, не подумали в... гм... но... они ведь жутко, гм... ну... дорогие?

— Еще бы, ясное дело, дорогие, но я могу достать за пятьдесят монет.

— За пятьдесят монет?

— Ага, один мой кореш их толкает.

— Филантроп, наверное?

Уоррен Дикон непонимающе уставился на Чарльза.

— Просто кореш.

— А они, гм... то есть... эти видеомагнитофоны, они... гм... работают?

— Само собой. Они же из хороших домов,— возмутился Уоррен.

Что-то тут Чарльза смущало. Откуда этот юнец с крысиной физиономией знает, что у них нет видео? И он спросил Уоррена.

— Да я шел вчера мимо вашего дома. Глянул в окошко. Красный огонек не светится. Занавески надо задергивать. У вас ведь там товарец клевый — взять хоть подсвечники.

Чарльз поблагодарил Уоррена за комплимент. У юноши, очевидно, прекрасно развито эстетическое чувство. И впрямь не стоит судить о людях по первому впечатлению.

— Да, подсвечники изумительные,— сказал Чарльз.— Вильгельм Третий. Он, гм... я имею в виду Вильгельма, положил начало коллекции в...

— Чистое серебро? — поинтересовался Уоррен.

— Разумеется,— заверил Чарльз.— Работа Эндрю Мура.

— Надо же,— отозвался Уоррен, словно наперечет знал всех серебряных дел мастеров семнадцатого века.— Небось потянут на кругленькую сумму, а?

— Возможно,— согласился Чарльз.— Но ведь, как вы, гм... наверное, знаете, мы... то есть... членам моей семьи... нам не разрешается, гм... вообще говоря... продавать что бы то ни было из нашего, гм...

— Товару? — Уоррену тошно было дожидаться, пока Чарльз закончит фразу. Вот козел! И он мог в один прекрасный день стать королем и править Уорреном?!

— Ну да, товару.

— Так вам надо было оставить там подсвечники и прикупить видак.

— *Прихватить* видак,— уточнил Чарльз.

— Короче, нужен он вам или нет? — Уоррен решил, что пора завершать сделку.

Чарльз пошарил в карманах брюк. Где-то у него была бумажка в пятьдесят фунтов. Отыскав, он протянул ее Уоррену Дикону. Он не знал ни имени Уоррена, ни его адреса, но, решил он, раз юноша интересуется материальной культурой прошлого, его стоит поддержать. Он уже представлял себе, как покажет Уоррену свою небольшую художественную коллекцию и, возможно, побудит молодого человека заняться живописью...

Чарльз залез поглубже в фургон и подхватил картонный ящик с надписью «обувь»; но ведь обувь обычно не звякает и поднять ее не составило бы такого труда? Приоткрыв крышку, Чарльз увидел двадцать четыре бутылки джина «Гордонс», аккуратно переложенные зеленой упаковочной бумагой. Прижимая ящик к груди и обливаясь пóтом, он протиснулся сквозь толпу. Вот бы Беверли посмотрела, как он тащит такую тяжесть — выполняет мужскую работу. Когда он благополучно донес груз до входной двери, женщины и малыши в колясках веселыми, хотя и не без насмешки, криками выразили ему свое одобрение; Чарльз, раскрасневшийся, довольный собой, кивнул им в знак благодарности, как учили его делать с трехлетнего возраста.

Пошатываясь, он втащил тяжеленную коробку в кухню, где его мать мыла в раковине посуду. Одной, здоровой рукой. Привалившись к крошечному пластмассовому столику, принцесса Маргарита наблюдала за королевой. В ее собственном доме все стояло вверх дном. Не было никакой подходящей для новых обстоятельств одежды. Большой кофр с вещами на каждый день остался в Лондоне, и теперешний ее гардероб состоял лишь из шести туалетов для коктейля, которые оказались бы вполне уместны на вручении премий звездам эстрады — но больше нигде. Меха, разумеется, были при ней, но вот нынешним утром девица с вытатуированным на шее пауком, проходя мимо нового жилища принцессы, прошипела: «Живодерка проклятая!»

Королеве от души хотелось, чтобы сестра ушла наконец из материнской кухни. Она только свет загораживает и место занимает, а здесь и без того тесно. Да и работы невпроворот.

Спигги просунул голову в кухню и обратился к принцессе Маргарите:

— Ковры подогнать надо? До вечера, поднапрягшись, могу и вам сделать.

— Благодарю вас, не надо,— растягивая слова, ответила та.— Едва ли стоит этим заниматься, я здесь долго задерживаться не намерена.

— Дело ваше, Мэгги,— как можно дружелюбнее ответил Спигги.

— Мэгги?! — Она гордо выпрямилась.— Да как вы *смеете*? Я вам не Мэгги, а принцесса Маргарита.— Спигги даже подумал, что она его сейчас треснет; подтянув рукав великолепного кроя (от Карла Лагерфельда [1]), она погрозила Спигги кулаком, однако потом кулак убрала и крикнула:

— Противный маленький толстяк!

Удовольствовавшись этим, она убежала в свой дом в переулке Ад.

Королева поставила на газ чайник. Мистер Спигги заслужил чашечку чая, подумала она.

— Извините, пожалуйста. Мы все сейчас сильно нервничаем.

— Да ладно, чего там,— сказал Спигги.— Мне и вправду неплохо бы малость похудеть.

Точно, еще и это, подумал он. У них-то у всех — ни жиринки. А у него вся родня заплыла. Женщин разносило после родов, а мужчины толстели с пива. На Рождество семейство с трудом умещалось в гостиной.

---

[1] Карл Лагерфельд — знаменитый модельер дамской одежды.

Ожидая, пока вскипит чайник, королева что-то мурлыкала себе под нос; уловив мелодию, Спигги, обрезáвший ковер в прихожей, стал ее насвистывать.

— И как это называется? — спросил он, когда они закончили свой импровизированный дуэт.

— «Рожденная свободной»,— ответила она.— Я смотрела картину в 1966 году. На королевском просмотре.

— Билеты небось бесплатные?

— Да,— призналась она,— и никакой очереди в кассу.

— А чуднó, поди, идти в кино в короне.

Королева рассмеялась.

— Ну что вы, всего лишь в диадеме! В кино корону не надевают; к чему мешать сидящим сзади?

Спигги гулко захохотал; тут же раздались стук в стену и вопль Филомины Туссен:

— Прекратите шум, у меня аж в голове гудит!

Филомина проголодалась и замерзла, голова у нее болела. Ее разбирала зависть. Когда-то и ее кухня звенела от смеха, все дети тогда жили еще дома: Фицрой, Трой и малыш Джетро. И здоровы́ же были эти мальчишки лопать! Только успевай подавать. Вот она и бегала то и дело на рынок. Она хорошо помнит, как оттягивала ей руки корзина, как вздымался пар из-под тяжеленного утюга, когда по утрам она гладила им к школе влажные белые рубашки.

Она подтащила стул к высокому буфету, где хранились коробки с крупами и консервы. Взобравшись на стул, она поставила пакет с кукурузными хлопьями на самый верх. И раз уж она туда влезла, принялась перебирать стоявшие там коробки и банки. Этот суп выдвинула вперед, те хлопья сунула поглубже назад и, наконец, довольная новой расстановкой своих припасов, сползла вниз.

— Ко мне в дом полиция сроду носа не совала,— громко объявила она пустой кухне.— А в буфете завсегда баночки припрятаны,— сообщила она прихожей.— И на небесах для меня местечко найдется,— заверила она спальню, снимая пальто и залезая под одеяло, чтобы согреться.

Под вечер вокруг фургона собралась приличная толпа желающих увидеть королеву-мать. Инспектор Холиленд направил туда молодого полицейского, чтобы тот рассеял зевак. Констебль Айзая Лэдлоу охотнее согласился бы охранять разлагающийся труп, чем стоять лицом к лицу с этими сурового вида женщинами и их зловредными чадами.

— Давайте-ка, давайте, сударыни. Проходите, пожалуйста.

Он похлопал руками в больших кожаных перчатках и, со своими редкими усиками, стал похож на ретивого тюленя, который ждет не дождется, когда ему кинут мяч поиграть. Констебль повторил приказ. Ни одна женщина не двинулась с места.

— Вы же заблокировали магистраль.

В толпе никто точно не знал, что такое магистраль. Может, то же, что мостовая? Женщина на сносях, у которой живот распирал куртку, как арбуз, сказала:

— Мы сторожим фургон королевы-матери.

— Ну а теперь можно идти по домам. Раз я прибыл, то я и посторожу.

Беременная презрительно рассмеялась.

— Да я полицейскому кучку дерьма не доверю сторожить.

Такое оскорбление его профессиональной чести возмутило констебля Лэдлоу, но он вовремя вспомнил, чему его учили в Хендоне [1]. Главное — спокойствие, нельзя позволить толпе взять верх. Умей контролировать события.

[1] Хендон — северо-западный пригород Лондона, где находится колледж столичной полиции.

— Это по твоей милости мужик мой на два года загремел в Пентонвилл [1],— продолжала женщина.

Констеблю следовало пропустить это замечание мимо ушей, но он был молод и неопытен.

— Стало быть, ни в каком преступлении он не повинен, так, что ли? — Лэдлоу постарался произнести это с сомнением и насмешкой, но у него не очень-то получилось.

Беременная приняла его вопрос за чистую монету. Помертвев от ужаса, констебль Лэдлоу смотрел, как по ее круглым раскрасневшимся щекам покатились слезы. Неужто его преподаватели вот это все и называли «общением с народом»?

— Говорили, будто он с церковной крыши свинцовые листы поснимал, так ведь врали все, черти полосатые.— Остальные женщины толпились вокруг, похлопывая и поглаживая рыдающую рассказчицу, чтобы утешить ее.— Он же высоты пуще всего боится. Даже на стул залезть, чтобы лампочку перегоревшую сменить, и то не мог — мне приходилось.

Из бунгало вышел Чарльз, намереваясь выгрузить из фургона последние коробки, и вдруг услышал жалостное женское причитанье:

— Лесли! Лесик, ты мой! Не могу я без тебя!

Он увидел небольшую группку женщин, окруживших молодого полицейского. Шлем у него свалился на тротуар и был тут же подобран малышом с серьгой в ухе; карапуз нахлобучил его на свою головенку и был таков.

Констебль Лэдлоу попытался объяснить истерически рыдавшей женщине, что хотя, он слыхал, такое иногда подстраивают в раздевалках, но сам он ни в чем подобном никогда не участвовал.

— Послушай-ка...— начал он и тронул ее за рукав куртки.

В едином порыве вся группка шагнула вперед, преградив Чарльзу путь к кузову фургона. И тут Чарльзу открылось другое зрелище: полицейский ухватил за руку молодую женщину на сносях, а та пытается высвободиться. Чарльз читал в газетах сообщения о жестокостях полиции. Но неужели такое и в самом деле возможно?

Теперь констебль Лэдлоу оказался посреди небольшой толпы пронзительно кричащих женщин. Надо ему поостеречься, а не то, не ровен час, с ног собьют. Изо всех сил он вцепился в рукав беременной — ее, как он понял из воплей окружающих, звали Мэрилин. Даже качаясь из стороны в сторону под натиском женщин, он представлял себе, что напишет в отчете — ибо происходящее, несомненно, уже перешло в разряд «происшествий». А сколько еще бумаг предстоит написать!

Чарльз стоял возле столпившихся женщин. Следует ли ему вмешаться? Он ведь славился своим миротворческим искусством. Он и сам был убежден, что, будь у него в свое время возможность вмешаться, он сумел бы положить конец забастовке шахтеров. Когда-то, в Кембридже, он подумывал вступить в университетский лейбористский клуб, только вот Рэб Батлер [2] отговорил. Чарльз видел, как Беверли Тредголд, захлопнув дверь своего дома, побежала через улицу. В блестящей белой эластичной майке, красной мини-юбке, с голыми посиневшими ногами, она была похожа на соблазнительной формы британский флаг.

Она врезалась в толпу с воплем:

— А ну оставь нашу Мэрилин в покое, свинья поганая!

В этот миг констебль Лэдлоу уже воображал, как будет давать показания в суде, ибо налетевшая вихрем Беверли повалила его на землю. Его прижало лицом к мостовой, провонявшей собаками, кошками и окурками. На спине у него сидела верхом Беверли. Констебль едва мог вздохнуть: Беверли была женщина дородная. Могучим усилием он сбросил ее с себя. И услышал, как голова ее ударилась о мостовую и она вскрикнула от боли.

«А затем, ваша честь,— мысленно слушал он непрекращающийся

[1] Большая мужская тюрьма в северной части Лондона.
[2] Английский политический деятель, член консервативной партии.

репортаж из зала суда,— я снова ощутил на спине тяжесть, это был, как я теперь знаю, бывший принц Уэльский. Он неистово вцепился в мой форменный китель. На просьбу прекратить нападение он ответил примерно следующее: «Во время забастовки шахтеров я вмешиваться не стал, так вот вам за Оргрив [1], получайте». Но тут, ваша честь, прибыл инспектор Холиленд с подкреплением, и несколько человек были арестованы, включая и бывшего принца Уэльского. К восемнадцати ноль-ноль порядок был восстановлен».

Но до этого Уоррен Дикон с младшим братишкой Хуссейном успели утащить из фургона остатки поклажи. Творения Гейнсборо [2], Констебля [3] и несколько полотен разных художников на темы охоты были проданы хозяину местной пивнушки «Юрий Гагарин» по фунту за штуку. Хозяин как раз заново отделывал курительную — «под старину». Картины будут прекрасно смотреться рядом с жаровнями и рогами изобилия, из которых торчат букетики сушеных цветов.

Позже, утешая мать, королева сказала:

— У меня есть очень неплохой Рембрандт; я готова отдать его тебе. Над камином он будет очень хорош; принести, а, мама?

— Не уходи, Лилибет. Не покидай меня; я еще никогда не оставалась одна.

И королева-мать крепко сжала руку своей старшей дочери.

Давно уже наступила ночь. Королева устала, она мечтала забыться сном. Целая вечность ушла на то, чтобы раздеть мать и уложить в постель, а еще оставалось столько дел. Надо позвонить в полицию, успокоить Диану, приготовить что-нибудь поесть дома — для них с Филипом. Ей страшно хотелось повидаться с Анной. Вот уж кто истинная опора.

Сквозь стену доносился бессмысленный, записанный на пленку смех из какой-то телепередачи. А может, соседка побудет с матерью, пока сама она пойдет поспит? Королева тихонько высвободила руку из материнской ладони и, сославшись на то, что надо положить Сьюзан в кухне ее собачьей еды, неслышно выскользнула из домика; подойдя к соседской двери, она нажала кнопку звонка.

Дверь открыла Филомина — в пальто, шляпе, шарфе и перчатках.

— Ах, вы как раз собрались уходить? — сказала королева.

— Нет, я только пришла,— солгала потрясенная Филомина, увидев на пороге королеву Англии и британского Содружества.

Королева объяснила свое почти безвыходное положение, особо подчеркнув преклонный возраст матери.

— Ладно, милая, я твоей беде помогу. Я же видела, как сына твоего забрали в полицию, сраму на всю семью не оберешься.

Королева пристыженно пролепетала слова благодарности и пошла сказать матери, что ее не оставят на ночь одну: рядом, в гостиной у камина, будет сидеть бывшая больничная уборщица миссис Филомина Туссен, трезвенница и набожная прихожанка епископальной церкви. Но соседка поставила четыре условия: пока она находится в доме, здесь не должно быть ни кутежей, ни азартных игр, ни наркотиков, ни богохульства. Королева-мать условия приняла, и старухи были представлены друг другу.

— Мы уже встречались, на Ямайке,— объявила Филомина.— Я еще была в красном платье и махала флажочком.

Не зная, что сказать на это, королева-мать спросила:

— Так, так, в каком же это могло быть году?

Филомина стала рыться в памяти. Стоявшие на трюмо часы

---

[1] Во время крупнейшей забастовки английских шахтеров 1984—1985 гг. забастовщики активно пикетировали Оргривский коксокомбинат, добиваясь его закрытия. Однако консервативному правительству с помощью полиции и штрейкбрехеров удалось этому помешать.

[2] Томас Гейнсборо (1727—1788) — английский живописец. Его портреты и пейзажи отличаются воздушностью и изысканностью письма.

[3] Джон Констебль (1776—1837) — английский живописец. Известен как тонкий колорист, певец английской природы.

севрского фарфора своим тиканьем словно подчеркивали, как бесконечно далеко то время и тот край, куда обе старухи пытались перебросить мостик.

— Тысяча девятьсот двадцать седьмой? — спросила королева-мать, смутно припоминая поездку в Вест-Индию.

— Помнишь меня, стало быть? — Филомина была довольна.— А муж-то твой, как его звали?

— Георг.

— Вот-вот, Георг, он самый. Очченно я жалела, когда его Господь прибрал.

— Да, я тоже,— призналась королева-мать.— Я тогда даже обижалась на Бога.

— А я, когда Господь моего мужа прибрал, я и в церковь ходить не стала,— в свою очередь призналась Филомина.— Мужик-то мой бивал меня и денежки мои пропивал, а я об нем все одно тосковала. А тебя твой Георг не колотил?

Нет, сказала королева-мать, Георг ее никогда не бил; ему самому ребенком порой доставалось, и он ненавидел всякое насилие. Он был милый, мягкий человек, и ему не доставляло большого удовольствия править империей.

— Ясно,— сказала Филомина,— потому Господь его и прибрал: хотел дать ему отдохнуть от мирских забот.

Откинувшись на подушки тонкого полотна, королева-мать прикрыла глаза; Филомина сняла с себя перчатки, шапку и пальто, размотала шарф и уселась в великолепное золоченое кресло перед камином, наслаждаясь бесплатным теплом.

Чарльзу разрешили разок позвонить. Диана красила эмульсионной краской стены в кухне, когда затрещал телефон.

— Миссис Тек? — произнес придушенный голос.— Звонят из полицейского участка на Тюльпанной улице. Ваш муж на проводе.

— Послушай,— услышала она голос Чарльза.— Мне страшно жаль, что все так вышло.

— Чарльз, я просто поверить не могла, когда зашел Уилф Тоби и сказал, что ты подрался на улице. Я как раз красила ванную. Между прочим, цвет морской волны с прозеленью смотрится *изумительно*, и я хочу попробовать подыскать того же оттенка занавеску для душа. Понимаешь, у меня в это время был включен приемник, и я все прозевала. Как тебя арестовывали, как бросали в «черный ворон»; зато я позволила мальчикам лечь попозже, чтобы они могли досмотреть все до конца. Ах да, заходил этот парнишка, Уоррен, принес видео. Я заплатила ему пятьдесят фунтов.

— Да ведь я ему уже дал пятьдесят,— удивился Чарльз.

Но Диана продолжала щебетать как ни в чем не бывало; Чарльз впервые слышал у нее такой оживленный голос:

— Работает замечательно. Перед сном хочу посмотреть «Касабланку».

— Послушай, дорогая,— сказал Чарльз,— это страшно важно: пожалуйста, позвони нашему адвокату. А то меня собираются обвинить в нарушении общественного порядка.

Но тут в трубке прозвучал другой голос:

— Достаточно, Тек, возвращайтесь в камеру.

11. Пупочка

В одной камере с Чарльзом сидел высокий тощий юноша по имени Ли Крисмас. Когда Чарльз впервые вошел в камеру, Ли повернул к нему скорбную физиономию и спросил:

— Ты принц Чарльз?

— Нет,— сказал Чарльз,— я Чарли Тек.

— За что сел? — спросил Ли.

— За нарушение общественного порядка и нападение на полицейского.

— Ну да?! Что-то больно у тебя для этого вид шикарный, а?

Уклоняясь от этих малоприятных расспросов, Чарльз поинтересовался:

— А вы, гм... за что тут?

— Пупочку стянул.

— Пупочку?

Чарльз погрузился в размышления. Может, это слово из тайного уголовного жаргона? Может, мистер Крисмас совершил какое-то гадкое преступление на сексуальной почве? В таком случае — полное безобразие, что его, Чарли, вынуждают сидеть с ним в одной камере. Не спуская глаз с кнопки звонка, Чарльз прижался к двери.

— Там стояла эта машина, так? Месяца, считай, три у нас на улице торчала; колеса да стерео ушли в первую же ночь. А потом и остальное, и мотор тоже. Кузов один остался, так?

Чарльз кивнул, он мысленно хорошо представлял себе эту развалину. Точно такая же стояла и в переулке Ад. В ней играли Уильям и Гарри.

— Короче,— продолжал Ли,— машина — «рено», так? И у меня «реношка». Даже года, считай, одного. И вот, иду я себе мимо, так? А в развалюхе ребятишки играют, представляются, будто они Золушка и едут — куда там она ехала?

— На бал? — предложил свой вариант Чарльз.

— Ну, словом, на танцы, в дискотеку,— уточнил Ли.— Короче, гоню я их оттуда к такой-то матери, лезу к рулю — сиденья, само собой, давно тю-тю — и свинчиваю с ручки переключения передач эту самую пупочку, так? У меня-то, понимаешь, пупочки как раз и нету. Вот она мне и понадобилась, усёк?

Чарльз уловил, куда клонит Ли.

— И тут, как ты думаешь, кто цапает меня через окно за руку? — Ли замолк, ожидая ответа.

— Не имея полного представления об обстоятельствах вашей жизни, мистер Крисмас,— запинаясь, произнес Чарльз,— о вашей семье, друзьях и знакомых, чрезвычайно трудно предположить, кто бы мог...

— *Вонючки переодетые!* — возмущенно завопил Ли.— Два легавых в штатском,— растолковал он, поглядев на озадаченное лицо Чарльза.— И готово, забирают меня за кражу из этой пустой железяки. За пупочку, за дерьмовую пупочку. Ей цена-то — паршивых тридцать семь пенсов.

Чарльз пришел в ужас.

— Но это же кошмар,— заявил он.

— Да куда уж хуже,— отозвался Ли.— Хуже даже, чем когда нашу собаку задавило. Я же в семье — сущее посмешище. Вот выберусь отсюда, пойду на дело по-крупному. Почту возьму или еще чего-нибудь. А то мне в переулке нашем головы теперь не поднять.

— А где вы живете? — спросил Чарльз.

— Да в переулке Ад,— ответил Ли Крисмас.— Сеструха твоя нам соседкой будет. Нам еще письмо прислали, не велят приседать перед вами и все такое.

— Ни в коем случае,— решительно заявил Чарльз.— Мы теперь самые обычные граждане.

— А все ж таки мамаша моя аж к парикмахеру побежала, перманент делать; и вообще, начищает все, намывает, прямо спятила. Обычно-то она — ленивая корова. Вроде твоей мамаши: ни черта по дому не делает.

Раздался звон ключей, дверь в камеру распахнулась, и вошел полицейский с подносом в руках. Он протянул Ли накрытую прозрачной пленкой тарелку с бутербродами и сказал:

— На, Крисмас, поднабей себе пузо.

И, обратившись к Чарльзу, произнес:

— Коварная штука эта клейкая пленка, сэр, позвольте, я вам ее сниму.

За то время, что он пробыл в камере, он шесть раз назвал Чарльза «сэром», а напоследок пожелал ему «приятных снов» и сунул маленький пакетик печенья «Джаффа».

— Стало быть, это правда? — сказал Ли Крисмас.

— Что правда? — спросил Чарльз, жуя кусок хлеба с сыром и маринованным огурцом.

— Для богатеев поганых — закон один, а для вонючих бедняков — другой.

— Извините,— сказал Чарльз и протянул Ли печенье «Джаффа».

В одиннадцать часов в камере вдруг прорвало вторую программу радио, и звук заполонил тесное пространство. Громкость была оглушительная, и Ли с Чарльзом закрыли уши руками. Чарльз несколько раз нажимал на кнопку звонка, но никто не явился, даже почтительный полицейский за своим подносом.

Приложив губы к щели в двери, Ли проревел:

— Уменьшите звук!

Они слышали, как и другие заключенные вопят о пощаде.

— Это пытка! — крикнул Чарльз, перекрывая мощные звуки старинной песенки «Идут с креветками баркасы».

Но худшее было впереди. Кто-то невидимый перевел рычаг громкости, и радио еще сильнее заревело «И мир весь в руце Божией», а сквозь этот рев и пронзительный скрежет помех пробивалось еще что-то вроде телефонного разговора на сербохорватском.

Чарльза всегда занимало, сумел бы он выдержать пытку или нет. Теперь представился случай выяснить. Еще пять минут в этом звуковом аду, и он расколется и будет готов сдать властям хоть собственных сыновей. Он попытался применить на практике постулат «разум выше материи» и стал мысленно перебирать английских королей и королев, начиная с восемьсот второго года: Эгберт, Этельвульф, Этельбальд, Этельберт, Этельред, Альфред Великий, Эдуард Старший, Ательстан, Эдмунд I, Эдред, Эдви, Эдгар, Эдуард II Мученик,— но на саксонцах и датчанах сдался, не сумев вспомнить, один ли правил в тысяча тридцать седьмом году Гарольд Заячья Нога или вместе с Хардиканутом. Добравшись до династии Плантагенетов — до Эдуарда I Длинноногого,— он задремал, продолжая размышлять, какого точно роста был Длинноногий. Но его разбудили «Брильянты навсегда» в исполнении Ширли Басси [1], и он продолжил инвентаризацию: Саксен-Кобург-Готская династия — Эдуард VII, затем быстренько пробежал Виндзорскую династию: Георг V; Эдуард VIII; Георг VI; Елизавета II — дальше шла пустота. Когда-нибудь в будущем, после смерти матери, настал бы его черед — и он оказался бы узником совсем иной тюрьмы.

А тем временем Ли Крисмас, позабывший все унижения, спал, крепко обхватив тощими руками плечи, подтянув колени к впалому животу. Его «реношка» мчалась по шоссе, свеженькая, блестящая, рядом с ним сидела девушка, а рука Ли покоилась на злосчастной пупочке, готовясь переключить передачу.

Королева лежала без сна и с беспокойством думала о сыне. Однажды она случайно посмотрела по второй программе Би-би-си снятый в Бристоле документальный фильм о природе хулиганства (а она думала, что покажут картину о диких зверях). Знаменитый врач подчеркивал связь между недостатком материнского внимания и любви в детстве и склонностью к насилию. Не потому ли Чарльз затеял на улице драку? Не ее ли в том вина? Ей ведь никогда не хотелось отправляться в эти бесконечные поездки по всему свету и оставлять Чарльза дома, но она в то время

[1] Популярная в 1970-е годы английская эстрадная чернокожая певица.

верила своим советникам, а те твердили ей, что без ее поддержки британский экспорт развалится. И что же? Он все равно развалился, с горечью думала она. Так что она могла прекрасным образом оставаться дома с собаками и по часу-два в день проводить с сыном.

И еще одно не давало королеве уснуть: деньги у нее были на исходе. Правда, вот-вот должны вроде бы прийти из Отдела социального обеспечения и принести сколько-нибудь, но пока никто не появлялся. Как же прикажете ей завтра утром добираться в суд? Нет ведь ни машины, ни денег на такси.

Обследовав карманы мужниных брюк и не найдя ни пенса, она пошла по родственникам просить взаймы десять фунтов. Но королева-мать не могла найти своего кошелька. Принцесса Маргарита притворилась, что ее нет дома, хотя королева четко видела ее силуэт за матовым стеклом входной двери; а Диана, очевидно, растратила пособие, выплаченное им на переезд, купив краску и видеомагнитофон.

Королева не могла взять в толк, куда ушли деньги. Как же другим-то хватает? Она включила ночник и, вооружившись бумагой и карандашом, попыталась подсчитать расходы за время житья в переулке Ад. Когда она записала: «М-р Спигги — 50 фунтов», свет погас. Нужно бы опустить монетку в электросчетчик, но опустить было нечего, и королева смирилась с темнотой.

Она услышала голос Крофи: «Ну же, Лилибет, шевелись, надевай шляпу, пальто и перчатки, мы едем кататься на метро».

Однажды они с Маргаритой и Крофи проехали от Пиккадилли-Серкус до Тотнэм-корт-роуд, сделав на Лестер-сквер пересадку. Какое было захватывающее ощущение, когда в вагоне несколько раз гас свет! Она потом говорила родителям, что это была самая увлекательная часть экскурсии, но родители почему-то не разделили ее восторгов. Для них тьма таила в себе опасность, и Крофи впредь строго-настрого запретили выводить юных принцесс в настоящий мир, полный отнюдь не самых прекрасных людей, к тому же неприглядно одетых и говорящих на своем особом языке.

12. Полицейские враки

Королева глядела на сына, стоящего за барьером, который отделял подсудимых от судей и публики, и вспоминала далекие времена, когда тоже видела его за решеткой. Он тогда играл в манеже, в детском крыле Букингемского дворца.

Сидя рядом с королевой, Диана комкала в руке мокрый платочек. Глаза и нос у нее покраснели. Как же это она забыла попросить адвоката съездить к Чарльзу в полицейский участок? Каким образом такая важная вещь могла выскользнуть у нее из памяти? Она, и только она виновата, что интересы Чарльза представляет назначенный судом адвокат Оливер Мередит Лебатт, рыжий, обтерханный, с пожелтевшими от никотина пальцами и вдобавок заика. Королеве он сразу не понравился. Чарльз помахал рукой и улыбнулся жене и матери, сидевшим на балконе, и тут же получил замечание от Тони Ригглсуорта, председателя суда и профсоюзного активиста.

— Здесь вам не карнавал, мистер Тек.

Королева насторожилась. «Тек»? Почему вдруг Чарльз взял девичью фамилию своей прабабки? Слава Богу, Филип не пожелал встать с постели и поехать в суд. Очень возможно, что эта новость сразила бы его наповал.

Диана улыбалась мужу, он выглядел потрясающе. Двухдневная щетина придавала ему бесподобно небрежный вид завзятого уличного драчуна. Она подмигнула мужу, а он ей, получив за это очередное замечание от Тони Ригглсуорта:

— Мистер Тек, вы ведь не комик Роуан Аткинсон, так что будьте любезны не фиглярничать.

По залу пробежал подобострастный смешок, не затронувший,

однако, места для прессы, ибо представители прессы отсутствовали. Улицы вокруг здания суда были закрыты для прохода и проезда, а главное — для журналистов.

В зале вдруг возник шум: из камеры ниже этажом поднялась Беверли Тредголд и стала рядом с Чарльзом. Она была прикована наручниками к охраннице. Чарльз обернулся и пододвинул Беверли стул. Тони Ригглсуорт в ярости бухнул по столу кулаком и заорал:

— Вы не на распродаже мебели, Тек! Извольте встать, миссис Тредголд!

Чарльз помог Беверли подняться. Их руки соприкоснулись, и Диану кольнула ревность. А Беверли и вправду выглядела бесподобно: пышнотелая, особенно женственная в своем вязаном костюме. Диана решила прибавить в весе хотя бы стоун [1].

Ввели еще одну обвиняемую — Вайолет Тоби, бледную и без косметики сильно постаревшую. Тони Тредголд и Уилф Тоби лишь кивнули женам, из страха перед Тони Ригглсуортом не решаясь на более откровенное выражение теплых чувств.

Началось слушание дела. Обвинитель Сьюзан Белл, один вид которой наводил тоску — типичная отличница,— изложила суду факты. Королева, своими глазами наблюдавшая события, столь эффектно описываемые обвинителем, пришла в ужас. Ведь на самом деле все происходило совсем не так. Вызвали констебля Лэдлоу, и он принялся рассказывать небылицы, будто бы он подвергся зверскому нападению со стороны Чарльза, Беверли и Вайолет.

Нет, объяснить, чем было вызвано это нападение, он не может, но не исключает, что тут сказалось пагубное воздействие телевидения. Инспектор Холиленд подтвердил версию Лэдлоу, назвав происшедшее «разгулом насилия под предводительством этого самого Тека, который громко кричал: «Убить свинью!»

— А имелась ли в непосредственной близости свинья,— прервал его Тони Ригглсуорт,— четвероногая свинья?

— Нет, сэр, я полагаю, клич Тека «Убить свинью!» означал, что он подстрекает своих сообщников умертвить констебля Лэдлоу.

— Чушь,— сказала на весь зал королева.

Ригглсуорт немедленно накинулся на нее:

— Сударыня, это вам не какая-нибудь новомодная театральная студия. Здесь участие аудитории не поощряется.

Оливер Мередит Лебатт перестал исследовать отложения серы в собственных ушах и приложил чумазый палец к губам, показывая королеве, что ей лучше помолчать. Хотя ее захлестывали ярость и ненависть, королева, не проронив больше ни слова, лишь бросала сердитые взгляды на членов суда, с которыми сейчас совещался Тони Ригглсуорт; по одну сторону от председателя сидела кубообразная женщина, вся в твиде, по другую — нервного вида мужчина в приличном, но мешковато сидевшем костюме.

Слушание продолжалось; вышло солнце и осветило подсудимых со спины, отчего вся троица стала похожа на ангелов, спустившихся с небес.

Оливер Мередит Лебатт неуклюже поднялся, уронил папки с бумагами и писклявым голосом, пришепетывая, обратился к своим подопечным, причем перепутал их имена, показания и вообще разом восстановил против себя весь суд. Присутствовавшие изумились, когда после небольшого перерыва Тони Ригглсуорт объявил, что дела всех троих обвиняемых передаются в Высокий суд, однако при соблюдении определенных условий их могут и выпустить под залог.

Оливер Мередит Лебатт торжествующе вскинул сжатую в кулак руку — будто только что выиграл нешуточное дело в Олд Бейли [2]. Он оглянулся, ожидая услышать поздравления, но никто к нему не бросился, и он, собрав бумаги, нетвердой походкой засеменил из зала суда, торо-

[1] Мера веса, равная 14 фунтам, или примерно 6 кг.
[2] Общепринятое название Центрального уголовного суда в Лондоне.

пясь продолжить заигрывания со Сьюзан Белл, в которую уже почти влюбился.

Чарльз настоял, чтобы ему разрешили остаться в зале и присутствовать на слушании следующего дела. За кражу черного пластмассового набалдашника Ли Крисмас был приговорен к двум месяцам тюремного заключения. Перед тем как спуститься вниз отбывать срок, Ли крикнул:

— Передай нашей мамке, Чарли, пусть не волнуется.

Тони Ригглсуорт не замедлил откликнуться на это, объявив, что здесь суд, а не экспедиторская с посыльными.

Когда они вышли из здания суда и двинулись по необычно тихой улице, Тони Тредголд предложил зайти в кафе в магазине «Бритиш хоум сторз» и отметить это дело чашкой чая, а уж потом отправиться на автобусе к себе в переулок Ад. Глядя на все три парочки, входившие в кафе перед нею, королева остро ощутила свое одиночество. Уилф положил ладонь на плечо Вайолет, Тони и Беверли держались за руки, а Диана ласково склонила голову Чарльзу на плечо. Королеве же оставалось искать утешения лишь у собственной лакированной сумки, и она покрепче прижала ее к себе.

Она полагала, что появление в людном кафе сразу трех членов бывшей королевской семьи вызовет переполох, однако их, в сущности, даже не заметили, разве что несколько человек с любопытством глянули на растрепанного, взъерошенного Чарльза да на Дианины роскошные солнечные очки — в апреле вроде бы еще не по сезону. За пластмассовыми столиками сидело много женщин того же возраста, что и королева; головы у большинства были покрыты платками и шарфами, а на пальто красовались брошки.

— Боюсь, у меня на чай нет денег,— сказала королева.

— Пустяки,— отозвался Тони и, предложив остальным подыскать свободный столик, пошел в очередь к прилавку самообслуживания. Вернулся он с семью чашками чая и семью пончиками.

— Тоник, ты просто прелесть, ей-Богу,— сказала Беверли.

Королева была с ней совершенно согласна. Она проголодалась как волк и жадно вонзила зубы в пончик; вытекший джем стал капать ей на шерстяное пальто.

Вайолет протянула королеве бумажную салфетку:

— На-ка, Лиз.

И королева, ничуть не обидевшись на такую сверхфамильярность, поблагодарила Вайолет, взяла салфетку и вытерла пальто.

13. Вмятины

Вернувшись в переулок Ад, Чарльз направился к миссис Крисмас, чтобы передать ей весточку от сына. В доме стоял жуткий гвалт. Мистер и миссис Крисмас шумно ссорились с шестерыми сыновьями-подростками из-за невесть куда подевавшихся с заветного места денег за квартиру. Одного сына держала миссис Крисмас, ухватив его особым приемом дзюдо за шею. А мистер Крисмас грозил остальным толкушкой для картошки, размахивая ею, словно мечом. Юнец, открывший Чарльзу дверь, тут же снова окунулся в перепалку, будто и не отвлекался ни на миг, и громогласно заявил о своей невиновности:

— Ну не брал я!

— А я знаю одно: деньги на квартиру я своими руками сунула под часы, а теперь их нет как нет,— сказала миссис Крисмас.

Мистер Крисмас ткнул толкушкой в сторону сыновей и заключил:

— Один из вас, ублюдки, их заграбастал.

Сыновья притихли. У двоих уже виднелась на лбу четкая сеточка вмятин. Даже у Чарльза гулко застучало сердце, хотя он этих денег точно не брал.

Рыская по гостиной, мистер Крисмас продолжал говорить, будто читал лекцию на редкость тупым студентам:

— Ладно, я знаю, что и сам я не ангел. Чего уж там скрывать — да, я воровством промышляю. И до этих пор вы у меня были обуты, одеты и накормлены, так?

— И чего им только не хватало,— преданно вставила миссис Крисмас.— Все, отец, у них было, чего ихняя душа пожелает.

Она выпустила шею сына, и тот повалился на пол; его тут же вывернуло.

А мистер Крисмас продолжал свою речь:

— Ладно, пусть я нарушал законы страны, но зато я сроду не нарушал другого закона, а он поважнее будет: где живешь, там не ср... Ни под каким видом не переть у соседей, а тем паче — у родной своей семьи.— До глубины души растроганный собственным красноречием, мистер Крисмас обвел сыновей затуманившимся взором.— Да, знаю, нам пришлось нелегко после того, как я зашиб себе хребет.

Миссис Крисмас со всем пылом бросилась на защиту супруга:

— А как прикажете взламывать двери, ежели спина в корсете?

Чарльз преисполнился жалости к мистеру Крисмасу, собрату-страдальцу с больной спиной, которая мешает зарабатывать на жизнь. Он откашлялся. Все семейство обернулось к нему, приготовившись слушать.

— Скажите, мистер Крисмас,— запинаясь, проговорил Чарльз,— в чем вы видите причину наблюдаемого падения нравственности в преступной среде?

Мистер Крисмас вопроса не понял и потому неопределенно махнул толкушкой в сторону окна и лежащей за ним улицы.

— Общество! — взволнованно воскликнул Чарльз.— Да, я с вами полностью согласен. Падение качества образования и гм... неравенство между богатыми и бедными...

Мимо окна, загораживая дневной свет, медленно проехал большой фургон для перевозки мебели и остановился у соседнего дома. Выглянув в окно, Чарльз заметил, что за рулем сидит его сестра. Миссис Крисмас бросилась к зеркалу на каминной полке и стала взбивать свои мелкие подсиненные кудерьки. Зашвырнув в угол фартук, она скинула тапочки и влезла в белые туфли без пяток на клинообразных каблуках. Обернувшись к шестерым сыновьям и мужу, спросила:

— Стало быть, *что* надо сказать, когда будете с ней знакомиться?

Семь зычных голосов дружно отчеканили:

— Привет вам, ваше королевское высоцство. Добро пожаловать в переулок Ад.

— Ага,— едва слышно одобрила миссис Крисмас.— Разумники вы мои.

— Ох, миссис Крисмас,— начал Чарльз,— у меня для вас, боюсь, плохие новости. Ли посадили на два месяца.

Миссис Крисмас вздохнула и, обращаясь к мужу, сказала:

— Значит, придется тебе и его отбивную съесть. Справишься с тремя-то?

Мистер Крисмас заверил супругу, что не даст сыновней отбивной пропасть. После чего они гурьбой высыпали на улицу к воротам, на которых пузырилась старая краска, и принялись во все глаза смотреть, как Чарльз приветствует сестру, прибывшую в переулок Ад.

— Здoро́во! — сказала Анна.— Ну и дыра, черт побери. Видок у тебя тот еще. А это что за пугала у ворот?

— Твои соседи.

— Боже! Вылитые Манстеры [1].

— Никакие они не монстры, Анна, они...

— Манстеры — ну, по телевизору, не знаешь, что ли?..

— Я же не смотрю...

— Как мама?

[1] Монстры по фамилии Манстеры — герои американского многосерийного мультфильма в стиле «черного юмора», созданного в 1964—1965 гг. известным художником-мультипликатором Чарльзом Аддамсом (1912—1988).

Анна опустила аппарель, и на свет выбрались ее дети, Питер и Зара, оба бледные и нездоровые на вид.

— Предупреждала я вас, черт возьми, что ездить в кузове фургона — мало радости,— сказала Анна,— но вы не послушались.

Бросив Питеру ключи от дома номер семь по переулку Ад, она велела ему открыть входную дверь. Заре было приказано пойти погулять с собакой, а Чарльз получил указание разгружать фургон. Сама Анна широким шагом прошла к кабине, разбудила спавшего на пассажирском месте водителя и отправилась знакомиться с семейством Крисмас.

К ее удивлению, Манстерша и все Манстеры мужского пола произнесли характерными манстерскими голосами:

— Привет вам, ваше королевское высоцство, добро пожаловать в переулок Ад.

Пожимая восемь рук, она сказала:

— Меня зовут Анна. Так и обращайтесь ко мне, пожалуйста!

Ошалевшая от восторга миссис Крисмас присела в реверансе, согнув жирные колени и склонив голову, но когда она, продемонстрировав полное самоуничижение, выпрямилась, то в смятении увидела, что Анна присела в реверансе перед *нею,* Уинни Крисмас. Она совершенно опешила. В голове у нее помутилось. Что это значит? Или Анна обезьянничает в насмешку над Уинни? Да нет. Вид у нее страх какой серьезный. Серьезнее некуда. Будто Уинни ничуть ее не хуже. Вот те на.

Услыхав, что приехала Анна, королева поспешила к ней. С необычным для нее пылом она бросилась дочери в объятия.

— Я очень, очень рада тебя видеть! — воскликнула королева.

Чарльз стоял в сторонке. Он чувствовал себя лишним. Дурацкое положение. Что-то такое было в Анне, отчего он казался себе в ее присутствии... он поискал слово... глупым? Нет. Бездарным? Да. Это, пожалуй, ближе. В отличие от него сестра презирала всякое теоретизирование, предпочитая решать повседневные проблемы сугубо реалистически, по-деловому. В прошлом она откровенно высмеивала его попытки осмыслить мир. Он ощутил себя одиноким. Как бы ему найти в переулке Ад родственную душу?

Домик Анны ничем не отличался от прочих домов в переулке Ад; но поскольку он стоял на углу, сад при нем был значительно больше обычного и весь зарос ежевикой. Дом был грязный, сырой, холодный и тесный, но Анна объявила, что он ее вполне устраивает.

— Крыша над головой есть,— сказала она,— а это все же лучше, чем если тебя поставят к стенке и расстреляют.

Молодых Крисмасов — Крейга, Уэйна, Даррена, Барри, Марио и Энгельберта — отправили таскать вещи из фургона. Миссис Крисмас послала мистера Крисмаса в магазин купить пачку порошка «флэш» и пластмассовое ведро для мытья полов. А пока он ходил выполнять поручение, миссис Крисмас с Анной вымели из комнат мышиный помет.

Питера с Зарой отвели к Крисмасам смотреть их громадный телевизор. Войдя в гостиную, дети, вопреки правилам хорошего тона, сморщили носы. В картонной коробке лежал на акриловой кофте огромный черный кот Крисмасов, Сонни. Он был стар и страдал недержанием, но что тут поделаешь, объясняла детям миссис Крисмас.

— Не могу я его усыпить; ну, воняет чуток — подумаешь великая беда.— Она подошла к Сонни и потрепала его по шелудивой голове.— Дома все же лучше помирать, верно?

Питер с Зарой слегка повеселели. Крисмасы, конечно, жутко вульгарны, зато животных, по крайней мере, любят, значит, их новые соседи не так уж плохи. Еще утром дети видели, как плакала мать, прощаясь со своими лошадьми. Они попытались было ее утешить, но она, оттолкнув их, утерла глаза и сказала:

— Никогда не надо чересчур привязываться к животным.

Зажав нос, Зара присела возле коробки, где лежал Сонни. Она

принялась поправлять ему пропитанную мочой кофту, а Питер тем временем на бешеной скорости скакал по тридцати шести каналам кабельного телевидения. Сонни лишь моргал мутнеющими глазами, глядя на мгновенно меняющиеся на экране картинки. Он чуял мышей, но не было сил выбраться из коробки и исполнить свой долг.

А в полости внутри стены, разделявшей два дома, вовсю резвились мыши, ожидая, пока Анне доставят продукты и сложат в кладовку.

Явился Спигги, полагая, что и Анне понадобится подрезать ковры. Но здесь его искусство оказалось ни к чему. В отличие от родни Анна отнеслась к инструкциям Джека Баркера внимательно и вполне серьезно. Ковры и мебель у нее были скромны и по стилю, и по размерам. Миссис Крисмас, ожидавшая увидеть роскошь, какая и во сне не приснится, была горько разочарована. А где же золотая и серебряная посуда? Где бархатные портьеры? Обитые шелком стулья? Где высокие кровати, парчовые балдахины? И где, скажите, все эти немыслимые вечерние платья и диадемы? Гардероб у Анны состоял сплошь из брюк, джинсов да пиджаков цвета прудового ила. Миссис Крисмас чувствовала себя обманутой.

— Пойми,— втолковывала она позже мистеру Крисмасу, начищая к обеду десять фунтов картошки,— на кой ляд вообще тогда королевское семейство, ежели они будут совсем как простые люди?

— Кто его знает,— отвечал мистер Крисмас, раскладывая на давно не мытой сковороде девятнадцать крошечных отбивных из молодой бараньей грудинки.— Да ведь теперь — всё, теперь никакая они не королевская семья, вот же как оно обернулось.

За стеной раздался стук по водопроводной трубе: это бывшая принцесса подключала свою стиральную машину, пользуясь инструментами Тони Тредголда и руководством «Сделай сам» (продукция журнала «Ридерс дайджест»).

14. Стая

Гаррис мчался так быстро, что сердце и легкие, казалось, вот-вот лопнут. Впереди неслась Стая: вожак Король, восточноевропейская овчарка; Рейвер, заместитель вожака; Кайли, сука этой Стаи; а также Лавджой, Мик и Даффи, обыкновенные псы низкого сословия вроде Гарриса. Король остановился и оросил стену местного клуба; остальные, усевшись поодаль, ждали, пока прибежит Гаррис. Потом они наскоро и не всерьез сцепились друг с другом и — понеслись прочь, к детской площадке. Гаррис бежал рядом с Даффи, у которого мать была ирландский терьер, а отец — неизвестно кто. Даффи был драчун каких мало, Гаррис видел его в деле.

Король повел Стаю через улицу, и фургон «Обеды на дом» со скрежетом затормозил перед ними. Гаррис побежал вместе со всеми; вообще-то его учили сидеть на тротуаре и ждать безопасного момента, но он понимал, что если сейчас усядется ждать, то утратит всякое уважение Стаи. Крутые псы не смотрят ни направо, ни налево. Уже на тротуаре, в безопасности, он, оскалившись, обернулся к водителю фургона, побелевшей как полотно пожилой женщине. Но тут гавкнул Рейвер, и они помчались дальше, к детской площадке, где все было переломано, а бетонное покрытие усеивали конфетные обертки и битое стекло.

Придурковатый водолаз Лавджой и Мик, помесь колли с борзой, принялись обнюхивать Кайли, и она бросилась к Королю, ища защиты. Мик цапнул Лавджоя за хвост, тот в ответ щелкнул зубами, и вскоре оба пса покатились по траве злобно рычащим клубком. Гаррис надеялся, что ему не придется брать ничью сторону. У него не было опыта уличных боев. Ведь его большей частью держали на поводке. Глядя, как Король и Рейвер тоже вступают в бой, он понял, что до сих пор совсем не знал настоящей жизни. Но тут вдруг, по совершенно необъяснимой для Гарриса причине, битва прекратилась, и все собаки сели зализывать раны.

Гаррис лег возле Кайли. Красивая она. Помесь с колли, шубка

медового цвета. Конечно, хороший уход ей бы очень не помешал: шерсть у нее свалялась от грязи. Но ее близость возбуждала Гарриса. До сих пор ему никогда не разрешали вступать в связь по его собственному выбору. Все его предыдущие связи организовывала королева. Пора уж ему познать настоящую любовь, подумал он.

Он потихоньку подбирался поближе к Кайли, но тут Король вдруг вскочил и, навострив уши, уставился в дальний конец площадки, где показался незнакомый пес. Гаррис сразу узнал незваного пришельца. Это была Сьюзан, его единокровная сестра; она слегка опередила Филомину Туссен и королеву-мать, которые брели рука об руку, наслаждаясь весенним солнышком. Гаррис всегда недолюбливал Сьюзан. Она была снобкой, а кроме того, он завидовал ее затейливому гардеробу. Да вот, пожалуйста, взгляните: выступает в своей пижонской клетчатой попонке. На что она похожа? Гаррис почуял возможность укрепить свое положение в Стае; выскочив из ее рядов, он с яростным лаем ринулся на Сьюзан. Поджав хвост, Сьюзан засеменила назад, к королеве-матери, но где уж ей было удрать от Гарриса: он легко догнал ее и цапнул за нос. Королева-мать замахнулась на Гарриса тростью, которую держала в руке, и крикнула:

— Гаррис, ах ты негодная собачонка!

Гаррис отступил; Филомина бросила ему вдогонку камень, стукнувший его за левым ухом, но Гаррис и внимания не обратил на боль. Зато Стая выразила ему свое одобрение, а это дорогого стоит. Гаррис был повышен в ранге, и когда они понеслись с детской площадки к лавочке, торговавшей жареной рыбой с картошкой — в мусорных баках там иногда попадались восхитительные рыбные объедки,— Гаррису было позволено бежать сразу за Рейвером.

Поздно вечером Гаррис вернулся домой — грязный с головы до ног, провонявший рыбой, с засохшей кровавой коркой за ухом.

— Да ты просто паршивый хулиган, Гаррис,— сказала королева.

Иди ты знаешь куда со своей ерундой, подумал Гаррис. Я теперь, детка, персона номер три в Стае. Он развязной походкой прошествовал в кухню, рассчитывая увидеть там полную миску еды, но миска была пуста. Королева подхватила его и понесла наверх, в ванную. Заперев дверь, она открыла оба крана, вылила в воду остатки шампуня «Крэбтри энд Ивлин», подождала, пока ванна наполнится, и плюхнула протестующего Гарриса в пышную пену.

За стеной, в соседской ванной, Беверли Тредголд недоумевающе спросила мужа:

— Тони, что она там делает с бедной собакой?

— Да приканчивает ее, надеюсь.

В садике за домом Тредголдов Гаррис вскоре после переезда устроил себе уборную и активно ею пользовался.

— Ну и ладно.— Беверли поднялась из ванны, голая и прекрасная.— А теперь пора и тебе помокнуть.

15. Зачем сегодня вечером грустить

На следующий вечер, перебравшись через сломанный забор, королева позвонила в дверь к Тредголдам. В доме гулко прозвенели первые такты песенки «Зачем сегодня вечером грустить?». Дверь открыла Беверли; на ней была вишневая пижама, запястья и щиколотки схвачены белыми манжетами. Беверли стояла босиком, и королева заметила, что ногти у нее на ногах какого-то странного болезненно-желтого цвета. Королева протянула пятифунтовую купюру:

— Возвращаю вам деньги, которые ваш муж любезно одолжил мне на автобус и на газ.

— Заходите,— сказала Беверли и провела королеву из прихожей в тесную кухоньку.

Королева пришла к ним впервые. Отовсюду на нее смотрел

Элвис Пресли — с картин, висящих на стене, с тарелок, чашек и блюдец, расставленных в буфете. С посудных полотенец, сохших над головой. С фартука, висевшего за дверью. Он же смотрел с кухонных занавесок. На коврике у королевы под ногами он был изображен в своей знаменитой позе с дерзко выпяченным вперед тазом.

Завидев на пороге кухни королеву, Тони Тредголд загасил сигарету, ткнув ею Элвиса в левый глаз, и поднялся. Королева протянула Тони пятифунтовую купюру:

— Я вам несказанно благодарна, мистер Тредголд. Моя мать в конце концов нашла свой кошелек — в духовке.

Тони смахнул с табуретки стопку боксерских трусов с портретом Элвиса и предложил королеве присесть. Беверли набрала воды в чайник с Элвисом на боку, и королева заметила:

— Я вижу, вы большие поклонники Элвиса Пресли.

Тредголды подтвердили: да, большие поклонники. Когда чай был заварен и выпит, они прошли в гостиную, и там королеве показали самые ценные вещи из домашней преслианы. Но королеву привлекла висящая над камином яркая, писанная маслом картина с изображением двух маленьких детей. Кто эти детки, поинтересовалась королева. После некоторого молчания Тони сказал:

— Это Вернон и Лайза, ребятишки наши. Мы подумали, стоит заказать их портрет. Семейная ценность будет, на много лет вперед.

Королева удивилась; она полагала, что Тредголды бездетны. Так она и сказала.

— Да нет,— сказала Беверли,— детишки-то у нас есть, только их от нас забрали.

— Кто же? — спросила королева.

— Бюро социальных услуг,— ответил Тони.— Уже полтора года как.

Прижавшись друг к другу, они с Беверли глядели на прелестные нарисованные лица своих детей. Расспрашивать их королеве не хотелось, а сами они ничего больше не сказали; поблагодарив за чай, королева распрощалась. Тони вышел проводить ее и подождал, пока она благополучно дошла до своей входной двери. Вынимая ключ, королева сказала ему через забор:

— Я не сомневаюсь, что вы с миссис Тредголд были замечательными родителями.

— Спасибо,— сказал Тони и пошел утешать жену.

Королева поднялась наверх, приотворила дверь спальни и заглянула внутрь. Муж лежал на боку. Открыв глаза, он посмотрел на нее с выражением такой муки, что она подошла к постели и взяла его грязную руку в свою.

— Что с тобой, Филип?

— Я потерял все,— ответил он.— Какой смысл жить?

— Мой дорогой, чего тебе особенно не хватает?

Королева погладила мужа по небритой щеке. Каким он сегодня выглядит старым, подумала она.

— Мне всего, черт побери, не хватает: тепла, уюта, комфорта, красоты, машин, экипажей, слуг, еды, пространства. В этой жуткой коробчонке вместо дома мне нечем дышать. Мне не хватает и моего кабинета, и королевского поезда, и самолета, и яхты «Британия». Лилибет, мне не нравятся люди, живущие в переулке Ад. Они уродливы. Они не умеют толком разговаривать. От них дурно пахнет. Я их боюсь. Не желаю с ними общаться. Не встану с постели до самой смерти.

Он рассуждает как ребенок, подумала королева. А вслух сказала:

— Я собираюсь сварить суп из банки; хочешь тарелочку?

— Да не хочу я есть! — взвыл Филип и повернулся к жене спиной.

Королева пошла вниз готовить ужин. Она стояла, помешивая баночный суп из дичи, и слушала, как за тонкой стеной душераздирающе рыдает Беверли Тредголд. Королева закусила губу, но одна-единствен-

ная слеза сострадания все же скатилась у нее по щеке и капнула в кастрюлю. Королева поскорее размешала в супе это свидетельство ее неполного владения собою. Зато подсаливать не придется, подумала она. И никто ничего не видел. В дверь кухни скребся Гаррис, проголодавшийся после семимильного кросса вместе со Стаей. Покупать для него собачью еду королеве было не по карману, и она плеснула ему в миску немного супу и покрошила туда же кусочек черствого хлеба, чтобы было погуще.

Гаррис наблюдал за ее действиями с отвращением. Что здесь, собственно, происходит? Его светская жизнь изменилась к лучшему, зато что сталось с едой? Это не еда, а насмешка. Просто курам на смех.

— Завтра куплю тебе косточек, Гаррис, обещаю,— сказала королева.— А теперь ешь суп с хлебом, и я тоже поем.

Гаррис зыркнул на нее с такой невиданной прежде злобой, что королева опешила. Он глухо заворчал, глаза у него сузились, и, оскалив клыки, он двинулся к тонким королевским лодыжкам. Она отпихнула его ногой прежде, чем пес успел ее укусить. Он ретировался за кухонную дверь.

— Ты ведешь себя просто несносно, Гаррис. Впредь я запрещаю тебе водиться с этими ужасными дворнягами. Они на тебя дурно влияют. А ведь раньше ты был такой славный песик!

Гаррис презрительно скривил губы, словно строптивый подросток. Сроду он не был славным песиком. Лакеи его ненавидели, а он обожал мучить их, запутывая поводок, писая в коридорах и опрокидывая миску с водой. Но это так, мелкие пакости по сравнению с его подлой манерой тяпать их исподтишка за ничем не защищенные лодыжки. Гаррис пользовался своим положением королевского любимца. Ему было позволено все. До сегодняшнего вечера. Он решил, что благоразумнее будет извиниться перед королевой и посидеть несколько дней дома, изображая из себя славного песика. Он вышел из-за двери и принялся благовоспитанно лакать суп.

16. Появляется Лесли

На рассвете следующего дня Мэрилин, неофициальная жена сидящего в тюрьме Лесли, родила первенца. Повитухой была Вайолет Тоби. За ней побежали, как только у Мэрилин отошли воды. Мэрилин отнюдь не выражала желания непременно рожать дома. Она очень надеялась побыть в роддоме хотя бы три дня, но «скорая помощь», следуя путаным указаниям компьютера, заблудилась в лабиринте района Цветов. Когда Вайолет поняла, что младенец вот-вот родится, она выглянула из окна гостиной Мэрилин, чтобы посмотреть, кто в переулке Ад еще не спит. Сквозь щель в бархатных шторах королевы пробивался свет. Тогда Вайолет, подбодряя кричащую от боли Мэрилин, сказала, что сходит за подмогой, и, выскочив из дома, постучалась к королеве.

Приоткрыв шторы, королева увидела у себя на пороге Вайолет Тоби в вишневом халате из «рогожки» и в парусиновых туфлях. Королева в это время решала головоломку: составляла из кусочков картину, и в руке у нее было зажато облачко над Балморалом. Она было пошла открывать дверь, но вдруг поняла, откуда этот кусочек, и прежде вставила его на место.

— Мне нужна подмога,— проговорила запыхавшаяся после пробежки Вайолет.— У Мэрилин дитя на подходе, а во всем доме никого, только полоумный парнишка.

Королева стала возражать, что у нее нет опыта в родовспоможении, что от нее не будет никакой пользы, она лишь помешает. Но Вайолет стояла на своем, и королева скрепя сердце последовала за ней. В гостиной полоумный подросток, один из Лесовых отпрысков от других его связей, стоял над Мэрилин, держа в руках мокрое посудное полотенце — серую липкую тряпицу, которую он, даже не сполоснув, вынул из мойки.

— Я же сказала *личнóе полотенце,* идиотина,— рявкнула Вайолет

и отправила его наверх в ванную, крикнув вслед: — И отыщи там чистые простыни!

— Нету тут чистых простыней,— крикнул он в ответ.

Содрогаясь всем телом, Мэрилин лежала на засаленном диване, рядом валялось грязное белье. Вайолет сгребла вонючее тряпье в сторону, уложила Мэрилин на спину и сняла с нее трусы. Королева видела немало ковбойских фильмов и знала, что понадобится горячая вода; она отправилась на поиски чайника и чистого таза. Кухня оказалась на редкость запущенной. Было очевидно, что тот, кто взялся вести дом, давным-давно махнул на нее рукой.

Королева не могла заставить себя прикоснуться к чему бы то ни было в этой кухне: слой жира и грязи покрывал все вокруг. Подошвы туфель липли к замызганному кафельному полу. Чайника не было, на плите, покрытой коростой жира, стояла лишь закопченная кастрюля.

Она уже повернулась, чтобы уйти, но тут заметила яркое пятно. Высоко наверху, на полке, куда запустение еще не добралось, лежал набор из трех детских распашонок — желтой, бирюзовой и зеленой. Встав на цыпочки, королева сдернула вниз целлофановый пакетик. От вида распашонок у нее почему-то сдавило горло.

— Я иду домой,— сказала она.

— Не уходи сейчас-то, он же с минуты на минуту выйдет,— стала умолять ее Вайолет.

При каждой схватке Мэрилин пронзительно вскрикивала:

— Мне нужен Лесли, мне нужен мой Лес.

— Я вернусь,— пообещала королева.

Она побежала домой и собрала полотняные простыни, полотенца, наволочки, серебряный чайник, чашки с блюдцами, чай, пакет молока, большой фарфоровый таз пятнадцатого века и детские вещички, которые когда-то принадлежали ее прабабке, королеве Виктории. Она захватила их с собой из Букингемского дворца, зная, что Диане страстно хочется дочку.

Она металась по спальне, хлопая створками шкафа в поисках картонок для детских вещей; в постели заворочался Филип. До чего же у него запущенный вид, подумала королева, начиная понимать, как легко впасть в такое состояние и как, наверное, трудно из него выбираться.

Они с Вайолет помыли Мэрилин, надели на нее одну из ночных сорочек королевы, застелили диван белым полотном и стали готовиться к появлению ребенка. Фарфоровый таз был наполнен кипятком, детское бельишко разложено возле камина, чтобы согрелось, а придурковатому парню велено приготовить чай — используя королевские чашки с блюдцами старинного доултонского фаянса.

— Разобьешь хоть одну чашку, я тебе, дубина, враз шею сверну,— пригрозила Вайолет.

Королева принялась устилать плоскую картонную коробку принесенными из дома полотенцами и наволочками.

— Мы будто снова в куклы играем,— сказала она Вайолет.— И мне это очень нравится.

— Когда Мэрилин заберут в больницу, надо будет в этой вонючей дыре прибраться. Хоть бы она слово сказала, корова несчастная. Неужто мы бы ей не помогли?! И постирушку бы устроили, и ребеночку кой-чего собрали бы; и какой-никакой порядок бы тут навели.

— Наверное, она была слишком подавлена и не справлялась с домашней работой, как вы думаете? — спросила королева.— Я знаю один подобный случай.

— А насчет этой чертовой «скорой» я нашему члену парламента обязательно напишу,— сказала Вайолет, проверяя, не показалась ли головка ребенка.— Вот выясню, как его зовут, и напишу. Безобразие какое. Я для таких дел уже старовата.

Тем не менее она действовала уверенно и сноровисто; королева

изумленно наблюдала, с какой готовностью Мэрилин выполняет команды Вайолет, то приказывавшей ей тужиться, то отдохнуть чуток.

— Вы учились сестринскому делу, да, Вайолет? — спросила королева, прокаливая над газом ножницы.

— Нет, у нас в семье никто ничему не учился. Я даже сдала на стипендию, да только не до школы мне было.— Самая мысль о полном среднем образовании рассмешила Вайолет.— На форму и то денег не могли наскрести, да и вообще, пора было идти на заработки.

— Как это несправедливо,— сказала королева.

— Ох, Вайолет,— закричала вдруг Мэрилин,— ой, мамочки, больно!

Вайолет промакнула лицо Мэрилин белоснежным личным полотенцем с монограммой, заглянула ей между бедер и сказала:

— Головку уже видать, скоро выйдет, скоро ты малыша своего возьмешь на ручки.

Лесли-Керри-Вайолет-Элизабет Монк родилась в два часа десять минут ночи, и весила она пять фунтов и шесть унций.

— Чуток побольше, чем пакет картошки,— заметила Вайолет, готовясь перерезать пуповину, связывавшую мать и дитя.

Королева зачарованно смотрела на ребенка — девочка лежала у Мэрилин посреди живота, словно розовый камушек на широком белом берегу. Вайолет попросила королеву запеленать малышку и вытереть ей личико. Когда это было сделано, веки у крохи поднялись, и на королеву глянули ярко-синие глазки, как сапфиры на той брошке, что подарили ей родители по случаю появления на свет Чарльза.

Королева протянула Лесли что-то лепетавшей Мэрилин — та была рада-радешенька, что боль отпустила и что ребенок «в порядке, не уродка какая или еще чего-нибудь». Придурковатого парня, заварившего без всяких просьб еще чаю, щедро похвалили. Лесли уложили в картонную люльку, и женщины сели пить густо-оранжевую жидкость.

Придурковатый братец Лесли открыл дверь, и в комнату вошли трое маленьких ребятишек в замурзанных майках и штанишках.

— Хотят на ребенка поглядеть,— сказал он.— Ты их своим криком разбудила.

— Это девочка,— сообщила пасынкам их незаконная мачеха.— Я ее назвала Лесли, в честь вашего папки.

Королева вымыла им руки и мордашки. Потом им разрешили по очереди подержать ребенка. Затем она отвела их наверх и уложила всех вместе на двуспальную кровать под драные одеяла.

На площадке она вдруг увидела собственное лицо: вырванная из газеты страница была приклеена скотчем прямо к стене. Она была сфотографирована во всем блеске — на открытии сессии парламента. Королева быстро осмотрела спальни и ванную. Тяжкий дух нищеты и безысходности ударил ей в нос, в легкие, въелся в одежду; казалось, что все тело облеплено мерзкой пленкой.

Надо полагать, к этому запаху в конце концов привыкают, подумала королева, спускаясь вниз, чтобы открыть дверь; на пороге стоял рассыпающийся в извинениях врач «скорой помощи» — они наконец-то разыскали переулок Ад.

Мэрилин с Лесли, усаженных в переносное кресло, втащили в карету «скорой помощи». На коленях у Мэрилин, в полиэтиленовой сумке из дешевого универмага «Вулвортс», лежало детское приданое времен королевы Виктории.

— Только посмей уйти из дому,— сказала Вайолет придурковатому парнишке, который именно это и собрался сделать.— Не вздумай улизнуть на какую-нибудь тусовку с «травкой» и оставить мальцов без пригляду. Мы завтра с утречка забежим — чтоб ты был дома.

Он без особой радости кивнул и направился к своей переворошенной постели.

Вайолет завернула послед в газету; так ловкий подручный мясника завернул бы для покупателя большой кус говяжьей печенки. Потом они с королевой, серьезные и важные, пошли за дом, развели там костер и положили сверток в огонь. Они стояли, тихо переговариваясь, пока пламя не поглотило послед.

Такое чувство близости, как сейчас к Вайолет, королева в своей жизни мало к кому испытывала. Что-то было особенное в отблесках костра — обеих женщин так и тянуло поделиться сокровенным. Вайолет, конечно, вульгарна, одевается отвратительно, но в ней чувствуется внутренняя сила, которая вызывала у королевы восхищение, даже зависть. Они заговорили о тех страданиях, которые причиняли им дети. Королева призналась, что со дня переезда в переулок Ад она не получала известий от сыновей, Эндрю и Эдварда, которые находились за границей.

— Я страшно беспокоюсь,— сказала она.

— Только об себе думают, черти! — презрительно фыркнула Вайолет.— Прибегут мигом небось, когда чего-нибудь понадобится.

— Вот исполнится им по восемнадцать, думала я, и тогда... Ну не то чтобы с плеч долой, но хоть меньше сердце будет болеть,— сказала королева.

— Как же, держи карман шире,— отозвалась Вайолет.

Они с королевой мешали угли в костре, пока последний уголек не потух. «Булькай, тужься, клокочи» [1],— ритмично стучало у королевы в голове.

Вернувшись домой, она окинула взглядом свой опрятный, чистенький домик; какое счастье, что в нем так уютно. А если я когда-нибудь всерьез разболеюсь, подумала она, Вайолет Тоби мне поможет.

Королева заснула; ей снилось, что она вручает Вайолет орден Британской империи за заслуги перед человечеством.

17. А в портфеле пусто

Сидя перед телевизором, королева ела кукурузные хлопья. Кусочек вдруг выпал у нее изо рта и опустился на ковер. Гаррис мгновенно подлизал его.

— Я превращаюсь в полную недотепу, Гаррис,— сказала королева.

Но тут ее внимание отвлекла крикливая перебранка, вспыхнувшая в утреннем выпуске новостей. Обсуждая здравие фунта стерлингов, Джек Баркер сцепился с ведущей программы (обычно вполне благодушной дамой).

— Позвольте, мистер Баркер,— говорила ведущая, буравя его круглыми блестящими глазами,— фунт ведь страшно ослаб. Вчера вечером он очень сильно упал.

Ну знаете, подумала королева, у нее это звучит так, будто фунт решил покончить с собой и прыгнул с крыши.

Джек умиротворяюще улыбнулся:

— Но сейчас, благодаря принятым нами мерам, фунт уже немного окреп и скоро приобретет прежний вес.

Королева мысленно вообразила, как чахлый фунт томится на больничной койке, весь обклеенный датчиками, опутанный трубками капельниц, а вокруг толпятся обеспокоенные врачи и консультанты по финансовым вопросам.

Повернувшись к камере, ведущая объявила:

— А теперь — о погоде.

И королева пошла на кухню мыть миску с ложкой.

Тем же утром, попозже, на улице разыгралась яростная ссора между Вайолет Тоби и Беверли Тредголд.

[1] Неточная цитата из сцены ворожбы ведьм. (У. Шекспир. «Макбет». Акт IV, сцена 1). В переводе Б. Пастернака эти строки звучат так: «Взвейся ввысь, язык огня! Закипай, варись, стряпня!»

Беверли возмущалась, что ее не разбудили и не дали выполнить свой долг, когда рожала ее родная сестра. Женщины обменивались чудовищными оскорблениями. Вайолет обвинила Беверли в том, что та совершенно забросила беременную Мэрилин.

— Ты когда последний раз к сестре в ее поганый дом заходила? — пронзительно вопрошала Вайолет.

Стоя за закрытой входной дверью, королева слушала ругань. Противницы орали каждая от своих ворот. Слышно было каждое слово: их возбужденные голоса звучали погромче пожарной сирены. Обитатели переулка Ад выходили из домов, чтобы насладиться перебранкой — весной это нечастое удовольствие. Такое обыкновенно случается летом: наступает жара, детей распускают на каникулы, и издерганные матери ждут не дождутся, когда начнется учебный год.

Вдруг королева с тревогой услышала, что поминают и ее.

— Да тебе просто-напросто хотелось с королевой поближе сойтись,— крикнула Беверли.

— Что я, снобка какая? — заорала в ответ Вайолет.— Я ее позвала, потому что у нее свет горел, и потом, она не робкого десятка. Не то что ты, Беверли Тредголд,— крови она, видите ли, не выносит!

Королева отошла от двери; ей не хотелось больше слушать про самое себя. Это правда, держать себя в руках она умеет. Неужели она сойдет в могилу, так и не узнав, что такое нервное расстройство? Что все-таки лучше — твердо придерживаться внушенных с детства правил: превыше всего хорошие манеры, жесткий контроль над своими эмоциями и самодисциплина — или дать волю чувствам и вопить на улице, словно выжившая из ума старая карга?

Однажды, когда ей было тринадцать лет, на обеде в честь посла Венгрии она случайно рыгнула; рыгнула довольно громко, но знатные гости дружно и дипломатично не заметили ее промашки. Рассказывая эту историю Крофи, она тогда беспечно подытожила:

— Да ладно, уж лучше рыгнуть, чем внутрь отрыжку загонять.

Но Крофи решительно запротестовала:

— Ни-ни, Лилибет, что ты; гораздо, гораздо лучше загнать ее внутрь.

А интересно, каково это — взять разинуть рот и заорать? Стоя над тазом для мытья посуды, королева пискнула для пробы. Писк очень напомнил ей скрип несмазанной дверной петли. Она попробовала еще раз:

— Аааааргх!

Очень неплохо. Ну-ка, еще разок:

— Ааааааааргггх!!!

Королева почувствовала, как вопль, вырвавшись из легких, заполнил дыхательное горло и вылетел из широко открытой глотки и разинутого рта, словно рев Британского льва. От этого вопля проснулся Филип, к двери королевского дома побежали люди; птицы, хлопая крыльями, снялись с деревьев в королевском саду, а черви глубже зарылись в землю.

Вопль отвлек всеобщее внимание от уличной свары, и чиновник из Отдела социального обеспечения, собравшийся уже открыть калитку и пойти по дорожке к дому королевы, замер на месте. Что там, черт возьми, происходит? Убивают королеву, что ли? А он захватил с собой бланки для оформления пособия на похороны?

Открыв входную дверь, королева заверила соседей, что она в полном здравии. Просто была в одних чулках и наступила на кнопку. Все глаза уставились на ее ноги, на которых красовались прочные зеленые сапоги. Посланец ОСО пробился сквозь толпу явно усомнившихся в королевском объяснении зевак и представился:

— Я — Дэвид Доркин из Отдела социального обеспечения. Пришел разобраться с вашим пособием.

Королева провела его в гостиную и усадила на наполеоновский диван, посоветовав держаться подальше от места распила, куда уже были

вбиты шестидюймовые гвозди. Открыв свой металлический кейс, Доркин принялся вынимать из него бланки и раскладывать на крышке. Он нервничал; а кто бы на его месте не занервничал? У него куда-то запропастилась ручка, и королева взяла с письменного стола и протянула Доркину тяжелую золотую авторучку ценою в два его годовых жалованья.

— Я чернильной не пишу! — объявил Доркин.

Отвинтив колпачок, он посмотрел на россыпь мелких драгоценных камешков вокруг пера. Писать такой ручкой чересчур ответственно, это ясно как день. Что, если он ее сломает? Могут потребовать по страховке огромные деньги. Он вернул ручку королеве, глубоко вздохнул и, порывшись в карманах своей бежевой куртки, вытащил шариковую ручку. Зажав ее в кулаке, он сразу почувствовал себя увереннее. От кофе Доркин вежливо отказался.

— Мне бы хотелось, чтобы при разговоре присутствовал ваш муж,— сказал он.

— Мой муж плохо себя чувствует,— сказала королева.— Ему нездоровится с тех пор, как мы переехали.

— С тех пор, как вас переселили? — уточнил Доркин.

— С тех пор, как мы *переехали,*— повторила королева.

Шариковая ручка так и бегала по страницам блокнота.

— А как у вас в настоящий момент обстоят дела с финансами?

— У нас нет ни пенни. Мне пришлось занять у матери; но теперь и у нее нет ни пенни. Как и у остальных членов семьи. Я вынуждена была воспользоваться добросердечием соседей. Но дальше так продолжаться не может. Мои соседи...— королева смолкла.

— Не принадлежат к обеспеченным социальным слоям? — подсказал Доркин.

— Да нет, они *бедны,*— сказала королева.— У них, как и у меня, нет средств. Я бы хотела, мистер Доркин, чтобы вы дали мне немного денег — пожалуйста, сегодня же. У нас нет еды, в доме холод, а если и электричество отключат, то не будет и света.

— Ваше заявление рассмотрят и в случае положительного решения вам пришлют почтовый перевод,— сказал Доркин.

Но дело было в пятницу, и королева ожидала, что этот молодой человек с торчащим кадыком просто вынет из портфеля банкноты и вручит ей. Ее семейство тоже пребывало в этом заблуждении, потому они и тратили всю неделю деньги с таким безрассудством. Она попыталась снова объяснить Доркину, что деньги ей нужны прямо сейчас: в холодильнике ничего нет, и в буфете совершенно пусто.

Как нельзя более кстати в комнату, шаркая, вошел Филип и сразу же жалобно заныл: он еще не завтракал, и куда, интересно, подевались его контактные линзы, и холод в доме невыносимый.

Доркин поразился тому, как страшно изменился Филип; в предвыборной телепередаче он выглядел вполне бодрым, у него было румяное лицо, он держался надменно и был безупречно одет. А сейчас Доркину тяжко было смотреть на стоявшую перед ним горестную развалину. Чувство было такое, словно он обнаружил в придорожной канаве собственного в стельку пьяного отца. Королева успокоила Филипа, пообещав дать ему кофе, подвела его к лестнице и уговорила опять лечь в постель.

Когда она вернулась в гостиную, то увидела, что Дэвид Доркин заполняет какой-то бланк. Может, это и есть упоминавшееся ранее Заявление? Тогда его следует заполнить немедленно. Надо же кормить Филипа и Гарриса. Она сама никогда не отличалась большим аппетитом и как-нибудь перебьется. Но муж с собакой совершенно беспомощны и целиком зависят от того, насколько умело проведет она семейный корабль по темным водам ОСО.

Как только все графы были заполнены, королева спросила, когда она получит перевод.

— Возможно, через неделю; правда, у нас не хватает людей, поэтому...— Доркин замолк, не окончив фразы.

— Поэтому — что?

— Возможно, и позже; дней через девять-десять.

— Но как же нам прожить десять дней без еды? Вы же не допустите, чтобы мы умерли с голоду? — сказала королева.

Доркин нехотя признал, что голодная смерть бывшего королевского семейства не входит в программу правительства.

— Есть еще такая штука, как Срочное Вспомоществование.

— А как получить это Срочное Вспомоществование? — спросила королева.

— Надо лично явиться в ОСО,— ответил он.

Доркин предупредил, что пока он с нею разговаривает, у дверей Отдела уже наверняка выстроилась длиннющая очередь, но королева, не слушая, натягивала пальто. Она просто не может позволить себе и дальше занимать деньги у соседей. Она накинула на голову платок. Раз у нее нет денег, придется идти в город пешком.

18. Игроки

Фицрой Туссен очень удивился, обнаружив, что матери нет дома. Он всегда приезжал по пятницам, в час дня, и обычно она в любую погоду уже ждала его на пороге. Открыв своим ключом дверь, он вошел в бунгало. Фицрой был благодарен судьбе, что больше не живет в переулке Ад. Как только он сдал все выпускные экзамены, он умотал отсюда к чертям и поселился в приличном пригородном районе. Господи, ну и холодрыга! По узенькому коридорчику он прошел в кухню. По крайней мере, у нее полно еды — и то хорошо; полки в высоком буфете были уставлены пакетами и банками. Тогда почему она такая тощая? Прямо тает на глазах, ноги и руки стали как палочки, да нет, не палочки, а прутики.

В доме, как всегда, было чисто, ни пятнышка, рядом с мойкой лежало сложенное аккуратным квадратиком посудное полотенце. Заглянув в спальню, он увидел, что кровать застелена, а мать уже начала вязать внукам подарки к Рождеству. Это его обрадовало — значит, артрит не разыгрался. Он просунул голову в гостиную и на зеркале, висящем над нетопленным камином, увидел записку:

«Фицрой, я у соседки, у каралевы-матери. Зайди туда, они не против, я спрасила».

Дверь в дом королевы-матери была приоткрыта. Фицрой толкнул ее, и в лицо ему ударил нагретый воздух. Он помедлил, слушая громкий возмущенный голос Филомины, которая рассказывала одну из семейных историй:

— Говорю тебе, та женщина была грешница — сбежать вот так и бросить детей...

Теперь донесся голос королевы-матери; она все пыталась вставить словечко, и наконец ей это удалось:

— Уоллис Симпсон [1] тоже была грешница, я в этом убеждена. В жизни не прощу ей того, что она сотворила с бедным Дэвидом. Для всех нас это было страшное испытание. Отречься от престола! Какой стыд! Он ведь знал, что мой муж, Георг, не хотел становиться королем — еще бы, с таким-то заиканьем. Все эти речи были для него сущей мукой; и для меня тоже.

Фицрой услышал пронзительный голос Филомины, старавшейся перекричать королеву-мать:

— А вот еще одна дурная женщина! Тетка моя, Матильда. А уж пить была горазда — страшное дело. Смотри, если приглядеться хорошенько, то увидишь у нее в руках бутылку.

Постучавшись в дверь гостиной, Фицрой вошел; престарелые дамы

[1] Дважды разведенная американка, на которой женился английский король Эдуард VIII (1894—1972), предварительно отрекшись от престола (1936).

рассматривали фотографии, каждая в своем семейном альбоме. Обе были слишком стары, чтобы волноваться о том, что о них подумают; обе со смаком обсуждали семейные тайны.

Фицрой заметил, как вспыхнуло радостью лицо Филомины, когда она увидела его. А в глазах королевы-матери мелькнула тень страха. Уж не подумала ли она, что он пришел ее грабить? Неужели его костюм и роскошная папка «филофакс» у него под мышкой ни о чем ей не говорят?

Мать, само собой, засыпала его вопросами. Как его кашель, прошел? А работы по-прежнему много? Питается хорошо? Сам готовит еду? От Троя есть новости? Почему сбрил усы? Похолодало, он фуфайку не забыл поддеть? А на могилке у Джетро был? Не хочет ли выпить чего-нибудь горяченького?

Королева-мать настояла, чтобы они попили с ней чаю. Она с трудом поднялась со стула, отметил Фицрой. Он предложил ей руку, и она грузно оперлась на нее.

— Сядь, женщина! — заорала Филомина.— Поговори лучше с сынком моим. Я ж не такая старая, как ты. Я и приготовлю чай.

И она затопала на кухню, словно у себя дома. Королева села и спросила Фицроя, интересуется ли он лошадьми. Уж не ловушка ли тут, подумал Фицрой. Он ведь дал матери слово, что никогда не будет играть на скачках. В день, когда ему исполнилось восемнадцать, она заставила его поклясться на Библии, что ноги его больше у букмекера не будет. И он сдержал клятву.

Когда ему исполнился двадцать один год, он открыл по телефону счет в букмекерской конторе Джека Джексона. Все выигрыши направлялись прямиком в его банк, но, как и королева-мать, он в жизни не переступал порога букмекерской конторы. Фицрой подсел к королеве-матери поближе и, понизив голос, ответил:

— Да, интересуюсь.

— Всерьез?

— Всерьез.

— Кто готовил Морской Вал, лошадь внука?

— Ник Гейзли,— без запинки ответил Фицрой,— к скачкам на приз памяти герцога Глостера. Принц Чарльз пришел четвертым.

— Верно, я проиграла двадцать пять фунтов.

Королева-мать вытянула из-за корсажа пятифунтовую бумажку, которую утаила от дочери, и вручила ее Фицрою.

— Морская Мгла — в Кемптон-парке, в два часа,— сказала она, не спуская глаз с кухонной двери.

— На выигрыш?

— Да, это верняк, особенно в такую погоду.

Из внутреннего кармана пиджака фирмы «Пол Смит» Фицрой вынул радиотелефон и, нажав несколько кнопок, поставил деньги королевы-матери. Потом, исключительно из дружеских чувств, и сам поставил двадцать пять фунтов на Морскую Мглу. Они рассказывали друг другу разные истории о скачках; когда вошла с подносом Филомина, они сразу заговорили о работе Фицроя. Он занимался неплатежеспособными предприятиями и в настоящее время подводил сеть обувных магазинов одной компании к мирному концу. Он пообещал королеве-матери достать для нее пару просторных домашних туфель из парчи — со скидкой, конечно.

В четверть третьего звякнул телефон Фицроя. Филомина в это время с шумом и звоном мыла на кухне посуду.

— Да? — сказал он, поглядывая на королеву-мать.— Ну надо же! Вы выиграли кругленькую сумму.

Глаза королевы-матери алчно блеснули.

— Так,— прошептала она,— Нектарин; Кемптон-парк; в два тридцать. Двадцать фунтов на первые три места.

Ему пора было возвращаться в контору, он опаздывал, но тем не менее дождался звонка — в два тридцать пять. На сей раз Филомина тоже была в гостиной, поэтому он молча ткнул большим пальцем в пол, так, чтобы видела королева-мать. Она сразу все поняла.

Собрав свои альбомы с фотографиями, Филомина велела королеве-матери лечь вздремнуть. Она и сама очень устала, ее клонило в сон.

Фицрой проводил мать до дому и у двери вручил ей полиэтиленовый пакетик с пятидесятипенсовыми монетами.

— Это для газового счетчика,— сказал он.— Пользуйся.

И бодро зашагал к своему «форду-сьерре»; он был доволен выигрышем и рад, что у матери появилась приятельница. Это же, братцы мои, как гора с плеч. Он нажал кнопку на кольце для ключей, и под действием таинственного электронного устройства замки всех дверей в машине одновременно щелкнули, открываясь. Он помахал на прощанье рукой обеим пожилым дамам, махавшим ему в ответ каждая из своего окна, и задним ходом покатил к кордону. Фицрой не любил сталкиваться с полицией нос к носу. Отродясь не любил.

19. Долгая прогулка

Гаррис вместе со Стаей резвился на улице. Стоя на крыльце, королева звала его, но он все не шел. Она выбежала за ворота, сердито окликая его. Ватага ребят тоже принялась гоняться за Гаррисом. Какие они все немытые-нечесаные, подумала королева. И вдруг заметила, что среди них носятся, как дикие зверушки, ее собственные внуки Уильям и Гарри. Удиравший от них Гаррис юркнул под разломанный и обгорелый остов «рено», приткнувшийся к обочине. Королева стала выманивать его мятной конфеткой, которую обнаружила у себя в кармане плаща; потом стегнула его разок-другой поводком. Но не сильно, слегка.

Гаррис позволил надеть на себя ошейник, и королева отправилась в путь; до города надо было прошагать три мили. Подойдя к полицейскому кордону, она увидела, что дежурит констебль Лэдлоу; он как раз проверял права у красивого, хорошо одетого чернокожего мужчины, сидевшего за рулем «форда-сьерры».

Когда «форд» задним ходом выскочил из переулка Ад, королева подошла к Лэдлоу и возмущенно спросила, зачем он дал в суде такие насквозь лживые показания. Именно этого констебль полиции Лэдлоу и боялся. Он уже три ночи не мог спокойно спать — его грызло сознание вины. Пытаясь изгладить из памяти совершенное им преступление, он допоздна слушал по радио Всемирную службу Би-би-си. Дача ложных показаний — дело серьезное; тут недолго и работу потерять. Вряд ли, конечно, но кто в наше время может за что поручиться?

Инспектор Холиленд научил его, что говорить в суде, и он исправно повторил все слово в слово. Он и не предполагал, что ему поверят. «Убить свинью»! Лэдлоу ожидал, что судьи и публика лишь рассмеются, представив себе принца Уэльского, произносящего эту затертую фразу; но ведь констебль был при всех регалиях, он воплощал собой Закон, Порядок и Истину; вдобавок его слова подтвердил и инспектор Холиленд, хотя сам он на месте событий не присутствовал.

— Зачем вы наплели столько лжи про моего сына? — снова спросила королева.

— В тот момент эти факты виделись мне именно так,— сказал Лэдлоу.

Гаррис тем временем обнюхивал отвороты его штанин. Лэдлоу переступил с ноги на ногу, и Гаррис, истолковав это как проявление воинственности, вонзил клыки в носок полицейского и в прикрытую им плоть. На взгляд Лэдлоу, королева явно не торопилась оттащить собачонку от его левой щиколотки. Чтобы выйти за пределы переулка Ад, королеве пришлось заполнить анкету.

Имя	Элизабет Виндзор
Адрес	Переулок Ад, 9
Время	14.45
Пункт назначения	ОСО в Мидлтоне
Вид транспорта	Пеший ход
Примерное время возвращения	18.00

Лэдлоу поднял шлагбаум, и она покинула переулок.

Позади, на известном расстоянии, плелся некто в штатском. Неужто же она и впрямь потащится в город *пешком?* Как назло, он сегодня надел новые туфли. Сотрет теперь ноги в кровь. Они и без того сплошь обклеены мозольным пластырем. И в штатском ходить уже до смерти надоело. С каким удовольствием он уселся бы в свой уютный черно-белый полицейский автомобиль! Звали его Колин Лайтфут. Ему поручили тайно следовать по пятам за королевой и докладывать обо всем инспектору Холиленду.

Королева шла с огромным удовольствием, хотя предпочла бы идти по Хоукам-Бич, поблизости от Сандрингема, или по вересковым пустошам близ Балморала. Но, по крайней мере, она вырвалась из переулка Ад и может как следует размяться. Гаррис же был очень недоволен. Он не привык столько ходить по жесткой мостовой, подушечки у него на лапках разболелись; он едва поспевал на своих коротеньких ножках за энергично шагающей королевой.

Они шли вдоль дороги, соединявшей район Цветов с городом. Королева как-то побывала в этом городке; утром она открыла здесь больницу, посетила трикотажную фабрику и небольшой машиностроительный заводик, а после обеда в мэрии отправилась в приют для престарелых со спутанным сознанием; там у нее состоялась мучительно невнятная беседа с обитателями. Один пускавший слюни старик был убежден, что она — его мать, что на дворе 1941 год, а он по-прежнему служит в интендантских частях. Возвращаясь к королевскому поезду, она наскоро заглянула в исправительное заведение для несовершеннолетних; ее провели по сверкающим чистотой спальням и показали свежевыкрашенную комнату для игры в пинг-понг. Нескольким воспитанникам, поприличнее на вид, разрешили присутствовать, когда дочка директора центра социального обслуживания вручала королеве букет весенних цветов. Интересно, размышляла теперь королева, а где продержали в тот день остальных воспитанников, которые, вероятно, не отличались приличным видом?

Полил дождь, упорный, безжалостный. Она надвинула платок пониже на лоб и зашагала дальше. Следовавшая за ней фигура в штатском, чертыхаясь и проклиная все на свете, погрозила небесам кулаком, и тут, словно в насмешку, мимо проехала полицейская машина; внутри, в тепле и уюте, сидели стражи порядка в полицейской форме, сопровождавшие мистера Крисмаса в участок на Тюльпанной улице.

Королева взглянула на часы и ускорила шаг. Мистер Доркин предупредил ее, что отдел закрывается в пять тридцать. Он написал ей на листочке адрес. Королева достала из кармана сложенную бумажку. Разобрать можно было только два слова: «Приемная ОСО». Адрес размыло дождем.

Какое-то время Гаррис пытался не отставать от королевы, но скоро выдохся и дальше идти не желал. Он ведь знал, что ему понадобится плащик. Он же недаром стоял под вешалкой в прихожей. Он даже лаял, показывая, что надо надеть на него дождевичок, но где там — она торопилась, ей было не до него. Что вы, теперь у нее минутки не находится, чтобы покормить пса и сказать, что он самый-самый любимый. И вообще, откуда вдруг такая тяга к насилию? Что ни день — взбучка, а то и не одна. Поостереглась бы... Он ведь знает про Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. Да, и еще: у него появились самые настоящие блохи. Королева дернула за поводок, но Гаррис не двинулся с места. Она попробовала потащить его за собой, но он, усевшись на тротуар, уперся всеми четырьмя лапами. Какой-то заляпанный грязью прохожий заметил:

— Эдак ты ему всю задницу обдерешь.

— Я ему всю *спину* обдеру, если будет упираться,— пообещала королева.

Она пнула Гарриса ногой; он взвизгнул, словно от жуткой боли,

и кувыркнулся на спину, притворяясь мертвым. Чуточку приоткрыв один глаз, он видел, как королева склонилась над ним с виноватым и озабоченным видом, и почувствовал, что ее ласковые руки поднимают его с земли и несут.

Они продолжали путь в город, где дороги отнюдь не были вымощены золотом; собственно говоря, они вообще не были вымощены. Все имевшиеся средства муниципалитет вознамерился вложить в продуваемый ветрами окраинный пустырь площадью в тысячу акров; решено было построить там зоопарк, но без животных. Одна частная компания убедила членов муниципалитета, что вместо грязи и вони настоящего зоопарка с дикими зверями, которых еще и кормить нужно, лучше построить несколько огромных зданий без окон, а в них с помощью современной электроники зримо и точно воссоздать природу всех материков вместе с населяющими их животными, сопровождая все это соответствующим звуковым рядом. Получится впечатляющая картина Подлинной Действительности. Со всей Британии съедутся миллионы посетителей поглазеть на чудеса природы и техники. Для них планировалось построить гостиницу на пятьсот мест. Узенькие дороги к продуваемому ветрами пустырю предполагалось немного расширить. Устроители надеялись, что принц Филип (он ведь, как известно, президент Всемирного фонда охраны диких животных; другая его ипостась — меткого охотника на птиц и мелких зверей — к церемонии не очень подходит) приедет открывать электронный зоопарк.

Добравшись до центра города, королева присела на скамейку отдохнуть и опустила Гарриса на землю. Он задрал лапку и стал писать на переполненный мусорный бак. Королеве почему-то припомнился Ниагарский водопад, который, в отличие от Гарриса, можно при желании перекрыть.

На скамейке рядом с королевой сидел мужчина. Ему, видимо, недавно сломали нос: на переносице виднелась большая ссадина. Он пил что-то прямо из коричневой бутылки. После каждого глотка он вытирал грязной рукою рот, словно заметая следы. На ногах у него были туфли вроде тех, что между двумя мировыми войнами носили руководители музыкальных ансамблей. Струйка мочи побежала к этим туфлям, и мужчина поднял ноги на лавку — так благовоспитанная барышня поджала бы ножки при виде бредущего мимо паука.

Королева извинилась за неприличное поведение Гарриса.

— Ох, да где ж такой малявочке удержаться,— сказал сосед сиплым голосом человека, наоравшегося ночью всласть.— И потом, ты хоть тресни, но ей, крохотульке, на толчок нипочем не влезть.

Мужчина захохотал, захлебываясь от собственного остроумия; видя, что королева не смеется, он толкнул ее в бок:

— Да ладно, тетка, выше нос. А то на тебя взглянешь — и тоска берет, прямо как туча в воскресный день.

Королева на мгновенье раздвинула губы, и сосед утихомирился.

— А знаешь, на кого ты похожа? Я тебе скажу. Ты похожа на ту бабу, которая изображает королеву. Ей-Богу, правда, вы прямо одно лицо с ней, как ее там? Ну, ты знаешь. Ты даже больше на нее похожа, чем та баба. Правда-правда. Ты ж на этом можешь столько денег огрести! Запросто можешь. Запросто. А меня знаешь за кого принимают?

Королева поглядела на его разбитую, в сизых прожилках физиономию. На глаза цвета заката в тропиках, на свалявшиеся космы, на рыжевато-желтые зубы.

— Ну, угадай — за кого?

— Не имею ни малейшего представления,— сказала королева, отворачиваясь, чтобы не слышать его пропитанного сидром дыхания.

— Хе-хе-хе,— развеселился тот.— Хе-хе-хе, вот это класс. Выговор — ну точь-в-точь как у нее. «Нэ имэу ны млейшего прдствлениа»,— передразнил он.— Ну в точности как королева, один к одному. Тебе бы на сцене выступать, запросто. «Нэ имэу ны млейшего прдствлениа».—

Его смех гулко перекатывался по центру городка. Он хлопнул себя кулаками по ляжкам.— Только не говори мне, что она и впрямь так разговаривает. Ни-ни, ни в коем разе. Это ж выговор невзаправдашний, а вроде как у робота из «Доктора Икс» [1]. Верно я говорю, тетка? Верно же? А теперь мы ее скинули. Ну, туда ей и дорога, скажу я тебе. Да еще и выпью за это. За это надо выпить. Кто у нас теперь командует, а?

— Джек Баркер,— ответила королева, стараясь подавить проклятый выговор.

— Хе-хе-хе. «Джик Баркер». Ну ты просто отпад, тетка,— объявил этот республиканец.— Отпад, полный отпад.

Поднявшись, он стал перед королевой, качаясь из стороны в сторону. А он ведь без носков, заметила королева. Манжеты на брюках обтрепались, нитки волочатся по земле. Если бы репортер модного журнала вздумал спросить его, как он отбирает себе гардероб на каждый день, он бы со всей прямотой ответил, что как набросил однажды утречком на себя одежду, так и носит, не снимая, круглые сутки, пока через пару-тройку месяцев не явится бригада в комбинезонах, резиновых перчатках и масках, чтобы его наконец раздеть.

— Ну так кого я тебе напоминаю?

Он принял, как ему казалось, изысканную позу: подперев пальцем подбородок, повернул голову, чтобы искореженный профиль предстал во всей красе.

Королева покачала головой, она понятия не имела, кого он ей должен напоминать.

— Да герцога же,— заорал бродяга. Но по виду королевы понял, что она опять не понимает, о ком речь.— Принца Филипа. Я же прямо вылитый он; все в один голос говорят. Неужто сама не видишь? Да быть того не может!

В конце концов королева согласилась, что «некоторое сходство» есть. «Герцог» осушил бутылку, потом потряс ее хорошенько, и две коричневые капли упали в подставленный разинутый рот. Он снова потряс бутылку, поднес горлышко ко рту, подождал, но ничего оттуда не вытекло, и он, рассердившись, клацнул зубами по стеклу.

— А на «биг-мак» ты мне, тетка, не наскребешь? — спросил он.

— Нет,— ответила королева, ставя бутылку из-под сидра возле мусорного бака.— У меня нет ни пенни.

— Охо-хо, это все говорят, хоть и не с таким классным выговором.

Королева спросила его, как пройти к Отделу социального обеспечения. Он вызвался проводить ее до самой двери, но королева учтиво отказалась. Она стояла на переходе, ожидая, когда зеленый человечек покажет, что можно идти, и вдруг услышала, как грязнуля закричал у нее за спиной:

— Джанетт Чарльз! Точно, вспомнил. Ты же — вылитая она. Деньжищ огребешь!.. Уйму!

Возле Отдела социального обеспечения королева стала в очередь. Девица в каком-то невыразительном костюме выдала ей кружок с номером — тридцать девять. Королева стала за номером тридцать восемь, а за ней вскоре пристроился номер сорок. Те из стоявших в очереди, у кого были часы, то и дело на них посматривали. Те, у кого часов не было, то и дело спрашивали, который час.

А время, невидимое и неумолимое, летело, словно насмехаясь над цепочкой людей у двери в Отдел. Примут ли их? Оставалось двадцать пять минут. Головы у всех были заняты математическими расчетами. Проявляя героическое терпение, стояли в очереди дети, держась за коляски своих младших братишек и сестренок. В трех футах от очереди урчал «пиковый» поток машин, то останавливаясь, то снова трогаясь с места; выхлопная гарь заполняла легкие сидящих в колясках детей.

Гаррис закашлял и натянул поводок.

[1] «Доктор Икс» — многосерийная научно-фантастическая телепередача для детей. Передается Би-би-си-1 с 1963 г.

Шаркая ногами, очередь постепенно вползала внутрь Отдела, и вскоре королева продвинулась настолько, что могла заглянуть в просторную комнату, где часы с большими черными стрелками и пугающе быстро бегущей секундной стрелкой сообщили ей, что уже двенадцать минут шестого. Один малыш расплакался, и ему сунули пососать запечатанный пакетик хрустящего картофеля.

— Ему же *хрустики* не дашь, там одна соль да уксус,— объясняла молодая мама — номер тридцать восемь.— А он такое не любит.

Королева молча кивнула; ей не хотелось открывать рот и привлекать внимание своим великосветским выговором. Она от него и так порядком настрадалась. Не попытаться ли его немного сгладить? От грамматически правильной речи тоже одни неприятности. Может, ей начать путать формы глагола? Ведь теперь и не разберешь, где ее место; разве что в очереди, между номерами тридцать восемь и сорок.

Стрелки часов уже приближались к половине шестого; очередь заволновалась и подступила поближе к столам, за которыми просители излагали свои горести сквозь решетки, впаянные в листы небьющегося стекла.

С этой стороны стекла сквозь решетку летели слова мольбы, гнева и отчаяния. В обратном направлении струились фразы о правилах, обоснованиях и причинах отказа. Один мужчина вскочил и бахнул по стеклу кулаком.

— Мне нужны деньги, и немедленно,— крикнул он.— Не могу я вернуться к своим без денег. В доме — хоть шаром покати.

Служащий безучастно наблюдал, как охранник уводит крикуна прочь.

— Номер тридцать шесть,— произнес служащий.

— Тридцать семь,— сказал другой.

Сидевшая за третьим столом девица встала и принялась собирать бумаги, укладывать в коробочку ручку и карандаш. Нацепив на плечо сумку, она приготовилась уйти.

Королева вышла из очереди и спросила сквозь решетку:

— Извините, пожалуйста, вы когда заканчиваете работу?

— В полшестого,— нехотя ответила девица.

— В таком случае у вас осталось еще пять минут до конца,— сказала королева.— Наверное, у вас часы немного спешат.

Девица снова уселась на свое место и произнесла:

— Тридцать восемь.

Королева вернулась в очередь, которая торжествовала эту скромную победу. Позади нее номер сорок сказал:

— Здорово вы их, сударыня! — Он пододвинулся к ней поближе и, почти не разжимая губ, произнес: — Я имел честь служить в вашем полку, Уэльском гвардейском. Участвовал в операциях на Фолклендах, в Блафф-Кове. Демобилизован с хорошей аттестацией. Зато нервы теперь ни к черту.

— Это скверно,— сказала королева, которая в прошлом была почетным командиром тридцати восьми полков и еще скольких-то частей.

Прозвучал ее номер; его назвал симпатичный молодой человек азиатской наружности. За две минуты королеве надо было изложить свою просьбу и получить деньги на автобус, на еду, да еще монетки на оплату газа и электричества.

— Так дело не пойдет,— улыбнулся молодой человек, когда в ответ на его вопросы она сказала: нет, у нее нет документов, удостоверяющих, кто она такая и где живет.— Чтобы получить Срочное Вспомоществование, нужно представить какие-то надежные бумаги; ну, хоть пенсионная книжка у вас есть? Или счет за газ?

Королева объяснила, что еще не получила пенсионной книжки. Она ведь живет по теперешнему адресу всего четыре дня.

— А раньше где вы жили? — спросил молодой человек.

— В Букингемском дворце,— ответила королева.

— Ну конечно, где же еще,— засмеялся тот, глядя на пальто королевы, все в отпечатках собачьих лап, на ее грязные ногти, на мокрые растрепанные волосы. Это же надо! Каких только историй он тут не наслушался. На целую книгу хватит! Даже на две. Ей-Богу.— А почему же вы жили в Букингемском дворце? — спросил он погромче, чтобы и коллеги могли развлечься.

— Потому что я была королевой,— ответила королева.

Молодой человек нажал под столом кнопку, и охранник, ухватив королеву под руку, вывел ее с Гаррисом в вечернюю тьму. Она стояла на тротуаре, не зная, что делать и куда обратиться за помощью. Она обшарила все карманы, надеясь найти монетку, чтобы позвонить, хотя ей было отлично известно, что в карманах совершенно ничего нет, кроме кусочка туалетной бумаги, оторванного от рулона. Она не знала, что позвонить можно и за счет собеседника.

Была пятница, уже вечер, ОСО закрывался на два дня. У них-то деньги есть, а у нее нет.

Волоча за собой Гарриса, она вбежала назад в приемную. Все служащие уже были в пальто. Часы показывали двадцать девять минут и тридцать секунд. Просителей выпроваживали из зала. Королева заметила, что номер тридцать восемь, зажав в руке пятифунтовую бумажку, разговаривает со своим малышом: рассказывает ему, как она купит молока, хлеба и пеленок. Номер сорок уходить не желал.

— Я же воевал в Блафф-Кове,— кричал он.

Королева подхватила Гарриса под мышку.

— Моя собака умирает с голоду,— объявила она на всю комнату.

Служащая, стоявшая у второго стола, жила с матерью, тремя собаками и пятью кошками. Она мечтала стать ветеринаром, но неважно сдала экзамены. Она взглянула на Гарриса, который безжизненно обмяк в руках у королевы, словно на последней стадии истощения, и села за стол. Расстегнула пальто, достала ручку и предложила королеве присесть. Прежде всего она прочла королеве нотацию о той ответственности, которую налагает владение собакой.

— Вообще говоря, не следует и заводить пса, если вы не в состоянии его, ну, скажем, прилично содержать.

Гаррис жалобно заскулил, уши у него повисли. А служащая продолжала:

— Вид у него прескверный. Я дам вам немного денег, хватит на пару банок еды для собак и на таблетки, регулирующие обмен веществ. Те, что выпускает фирма «Боб Мартин», вполне подойдут.

Королева взяла деньги, расписалась в получении и вышла. Она возблагодарила Бога за то, что англичане все поголовно обожают собак.

20. Одни кости

Фигура в штатском следовала за ней. Когда она вышла из отдела, соглядатай стал молить Бога, чтобы она не надумала идти домой пешком. У него и так вместо ног уже было кровавое месиво. Он мечтал снять наконец туфли. Королева крепко сжимала в кулаке три монеты по фунту каждая. Сколько стоит буханка хлеба? А фунт картошки? Банка кофе? Она не имела ни малейшего намерения покупать Гаррису еду для собак или таблетки для регулирования обмена веществ.

Когда королева в детстве заболевала, Крофи неизменно варила ей бульон. Королева вспомнила, что для этого, кажется, использовались кости. Она как раз проходила мимо мясной лавки. Мужчина в белом халате и полосатом фартуке скреб полки витрины. На прилавке топорщилась груда зеленой пластмассовой петрушки — потом ею украсят витрину. Привязав Гарриса снаружи, королева толкнула дверь.

— Закрыто,— сказал мясник.

— Не могли бы вы продать мне костей? — спросила королева.

— Я уже закрылся,— ответил он.

— Пожалуйста,— умоляюще сказала королева,— мне для собаки.

Мясник, вздохнув, пошел в подсобку и вернулся с охапкой устрашающего вида костей, которые он швырнул на весы.

— Тридцать пенсов,— отрывисто бросил он, небрежно заворачивая кости в бумагу.

Королева вручила ему монету в один фунт, мясник достал из сумки с мелочью сдачу и без улыбки протянул ей.

— А вы не дадите мне пакет? — попросила королева.

— Нет, за тридцать пенсов не дам,— отрезал мясник.

— Ну что ж, спасибо и спокойной ночи,— сказала королева.

Она не знала, во что обойдется пакет. А тратить еще двадцать, а то и все тридцать пенсов она не могла.

— Спокойной ночи,— повторила королева.

Повернувшись к ней спиной, мясник стал раскладывать пучки пластмассовой петрушки на витринных полках.

— Я вас чем-нибудь обидела? — спросила королева.

— Слушай,— сказал мясник,— купила чего хотела на свои тридцать пенсов, а теперь закрой дверь с той стороны.

Но прежде чем она успела выполнить это указание, в магазин вошел хорошо одетый мужчина.

— Вы закрылись, я понимаю,— сказал он,— но все-таки продайте мне три фунта филе на бифштексы.

Мясник заулыбался.

— Конечно, конечно, сэр, сию минуту.

Забрав кости, королева вышла. Отвязывая Гарриса, она видела через окно, как мясник отрезает толстые ломти от здоровенного куска говядины. Он весь так и лучился радостью — прямо мясник с рекламной картинки.

От запаха костей Гаррис совершенно обезумел. Он старался допрыгнуть до свертка, зажатого у королевы под мышкой. Когда они пришли на автобусную остановку, она кинула ему маленький мосол, и Гаррис яростно набросился на него; зажав кость передними лапами, он с алчным утробным урчанием стал обгладывать висевшие на ней жалкие клочья мяса.

Когда подошел автобус, кость была обглодана дочиста. Центр города совсем опустел. Королева с ужасом думала об оставшихся до понедельника днях. Сейчас она возьмет в автобусе билет, и у нее останется два фунта и десять пенсов. Как на эти деньги прокормить себя, мужа и собаку? Брать в долг она больше никак не может. Что ж, будет молить Бога, чтобы ее пенсионная книжка пришла с завтрашней почтой.

— Один до района Цветов, пожалуйста,— сказала королева.

Она опустила шестьдесят пенсов в черную пластмассовую кассу возле водителя, ожидая, что сейчас ей дадут билет. Но водитель сказал:

— С вас девяносто пенсов. На собаку — полбилета.

— Неужели? — с ужасом спросила королева.

— На собаку — полбилета,— повторил водитель.

Королева злобно посмотрела на Гарриса. Она бы охотно заставила его бежать за автобусом. Весь день только под ногами путается. Тем не менее она уплатила требуемую сумму и, повинуясь распоряжению водителя, потащила Гарриса на второй этаж. Там она дважды пересчитала деньги, но результат всякий раз оставался неизменным: один фунт восемьдесят пенсов. Закрыв глаза, она стала молиться о ниспослании чуда — вроде того, с хлебами и рыбами.

Сойдя с автобуса, королева заглянула в супермаркет «Еда-да-да», обслуживавший район Цветов. Виктор Берримен был его хозяином и управляющим в одном лице. Стоя у дверей, он приветствовал покупателей и одновременно следил, как бы кто чего не стянул.

— Добрый вечер, сударыня, как, устраиваетесь на новом месте?

Королева улыбнулась и кивнула.

— Да, стараемся.

— Приятно слышать. А вот слухи про вашего мужа огорчительны.
— Про моего мужа?
— Да, говорят, с ним дело неладно.
— Неладно?
— Ну, нездоровится ему, спятил чуток.
— Он в угнетенном состоянии духа, это правда.
— Я-то понимаю, каково ему сейчас. Знаете, у меня раньше была целая сеть таких магазинов, во всех восточных графствах Центральной Англии. Реклама по телевизору. Помните, с гавайскими танцовщицами? «Еда-да-да» — блаженство для клиента»,— напел он, покачивая обширными бедрами.

Еда-да-да!
Блаженство для клиента.
Еда-да-да!

— Я все хотел, чтобы девушки сделали номер в полинезийском стиле — ну там юбочки из травы, на шее цветочные гирлянды,— так меня чуть по судам не затаскали.

Он устремил полный горькой обиды взгляд на контроль, где две коренастые женщины средних лет предъявляли свои покупки недреманному электронному оку.

— Да, я тоже был в свое время главой династии, и мне понятно, каково приходится вашему мужу сейчас, когда у него все отобрали.
— Не мой муж, а я была главой династии,— нахмурилась королева.

Выхватив батончик «Марса» из внутреннего кармана куртки уже уходящего мальчишки, Виктор Берримен дал ему оплеуху и вытолкал из магазина.

— Во всяком случае, сударыня, если только могу быть чем-то полезен...— сказал он, грозя вслед мальчишке кулаком.

Королева объяснила, что хотела бы сварить бульон.

— Булен? — недоуменно повторил Берримен.
— Бульон, такой суп без всего,— объяснила королева.— Кости у меня есть, но что нужно еще?

Ее собеседник был явно озадачен: кухня оставалась для него тайной за семью печатями. Он знал только, что туда поступают холодные ингредиенты, а оттуда, через более или менее равные промежутки времени, они выходят уже в виде горячей пищи.

— Миссис Монди,— крикнул он одной из женщин, сидящих на контроле,— помогите, пожалуйста, этой даме, а я сяду за кассу.

Миссис Монди одарила королеву подобием реверанса и проволочной корзиной для покупок; они принялись фланировать по проходам между стеллажами. Королева положила в корзину луковицу, две морковки, одну репу, фунт картошки, большую буханку хлеба, маленькую баночку клубничного джема и два бульонных кубика.

Пропустив все купленные королевой товары над волшебным электронным оком, Виктор Берримен огласил итог:

— Один фунт пятьдесят восемь пенсов.
— Ах, Боже мой!

Королева смотрела на фунт и восемьдесят пенсов, лежащие у нее на ладони.

— Что-то придется положить обратно,— сказала она.— Пятьдесят пенсов мне нужны на газ.

После долгих подсчетов они сообща решили, что если она откажется от одной морковки и одного бульонного кубика, а вместо большой буханки возьмет маленькую...

Королева вышла из магазина с фирменным пакетом «Еды-да-да». Виктор сам открыл ей дверь, говоря, что будет рад снова увидеть ее у себя в супермаркете; быть может, она порекомендует его членам своей семьи, а если у нее где-нибудь завалялся лишний королевский герб, то он с удовольствием повесил бы его над входом.

Королеву смолоду учили, что людям принято задавать вопросы, и, отвязывая Гарриса от бетонного столба, она спросила Виктора, как случилось, что он лишился своей торговой империи.

— Из-за банка,— ответил он, проверяя висячие замки на металлических решетках, закрывающих окна.— Они меня всё обхаживали, чтобы я взял заем для расширения дела. А потом процент вырос, и я не смог выплачивать долг. Поделом мне, дураку; все пошло прахом. Жена вот очень горевала; дом продали, машины. А на это заведение, в районе Цветов, никто не позарился — еще бы, кому придет в голову его купить? Только полному психу. Мы теперь живем над магазином.

Королева подняла глаза и увидела, что из незанавешенного окна печально смотрит вниз женщина,— миссис Берримен, решила королева.

— А все равно,— сказал Виктор,— это чепуха по сравнению с тем, чего лишились *вы*, правда?

Королева, которая лишилась дворцов, поместий, угодий, драгоценностей, картин, особняков, яхты, самолета, поезда, около тысячи слуг и миллиардов фунтов, утвердительно кивнула.

Вытащив расческу, Виктор провел ею по лысой голове.

— Когда в другой раз придете, поднимитесь к нам, навестите жену. Выпьете чашечку чая; жена всегда дома — у нее агорафобия [1].

Королева опять подняла глаза, но грустного лица в окне уже не было.

Зажав в кулаке пятидесятипенсовик, королева шагала обратно в переулок Ад. Позади, на некотором расстоянии, прихрамывая, ковылял соглядатай. Если в штатском бросают на такие задания, то он согласен из формы вообще не вылезать.

Войдя в дом, королева услышала знакомый кашель. Маргарита пришла. Да, вон она — сидит курит и стряхивает пепел в кофейную чашку.

— Лилибет, ты выглядишь совершенно кошмарно! А что у тебя такое в этом вонючем пакете?

— Кости, нам на ужин.

— У меня был жуткий день: после обеда явился премерзкий тип из социального обеспечения. Он вел себя неописуемо гнусно.

Они перешли в кухню. Королева налила полкастрюли воды и бросила туда кости. Маргарита напряженно наблюдала, будто перед ней не королева, а Пол Дэниэлс, который сейчас покажет фокус.

— Ты умеешь чистить картошку, Маргарита?

— Конечно нет, а ты?

— Нет, но надо попробовать.

— Давай-давай, пробуй.— Маргарита зевнула.— Меня сегодня пригласили на ужин. Я позвонила Бобо Криш-Хатчинсону, у него дом в этом графстве. Он заедет за мной в половине девятого.

Варево в кастрюле покрылось слоем пены, и выкипевшая вода залила газ. Королева вновь зажгла конфорку и сказала:

— Ты же знаешь, нам не разрешается ездить на ужины; для нас все еще действует комендантский час. Ты бы лучше позвонила Бобо и отменила встречу. Значит, инструкцию Джека Баркера ты так и не прочла, да?

— Нет, я порвала ее на клочки.

— Тогда прочти мою,— посоветовала королева, обтесывая картошку столовым ножом.— Она у меня в сумочке.

Закончив чтение, Маргарита вставила в мундштук очередную сигарету и объявила:

— Я убью себя.

— Дело, конечно, твое, но что подумала бы про такой поступок Крофи?

— Да кому какое дело, что думает эта старая злобная ведьма? — взъярилась Маргарита.— К тому же она давно умерла.

---

[1] Боязнь толпы, открытых пространств.

— А для меня не умерла. Она всегда со мной.

— Меня она терпеть не могла,— сказала Маргарита.— И даже не скрывала этого.

— Еще бы: ты же была невыносимо противная девчонка,— сказала королева.— Своенравная, заносчивая и хитрая. Крофи всегда говорила, что ты наломаешь в жизни дров, и оказалась права — так оно и вышло.

После получасового молчания королева извинилась за свою несдержанность. Это переулок Ад на нее так действует, объяснила она. Незаметно привыкаешь говорить все, что думаешь. Без неловкости, конечно, не обходится, зато потом на душе почему-то становится легче.

Маргарита пошла в гостиную звонить Бобо Криш-Хатчинсону, а королева положила в кастрюлю овощи и бульонный кубик. Миссис Монди сказала, что бульон нужно часами держать на медленном огне — «чтобы выварить кости хорошенько», но королева страшно проголодалась, ей необходимо было сейчас же, немедленно съесть что-нибудь вкусное, сытное и сладкое. Она достала хлеб, джем и сделала себе несколько бутербродов. Ела стоя, прямо у кухонного стола, без тарелки и без салфетки.

Некая дама — видный политик — уверяла ее в свое время, что бедняки не могут прожить на государственное пособие по одной-единственной причине: «Не умеют они готовить простую, здоровую и питательную еду».

Королева глянула на кастрюлю, где булькал простой, здоровый и питательный бульон, и потянулась за очередным куском хлеба с джемом.

В тот вечер Филип долго метался по спальне, бормоча что-то себе под нос. Он выглянул в окно. Улица так и кишела его родственниками. Он увидел, как из дома его невестки выходят его жена и свояченица. Они двинулись через дорогу к домику его тещи. Он увидел, что сын копается в саду — *в кромешной тьме*, идиот проклятый! У Филипа было полное ощущение, что родня обложила его со всех сторон. Куда ни глянь, всюду эти козлы. Вон Анна вешает занавески, а Питер и Зара ей помогают. Уильям с Гарри сидят в разбитой машине и вопят. Филип чувствовал себя, как ковбой посреди обоза, который со всех сторон все теснее окружают индейцы.

Он забрался обратно в постель. Мерзкий, уже остывший бульон, который принесла ему жена, выплеснулся на серебряный поднос и потек на покрывало. Филип и пальцем не двинул, чтобы остановить бульонную струйку. Он слишком устал. Натянув простыню на голову, он подумал, что хорошо бы оказаться где-нибудь в другом месте. Где угодно, только не здесь.

21. И след простыл

Смотритель Королевских Воронов миновал Белую башню, потом повернул обратно. Что-то было не так, хотя он и не мог сообразить что именно. Он стоял неподвижно, стараясь сосредоточиться. Японские туристы принялись его фотографировать. Группа немецких подростков хихикала, потешаясь над его дурацкой шляпой. Американцы приставали с расспросами: неужто английская королева теперь и вправду живет в муниципальном доме?

Смотритель Королевских Воронов осознал, что́ именно не так, в тот самый миг, когда школьница из Токио щелкнула своим фотоаппаратом «никон». На снимке у Смотрителя Королевских Воронов был страшно разинут рот, а в выпученных глазах застыл первобытный ужас.

Из Тауэра исчезли Вóроны: значит, королевство падет.

22. Кот наплакал

В этот день Гарри впервые пошел в новую школу. В начальную школу на улице Ноготков. Чарльз стоял у кабинета директрисы, раздумывая, входить или нет. В кабинете шел какой-то спор. Он слышал возбужденные женские голоса, но слов разобрать не мог.

— Слышь-ка, пап, чего это там творится? — спросил Гарри.

Чарльз дернул сына за руку:

— Гарри, ради Бога, говори правильно.

— Если я буду говорить правильно,— сказал Гарри,— мне всю рожу расквасят.

— Кто же? — озабоченно спросил Чарльз.

— *Хто же,*— поправил Гарри.— А ребята с переулка Ад, вот хто.

Из кабинета вышла Вайолет Тоби, следом за ней показалась директриса, миссис Стрикленд.

— Только тронь еще моих внучков,— орала Вайолет,— ты у меня по суду ответишь, корова бесчувственная.

А у миссис Стрикленд и вправду весьма непреклонный вид, подумал Чарльз. На него накатил привычный страх, который школы неизменно вызывали в его душе. Он покрепче сжал ручонку Гарри — бедный малыш.

Одарив Чарльза ледяной улыбкой, миссис Стрикленд сказала:

— Простите за столь неприятную сцену. Мы были вынуждены наказать в пятницу Шантелль Тоби, а ее бабушка восприняла это довольно болезненно. По правде говоря, такое складывается впечатление, что она все выходные только об этом и сокрушалась.

— Вот как! — сказал Чарльз.— Что ж, хочу надеяться, что вам не придется наказывать Гарри, он мальчик очень впечатлительный.

— Фиг-то,— отозвался Гарри.

Чарльз поморщился, услышав возражение сына, и продолжал:

— Если вы мне скажете, в какой класс Гарри зачислен, я его отведу...

Тут Чарльзу на голову упала большая капля влаги. Он смахнул ее и в ту же минуту почувствовал, как ему брызнуло на руку.

— О Господи,— воскликнула миссис Стрикленд,— дождь пошел.

Подняв глаза, Чарльз увидел, что сквозь трещины в потолке сочится вода. В школе требовательно зазвенел звонок.

— Это пожарная тревога? — спросил Чарльз.

— Нет, это дождевая тревога,— ответила миссис Стрикленд.— Сейчас прибегут дежурные по ведрам; извините, мне надо идти.

И точно, Чарльз и Гарри увидели, что со всех сторон подходят дети и выстраиваются перед кабинетом директрисы. Тут в дверях появилась сама миссис Стрикленд с целой грудой пластмассовых ведер; она выдала каждому по ведру, а дети оперативно расставили их по коридору в местах протечки. Несколько ведер унесли в классы. Чарльза поразила несуетливая сноровистость участников этого мероприятия, о чем он и сообщил миссис Стрикленд.

— Еще бы,— сказала она, пренебрежительно отклоняя комплимент,— в этом деле опыта им не занимать. Мы ведь уже пять лет ждем, что нам починят крышу.

— Господи помилуй,— сказал Чарльз.— Гм, а вы не пробовали собрать на это деньги?

— Пробовали, конечно,— с горечью отозвалась миссис Стрикленд,— и собрали — как раз хватило на три дюжины пластмассовых ведер.

— Пап, мне по малому делу надо,— пронзительным шепотом сообщил Гарри.

— Куда, гм, его отвести? — обратился Чарльз к миссис Стрикленд.

— Вон туда,— она указала на игровую площадку, где выбоины стремительно наполнялись водой.— Возьмите-ка, ему пригодится.

Пошарив рукой за дверью кабинета, она подала Гарри зонт, на

котором красовалась тупо ухмыляющаяся физиономия Почтальона Пата [1].

— Как, у вас в здании нет уборных? — изумился Чарльз.

— Нет,— ответила миссис Стрикленд.

После схватки с нежелавшим открываться зонтом Гарри опрометью бросился к мрачному строению, где размещались уборные. Чарльз хотел было проводить его, но Гарри крикнул:

— Да ты что, папка, не позорь меня!

Чарльз пошел в директорский кабинет и написал заявление о приеме Гарри в начальную школу на улице Ноготков. Он обрадовался, услышав от миссис Стрикленд, что сыну положены бесплатные школьные обеды. Тем временем вернулся Гарри и отдал мокрый зонт миссис Стрикленд; она воткнула его в подставку у вешалки и повела сына с отцом в класс, куда был зачислен Гарри.

— Твоего учителя зовут мистер Ньюмен,— сказала она мальчику.

Подойдя к двери класса, миссис Стрикленд постучалась, и они вошли. Никто их появления не слышал и не видел. Слишком уж громко хохотали ученики, глядя, как мистер Ньюмен убийственно похоже изображает директрису. Даже Чарльзу, хотя он совсем недавно познакомился с миссис Стрикленд, было ясно, что мистер Ньюмен — талантливейший мим. Он очень точно ухватил и тяжелую нижнюю челюсть, и отрывистую манеру речи, и привычку сутулиться. Лишь когда дети наконец затихли, мистер Ньюмен, обернувшись, заметил своих посетителей.

— А, это вы,— сказал он, обращаясь к миссис Стрикленд.— А я сейчас показывал им Квазимодо: у нас сегодня с утра французская литература.

— Французская литература! — гневно повторила миссис Стрикленд.— Этим детям не худо бы сначала познакомиться с английской.

— Вся беда в том, что у нас нет учебников,— сказал мистер Ньюмен.— Мне приходится страницами переснимать из собственных книг — причем за свой счет.

Наклонившись, он поздоровался с Гарри за руку.

— Я — мистер Ньюмен, твой новый учитель, а ты — Гарри, верно? Чармиан, на сегодня Гарри поручается тебе, хорошо?

Пухлая девочка в ярких цветастых «бермудах» и майке с портретом Терминатора-2, выйдя к доске, оттащила Гарри от отца и повела к свободному месту рядом с собой.

— Ему положены бесплатные школьные обеды! — громогласно сообщила миссис Стрикленд.

— А тут всем положены бесплатные школьные обеды,— тихо заметил мистер Ньюмен.— Так что он среди своих.

Чарльз помахал сыну и вышел вместе с миссис Стрикленд. Лавируя между ведрами, расставленными в коридоре, Чарльз сказал:

— Значит, вам не хватает учебников?

— А еще бумаги, карандашей, клея, красок, гимнастических снарядов, ножей, вилок и ложек для столовой, а также учителей,— ответила миссис Стрикленд.— Но в остальном наша школа прекрасно оснащена. Родители нам очень помогают,— добавила она,— вот только денег у них нет. Они в состоянии купить весьма ограниченное количество лотерейных билетов и даже на дешевые распродажи ношеной одежды не могут ходить регулярно. Здесь вам не зеленый безбедный пригород, мистер Тек.

Чарльз был с нею вполне согласен; в районе Цветов даже листьев под ногами было кот наплакал; Чарльз подозревал, что и осенью их больше не станет.

[1] Почтальон Пат — герой популярной книжки для детей младшего возраста.

МАЙ

23. Два сапога — пара

Было первое мая, праздник весны. Чарльз крикнул Диане:

— Закрой-ка глаза, милая. У меня для тебя сюрприз.

А Диана еще и не открывала глаз: всего-то полседьмого утра, рань страшная; она повернулась на бок лицом к двери. Чарльз вышел из ванной и подошел к кровати.

— Открой глаза.

Она открыла один глаз, потом другой. Он выглядел как всегда, разве что волосы приглажены тщательнее обычного... Тогда Чарльз повернулся спиной, и Диана испуганно ахнула. С затылка у него свисал стянутый ярко-красной махровой ленточкой «конский хвост». Очень еще маленький, но тем не менее... Уши торчали теперь особенно заметно.

— Ну, *потряс*, дорогой.

— Правда?

— Ага, потрясон.

— Как ты думаешь, маме понравится? — Чарльз обеспокоенно нахмурился.

— Не знаю. Папе — точно нет.

— Но тебе-то нравится?

— Потрясандо.

— У нас свекла проклюнулась, а у дроздов одна самочка уже сидит на яйцах.

— Потрясающе.

Диана начала привыкать к этим садово-огородным репортажам ни свет ни заря. Каждое утро он вставал в шесть и принимался топать по саду в высоких резиновых сапогах. Она очень старалась проявлять интерес, но Боже милостивый... Она со страхом думала о предстоящей осени: он, очевидно, надеется, что она будет варить варенье, солить и мариновать овощи. Он уже просил ее не выбрасывать пустые банки, предвидя изобилие продуктов, выращенных своими руками. Она встала с постели и потянулась за шелковым халатом.

— Я так счастлив; а ты? — спросил он.

— Потрясающе счастлива,— солгала она.

— Ведь это значит,— продолжал Чарльз,— что сад экологически чист. Дрозды ни за что не станут...

Сквозь стену, отгораживающую их от соседей, они услышали, как заплакал Шэдоу, потом скрипнули пружины кровати: это встала его мать, чтобы сунуть ему бутылочку с чаем. Прежде чем уйти в ванную, Диана сказала:

— Чарльз, мне нужно сделать прическу. Дай мне, пожалуйста, денег.

— Но я собирался на этой неделе купить мешок костной муки,— растерянно сказал Чарльз.

Шэрон крикнула через стену:

— Ди, я тебя сама подстригу. Зря, что ли, шарашила в ученицах у парикмахера. Зайди часиков в десять.

— Звукоизоляция в этих домах чудовищная. Ее, можно сказать, просто нет.

Сквозь другую стену Диана с Чарльзом услышали, как Уилф Тоби говорит жене:

— Только бы Диану не обкорнали.

Потом в стену ударило изголовье кровати: это Вайолет, проворчав: «Кончай трепаться», повернулась на другой бок.

Диана и Чарльз спустились вниз и стали шарить по полкам в поисках чего-нибудь на завтрак. В денежном отношении они, как и вся их родня в переулке Ад, были совершенно, до неприличия на мели, и днище их корабля уже царапали предательские скалы государственного пособия. Чарльз дважды посылал целую пачку официальных прошений. Они

каждый раз возвращались с сопроводительным письмом, утверждавшим, что бумаги «неверно оформлены».

Когда прошения вернулись во второй раз, Диана сказала:

— А я думала, ты знаешь арифметику, правописание и все такое.

Швырнув письмо через всю кухню, Чарльз завопил:

— Да разве это английский язык? Это канцелярская абракадабра! А их арифметику сам черт не разберет.

Усевшись опять за кухонный стол, он сделал еще одну попытку, но расчеты были ему явно не по силам. Он уяснил одно: они не могут требовать Жилищное Пособие, пока не известен размер Дополнительной Выплаты Малообеспеченным; а Дополнительную Выплату можно просить, только когда установлен размер Жилищного Пособия. Кроме того, существует Семейный Кредит, пользоваться которым они еще не могут, но который, судя по всему, тоже принимается в расчет. Пытаясь во всем этом разобраться, Чарльз невольно вспомнил Алису в стране чудес. Подобно ей, он блуждает в каком-то сюрреалистическом мире. Он получает письма с просьбой позвонить, но когда он звонит, никто не берет трубку. Он сам пишет письма, но не получает ответа. Ему ничего другого не остается, как отправить третью пачку прошений и ждать от государства обещанных этим самым государством пособий. А они с Дианой едва сводят концы с концами. Они меняют вещи на продукты, занимают деньги и уже задолжали пятьдесят три фунта восемьдесят один пенс Виктору Берримену, хозяину «Еды-да-да» и филантропу.

В дверь постучал молочник — они ему давно не платили. Обшарив глазами кухню, Диана схватила с полки набор рюмок для яиц веджвудского фарфора. Чарльз побежал за нею, зажав в кулаке серебряную ложку с фигурной ручкой в виде апостола.

— Попроси у него дюжину яиц,— шепнул он, сунув жене ложку в свободную руку.

Молочник Барри стоял на ступеньках крыльца, не спуская глаз со своей тележки. Когда дверь отворилась, у него упало сердце: он понял, что ему опять не заплатят наличными.

В тот же день Чарльз возился в саду, связывая в пучки стебли кормовых бобов; мимо прошла Беверли Тредголд, толкая перед собой старую высокую коляску, в которой лежала ее крохотная племянница. На Беверли была черная мини-юбочка из синтетического трикотажа, белые туфли на высоких каблуках и красный свободного покроя жакет. Ноги у нее посинели от холода. У Чарльза свело желудок. Он выпустил из рук стебли, и они с треском повалились на землю.

— Подсобить? — спросила Беверли.

Чарльз кивнул; Беверли вошла в сад и помогла ему подобрать стебли. Когда Чарльз соорудил из них нечто вроде вигвама, Беверли ухватила их за макушки и держала, пока Чарльз связывал их зеленым шпагатом. От нее пахнет дешевыми духами и сигаретами, думал Чарльз. Она должна бы вызывать у меня отвращение. Он судорожно пытался сообразить, что бы такое сказать, тут сойдет что угодно. Главное — оттянуть минуту расставанья.

— Когда нас снова вызовут в суд? — спросил он, хотя прекрасно помнил когда.

— На той неделе,— сказала Беверли.— Ох, страх меня берет.

Он заметил, что у нее не хватает четырех коренных зубов. Ему хотелось поцеловать ее в губы. Вышло солнце, и посеченные концы ее волос засверкали; ему хотелось погладить ее по волосам. Она зажгла сигарету, и он, активный противник курения, захотел ощутить ее дыхание. Сумасшествие какое-то, подумал он, начиная понимать, что влюбился в Беверли Тредголд. Либо дело обстоит именно так, либо же он подцепил вирус, разрушительно действующий на его умственные способности, во всяком случае, на его здравый смысл. Мало того, что она

простолюдинка, у нее и вид плебейский до вульгарности. Беверли двинулась было прочь, и Чарльз сменил тактику, лишь бы удержать ее.

— До чего же обворожительный ребенок! — вскричал он.

По правде говоря, маленькая Лесли отнюдь не была приятным на вид младенцем. Она лежала на спине и сердито сосала большую розовую соску-пустышку; взгляд ее голубых глаз, неотрывно смотревших в небо над переулком Ад, напоминал взгляд разочарованного жизнью старика. От нее исходил тяжелый запах. Одежда на малышке не отличалась свежестью. Поправив ей у шейки флюоресцирующее розовое редкой вязки одеяло, Беверли собралась двигаться дальше.

— А быстро оно в суд попало, наше дело, правда? — продолжал суетиться Чарльз.

«Наше» — какое драгоценное слово, ведь оно означает, что у них с Беверли Тредголд есть что-то общее!

— Это из-за вас,— сказала Беверли.— Они ж хотят побыстрее с вами разделаться.

— Вот как?

— Ага. Засадить вас в кутузку, подальше от греха.

— Ну уж нет, в тюрьму я не пойду.— Чарльз даже рассмеялся такому нелепому предположению. Он вообще ни в чем не виноват, в конце-то концов. А здесь, как ни говорите, Британия, не какая-нибудь не имеющая понятия о законности «банановая республика», где правит деспот в темных очках.

— Зачем им, чтоб вы разгуливали на свободе — того и гляди снова посадите свою мамашу на трон.

— Вот уж о чем и думать не думал,— запротестовал Чарльз.— Да я никогда еще не был так счастлив. А сейчас, в эту минуту, я, Беверли, счастлив безумно.

Глубоко затянувшись, Беверли докурила последние миллиметры сигареты и швырнула горящий фильтр в канаву, где уже валялось много таких же окурков. Поглядев на серые фланелевые брюки и блейзер Чарльза, она сказал:

— Уоррен Дикон продает цветные спортивные костюмы из эластика, по десять фунтов за штуку, вы бы купили, чтобы возиться в саду. У него и кроссовки есть, и всякое такое.

Чарльз жадно ловил каждое ее слово. Раз Беверли советует, он разыщет Уоррена Дикона, выследит его и потребует выдать ему этот костюм, что бы он собой ни представлял. Малышка в коляске захныкала, и Беверли, бросив ему: «Ну, пока», двинулась по переулку дальше. Чарльз видел синие жилки вен у нее под коленями, его тянуло полизать их. Он влюблен в Беверли Тредголд! Ему хотелось плакать и петь, смеяться и кричать. Он неотрывно смотрел, как она проходит полицейский кордон, как презрительно сплевывает точнехонько у ног старшего инспектора Холиленда. Вот это женщина!

В окно стукнула Диана и мимически изобразила, будто пьет из чашки. Чарльз притворился, что не понял намека, и ей пришлось выйти из дому и спросить:

— Хочешь чаю, милый?

— Нет,— раздраженно бросил Чарльз,— от этого чертова чая меня уже мутит. Изо всех пор сочится.

Диана ничего не ответила, но губы у нее задрожали, а глаза наполнились влагой. Почему он так гадко ведет себя с нею? Сколько сил она положила, создавая уют в их ужасном домишке! Научилась готовить ему эту жуткую, якобы способствующую долгожительству пищу. Одна управляется с детьми. Она даже согласна смириться с его дурацким «конским хвостиком». А у нее в жизни никакой радости. Она никуда не ходит. Она даже не может позволить себе купить батарейки для приемника и теперь не имеет понятия, какие диски сейчас самые модные. Наряжаться ей совершенно незачем. Шэрон безбожно обкромсала ей волосы. Ей нужно сделать маникюр и педикюр, но не как попало, а профессионально. Если

она сама о себе не позаботится, то скоро станет похожа на Беверли Тредголд, и Чарльз тут же потеряет к ней всякий интерес.

— Это ты вигвамы для мальчиков строишь? — спросила Диана, трогая бобовые стебли.

Чарльз бросил на нее такой испепеляюще-презрительный взгляд, что она вернулась в дом. Она уже вымыла и вычистила все что могла, перегладила белье; мальчики куда-то убежали, делать больше было нечего. В будущем ее ждало одно-единственное развлечение — суд над Чарльзом. Поднявшись наверх, она заглянула в гардероб. Что же ей надеть? Просмотрев туалеты, она выбрала туфли и сумочку — и сразу утешилась. Еще в детстве она обожала игры с переодеваньем. Закрыв дверцу шкафа, она решила про себя, что строгий черный костюм прибережет для заключительного дня процесса — Чарльза ведь в самом деле могут посадить в тюрьму.

Диана снова открыла шкаф. А что она наденет на тюремное свиданье?

24. Как механик механику

Была полночь; Спигги распластался в огромной луже, стоявшей на полу в кухне Анны. Анна тряпкой собирала воду. На ней были зеленые резиновые сапоги, джинсы и ковбойка. Выбившись из-под черепаховой заколки, ее густые светлые волосы рассыпались по спине. Оба были мокрые и растрепанные.

Вечером Анна включила стиральную машину и отправилась навестить бабушку, а вернувшись, обнаружила, что кафельный пол в кухне покрыт трехдюймовым слоем воды. Немедленно послали за Спигги.

— Что я сделала неправильно? — спросила Анна.

— Шланг у вас открутился,— ответил Спигги, стараясь не глотать слоги.— Только и делов, а так все путем! Из баб мало кто может машину подключить.

— Спасибо,— Анне комплимент понравился.— Надо мне завести себе набор инструментов.

— Нешто у мужа вашего нету? — спросил Спигги.

— Мы с мужем разъехались много лет назад,— сказала Анна.

— Вон оно как?!

Анна удивилась: ведь в англоязычных странах все население до последнего человека всегда в курсе ее дел. Отжав тряпку над оцинкованным ведром, она спросила:

— Вы разве не читаете газет, Спигги?

— А чего толку,— сказал Спигги.— Я читать-то не умею.

— А телевизор смотрите? Радио слушаете?

— Не,— ответил Спигги.— У меня от них голова пухнет.

До чего же славно разговаривать с человеком, который относится к ней без всякого предубеждения! Спигги закрепил шланг, потом они общими усилиями прикрутили заднюю панель и задвинули стиральную машину на место, под пластмассовый стол.

— Порядок,— сказал Спигги.— Еще надо чего-нибудь наладить?

— Нет,— сказала Анна.— И потом, уже очень поздно.

Спигги намека не понял и уселся за крохотный кухонный столик.

— Я тоже разъехался с женой,— объявил он, вдруг преисполнившись жалости к самому себе.— Может, как-нибудь вечерком сходим в клуб, выпьем по стаканчику, в бильярд поиграем?

Спигги положил руку Анне на плечо, но без всякой задней мысли — просто по-приятельски, как один разъехавшийся с супругой механик по стиральным машинам может положить руку на плечо другому. Пока Анна размышляла над его предложением, Спигги представил себе, как он придет в Рабочий клуб, ведя под руку принцессу Анну. Мужики небось живо отучатся потешаться над его ростом и фигурой. Многим женщинам

очень даже нравятся маленькие толстые мужчины. Посмотрите хоть на Боба Хоскинса [1]— ничего, в полном порядке.

Вынырнув из-под похожей на дельфина руки Спигги, Анна налила ему еще стакан пива «Карлсберг» и посмотрелась в зеркало. Не подстричься ли ей? А то носит одну и ту же прическу невесть сколько лет. Может, пора ее сменить? Особенно теперь, когда ниже падать уже некуда: мать-одиночка, живет в муниципальном доме, на дворе полночь, и в эту позднотищу за ней ухаживает толстячок коротышка.

— А что, почему бы и нет, Спиггз? — сказала она, удивляясь самой себе.— Я найму кого-нибудь посидеть с детьми.

Спигги не верил своему счастью. Он купит пленку, зарядит аппарат и попросит кого-нибудь из приятелей снять их с принцессой Анной, когда они будут чокаться, отмечая встречу. Потом он вставит фото в рамочки, а одно подарит матери. Наконец-то она будет им гордиться. А еще купит себе новую рубашку; где-то у него и галстук завалялся. Теперь уж он не наделает тех ошибок, что с прочими женщинами, когда на первом же свиданье с ходу лез к ним под лифчик, а в машине запускал кассету с сальными анекдотами. С ней он спешить не станет. Она же все-таки леди.

Он нехотя встал. Поправил комбинезон в паху. И вспомнил про недавно купленный фургон. Стоит сейчас за воротами. Начинающий художник по вывескам начертал на борту: «Л. А. СПИГГЗ, ПЕРВОКЛАССНЫЙ МАСТЕР ПО НАСТИЛКЕ КАВРОВ». Прежде фургон принадлежал компании «Бритиш телеком», как указывалось в формуляре. То был единственный законный документ на руках у Спигги. Ни прав, ни страховки, ни квитанции об уплате дорожного налога у него не было. Он уповал на удачу; и потом, где ему набрать столько денег? После того как он раскошелился за фургон — вы ж понимаете. Законопослушание — удовольствие дорогое, и бензин тоже.

— Ладно, я пошел,— сказал Спигги.— Пора баиньки, а то цвет лица испортится.

Женщины любят, чтоб их смешили, он про это слыхал. Анна проводила его до дверей и на крыльце попрощалась за руку. Ей пришлось для этого слегка нагнуться. Зато Спигги казалось, что он стал десяти футов ростом; он захлопнул дверцу своего желтого фургончика и, постреливая глушителем, помчался прочь из переулка. Анна задумалась: может, надо было сказать Спигги, что «ковров» пишется через «о»?

Шум, поднятый фургоном, разбудил принца Филипа, и он расхныкался. Королева обняла мужа и стала его баюкать. Утром она вызовет врача.

25. Не бей лежачего

В воскресенье утром доктор Поттер, молодая австралийка, дети у которой сидели без присмотра, взяла руки Филипа в свои.

— Неможется, мистер Маунтбеттен? Хандрим помаленьку?

Королева беспокойно переминалась в изножье кровати. Хоть бы Филип не сорвался на грубость. Его несдержанность и раньше бывала причиной разных неприятных эпизодов.

— Естественно, *хандрю,* черт побери! Я ложусь! — рявкнул Филип, вырывая руки из докторских ладоней.

— Но вы ведь лежите уже — сколько?..

— Несколько недель,— подсказала королева.

Доктор Поттер глянула на заглавия книг, сложенных на тумбочке возле кровати: *«Говорит принц Филип», «Остроты принца Филипа», «Новые остроты принца Филипа», «Соревнования по управлению экипажами».*

— А я и не знала, что вы писали книги, мистер Маунтбеттен,— сказала доктор.

— Я много чего делал, пока проклятый Баркер не поломал мне жизнь.

Доктор Поттер осмотрела глаза Филипа, его горло, язык и ногти на

[1] Боб Хоскинс — популярный английский актер.

руках. Прослушала легкие и сердце. Уговорив его сесть на край кровати, проверила рефлексы, постукивая его по коленям блестящим молоточком. Измерила давление. Королева удерживала лежащего мужа, пока у него из вены левой руки брали кровь. Доктор Поттер сразу же сделала анализ крови на сахар.

— Норма,— сказала она, бросая в мусорную корзину полоску с результатом анализа.

— Тогда позвольте узнать, доктор, какой вы поставили диагноз? — спросила королева.

— Похоже на классический случай депрессии. Если только не втирает нам очки. Дайте-ка я осмотрю лобок, мистер Маунтбеттен.

И она попыталась развязать шнурок на его пижамных брюках.

— Пошла ты знаешь куда! — взвился принц Филип.

— Тогда можно мне вас кой о чем спросить?

— Я готова ответить на любые вопросы,— сказала королева.

— Нет, это не пойдет; мне ж нужно узнать — как у него с памятью. Когда вы родились, Фил? — оживленно спросила она.

— Десятого июня тысяча девятьсот двадцать первого года, на острове Корфу, в Монрепо,— не задумываясь, отрапортовал тот, будто перед военным судом.

— В Монрепо? — Доктор Поттер засмеялась.— Ишь шутник какой! Это ж адрес Эдны Эвридж [1].

— Нет-нет,— сказала королева, поджимая губы.— Он говорит чистую правду. Он родился в доме под названием «Монрепо».

— А маму как звали, Фил?

— Принцесса Анна Баттенбургская.

— Торт еще такой есть, да? А папу?

— Эндрю, принц Греческий.

— Братья и сестры есть?

— Четыре сестры. Маргарита, замужем за Готфридом, князем Гогенлоэ-Лангенбургским, офицером немецкой армии. Софи, замужем за князем Кристофом фон Гессе, летчиком люфтваффе...

— Достаточно про сестер, дорогой,— прервала его королева, видя, что из тщательно хранимых семейных тайников так и полезли опасные призраки — хватило бы на целый мюзикл Басби Беркли [2].

— Что ж, он compos mentis [3],— заключила доктор Поттер, выписывая рецепт.— Давайте посадим его на этот транквилизатор, ага? Я забегу попозже, возьму мочу. Сейчас тороплюсь, у меня список больных длиннее кенгуриного хвоста.

Когда они сошли по лестнице вниз, доктор Поттер сказала:

— Вы бы его помыли маленько, а? От него воняет почище, чем из логова больного динго.

Королева обещала постараться; правда, когда она недавно попыталась умыть мужа, он зашвырнул мокрую губку в другой угол спальни.

— Надо же как все оборачивается,— засмеялась доктор Поттер.— Я ведь еще школьницей получила золотую медаль герцога Эдинбургского. А мужа вашего я последний раз видела в Аделаиде. На нем был стильный такой костюмчик, а на лице — с полтонны грима.

И доктор Поттер поспешила в дом напротив. В переулке Ад ее ждал еще один больной. Человеческому здоровью нищета явно не на пользу.

26. Шоу должно продолжаться [4]

Гаррис был в глубоком горе. Король, предводитель Стаи, погиб под колесами фургона, доставлявшего вермишелевый суп к служебному вхо-

---

[1] Эдна Эвридж — комический персонаж серии австралийских телепередач.

[2] Басби Беркли (наст. имя Уильям Беркли Инос; 1895—1976) — американский хореограф и режиссер, постановщик театральных и киномюзиклов 30-х гг.

[3] В здравом уме и твердой памяти, вменяем *(лат.)*.

[4] Песня современного популярного эстрадного певца Фредди Меркьюри.

ду магазина «Еда-да-да». Гаррис, увидев фургон, загавкал, пытаясь предупредить Короля, но было уже поздно.

Прикрыв тело Короля куском дерюги, Виктор Берримен положил его в коробку из-под хрустящего картофеля. Потом пошел к Мэнди Картер, формальной хозяйке Короля, и сообщил ей печальную новость. Хотя Мэнди редко кормила пса и частенько гнала его из дома, она долго плакала. Гаррис с недоверием наблюдал за нею. Бедный Король, у него даже ошейника не было. Даже миски для еды. Вообще ничего своего.

От Виктора Берримена Мэнди позвонила в муниципалитет; приехал серый фургон, Короля сунули в мешок, мешок бросили в кузов, и фургон покатил прочь. Несколько сотен ярдов Стая бежала за ним следом, но в конце концов сдалась, и собаки разбрелись по домам.

Приковыляв в переулок Ад, Гаррис заполз под столик в прихожей. От еды (сочного бычьего хвоста) он отказался; это обеспокоило королеву, но, отметил он, ненадолго. Как всегда, она была чересчур поглощена Филипом, чтобы уделить должное внимание своему псу.

Поспав немного, Гаррис лаем потребовал, чтобы его выпустили; огородами он пробрался к тщательно возделанному участку Чарльза. Там Гаррис раскидал компостную кучу, побегал взад-вперед по ровным бороздкам, лишь накануне старательно засеянным Чарльзом. Передохнув немного, он сдернул с веревки белые джинсы Дианы, погонялся за малиновкой и убежал искать Кайли (разыгрывавшую из себя недотрогу), имея в виду пристать к ней с вполне определенными намерениями. Король успел преподать ему, пожалуй, всего один, но важный урок: чтобы выжить в переулке Ад, надо быть очень крутым. А теперь, когда Король погиб, Гаррис намеревался стать Псом Номер Один.

Король умер. Да здравствует король! — думал Гаррис.

В понедельник утром, со второй почтой, королеве принесли авиаписьмо.

Служебный вход
Театр «Ройял»
Данфермлайн-Бей
о. Южный
Новая Зеландия

Милая моя мамочка!

Я не мог поверить собственным ушам, когда услышал результаты выборов. Это очень противно, жить в районе муниципальной застройки?

Я заявил Крейгу, нашему режиссеру:

— Мне придется поехать домой. Маме нужна поддержка.

Но Крейг сказал:

— Подумай сам, Эдди, что ты можешь сделать?

Я подумал, и, как всегда, Крейг оказался прав. Было бы жутко непрофессионально с моей стороны бросить труппу посреди гастролей, верно ведь?

«Овцы!» идут на ура. Чуть не в каждом кресле по заднице. Спектакль и правда хорош. А какие блестящие актеры, мамочка! Настоящие опытные лицедеи. В овечьих костюмах сейчас ужасно жарко, а уж петь в них и танцевать — вообще кошмар, но я не слышал ни словечка жалобы.

Новая Зеландия скучновата и малость отстала от века. Вчера видел свадебную процессию, выходившую из церкви, так на женихе были брюки-клеш и широкий галстук ромбом. Умора!

Крейг пребывает в некотором унынии — впрочем, в дождливую погоду он всегда не в лучшей форме. Ему необходимо ощущать на себе лучи солнца, тогда он не распадается на части.

Вчера было жутко смешно: одна из ведущих актрис — Дженни Лав — в конце первого акта исполняла свой главный номер, «Хоть шерсти клок», и вдруг с нее слетела овечья маска. Она провалила всю сцену, не смогла проблеять ни слова. Мы с Крейгом так и покатились со смеху, а зрители вроде

бы даже не заметили, что Дженни потеряла маску! Правду сказать, физиономия у Дженни очень смахивает на овечью.

На следующей неделе мы уезжаем в Австралию. Билеты уже продаются и идут хорошо; я бы очень хотел, чтобы ты, мамочка, посмотрела «Овец!». Музыка прелестная, танцуют потрясающе. Были у нас, правда, некоторые трудности с автором, Верити Лоусон. Она совершенно разошлась с Крейгом в решении сцены забоя скота. Верити хотела, чтобы сзади, с колосников, спустили на крюке мертвую овцу, а Крейгу хотелось, чтобы Баран (его играет Маркус Лавендер; помнишь «Счет»?) исполнил танец смерти. В конце концов Крейг победил, но Верити успела призвать на помощь союз писателей и учинить всякие другие неприятности. Ну, хватит с тебя театральных сплетен; посылаю «овечью» бейсбольную кепку и программу. Когда дойдешь до «Главного администратора турне», увидишь, что я сменил фамилию: я теперь Эд Виндмаунт. Всех умею помирить, правда?

С любовью, Эд

P. S. Получил от бабушки странное письмо: ликуй, пишет она, Эверест покорен!

27. Мы с королевой

Подойдя к калитке Вайолет Тоби, королева столкнулась с придурковатым подростком. На голове у него красовалась бейсбольная кепка с буквой «Э». «Э», подумала королева, означает, наверное, «энергия», а может, «Элтон» — в честь популярного певца. Королева спросила про Лесли, его маленькую единокровную сестренку.

— Орет целыми ночами,— сказал он, и королева заметила у него под глазами черные круги.— Поганка она,— заключил придурок.

Королеве показалось, что «поганка» — чересчур резкое слово для такой крохи.

— А это ее соска? — спросила она, указывая на огромную розовую пустышку, висящую у него на шее.

— Нет, моя,— ответил юнец.

— Не поздновато ли тебе соску сосать? — озадаченно спросила королева.

— Не, она мне для дела,— ответил придурок и, достав из складок своих обширных штанов ватный тампон, засунул себе в ноздрю, а потом, к изумлению королевы, стал мазать им по лицу.

— У тебя воспаление носовых пазух? — спросила королева.

— Не-а, кайф ловлю.

И, посасывая пустышку, зашагал прочь. Королева, однако, успела его предупредить:

— У тебя шнурки на туфлях развязались!

— Никакие это не туфли,— крикнул в ответ придурок,— это кроссовки. И шнурки теперь одни козлы завязывают!

Королева зашла за Вайолет Тоби, и они направились на остановку автобуса, обсуждая последние события в семье Вайолет. Все складывалось очень печально: там был и разлад между супругами, и измена, и переломанные кости. В автобусе обе женщины заворчали, недовольные дороговизной проезда.

— Шестьдесят пенсов, черт бы их драл,— не могла успокоиться Вайолет.

Полчаса спустя они уже бродили по огромному крытому рынку и, подбирая с мощенного булыжником пола овощи и фрукты, совали их в свои хозяйственные сумки.

— Только ополоснуть — и порядок,— приговаривала Вайолет, разглядывая крупные, чуть сморщенные груши.

Вокруг перекрикивались торговцы, разбирая свои лотки. У тротуара, урча работающими двигателями, стояли дорогие крытые грузовики иностранного производства. Там и сям, как коты в поисках поживы, рыскали инспекторы дорожного движения. Бедняки торопливо подбирали отбросы, пока не явились муниципальные уборщики. Нагнувшись за буры-

ми пятнистыми яблоками (в готовку сойдут), лежавшими у канализационной решетки, королева мысленно ужаснулась: чем я занимаюсь?! Прямо как голодающий индус. И опустила яблоки в сумку.

В автобусе Вайолет и королева протянули водителю по шестьдесят пенсов, но тот вдруг сказал:

— Плата теперь одна, пятнадцать пенсов за поездку.

— С каких это пор? — недоверчиво спросила Вайолет.

— С этих самых: мистер Баркер час назад объявил,— ответил водитель.

— Молодец мистер Баркер,— заметила королева, отправляя назад в кошелек нежданный дар в сорок пять пенсов.

— Стало быть, по пятнадцать,— повторил водитель.

— Ага,— Вайолет бросила в черную мисочку тридцать пенсов.— Мы с королевой берем два.

28. Выход в свет

В понедельник вечером королева сидела у Анны в гостиной и беседовала со Спигги о металлоломе. Наверху одевалась Анна, собираясь в Рабочий клуб, а королева пришла посидеть с внуками. Спигги разоделся в пух и прах: новая белая рубашка, галстук с лошадиными головами и черные кримпленовые брюки на широком кожаном ремне с пряжкой в виде львиной головы. На ковбойские сапоги поставлены новые подметки и набойки. Спигги уже вручил Анне красную пластмассовую розу в целлофановом фунтике. Сейчас роза, чуть клонясь вправо, стояла на приставном столике в стеклянной вазе Лалика [1].

Спигги не пожалел сил на свой туалет. Перочинным ножом выскреб грязь из-под ногтей. Купил батарейку для бритвы. Сходил к матери принять ванну, вымыл с ополаскивателем свои длинные, до плеч волосы. Зашел в аптеку, приобрел флакон лосьона после бритья «Молодой турок» и щедро наплескал себе под мышками и в паху. Особо тщательно подбирал украшения: не хотелось надевать ничего слишком кричащего. В конце концов повесил на шею одну-единственную массивную золотую цепочку, на руки надел хромированный браслет со своей фамилией и всего три перстня. Толстый серебряный с черепом и скрещенными костями, рубиновый с печаткой и золотой соверен.

Анна намеренно надела расширенное к подолу, скрывающее фигуру платье и туфли на низких каблуках. Ей не хотелось подавать Спигги надежду, будто их дружба перерастет в любовную связь. Спигги был вовсе не в ее вкусе; она предпочитала смуглых стройных, изящных мужчин. Ярый мужской напор Спигги ее немного пугал. Анне необходимо было ощущать, что она держит ситуацию под контролем.

Королева проводила их до крыльца и постояла, глядя, как они садятся в фургон. Если бы Филип узнал о времяпрепровождении своей единственной дочери, подумала королева, он бы не пережил этого. Включив телевизор, она стала смотреть новости. Если верить Би-би-си, страна вступала в эпоху поразительного обновления. Перемены ожидались во всех областях. Газ и электричество подешевеют, а реки станут чище. Создание ракет «Трайдент» отменяется. В школьных классах будет не более двадцати учеников. Выделяются дополнительные средства на школьные учебники и на подготовку медицинских кадров. Возможно, откроются новые учебные заведения инженерного профиля. Социальные пособия вырастут вдвое. Вечно запаздывающие или пропадающие навеки почтовые переводы уйдут, надо полагать, в прошлое.

Показали безработных строителей, осаждающих центры по трудоустройству, так как было объявлено о проекте, который корреспондент Би-би-си назвал «крупнейшей программой жилищного строительства и обновления жилого фонда за всю историю Англии».

[1] Рене Лалик (1860—1945) — французский художник, ювелир, дизайнер.

Сырые, холодные дома останутся лишь в воспоминаниях. Корреспондент Би-би-си по медицине и здравоохранению подтвердил, что снижение числа заболеваний, вызываемых сыростью (бронхит, воспаление легких, некоторые виды астмы), принесет национальной системе здравоохранения огромные средства. Затем пошел прямой репортаж с Даунинг-стрит: Джек Баркер, стоя на ступеньках своей резиденции, размахивал документом, в котором и предусматривались эти волшебные перемены. Крупным планом, во весь экран, показали название «Народная Британия!». А вокруг этих ярко-синих букв восторженно улыбались лица всех рас и оттенков кожи.

Потом на экране появились ворота, закрывающие проход на Даунинг-стрит. Их снимали снизу, и потому люди в напиравшей на ворота толпе казались пигмеями. Джек подошел к микрофону, установленному перед входом в дом номер десять.

— Наше правительство свои обещания выполняет. Мы обещали построить в этом году полмиллиона новых домов — и уже предоставили работу сотне тысяч строителей! Впервые за долгие годы им не понадобятся пособия по безработице!

В толпе одобрительно засвистели, затопали ногами.

— Мы обещали снизить стоимость проезда в общественном транспорте — и снизили.

Толпа вновь начала бесноваться. Многие из присутствующих, оставив дома машины, приехали к резиденции премьер-министра на поезде, на метро, на автобусе — кто как.

— Мы обещали упразднить монархию — и упразднили,— продолжал Джек.— Букингемский дворец очищен от паразитов!

Камера общим планом показала толпу за оградой, ликующую громче прежнего. В воздух взлетали шляпы и кепки.

Королева заерзала на стуле, ей стало не по себе от энтузиазма, который вызвало у ее бывших подданных именно это достижение нового правительства.

Когда восторженный рев несколько стих, Джек продолжил с прежним пылом:

— Мы обещали, что правительство будет более открытым, и выполняем свое обещание. А сейчас давайте вместе, сообща, устраним ту преграду, которая отделяет правительство от его народа. Долой преграды!

Отойдя от микрофона, Джек в сгущающихся сумерках зашагал по Даунинг-стрит к толпе. Из заранее развешенных громкоговорителей грянуло: «Иерусалим мой...», а из стоящего неподалеку фургона вылезли мужчины и женщины в огнестойких комбинезонах, со сварочными щитками на головах. Они зажгли кислородно-ацетиленовые горелки и принялись резать металлические прутья ворот; толпа отпрянула. Джеку вручили щиток и автоген, и он тоже стал резать металл. Репортаж с места события продолжался, несмотря на полную тьму на Даунинг-стрит, озаряемую лишь синим пламенем горелок.

Королева с нарастающим волнением смотрела затянувшийся выпуск новостей. Она восхищалась чутьем, с которым Джек выстраивал свой спектакль, его очевидным умением общаться с массами. В свое время королеве очень пригодился бы такой Джек в отделе Букингемского дворца по связям с прессой!

Ворота рухнули — сразу и целиком, как на сцене,— и толпа, шагая прямо по ним и увлекая Джека за собой, хлынула на Даунинг-стрит и окружила вход в дом номер десять. В небе вспыхнул фейерверк, осветив запрокинутые к небу лица людей, исполненные счастья и надежды.

Вместе с согражданами — и теми, кто стоял в толпе, и теми, кто сидел дома у телевизоров,— королева горячо надеялась, что все дорогостоящие проекты Джека по обновлению Британии осуществятся. В спальне у королевы проступило на стене пятно сырости и растет теперь с каждым днем; денежные переводы никогда не приходят вовремя; и куда

это годится, что у Уильяма в классе тридцать девять учеников, а учебников вечно не хватает?

После новостей пошла беседа в телестудии — главным образом, о периоде правления Тэтчер. Передача нагнала на королеву тоску, и она, переключив канал, стала смотреть, как на американском Среднем Западе Джон Уэйн [1] защищает слабых от сильных. Королева хотела было сходить к Крисмасам, где Зара с Питером играют в новую электронную игру «Буря в пустыне», но потом раздумала. Ковбойские фильмы лучше смотреть в одиночестве, когда никто не мешает.

Вернувшись домой, Питер и Зара увидели, что бабушка заснула, сидя в кресле. Они выключили телевизор и, тихонько прикрыв дверь гостиной, отправились спать.

29. Полный порядок

Старший инспектор Холиленд дежурил как раз в тот день, когда у кордона в переулке Ад появилась группа американских тележурналистов. В нее входила некая личность неопределенного пола по имени Рэнди Фокс, стриженая, в джинсах, кроссовках «Найк», белой майке и черном кожаном пиджаке. На лице Рэнди не было ни грамма косметики, но под майкой все-таки просматривались маленькие груди. Ведущая — склонная к ажитации молодая женщина в розовом костюме — звалась Мэри-Джейн Вокульски. Ее золотистые волосы развевались на ветру как флаг. Звукооператор Бруно О'Флинн держал микрофон высоко над головой старшего инспектора. Бруно ненавидел Англию и не понимал, как здесь вообще можно жить. Господи, вы только посмотрите на этих людей. У них у всех такой вид, будто они смертельно больны. Режиссер шагнул вперед. По требованию компании он, работая в Англии, надевал костюм, рубашку и галстук; это откроет перед вами все двери, заверяли его дома, в Штатах.

— Приветик! — обратился режиссер к инспектору.— Мы из Энти-ви, хотим взять интервью у английской королевы. Сначала, как я понимаю, надо зарегистрироваться здесь. Меня зовут Том Дикс.

Холиленд бросил взгляд на аккредитационную карточку, болтавшуюся у Дикса на темно-синем пиджаке в тонкую полоску.

— Никакое лицо по имени «английская королева» в переулке Адебор не проживает.

— Кончай, приятель,— улыбаясь, сказал Том.— Мы же знаем, что она здесь.

Мэри-Джейн уже готовилась к съемке: обводила черным карандашом губы и стряхивала золотистые волоски с немыслимо розового жакета. Рэнди, кляня под сурдинку освещение, взвалила на плечо камеру.

А старший инспектор Холиленд, сознавая, что за ним — новенький, только принятый парламентом закон, а за углом, на Дельфиниум авеню, стоит автобус, набитый полицейскими, тем временем безмятежно продолжал:

— В соответствии с законом о членах бывшего королевского семейства, часть девятая, параграф пятый, их фотографирование, интервьюирование и съемка на кино- или видеопленку с целью воспроизведения в печатных или электронных средствах массовой информации запрещается.

— Этот козел балабонит так, будто ему горячую сосиску в задницу сунули,— злобно проворчала Рэнди.

Том еще шире заулыбался Холиленду.

— О'кей, сегодня никаких интервью; а что, если мы только дом ее снаружи поснимаем?

[1] Джон Уэйн (1907—1979) — популярный американский актер, игравший главные роли в многочисленных вестернах.

— За это меня наверняка уволят с работы,— сказал Холиленд.— А теперь, будьте любезны, освободите территорию, вы мешаете проходу.

Тут к кордону подошел Уилф Тоби. Он возвращался домой после безуспешной попытки сбыть краденый автомобильный аккумулятор, который он вез в бывшей детской коляске. Согнувшийся над нею в три погибели Уилф походил на няньку из страшной сказки про нечистую силу. Он плохо спал ночью, ему снилась королева. Видения были беспокойные, эротические. Несколько раз он просыпался, стыдясь самого себя. Он предпочел бы видеть во сне Диану, но в царстве грез постель с ним делила почему-то лишь королева.

Уилф опасался, что старший инспектор Холиленд арестует его за эти ночные похождения, а кроме того, жаждал поскорее пройти кордон, добраться до дому и упрятать аккумулятор в сарай.

Мэри-Джейн приблизилась к Уилфу.

— Позвольте спросить, как вас зовут, сэр? — с труднообъяснимым жаром спросила она.

— Уилф Тоби.

— Ну и каково это, Уилф, когда по соседству живут лица королевской крови?

— Да знаете, это, того, ну, они же...

— Совсем как мы с вами? — подсказала Мэри-Джейн.

— Ну не то чтобы уж совсем,— промямлил Уилф.

— Но самые обычные люди, да? — гнула свое Мэри-Джейн.

А Уилф, раскрыв рот, уставился в глазок камеры. С ним происходили сразу два потрясающих события: он беседует с американской красоткой, которая ловит каждое его слово, и при этом его еще и снимают. Он горько жалел, что не побрился и не надел выходные брюки. Мэри-Джейн чуточку посуровела, давая понять своим телезрителям, что собирается перейти к серьезным политическим вопросам.

— Уилф, вы социалист?

Социалист? Уилф забеспокоился. С этим словом теперь вроде бы связывалось такое, чего Уилф в глаза не видел и не понимал. Наподобие вегетарианства, государственной измены и прав женщин.

— Нет-нет, я не социалист,— заверил Уилф.— Я голосую, как все, за лейбористов.

— Значит, вы не революционер? — уточнила Мэри-Джейн.

А теперь про что она толкует, озадачился Уилф. Его прошиб пот. Революционеры же взрывают самолеты, верно?

— Не, я не революционер,— сказал Уилф.— Я и в аэропорту-то сроду не бывал, не то что в самолете.

Том Дикс закрыл лицо руками и застонал.

— Но ведь вы же республиканец, Уилф, правда? — торжествующе заявила Мэри-Джейн.

— Публиканец? — опешил Уилф.— Да где мне публику-то собирать? Я ж безработный.

Бруно захихикал и остановил запись.

— У него мозгов, как у недоношенного моллюска. Хочешь продолжать?

Том Дикс кивнул.

Мэри-Джейн снова выдавила из себя улыбку.

— Уилф, а как королева воспринимает новый образ жизни?

Уилф откашлялся. В голове зароились привычные, шаблонные фразы.

— Ну, не сказать, чтобы она была на *седьмом* небе, но ведь и не на *первом же,* понимаете? Так как-то, *между* небом и землей.

— Стоп! — заорал Том Дикс и, совершенно выйдя из себя, прошипел, обращаясь к Мэри-Джейн: — Нельзя ли все-таки спуститься на землю? Черт вас всех подери!

— А что я могу поделать, если он малость туповат? Прямо как «О

мышах и людях» [1], помнишь? Считай, что я с Ленни разговариваю. На Льва Толстого он, пожалуй, не тянет.

Уилф тихо стоял в сторонке. Уйти ему или остаться? С великим облегчением он увидел, что к кордону спешит Вайолет. Охотно уступив ей место перед камерой, он повез аккумулятор домой. Раз Вайолет пришла, теперь можно не беспокоиться. Американцы останутся довольны.

По знаку инспектора Холиленда набитый полицейскими автобус медленно выехал из-за угла и подкатил к кордону. Полицейские поспешно дожевывали только что выданные картофельные чипсы и допивали кока-колу. Они нетерпеливо поглядывали в окна, рассчитывая сразу приступить к работе. Но глазам их предстали Мэри-Джейн, пытающаяся взять интервью у Вайолет Тоби, инспектор Холиленд, стремящийся во что бы то ни стало растащить женщин в разные стороны, и отчаявшиеся телевизионщики, из последних сил старающиеся снять интервью. Офицер, руководивший операцией, приказал подчиненным надеть шлемы и, «соблюдая порядок, покинуть автобус». Что и было сделано. В одну минуту американцы и Вайолет Тоби оказались в сплошном синем кольце из вежливых английских полицейских. Инспектор Холиленд вывел Вайолет за пределы кольца и велел отправляться домой. После чего американцев отвели к машине и предупредили, что если они опять нарушат «правила поведения в зоне, куда вход и въезд запрещены», их арестуют.

— Слушайте, да меня в Москве и то лучше принимали,— возмутился Том Дикс.— Мы с Ельциным целую флягу джина «Джим Бим» выдули.

— Очень рад за вас, сэр. А теперь будьте любезны сесть в автомобиль и покинуть территорию района Цветов...

Когда «рейндж-ровер» с американцами, набирая скорость, отъехал от кордона, Рэнди крикнула:

— Вашу *мать!*

Вся орава полицейских дружно заскребла в затылках:

— *Мать?* Может, это у них оскорбленье такое?

Королева выглянула из окна на втором этаже. Прекрасно, горластые американцы, слава Богу, уехали. Пожалуй, теперь можно пойти по магазинам.

30. Признания

Миновав кордон, Триш Макферсон въехала на своем ослепительном «ситроенчике» в переулок Ад. Ей надо было навестить трех подопечных. Причем в темпе: после обеда предстояло обсуждение одного дела — супруги Тредголд потребовали, чтобы им вернули Лайзу-Мэри и Вернона. Они прослышали, что за время пребывания у добродушной четы Дункан дети несколько раз ломали себе кости.

Встречи с Тредголдами внушали Триш ужас. На них никогда не обходилось без слез и бурных заверений Беверли и Тони в своей невиновности. Триш и рада бы поверить, что они не причиняли детям вреда, но ведь они же сами в обратном не сознались бы, правда? А Тони уже привлекался к ответственности за применение силы, верно? Вот, в досье черным по белому написано: «Нанесение тяжких телесных повреждений шестнадцатилетнему грабителю, который влез к ним в дом; оскорбление действием вышибалы в ночном клубе; употребление бранных выражений по отношению к полицейскому».

Да и Беверли — тоже штучка. На обсуждениях она вела себя ужасно, кричала, визжала, а однажды вскочила и замахнулась на Триш кулаком. У них обоих явно неустойчивая психика. Так что детям куда лучше оставаться у мистера и миссис Дункан; у них и песочница есть во дворе, а дома — целая библиотека детских книг.

[1] Повесть американского писателя Джона Стейнбека (1902—1968).

Триш остановила машину возле дома королевы. Прикрыла пледом лежащий на заднем сиденье пухлый портфель. Ей не хотелось напоминать своим подопечным, что у нее имеются и другие клиенты, к тому же портфель выглядит так официально. Люди его просто пугаются; никто из обитателей переулка Ад на работу с портфелем не ходит. Собственно, мало кто из обитателей переулка Ад вообще ходит на работу. Триш предпочитала, чтобы у подопечных создавалось впечатление, будто она случайно ехала мимо и заскочила поболтать.

Королева видела в окно, как Триш вынула из приборной доски стереомагнитофон и сунула в обширный мягкий саквояж (судя по виду, сшитый из ненужного верблюжьего одеяла, подумала королева, которую при посещении Джайпура [1] сопровождали двести верблюдов,— Боже, ну и запах!). Королева надеялась, что Триш направится куда-нибудь еще, но нет — вот она уже открывает калитку. Как все это утомительно!

Пять минут спустя королева и Триш сидели по обе стороны холодного камина, прихлебывая чай «Эрл Грей». Пакетики с чаем привезла Триш; они тоже отдают верблюжьей шерстью, подумала королева, снова ставя чайник на огонь.

— Ну, как дела? — голосом, вызывающим на откровенность, спросила Триш.

— Вообще говоря, довольно скверно,— ответила королева.— У меня нет денег; телефонная компания грозится отключить наш телефон; моя мать убеждена, что сейчас тысяча девятьсот пятьдесят третий год; муж вот-вот уморит себя голодом; у дочери роман с мастером по настилке ковров; сын должен в четверг предстать перед судом; у пса завелись блохи, а сам он становится настоящим разбойником.

Триш подтянула повыше носки и спустила пониже леггинсы. У нее аллергия на блох, но такого рода риск на ее работе неизбежен. Без блох тут не обходится. В углу скребся Гаррис, наблюдая, как женщины подносят к губам хрупкие чайные чашки.

Триш заглянула королеве прямо в глаза (зрительный контакт очень важен) и сказала:

— И потом, вы, наверное, страдаете от пониженной самооценки. Я имею в виду, что раньше вы были вон где...— Триш воздела вверх руку,— а теперь вы вот где,— и рука Триш резко опустилась, будто нож гильотины.— Вам придется создавать себя заново, верно? Искать новый стиль жизни...

— Вряд ли в моей жизни будет какой-то стиль,— обронила королева.

— Конечно же, будет,— уверила ее Триш.

— Для стиля я слишком бедна,— раздраженно заметила королева.

Триш улыбнулась своей жуткой понимающей улыбочкой. Она помолчала, потупилась, будто размышляя, сказать ли то, что у нее на душе, или все же не надо... Затем решительно вскинула голову и проговорила:

— Знаете, мне почему-то кажется — и, хоть это такая старая, затертая фраза, я вкладываю в нее первоначальный глубокий смысл...

Королеве захотелось треснуть Триш по башке чем-нибудь твердым и увесистым. Черный жезл герольдмейстера очень бы подошел, мелькнула у нее мысль. Триш взяла загрубевшие королевские руки в свои.

— ...Все лучшее на свете дается и вправду бесплатно. По ночам, лежа в постели, я смотрю на звезды и думаю: «Триш, эти звезды — ступеньки в неизведанное». А утром, проснувшись и услышав пенье птах, говорю своему партнеру: «Эй, послушай, ведь будильники матери-природы уже звонят». Он, конечно, притворяется, что не слышит меня.

Триш рассмеялась, показав зубы, которыми явно занимался частный дантист. Королева посочувствовала спящему партнеру Триш.

Один из будильников матери-природы какнул на оконное стекло, и по нему потянулась длинная белая полоса наподобие восклицательного знака, становясь все длиннее.

---

[1] Город в Индии, административный центр штата Раджастхан.

— Итак, чем я могу вам помочь? — внезапно спросила Триш; но теперь это была совсем иная Триш — деловая, практичная, словом, Женщина, Которая Добивается Своего.

— Вы мне помочь не можете,— сказала королева.— Мне сейчас нужны только деньги.

— Но что-то же я могу сделать? — продолжала настаивать Триш.

— Может быть, вам еще удастся вернуть свой портфель,— отозвалась королева.— Какой-то юнец бежит с ним по переулку.

Триш как ветром сдуло из королевского дома, но когда она добежала до тротуара, юнца с портфелем уже и след простыл. Триш расплакалась. Королева заулыбалась. Она бесстыдно солгала — портфель утащил никакой не юнец, а Тони Тредголд.

Тем же вечером, попозже, Тони зашел к королеве. В руке он держал пухлую папку. Королева задернула в гостиной шторы; они уселись рядышком на диван, и Тони извлек из папки письмо.

— Это из больницы, от врача-консультанта.

Взяв у Тони письмо, королева прочитала его. По мнению педиатра, у Лайзы-Мэри и Вернона повышенная хрупкость костей.

— Конверт-то был даже не распечатан,— сказал Тони.— Триш письма и не читала вовсе.

Королеве сразу же стало ясно, что такой диагноз снимает с Беверли и Тони всякие обвинения в причинении собственным детям телесных травм. Со второго этажа дома Тредголдов несся стук и грохот.

— Это Бев,— сияя улыбкой, пояснил Тони.— У ребят в комнате чистоту наводит.

31. В дело вступает Эрик

Утром следующего дня королева получила конверт с таким адресом:

Жильцу дома № 9
по переулку Адебор
район Цветов
Мидлтон
M12 9WL

Внутри был синий почтовый листок с написанным от руки посланием:

Эрилоб
Проезд Лисьей Норы, 39
Аппер-Хэнгтон
близ Кеттеринга
Нортгемптоншир

Ее Величеству
Елизавете II,
Милостью Божией
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной
Ирландии, а также других
Государств и Территорий Королеве,
Главе Британского Содружества Наций,
Защитнице Веры.

Ваше драгоценное Величество!

Позвольте покорнейше представиться. Я — Эрик Тремейн, Ваш скромный, но верный подданный, пришедший в ужас от того, что произошло с нашей страной и ее некогда великими народами. Я знаю, что Джек Баркер, этот трус и предатель, запретил Вашим подданным обращаться к Вам подобным образом, но я решил не сдаваться на милость победителя, а бросить ему вызов. И если мне суждено поплатиться за свою смелость и предстать перед палачом, значит, так тому и быть. (В результате производственной травмы я уже потерял два пальца, так что мне меньше терять, чем остальным людям.)

Прервав чтение, королева схватила сковороду и вышвырнула за окно два сгоревших ломтя хлеба. Кухня наполнилась черным дымом. Короле-

ва помахала письмом Тремейна, чтобы рассеять чад, и продолжила чтение.

Ваше Величество, я уже положил голову на плаху, организовав движение, которое называется «Британцы, Освободим Монарха, Будем Активны!», сокращенно БОМБА. У моей жены Лобелии замечательный дар слова (взгляните хотя бы на приведенное выше забавное название нашего дома — свидетельство ее искусности в этом деле).

Вы не одиноки, Ваше Величество! В Аппер-Хэнгтоне Вас поддерживают многие!

Сегодня днем мы с Лобелией отправимся в Кеттеринг, чтобы пополнить наше движение «БОМБА» новыми членами. Обычно мы стараемся держаться подальше от шума и гама крупных населенных центров, но на сей раз мы превозмогли свое отвращение. Интересы Дела куда важнее, чем наше неприятие городской суеты, которой, к сожалению, полон Кеттеринг девяностых годов.

Лобелия, с которой мы женаты уже тридцать два года, никогда не стремилась выделиться. Она всегда охотно предоставляла возможность более уверенным в себе людям вроде меня играть ведущую роль. (Я — председатель целого ряда обществ: Любителей игрушечных железных дорог, Комитета жителей Аппер-Хэнгтона, Движения за выгуливание собак в парках; можно было бы назвать и другие, но и этих достаточно!)

Однако, при всей своей застенчивости, жена моя, заметьте, готова обращаться в самом центре города Кеттеринга к совершенно, абсолютно незнакомым людям и говорить с ними о движении БОМБА! Из этого видно, как возмущена она тем, что произошло с нашей обожаемой королевской семьей. Потакая вкусам толпы, Джек Баркер пытается низвести нас всех до животного состояния. Он не уймется, покуда не увидит, как мы предаемся похоти без разбору и удержу в полях и огородах нашей некогда зеленой и прекрасной страны.

Свиньи вроде Баркера не желают понять, что одни из нас рождены править, а другими необходимо управлять и командовать для их же блага.

Пожалуй, пора кончать письмо. Мне нужно еще заехать в дом тридцать один и забрать листовки, которые выпустила БОМБА. Мистер Бонд, владелец вышеназванного дома номер тридцать один, любезно размножил нам на компьютере вышеупомянутые листовки!

БОМБА пока еще невелика, но она будет расти! Ее отделения скоро появятся в каждой деревне, поселке, городе и каждом крупном жилом центре со всеми его пригородами! Оставьте страх! Вы непременно будете вновь восседать на Троне.

Остаюсь преданный Вашему Величеству
Ваш наипочтительнейший подданный
Эрик Ф. Тремейн

Королева положила письмо Тремейна на поднос с завтраком для Филипа. Это, быть может, его развлечет, подумала она, но, зайдя к мужу двадцать минут спустя, увидела, что завтрак не тронут, а письмо явно осталось непрочитанным: оно все так же торчало из-под миски с остывшей овсянкой.

— Сегодня, дорогой, я получила презабавное послание, хочешь, прочту? — оживленно спросила она. Доктор Поттер советовала ей постараться расшевелить Филипа.— Пишет некий Эрик Ф. Тремейн. Интересно, что скрывается за инициалом «Ф.»? Может быть, Филип? Вот было бы любопытное совпадение, правда?

Королева чувствовала, что обращается с мужем так, словно перед нею какой-то недоумок, но ничего не могла с собой поделать. Он не желает разговаривать, двигаться, а теперь и есть отказывается. От этого взбеситься можно. Надо снова вызывать врача. Не может же она спокойно наблюдать, как он умирает голодной смертью. Он так исхудал, что сам на себя не похож. Волосы и борода у него поседели, а глаза без

цветных контактных линз стали какие-то блеклые, как «варёнки», которые жители переулка Ад, видимо, предпочитают прочей одежде.

Внезапно он оторвал голову от подушки и крикнул:

— Хочу Элен!

— Кто эта Элен, милый? — спросила королева.

Но голова Филипа уже упала на подушку. Глаза его закрылись, он вроде бы заснул. Королева спустилась вниз и сняла телефонную трубку. Трубка глухо молчала. Королева несколько раз нажала на рычаг, но привычного гудка не услышала. Компания выполнила-таки свою угрозу и отключила телефон за неуплату.

Она накинула пальто и выбежала из дома, зажав в руке десятипенсовик и записную книжку. Когда она уже влетела в вонючую телефонную будку, то обнаружила, что на автомате помаргивает надпись: «Только 999» [1]. Королеве захотелось что-нибудь слегка покорежить, благовоспитанно разнести эту телефонную будку. А Филип подходит под 999? Есть ли угроза для его жизни? Есть, решила королева и набрала 999. Телефонистка ответила сразу же.

— Здравствуйте, какая именно служба вам требуется?

— «Скорая помощь»,— сказала королева.

— Соединяю.

Ей долго не отвечали. Наконец механический женский голос произнес:

— Говорит автоответчик. Все телефоны «скорой помощи» в данный момент заняты, и мы ставим звонящих на очередь. Подождите, пожалуйста. Спасибо.

Королева стала ждать. За дверью будки появился мужчина. Открыв дверь, королева сказала:

— К сожалению, здесь можно набрать только 999.

Она ожидала увидеть на его изможденном лице некоторое неудовольствие, но никак не панический ужас.

— Мне кровь из носу надо до десяти дозвониться в Отдел жилищных пособий, не то меня вообще с компьютера скинут,— объяснил он.

Королева взглянула на часы, которые носила с тех пор, как ей исполнился двадцать один год. На часах было 9.43 утра. Как же все непросто в переулке Ад, подумала она. Ничто нормально не работает. Немудрено, что обитатели переулка, включая, надо признать, и ее самое, постоянно пребывают в стрессовом состоянии.

Королева оглянулась вокруг. В переулке Ад телефонные провода тянулись по меньшей мере к половине домов, но она знала, что провода — всего лишь символ связи. Где-то сидят люди, чья работа только в том и состоит, чтобы отключать неплательщиков; выдернул штекер — и отрезал большинство живущих в переулке Ад от остального мира. Там, где денег едва хватает на еду, обувь и школьные экскурсии — ребятишки же не должны чувствовать себя обделенными,— там телефонные счета откладывают «на потом». Она ведь сама тоже запустила руку в банку, где хранились деньги на телефон, и купила стиральный порошок, мыло, колготки, разные бакалейные товары, а также подарок Заре. Она уверяла сама себя, что, разумеется, восполнит потраченное, но выкроить эту сумму из их с Филипом пенсий оказалось невозможно, а ведь Филип-то сейчас не ест. Что же с ними будет, когда Филипа вылечат от его непонятной хвори и к нему вернется его могучий аппетит? Кроме того, королева тоже с нетерпением ждала Жилищного Пособия, оформленного задним числом. Ей стало жаль этого человека.

— Пойдемте со мной,— сказала она.

В последнее время у нее сложились довольно натянутые отношения с принцессой Маргаритой, но тут положение было критическое. Пока они переходили улицу, направляясь к дому номер четыре, незнакомец рассказал ей, что он — квалифицированный рабочий, специалист по

[1] Телефон вызова пожарных, полиции и «скорой помощи».

оборудованию магазинов, да только работы теперь днем с огнем не сыскать.

— Экономический спад,— с горечью промолвил он.— Разве кто сейчас магазины открывает? Поначалу-то я еще делал вывески «Продается», а потом и эти заказы кончились. Кто сейчас магазины покупает?

Королева кивнула. Наезжая изредка в город, она всякий раз удивлялась тому, как быстро растет число объявлений «Продается». Магазины, расположенные в районе Цветов, большей частью дышали на ладан, преуспевала, по всей видимости, лишь «Еда-да-да». Королева не забыла, как однажды впервые приобрела там для Гарриса их фирменную собачью еду. Выбирать не приходилось, банка стоила на десять пенсов дешевле, чем те, что она покупала прежде. Сначала Гаррис взбунтовался и объявил голодовку, но через три дня сдался и жадно, хотя и с недовольным видом, слопал всю банку.

Они подошли к дому, где жила принцесса Маргарита. Окна были плотно зашторены от любопытных взглядов. Открыв калитку, королева сделала незнакомцу знак следовать за ней.

— Можно узнать ваше имя? — спросила она по дороге.

— Джордж Бересфорд,— представился он, и, уже взойдя на крыльцо, они пожали друг другу руки.

— А я — миссис Виндзор,— сказала королева.

— Еще бы мне не знать, кто вы. У вас ведь и у самой не шибко все гладко, да?

Да, сказала королева и постучала в дверь молотком в форме львиной головы. Изнутри послышались шаги, дверь отворилась, и перед ними с тряпкой в руке предстала Беверли Тредголд, недавно нанявшаяся к принцессе Маргарите убирать дом. Увидев королеву, она явно обрадовалась.

— Сестра у себя? — спросила королева, входя в прихожую и ведя за собой Джорджа.

— Ага, в ванной,— ответила Беверли.— Я напоила бы вас чайком, да боюсь: она пакетики пересчитывает.— Беверли указала глазами наверх, туда, где ее новая хозяйка плескалась в дорогих шампунях. Поправив на голове наколку, Беверли скорчила гримасу.— У меня в этой штуковине не рожа, а чисто задница. Да ладно, какая-никакая, а работа.

— Платят-то хорошо? — спросил Джордж.

— Паршивые фунт двадцать в час,— презрительно фыркнула Беверли.

Королева сконфузилась и решила поскорее сменить тему.

— Нам с мистером Бересфордом надо бы позвонить,— сказала она.— Как вы думаете, можно?

— Я заплачу́,— сказал Джордж и, разжав кулак, показал несколько нагретых в ладони серебряных монет.

Королева взглянула на большие напольные часы, высившиеся над ними в тесной прихожей. Было 9.59.

— Идите первым,— сказала она Джорджу.

Беверли открыла дверь гостиной. Они уже собрались войти, но тут на верхней площадке крутой лестницы появилась принцесса Маргарита.

— Пожалуйста,— властно сказала она,— прежде чем войти в комнату, снимите обувь, а то на ковре остаются следы.

Густо покраснев, Джордж Бересфорд глядел на свои кеды. Они держались на честном слове, а носков под ними не было вовсе. Не выставлять же напоказ свои голые ноги в присутствии этих трех женщин. Ступни у него уродливые, думал он, пальцы волосатые, и ногти сбиты.

Глядя снизу вверх на принцессу Маргариту, вытирающую волосы полотенцем, королева сказала:

— Я предпочла бы не снимать туфли. Как ты думаешь, шнур дотянется в прихожую?

Вытянув шнур во всю длину, Беверли попыталась вынести телефон, но шнура хватило только до порога гостиной. Тем не менее Джордж набрал номер и стал напряженно ждать ответа.

Наблюдая, как Беверли протирает Маргаритины окна, королева думала: интересно, а сколько получали горничные в Букингемском дворце? Уж безусловно побольше, чем фунт двадцать в час.

В конце концов Джорджа соединили, и он услышал короткие гудки.

— Занято,— проговорил он.

Часы пробили десять. Джордж переполошился.

— Я пропустил свою очередь на компьютере!

— Наберите-ка снова,— посоветовала королева.— Компьютер ведь то и дело выходит из строя. Во всяком случае, я это слышу каждый раз, когда звоню по поводу своего Жилищного Пособия.

Джордж опять набрал номер. То же самое. Занято.

Он набрал в третий раз, и тут вдруг ему сразу ответили. Он даже оробел; за всю свою жизнь он так и не научился говорить по телефону — он предпочитал смотреть собеседнику в глаза. И теперь закричал в трубку:

— Алло, это Жилищное Пособие? Да-да, верно. Мне велели позвонить до десяти, но... Да, я знаю, но... Это Джордж Бересфорд звонит. Я получил письмо, там велено звонить до десяти, чтобы я успел попасть на...— Джордж замолчал, приникнув к трубке. Сверху доносилось жужжание фена для волос.— Да, но понимаете, тут такое дело,— Джордж слегка отвернулся от королевы и понизил голос: — Видите ли, у меня небольшие неприятности. Мне приходится сейчас платить за квартиру из пособия по безработице, но беда в том, что оно... оно все вышло...

Он снова стал слушать. По тому, как искривилось его лицо, королева поняла, что ему сообщают такие вещи, которые он либо не хочет слышать, либо уже десять раз слышал, либо они не вызывают у него доверия.

— Подождите минуточку! — сказал Джордж в трубку и, обернувшись к королеве, пояснил: — Они говорят, никаких моих бумаг у них нет. И ничего-де отыскать не могут.

Королева взяла у него трубку и твердым, уверенным тоном, каким произносила тронные речи, сказала:

— Здравствуйте, говорит советник мистера Джорджа Бересфорда по юридическим вопросам. Если завтра, с первой же почтой мистер Бересфорд не получит причитающееся ему Жилищное Пособие, мне придется, к сожалению, подать на главу вашего отдела в суд.

Беверли захихикала, но Джордж не увидел в этом ничего смешного. С ними ведь шутки плохи. Поступок королевы очень удивил его. Королева протянула Джорджу трубку, и служащая Отдела жилищных пособий сообщила Джорджу, что она «отдаст приоритет» заявлению Джорджа. Положив трубку, Джордж спросил у королевы, что значит «отдаст приоритет».

— Это значит,— сказала королева,— что каким-то сверхъестественным образом они сейчас отыщут ваше заявление, оформят его и сегодня же отправят вам чек.

Джордж присел на ступеньку лестницы, а королева позвонила в регистратуру и спросила, не может ли докторша-австралийка опять прийти в дом номер девять по переулку Ад к мистеру Маунтбеттену, состояние которого ухудшилось.

Потом королева и Джордж Бересфорд попрощались, положили на столик в прихожей тридцать пять пенсов и ушли.

32. Тающий муж

Доктор Поттер глядела на Филипа и качала головой.

— Да на паршивенькой креветке и то больше мяса бывает,— подытожила она свои наблюдения.— Когда он в последний раз ел?

— Три дня назад пожевал овсяное печеньице,— ответила королева.— Может быть, его лучше отправить в больницу?

— Ага,— ответила доктор Поттер.— Ему нужно поставить капельницу, сделать внутривенные вливания.

А принц Филип и знать не знал, что две женщины с глубоким участием разглядывают его иссохшее тело. Он был в это время далеко, в Виндзоре,— ехал в карете по Большому парку.

— Я соберу ему вещи, хорошо? — предложила королева.

— Да, но сначала мне нужно раздобыть для него место,— сказала доктор Поттер и, достав радиотелефон, набрала номер. Трубку долго не брали, и она успела сообщить королеве, что на прошлой неделе закрыли три палаты, значит, коек стало на тридцать шесть меньше.— А на той неделе мы лишимся и детской палаты,— продолжала она.— Один Бог знает, как мы будем выкручиваться, если поступит несколько тяжелых больных.

Королева сидела на кровати и слушала, как больницы одна за другой отказываются принять ее мужа. Доктор Поттер спорила, улещивала, наконец раскричалась, но все было напрасно. В районе не было ни единой свободной койки.

— Позвоню-ка я в психиатрички,— сказала доктор Поттер.— Он ведь и правда не в себе, так что все вроде как по закону.

Королева пришла в ужас.

— Да ему же нужна срочная терапевтическая помощь! — сказала она.

Но доктор Поттер уже набрала номер.

— «Угрюмые башни»? Говорит доктор Поттер, участковый врач района Цветов. У меня тут одного мужичка надо бы положить. Хроническая депрессия, от еды отказывается, необходимы искусственное кормление и внутривенные вливания. Найдете коечку? Нет? Общее отделение переполнено? Правда? Да? А если завтра? — спросила она королеву.

Королева благодарно кивнула. Сегодня она все силы приложит, чтобы как-то подкормить Филипа, а завтра он уже попадет в надежные руки специалистов. Каковы-то они, эти «Угрюмые башни», подумала она. Звучит жутковато, вроде тех заведений, что обычно возникают, озаренные молниями, в начальных кадрах английских фильмов ужасов.

33. Лебединые страсти

За два часа до начала процесса к зданию городского уголовного суда прибыл автобус с полицейскими, которые немедленно очистили прилегающую территорию. Всех газетчиков, радио- и телерепортеров, явившихся освещать заседание, отправили в бывший лагерь Королевских ВВС, расположенный за Маркет-Харборо [1], и целый день продержали взаперти в просторной комнате, предусмотрительно снабдив несметным количеством бутылок английского вина.

Сейчас показания давал констебль Лэдлоу; он отчаянно пытался припомнить все те небылицы, которые наплел на прошлом судебном слушании.

Обвинитель, свирепый толстяк по имени Александр Роуч, помогал Лэдлоу не сбиваться в своих показаниях с курса.

— А видите ли вы,— осведомился он, мотнув подбородком в сторону скамьи подсудимых,— в зале суда обвиняемого,— Роуч сделал вид, что ищет имя в своих бумагах,— а именно Чарли Тека?

— Да,— Лэдлоу тоже повернулся к скамье подсудимых.— Он в спортивном костюме и с «конским хвостом».

Королева страшно злилась на Чарльза; ведь она ему говорила, нет, приказывала — во-первых, покороче подстричь волосы сзади и на висках, а во-вторых, надеть на заседание блейзер и фланелевые брюки, но он, упрямец, заартачился. И теперь был похож на... Да чего уж там, на *бедного,* невежественного мужлана.

---

[1] Город в графстве Лестершир.

Лэдлоу давал свои путаные показания, не заглядывая в служебные записи, отметила королева. Тут встал Иэн Ливингстон-Чок, адвокат Чарльза. Бросив взгляд на Лэдлоу, он свирепо усмехнулся.

Иэн Ливингстон-Чок рос единственным ребенком в семье. Ближайшим товарищем его юношеских лет служило ему собственное отражение в зеркале. Он был само изящество, но за этим стильным фасадом крылась пустота: чересчур озабоченный впечатлением, которое он, как ему казалось, производит на окружающих, он лишь вполуха слушал те важнейшие сведения, которые сообщали свидетели.

— Констебль полиции Лэдлоу, во время рассматриваемых событий вы вели записи?

— Да, сэр,— тихо ответил Лэдлоу.

— Вот и прекрасно. Блокнот, в котором вы делали эти записи, при вас?

— Нет, сэр,— еще тише проговорил Лэдлоу.

— Как нет?! — взвился Ливингстон-Чок.— Помилуйте, отчего же нет?

— Оттого, что я уронил его в канал, сэр!

Повернувшись к присяжным, Ливингстон-Чок вновь улыбнулся своей тщательно отрепетированной издевательски-свирепой улыбкой.

— Вы — уронили — его — в — канал,— повторил он медленно, отчеканивая каждое слово, чтобы в паузы успело прорасти недоверие к таким показаниям.— Тогда будьте любезны, констебль Лэдлоу, поведайте присяжным, что именно вы делали *при, на* или *в* канале.

— Я спасал попавшего в беду лебедя, сэр,— прошептал Лэдлоу.

Ливингстон-Чок оторопел.

Два заседателя одновременно ахнули и посмотрели на Лэдлоу другими глазами.

— Курам на смех! — воскликнул Чарльз.

Судья призвал Чарльза к порядку, заметив попутно:

— Меня удивляет, Тек, что вы считаете спасение лебедя смехотворным занятием; ведь совсем недавно ваша мать владела всей популяцией лебедей в Британии. Продолжайте, мистер Ливингстон-Чок.

Королева сердито воззрилась на Чарльза, пытаясь взглядом заставить его замолчать. Потом перевела глаза на Ливингстон-Чока, мысленно побуждая его построже допросить Лэдлоу о мнимых подвигах по спасению лебедя, но адвокат пренебрег этой ниспосланной небом возможностью и, целиком переключившись на обсуждение драки, увяз в массе подробностей. Присяжным это наскучило, и они перестали слушать.

Когда Ливингстон-Чок наконец сел, тут же вскочил Александр Роуч.

— Последний вопрос,— обратился он к Лэдлоу.— А попавший в беду лебедь остался жив?

Лэдлоу понимал, что отвечать нужно с осторожностью. Он немного помедлил.

— Несмотря на все мои усилия вернуть его к жизни с помощью массажа сердца и дыхания «изо рта в рот», лебедь, к сожалению, скончался у меня на руках.

Королева громко расхохоталась, и весь зал, обернувшись, уставился на нее. Когда королева взяла себя в руки, слушание уже шло своим чередом. Чарльз, Беверли и Вайолет по очереди дали показания, подтвердив свидетельства друг друга.

— Произошло нелепое недоразумение,— сказал Чарльз в ответ на обвинения в том, что он подстрекал толпу в переулке Ад убить констебля Лэдлоу.

— Для вас, Тек, это, возможно, было всего лишь недоразумение, однако полицейский Лэдлоу, способный проявить чуткость по отношению к лебедю, получил от вас серьезные телесные повреждения, не так ли?

— Нет, не так,— сказал побагровевший Чарльз.— Не получил он

телесных повреждений ни от меня, ни от кого другого. Констебль Лэдлоу оцарапал подбородок, когда упал на мостовую.

Все взоры в зале суда обратились на скрытую бородой нижнюю челюсть констебля.

— На лице остались такие шрамы,— с пафосом заметил Роуч,— что констебль Лэдлоу вынужден будет до конца жизни носить бороду.

Гладко выбритые присяжные сочувственно закивали.

Суд объявил перерыв на обед; выходя из зала, Маргарита поинтересовалась:

— Где Чарльз отыскал Иэна Ливингстон-Чока? Не был ли он случайно прикован к ограде возле Юридического общества [1] за непрофессионализм?

— Хотя Чарльз у нас из Нибумбум-сити, США,— сказала Анна,— но даже он сумел бы лучше построить защитительную речь, чем Ливингстон-Чок.

В кафетерии в здании суда Диана, взяв бутерброд с копченой грудинкой, спросила королеву:

— Как вы думаете, что Чарльзу грозит?

Королева изящным жестом вынула попавшую ей в рот щетинку, положила ее на край тарелки одноразового использования и сказала:

— А что грозило Жанне д'Арк, когда факелы поднесли к хворосту?

Если у Чарльза и оставались какие-то шансы на оправдательный приговор, то Иэн Ливингстон-Чок своей защитительной речью их полностью развеял. Обратившись к прошлому Чарльза и к особенностям его натуры, он сказал:

— И наконец, господа присяжные, посмотрите внимательно на этого сидящего перед вами человека. Его детство было полно лишений.— Тут несколько присяжных вытаращили глаза.— Да, лишений. Он почти не видел своих родителей. Его мать работала и частенько уезжала за границу. А в самом нежном возрасте его отправили терпеть тяготы и унижения сначала в английской приготовительной школе, а затем — в шотландской частной школе, страшнее которой ничего и быть не может. Дисциплина жесточайшая, еда скудная, спальни неотапливаемые. Каждую ночь он рыдал в подушку, мечтая о родном доме.

(Вот тут-то дело и было полностью проиграно; один из заседателей, владелец скобяной лавки — его потом избрали старшиной присяжных,— прошептал соседу: «Дайте скорее платок — душат слезы».) А Ливингстон-Чок продолжал ораторствовать, не замечая неприязни, исходившей от судьи и присяжных:

— Что же удивляться, если этот истосковавшийся по отчему дому юноша стал попивать? Кто из нас сможет забыть потрясение, которое мы все испытали, узнав, что наследника престола выпроводили из пивной после того, как он поглотил неустановленное количество черри-бренди?

(Тут Чарльз явственно пробормотал:

— Да вы что, всего одну рюмочку...

Но судья немедленно велел ему замолчать.)

А Ливингстон-Чок продолжал свою пышную речь, обреченный на тот же успех, что и ныряльщик, совершающий блистательный прыжок в пустой бассейн:

— Этот жалкий злосчастный человек заслуживает нашего сочувствия, нашего понимания и справедливого суда. Он, конечно же, поступил плохо: призывы «Убить свинью» и попытки напасть на полицейского оправдать невозможно. Разумеется, невозможно...

— Да ничего подобного я не делал,— буркнул Чарльз.— Вы, вообще, на чьей стороне, Ливингстон-Чок?

[1] Юридическое общество — британское общество юристов-профессионалов, основано в 1825 г.; занимается, кроме прочего, рассмотрением жалоб на поведение адвокатов.

Судья вновь приказал ему замолчать, иначе он будет обвинен в неуважении к суду.

— Так проявите же милосердие, господа присяжные,— воззвал в заключение Ливингстон-Чок,— в память о том малыше, что рыдал в спальне, тоскуя о мамочке с папочкой.

Во всем зале суда не упало ни слезинки. Одна из присяжных демонстративно сунула два пальца в рот, показывая, что ее вот-вот вырвет. Когда Ливингстон-Чок возвращался на свое место, Анне с Дианой пришлось изо всех сил удерживать королеву, которая явно намеревалась вцепиться адвокату в глотку и стискивать ее до тех пор, пока он не испустит дух. Беверли сочувственно пожала Чарльзу руку, а Вайолет пробормотала, почти не разжимая губ:

— Ну и барахло... Да у «Маркса-Спаркса» на распродаже и то получше найти можно.

Чарльз вежливо улыбнулся этой шутке и получил от судьи очередной нагоняй:

— Вам не мешало бы проявить искреннее раскаяние, но для вас, видимо, происходящее здесь лишь забава. Сомневаюсь, что присяжные разделяют ваше мнение.

Этого вопиющего нарушения судебной этики — судья ведь ничего не должен подсказывать присяжным — Иэн Ливингстон-Чок даже не заметил и уж тем более не выразил протеста; он подсчитывал расходы в своем пухлом блокноте «филофакс».

Королева бесстрастно выслушала приговор. Диана разразилась слезами. Принцесса Анна сделала присяжным непристойный жест, а принцесса Маргарита сунула в рот антиникотиновую таблетку. Когда Чарльза уводили из зала, чтобы отправить вниз, в камеру, он одними губами что-то прошептал Диане. Она, тоже одними губами, спросила:

— Что?

Но его уже не было в зале.

Позже, когда начало вечереть, бывшая королевская семья собралась у постели королевы-матери, которую Филомина Туссен кормила с ложечки супом.

— Слышь, губы-то разлепи,— ворчала Филомина.— Не буду же я с тобой весь день возиться.

Разлепив глаза и губы, королева-мать глотала суп, пока Филомина не выскребла тарелку до донышка, заключив:

— Хо-кей.

— Я вам страшно благодарна,— сказала королева.— А у меня она так и не съела ни крошки.

Филомина вытерла королеве-матери подбородок тыльной стороной ладони.

— Это ж какой для ей удар — узнать, что ейного внучка в тюрьму посадили, с оборванцами всякими да подонками.

В набитой людьми крошечной спальне было невыносимо душно, и Диана пошла открыть входную дверь. На улице в компании бритоголовых мальчишек играли Уильям и Гарри ; мальчишки катили шину к дому Вайолет Тоби, а внутри шины, упираясь в нее руками и ногами, стоял чей-то малыш.

— Фигушки, теперь моя очередь,— услышала Диана возглас Уильяма.

Ее сыновья уже свободно владели местным наречием. От других мальчиков переулка Ад они отличались лишь длинными волосами. И каждый Божий день умоляли ее остричь их наголо, «под пулю».

На крыльцо выскочила Вайолет Тоби и завопила:

— Если эта чертова шина только прикоснется к моему забору, я вам задницы начищу!

Катастрофы удалось избежать, потому что малыш вывалился из шины и разодрал себе коленки и ладошки. Помахав Диане, Вайолет

рывком поставила визжащего малыша на ноги и повела к себе — мазать ссадины йодом. Диана понимала, что надо остановить Уильяма, который уже устраивался внутри шины, но не было сил препираться с ним, и она, крикнув: «Уиллс, Гарри, в восемь спать...», вернулась в домик королевы-матери.

Подправляя макияж перед крошечным зеркальцем, висящим над кухонной мойкой, она снова попыталась разгадать, что именно сказал ей губами Чарльз, когда его уводили в тюрьму. «Поливай ящики с рассадой» — почудилось ей тогда; но не может же быть, что он думал про свой дурацкий огород, правда? Не в такой же трагический миг о нем думать.

Диана несколько раз произнесла одними губами: «Поливай ящики с рассадой» — и огорченно отвернулась от зеркальца; что бы он там ни произнес, это явно не было «Я люблю тебя, Диана», или «Мужайся, любовь моя», или тому подобное, что говорят в кино любимым, прежде чем уйти из зала суда в тюремную камеру. Она с завистью вспоминала, с каким ликованием был встречен вердикт присяжных, объявивших Беверли Тредголд и Вайолет Тоби невиновными. Тони Тредголд бросился к жене и на руках унес ее со скамьи подсудимых. Уилф Тоби подошел к Вайолет и поцеловал ее прямо в губы, а потом, обвив рукой ее обширную талию, повел из зала; а у выхода ее радостно приветствовали другие, менее важные родственники, которым не удалось пробиться на галерею для публики. И оба клана, Тредголдов и Тоби, возбужденной гурьбой отправились через дорогу в пивную «Весы правосудия», чтобы отпраздновать событие.

Члены же королевской семьи просто-напросто влезли в кузов фургончика, и Спигги отвез их обратно в переулок Ад.

34. И никаких поблажек

Выскребая грязь из-под ногтей чистым концом обгорелой спички, Ли Крисмас вдруг услышал пение.

> Боже, храни короля!
> Многая лета ему!
> Боже, храни короля,
> Ля-ля-ля-ля,
> Славу ему ниспошли...

Поднявшись с нар, Ли приник щекой к решетчатому окошечку в двери камеры. Его сокамерник, Жирнюга Освальд, перелистнул страницу: он изучал «Кухню Дальнего Востока» Мадхура Джаффри. Книга была раскрыта на сто пятьдесят шестой странице: «Рыба в ароматическом бульоне с тамариндом». Такое чтение не в пример лучше порнографии, думал Освальд, пуская слюнки над списком ингредиентов.

В замке загремели ключи, и дверь распахнулась. В камеру вошел директор тюрьмы Гордон Фоссдайк, сопровождаемый мистером Пайком, старшим по этажу.

— Встать перед директором! — взревел мистер Пайк.

Ли уже стоял, но вот Жирнюга Освальд аж вспотел, пока сползал с верхних нар.

Однажды, выступив на конференции, проводимой Ассоциацией директоров тюрем, Гордон Фоссдайк целую неделю купался в лучах славы, поскольку заявил в своей речи, что существуют такие понятия, как добро и зло. И преступники, утверждал он, входят в категорию зла. За ту неделю неслыханной известности Фоссдайка архиепископу Кентерберийскому пришлось дать по телефону семнадцать интервью по этому краеугольному вопросу.

Подойдя к Жирнюге Освальду, директор тюрьмы ткнул его в живот. От самой шеи Жирнюги каскадом низвергались дряблые складки.

— Этот человек толст сверх всякой меры. Почему, мистер Пайк?

— Не могу знать, сэр. Он поступил к нам жирным, сэр.

— Почему вы такой жирный, Освальд? — осведомился директор тюрьмы.

— Я всегда был крупноват, сэр,— ответил Освальд.— Когда я родился, то уже весил одиннадцать фунтов и восемь унций, сэр.

Жирнюга Освальд расплылся в горделивой улыбке, но никто не улыбнулся в ответ.

Под тюремной робой в сине-белую полоску сердце Ли Крисмаса отчаянно заколотилось. Неужто они собираются устроить в камере шмон? А вдруг найдут в наволочке его стихи? Если найдут — он сунет голову в петлю. С мистера Пайка ведь станется прочесть вслух стишок Ли во время прогулки. Ли весь взмок, вспомнив свой недавно написанный стих «Киска-Пушиска». Людей, случалось, убивали и за куда меньшие прегрешения.

— К вам подселят еще двух сокамерников,— объявил директор тюрьмы.— Тесновато будет, но придется уж с этим мириться.— Он прошелся по маленькой камере.— Как вам известно, здесь у нас все находятся в равном положении. Один из этих двух заключенных считался до недавнего времени нашим будущим королем. Второй, Карлтон Мозес, обязан охранять его от неподобающих приставаний других заключенных. Я знаком с нашим, как недавно считалось, будущим королем, он, на мой взгляд, милейший, воспитанный человек. Учитесь, у него есть чему поучиться.

Дверь захлопнулась, и Ли с Жирнюгой Освальдом вновь остались одни.

— Бог ты мой,— сказал Ли,— Карлтон Мозес в нашей камере! Он же семи футов ростом! Мало того, что ты тут, еще и он сюда вопрется! Тогда уж станет совсем не продохнуть.

Десять минут спустя в камеру внесли еще одни двухэтажные нары. Жирнюга Освальд едва-едва мог протиснуться в узеньком проходе. Ли похвастался Освальду, что немного знаком с Чарли Теком. О Карлтоне Мозесе, однако, он отзывался с менее теплым чувством. Поговаривали, что Карлтон в буквальном смысле продал собственную бабушку, вернее, обменял ее на «форд-кабриолет XRI». Жирнюга Освальд считал, что это враки. На его взгляд, такой обмен не лезет ни в какие ворота. Кому нужна чья-то бабка?

Их рассуждения прервал приход Чарльза и Карлтона; новые сокамерники тащили груды постельных принадлежностей, ощетинившихся жесткими складками.

Это был худший день в жизни Чарльза. Он никак не ожидал, что его отправят в тюрьму. Но — отправили. И вдобавок успели подвергнуть чудовищным унижениям; самое, пожалуй, отвратительное — ему раздвигали ягодицы, проверяя, не пытается ли он пронести наркотики в обход закона. Тем временем дверь захлопнули, и все четверо уставились друг на друга.

Чарльз смотрел на Освальда и думал: Боже ты мой, этот человек просто неприлично жирен.

Ли смотрел на Карлтона и думал: не иначе как он и вправду обменял свою бабульку на машину.

Жирнюга Освальд смотрел на Чарльза и думал: слушайте, это ж самая настоящая перенаселенность тюрьмы. Обязательно напишу про это в Европейский парламент.

— Сколько получил, Чарли? — спросил Ли.

— Шесть месяцев.

Чарльзу уже казалось, что в камере нечем дышать.

— Значит, выйдешь через четыре,— сказал Ли.

— Если будет хорошо себя вести,— заметил Карлтон, укладывая свои пожитки на свободные верхние нары.

Освальд вновь уткнулся в книгу Мадхура Джаффри. Он понятия не

имел, как обращаться к особе королевской крови. «Сэр» или «ваше королевское высочество»? Завтра надо взять в тюремной библиотеке книгу по правилам этикета.

Встав на цыпочки, Чарльз глянул в маленькое, забранное решеткой окошко. Видно было лишь кусочек красноватого неба и макушку дерева, опушенную молодой нежно-зеленой листвой. Явор, определил Чарльз. И стал думать про свой огород, который ждет его не дождется. Молодые побеги, проросшие семена и пикированная рассада тоскуют по нему. Он опасался, что Диана забудет увлажнять почву в лотках для семян и в подвесных корзинах с рассадой. Он умолял ее неукоснительно пасынковать помидоры; не упустила бы она их. Будет ли она исправно вливать в ящики с перегноем по полтора литра в день? Бросает ли, как прежде, овощные очистки в его компостную кучу? Надо немедленно написать ей подробные указания.

— Бумаги у кого-нибудь не найдется? — спросил он.

— Газетки, что ль? — озадаченно переспросил Ли Крисмас.

— Писчей бумаги, почтовой,— уточнил Чарльз.

— Письмо писать собрался? — спросил Карлтон.

— Да.

Про себя Чарльз уже было подумал, что, сам того не замечая, перешел то ли на французский, то ли на валлийский язык.

— Дак ведь надо, чтоб начальство само тебе все выдало,— объяснил Карлтон.— На одно письмо в неделю.

— Только одно? — удивился Чарльз.— Какая нелепость. Мне необходимо написать множеству людей. Я обещал матери...

Однако тут он почувствовал новую безотлагательную нужду. Ему приспичило сходить в уборную. Он тронул кнопку звонка возле двери и стал ждать. Остальные молча наблюдали за ним. Две минуты спустя Чарльз бешено давил на кнопку пальцем. Терпеть уже не было никакой возможности. Прошла еще одна мучительная минута, и в дверях появился мистер Пайк. Чарльз напрочь забыл, где находится.

— Наконец-то,— с упреком сказал он.— Мне нужно в уборную; где она?

Лицо Пайка под форменной фуражкой стало мрачнее тучи.

— «Наконец-то»? — насмешливо передразнил он Чарльза.— Я тебе скажу, Тек, где уборная. Вот она.— Он ткнул пальцем в стоящий на полу сосуд.— Ты сейчас в тюрьме, вот и сливай в парашу.

— Будьте добры,— обратился Чарльз к сокамерникам,— выйдите на минутку, пока я...

В ответ раздался неудержимый хохот. Схватив Чарльза за плечо, мистер Пайк подвел его к параше и, сбив с нее начищенным сапогом пластмассовую крышку, провозгласил:

— Мочеиспускание и опорожнение кишечника, Тек, происходит здесь.

— Но это же варварство,— возмутился Чарльз.

— Берегись, Тек, ты вот-вот нарушишь тюремные правила, тогда добра не жди.

— А каковы эти правила? — обеспокоенно спросил Чарльз.

— Вот нарушишь, тогда узнаешь,— с явным удовольствием ответил Пайк.

— В этом есть что-то кафкианское.

— Возможно,— промолвил Пайк, понятия не имевший, что значит это слово.— Но правила есть правила, и не жди от меня поблажек только потому, что когда-то ты был наследником престола.

— Я и не ждал поблажек, я...

Но Пайк уже захлопнул за собой дверь; не в силах больше удерживаться, Чарльз поспешил к пластмассовому сосуду и смешал свою мочу с мочой Освальда и Ли.

— Я читал книгу Кафки,— застенчиво сказал Освальд.— «Процесс» называется. Там одного парня судят, а ему и невдомек за что. Ну и в конце концов ему крышка. Скучища смертная.

Чтобы отвлечь их от оглушительного звона струи в параше, Чарльз сказал:

— Но как невероятно убедительно передана гнетущая атмосфера, вы разве не находите?

— Не, скучища смертная,— повторил Жирнюга Освальд.

Чарльз привел себя в порядок и, вновь подойдя к двери, нажал на звонок, попутно объясняя Ли, Карлтону и Освальду, что забыл попросить у Пайка письменные принадлежности. Но Пайк уже распорядился, чтобы на звонки из камеры номер семнадцать не отвечали. В конце концов небо за окошком потемнело, ветки явора исчезли, и Чарльз убрал палец с кнопки звонка. Он отклонил предложение Ли почитать его книжку, заметив:

— «Фаст кар» — это не книга, а журнал.

Карлтон уселся за письмо жене и то и дело спрашивал Чарльза, как пишутся слова «достаточно», «мазь», «потому что», «соски́», «развлечение», «вторник» и «условно-досрочное освобождение».

Освальд в одиночку съел целую пачку печенья, тихонько, чтобы не шуршать оберткой и не потревожить сокамерников, выуживая его по штучке из пакета.

Наконец лампочка под потолком погасла, остался гореть лишь красный ночник, и заключенные принялись укладываться. Тюрьма, однако, не затихала. До них доносились крики, звяканье ключей и высокий тенорок, распевавший: «Благослови, Господь, принца Уэльского». Закрыв глаза, Чарльз стал думать о своем саде-огороде и вскоре заснул.

35. Платина

Из примерочной магазина на Слоун-стрит [1] Саяко вышла в костюме, сшитом по последней моде, как на обложке английского журнала «Вог». Костюм прошедшего сезона небрежной кучкой валялся на полу примерочной. Саяко осмотрела себя в большом зеркале сверху донизу. Заведующая, стройная, вся в черном, стояла позади.

— Этот цвет вам очень к лицу,— сказала она, улыбаясь широкой профессиональной улыбкой.

— Беру,— сказала Саяко.— Еще возьму такой же темно-синий, бледно-желтый и цвета фрез.

Заведующая внутренне возликовала. Значит, они выполнят недельный план продажи. И она может еще по крайней мере месяц за свое место не волноваться. Боже, благослови японцев!

В одних чулках Саяко подошла к стенду с замшевыми мокасинами.

— И вот эти туфли — под цвет костюмам, размер четвертый,— сказала она.

Образцом для нее служила девица-манекен из стеклопластика, небрежно и очень натурально привалившаяся к прилавку; на ней был точно такой же кремовый костюм, что и на Саяко, а также мокасины, которые Саяко только что заказала, и сумочка — ее Саяко сейчас закажет, да не одну, а четыре: темно-синюю, кремовую, бледно-желтую и цвета фрез. Белокурый нейлоновый парик на манекене так и сиял. Девица прикрыла голубые глаза, словно в упоении от собственной арийской прелести.

До чего же красивая, подумала Саяко. Стащив с манекена парик, она надела его себе на голову. В самый раз.

— Это тоже беру,— сказала Саяко.

И протянула заведующей платиновую кредитную карточку, на которой стояло имя ее отца, императора Японии.

Пока заведующая вводила в компьютер волшебные цифры с карточки, Саяко примерила зеленое пальто мягчайшей замши, которое демонстрировала другая искусственная красотка, в рыжем парике, сидевшая в «шпагате» на полу магазина. Пальто стоило без одного пенса тысячу фунтов.

---

[1] Улица в Лондоне, где расположены дорогие модные магазины.

— А это у вас каких еще цветов есть? — спросила Саяко у продавщицы, упаковывавшей ее костюмы, туфли, сумки и парик.

— Еще только одного цвета,— ответила продавщица (а про себя подумала: «Господи, да мы сегодня после работы обязательно дерябнем»). Сбегав на склад, она скоренько вернулась с таким же роскошным пальто цвета топленых сливок.

— Да,— сказала Саяко.— Беру оба, и сапожки — в тон, конечно, размер четвертый.— И она указала на сапоги рыжеволосой красотки.

Груда на прилавке росла. Стоявший у двери телохранитель Саяко нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Лимузин, оставленный против входа, уже привлек внимание дорожного инспектора. Он обменялся с водителем неприязненными взглядами, однако оба точно знали, что дипломатический номер машины полностью исключает возможность налепить на лобовое стекло извещение о штрафе.

Когда принцессу с покупками увезли, заведующая и все продавщицы принялись кричать, визжать и обниматься от счастья.

Сидя на мягких подушках позади шофера, Саяко разглядывала Лондон и его жителей. Какие же чудные эти англичане, думала она, лица у них так и ходят ходуном, носы огромные, а уж кожа! Саяко засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Кожа белая, розовая и даже красная! А какие они высоченные! Такая высота и не нужна вовсе. Взять, например, ее отца: он хоть и низенький, а император Японии.

Лимузин тем временем двинулся в Виндзор — принцесса остановилась в недавно открывшемся там отеле «Ройял Касл». У Саяко уже слипались глаза. Магазины так утомляют. Она начала делать покупки в половине одиннадцатого утра, это было в «Харродз» [1], в отделе дамского белья; теперь уже четверть седьмого, а она только часок отдохнула за обедом. В отеле ее ждет загадочная книга, «Трое в одной лодке». Она обещала отцу читать хотя бы по пять страниц в день. Ее английский станет гораздо лучше, говорил отец, и вдобавок книга эта поможет ей понять психологию англичан.

Она уже осилила «Ветер в ивах» [2], «Алису в стране чудес» и почти до конца — «Джемайму Паддлдак» [3], но все эти книги показались ей очень трудными; в них полным-полно говорящих животных, одетых в человеческое платье. Чуднее всех был «Домик на Пýховой опушке» — повесть об умственно отсталом медведе, с которым завел дружбу мальчик по имени Кристофер Робин. Учитель разговорного английского еще раньше сообщил Саяко, что в английском есть много слов, означающих «дерьмо». К ним относится и «пух».

На Гайд-парк-корнер машина внезапно стала, шофер чертыхнулся, и Саяко открыла глаза. Телохранитель обернулся к ней.

— Демонстрация,— объяснил он.— Ничего страшного.

Выглянув в окно, она увидела вереницу пожилых людей, переходивших дорогу перед автомобилем. На многих были бежевые куртки с капюшоном; Саяко, больше всего на свете любившая ходить по магазинам, сразу определила: куртки из «Маркса и Спенсера». Несколько демонстрантов несли на палках плакаты с красно-бело-синими буквами: БОМБА.

Никто, кроме отдельных нетерпеливых водителей, не обращал на них ни малейшего внимания.

36. Дареный конь

Спигги въехал в переулок Ад верхом на неоседланном гнедом жеребце по имени Гилберт. Поравнявшись с домом Анны, Спигги крикнул:

---

[1] Лондонский универмаг, торгующий дорогой модной одеждой, один из крупнейших в Европе.

[2] Детская повесть английского писателя Кеннета Грэма (1859—1932).

[3] Джемайма Паддлдак — утка, героиня сказки английской писательницы Беатрис Поттер (1866—1943).

«Тпру-у!»; Гилберт остановился и стал щипать придорожные сорняки. Спигги спешился и повел Гилберта к крыльцу.

— Погоди, сейчас как глянет на тебя,— говорил он лошади,— так и обалдеет.

Открыв дверь и увидев прямо перед носом добрые карие глаза Гилберта, Анна испугалась, что тут же, на пороге, и разревется. Она протянула руки и обняла коня за шею.

— Откуда он у тебя? — бросила она Спигги.

— А купил,— ответил он.— У одного мужика в клубе. Ему все равно его держать негде.

— А тебе есть где держать? — поинтересовалась Анна.

— Негде,— признался Спигги.— Я тогда уже принял пару пинт пива, и он мне по сердцу, что ли, пришелся. Толокся, бедный, на привязи возле автостоянки, ну я его и пожалел, что ли. Он стоил-то всего пятьдесят фунтов и рулон ковровой дорожки в придачу. А зовут его Гилберт! На нем и подковы новые,— возбужденно добавил Спигги; уж очень ему хотелось, чтобы Анна подтвердила, что Гилберт — удачная покупка.

Наметанным глазом Анна сразу определила: Гилберт — жеребец что надо.

— Как его использовали? — спросила она.

— Мужик сказал, он туристов возил в Дербишире. Но последнее время он на отдыхе, потому как это дело с туристами лопнуло. А характер у коняги — золото.

Анна и сама это видела. Гилберт позволил ей провести руками по бабкам до самых копыт и осмотреть уши. А когда Анна заглянула ему в рот, он даже оскалил зубы, будто сидел в зубоврачебном кресле и очень старался помочь дантисту. Анна погладила его по коричневому носу, а потом, взяв уздечку, повела по боковой дорожке в заросший сад за домом. Седла на жеребце не было, но она все же вскарабкалась Гилберту на спину, и они не спеша прогулялись до заднего забора и обратно. Закурив сигарету, Спигги уселся на кованую железную скамью, которую Анна привезла из Гатком-парка. Анна ему очень нравилась, она, черт возьми, ни капли не выдрючивается. И собой ничего — особенно когда волосы распущены, вот как сейчас.

То-то шуму было в Рабочем клубе района Цветов, когда они с Анной впервые появились там вместе! Спигги загордился еще больше после того, как Анна всех его приятелей обставила в бильярд. И Гилберта он подарил ей в знак любви.

Спигги считал, что у нее в саду места для Гилберта вполне хватает, надо только его хоть раз в день гонять галопом по спортплощадке. Анна нехотя слезла с лошади.

— У меня нет никакой возможности держать его, Спигги,— сказала она.— Я детей-то прокормить не могу.

— Кормить его буду я,— объявил Спигги.— Скажи, чего ему нужно, я достану.— Анна заколебалась, и он добавил: — Просто у меня не такой большой сад, как у тебя. Будем конем вроде как на пару владеть. Папаша мой был из цыган, и меня сызмалу к лошадям приохотили. Еще шнурки не научился завязывать, а уж верхом ездил. Ну, Анна, выручай. У тебя место для конюшни найдется.

Гилберт ткнулся носом Анне в шею. Разве могла она отказаться?

Днем зашел Джордж Бересфорд — надо было обмерить Гилберта, прежде чем ставить конюшню. Позже он забежал опять вместе с Фицроем Туссеном. Они притащили листы розового пластика, Джордж прихватил их из парикмахерской, которую он когда-то помогал ремонтировать.

— Ну не то чтобы прямо ворованные,— сказал он, когда она выразила сомнения в безупречном с точки зрения закона происхождении пластика.— Считай, приварок к заработку.

Фицрой смотрел на это так же; он сообщил Анне, что может бесплатно достать и ей, и детям бумагу для компьютера.

— Запросто,— говорил он,— когда угодно.

Анна набросала план конюшни, указав, на какой высоте нужно делать поилку и кормушку; она объяснила, что денник у Гилберта должен быть достаточно просторным, чтобы конь мог развернуться, и что необходим сток в полу, а сам пол должен выдерживать обильный полив конской мочой. Фицрой помог Джорджу принести еще пластика, а потом, извинившись, ушел: ему пора было возвращаться в контору.

Мистер Крисмас наблюдал за ними поверх забора. Он был выпущен из тюрьмы под залог — попался на краже сферического клапана в магазине «Сделай сам», где его засекла телекамера внутреннего наблюдения. Достав из кармана штанов морковку, мистер Крисмас угостил Гилберта.

— А куда конское дерьмо девать станете? — спросил он у Анны. Анна призналась, что еще не думала, хотя со временем, добавила она, решить данный вопрос будет отнюдь не легко.

— Хотите, возьму это дело в свои руки? — предложил мистер Крисмас, уже мысленно прикидывая, что можно будет продавать навоз по фунту за пакет.

— Возьмите, возьмите. Я в свои руки его брать не собираюсь,— ответила Анна.

Они рассмеялись, и тут в сад вошла королева, неся седло, которое она и вручила дочери.

Королева не представляла себе жизни без лошадей. Несмотря на инструкции Джека Баркера, при переезде она привычно сунула в фургон седло.

— Сегодня утром вытащила из кладовки. Надо будет приладить, но мне кажется, оно ему впору,— сказала она, улыбаясь Гилберту и скармливая ему мятную конфетку.

— Как там сын-то ваш сидит? — спросил мистер Крисмас.

— Не знаю, ни одного письма еще не получила,— ответила королева, машинально теребя чепрак.— Я ему, само собой, уже написала и послала книжку.

— Книжку! — фыркнул мистер Крисмас.— Так ему ее и дали!

— Отчего бы нет? — спросила королева.

— Правила такие,— объяснил мистер Крисмас.— А вдруг вы на страницы наклеите микродозы ЛСД или насыплете кокаину в ту жесткую корку, которой страницы скрепляются...

— Корешок,— уточнила королева.

— Один из моих ребят в тюрьме пристрастился к наркотикам,— непринужденно сообщил мистер Крисмас.— А как вышел, пришлось ему лечиться, через фомку проходить.

— Через ломку,— поправила королева.

— Во-во, через ломку! Толку все равно никакого. Говорит, пускай себе молодым умру. Весь мир, говорит, ненавижу и жить не для чего.

— Это очень грустно,— сказала королева.

— Да он с самого рожденья какой-то малахольный. До года и не улыбался даже. Сколько я его ни порол, он все одно не улыбался.

37. Дорогая мамочка

На следующее утро, когда королева прочищала в саду перед домом дренажную канавку, к ней подошел почтальон и вручил письмо. Королева стянула с рук резиновые перчатки. Она надеялась, что письмо от Чарльза. Так оно и оказалось.

Тюрьма «Замок»
Пятница, 22 мая

Дорогая мамочка!

Как видишь, я вложил в письмо разрешение на свидание. Был бы страшно рад, если б ты меня навестила. Здесь отвратительно, а кормят так кошмарно, что описать невозможно. Подозреваю, что еда эта и свежеприготовленная

мерзка, но до камер она доходит в таком виде, что хуже не бывает: липкая, застывшая. Когда поедешь ко мне, привези, пожалуйста, фруктов и овсяных хлопьев с орехами и изюмом, в общем, чего-нибудь питательного.

И привези, пожалуйста, книг. Мне пока еще не разрешают пользоваться тюремной библиотекой. Поэтому я целиком завишу от литературных вкусов моих сокамерников — Ли Крисмаса, Жирнюги Освальда и Карлтона Мозеса. А они отнюдь не разделяют моей любви к изящной словесности; собственно говоря, вчера мне пришлось объяснять, что такое баллада. Ли Крисмас, например, был убежден, что «баллада» — это то мерзкое пойло, которое нам приносят в обед. Пока что мы круглые сутки сидим взаперти. На трудотерапию и образовательные программы требуются надзиратели, а их не хватает.

Мы по очереди разминаемся в тесном проходе между нарами. Кроме, конечно, Жирнюги Освальда; тот целыми днями лежит и читает кулинарные книги, испуская ядовитые газы. Я обвинил его в том, что и он отчасти несет ответственность за разрушение озонового слоя, но он в ответ отмахнулся:

— Подумаешь, то ведь на воле.

Мамочка, *на самом деле* ад — это люди. Я мечтаю погулять один или половить в одиночестве рыбку; чтобы только я, река и безъязыкая живность.

Занимается ли Диана моей апелляцией? Обязательно проверь, мамочка. Я вообще тут оказался по чудовищной несправедливости. В тот день я ни к какому бунту в переулке Ад не подстрекал. И не кричал «Убить свинью!». Карлтон сказал, что Иэн Ливингстон-Чок, мой адвокат, славится своей ленью и непрофессионализмом. В уголовных кругах он известен под кличкой «Чок-Мусорок», потому что симпатизирует полицейским. Непонятно, почему он выступает защитником. Попроси Диану подать на него жалобу в коллегию адвокатов и, пожалуйста, напомни ей, что огород необходимо поливать — помидорам в ящиках с перегноем, что стоят у кухонной двери, нужно *самое меньшее* по полтора литра в день на растение, а если погода очень жаркая, то еще больше.

Вчера директор тюрьмы мистер Фоссдайк сделал мне подарок — твой официальный портрет на церемонии коронации. Сейчас я пишу тебе, сидя под ним. Мои сокамерники этим сильно задеты. Теперь они требуют, чтобы мистер Фоссдайк вручил им живописные портреты их матерей.

Я бы очень хотел, чтобы мистер Фоссдайк относился ко мне с тем же презрением, что и к другим заключенным. Пожалуйста, будь добра, напиши ему и попроси его в следующий раз, как увидит меня, смотреть на меня свысока, разговаривать порезче и проч. Тебя он послушается; он, несомненно, ревностный монархист.

Обязательно передай от меня привет Уиллсу и Гарри, скажи, что папа прекрасно отдыхает за границей. Поклон отцу и обними за меня бабушку.

Ты, наверное, уже заметила, что, заполняя пропуск в тюрьму, я допустил ошибку. Я, конечно же, собирался после твоего имени вписать туда Диану, но, по какой-то необъяснимой причине, вписал вместо нее Беверли Тредголд. Сам не знаю, как это вышло. Надеюсь, Диана не против подождать недельку-другую.

Любящий тебя
твой сын Чарльз.

PS. Раз в неделю помидоры надо подкармливать навозной жижей.
PPS. Известно ли тебе, что Гаррис спарился с сукой по кличке Кайли? Ее владелец, Аллан Гауэр, сидит здесь же, он — «пластиковый ковбой» (то есть подделывает кредитные карточки). Теперь он требует, чтобы я частично оплатил ему услуги ветеринара.

Королева немедленно уселась за письмо директору тюрьмы.

Директору | *район Цветов*
тюрьмы «Замок» | *переулок Ад, 9*
Гордону Фоссдайку | *Понедельник 25 мая 1992 г.*

Дорогой мистер Фоссдайк!
Как Вам известно, мой сын находится на Вашем попечении. В письме

ко мне он рассказывает о Вашей доброте и сердечности. Я Вам весьма благодарна, но была бы признательна еще более, если бы Вы время от времени проявляли к нему *бессердечие*. Не могли бы Вы устроить так, чтобы его примерно наказали за какое-либо небольшое нарушение правил? Это, мне кажется, улучшило бы отношение к нему его товарищей по камере.

Еще один вопрос. Отчего тюремная пища должна быть непременно холодной? Быть может, Вы не хотите, чтобы заключенные обжигались? Словом, я уверена, что на то есть веские основания (просто мне они неизвестны); ведь Вы, как администратор, несомненно, в силах добиться, чтобы еда заключенных была такой температуры, какую и Вы, и я сочли бы приемлемой.

И еще об одной мелочи. Более недели назад я послала сыну книгу Алана Телуэлла «Садоводство без химии». Почему ее не передали ему? Быть может, по недосмотру?

Искренне Ваша
Элизабет Виндзор

Тем же утром Чарльз тоже получил письмо.

Переулок Адебор, 8
23 мая 1992 г.

Чарльз, дорогой!

Прости, что не написала раньше, но я была так занята! Надеюсь, ты здоров!

Я подкрасила волосы в каштановый тон, все говорят, мне идет. В магазине «Помогите престарелым» я наткнулась на *ужасно* симпатичный брючный костюм фирмы «Макс Мара», розовато-бежевого цвета. Жакет удлиненный, брюки заужены. И всего-навсего 2 фунта 45 пенсов! У Уильяма в школе было родительское собрание, и я надела его с белой блузкой (той, с вышитым воротничком).

Вчера вечером была у Мэнди Картер, на вечере засушенных цветов. Ты ходишь по гостиной и покупаешь засушенные цветы, а определенный процент с выручки идет Мэнди. Там была и твоя бабушка со своей приятельницей Филоминой. Я купила прелестную маленькую корзиночку таких голубеньких цветочков, которые чудесно пахнут; их полным-полно в Сандрингеме, но это не вереск. Да ты знаешь, как они называются — по-моему, на букву «л». Вертится на языке. Нет, выскочило.

Сушеные цветы покупали плохо, и бедняжка Мэнди ничего с этой затеи не получила! Женщина, которая выставляла цветы, любезно предложила мне тоже устроить на следующей неделе такой вечер, и я согласилась! С деньгами очень трудно. Виктор Берримен («Еда-да-да») сказал, что содержание заключенного в тюрьме стоит 400 фунтов в неделю — везунок ты у нас!

Мне надо бежать. Я только что видела, как Гаррис прыгал по ящикам с рассадой!!!

Любящая тебя
Диана

PS. Лаванда!
PPS. Вчера ночью умер во сне Сонни Крисмас. Грустно, правда? На экзамене по математике Уильям получил четырнадцать очков из ста. Я объяснила его учителю, что у нас в семье у всех с математикой плохо, но он заметил: «Однако же вы как будто справлялись с подсчетом подоходного налога». Что он хотел этим сказать?

Чарльз перечитал письмо жены. Всякий раз как он натыкался на восклицательный знак, его передергивало. Каждый из них зримо напоминал Чарльзу, до чего они с Дианой разные люди.

38. Полет к свету

Хворое тело королевы-матери лежало на кровати в ее домишке в переулке Ад, но дух ее парил над землей, на тридцать шесть тысяч футов выше уровня облаков, и летел он в реактивном самолете «комета». Вел самолет командир эскадрильи Джон Каннингем. Его спокойный голос сообщал королеве-матери, над какими странами они пролетают в этом беспосадочном рейсе: над Францией, Швейцарией, Италией и северной оконечностью Корсики. Шел 1952 год. Они неслись на скорости 510 миль в час; дух захватывало! Потом картины стали меняться. Вот она целится из крупнокалиберного ружья в носорогов; вот выбивает бешеный ритм на маленьком кубинском барабане «бонго», а теперь подходит к генералу де Голлю, чтобы выразить ему свое сочувствие по поводу падения Франции; а вот уже стоит на ступенях часовни Св. Георгия в Виндзоре, из которой выносят гроб с телом герцогини Виндзорской; через мгновение она, в одном из своих роскошных платьев, уже сидит в ложе с Ноэлем Кауардом [1]. Дают «Кавалькаду». После спектакля они ужинают в «Плюще».

Макнув уголок носового платка в стакан воды со льдом, Филомина Туссен смочила королеве-матери рот. Было 3.15 ночи. Ощутив на губах приятный холодок, королева-мать благодарно улыбнулась, однако сказать что-нибудь или даже открыть глаза сил не было. Королева просила Филомину вызвать врача, если ночью матери станет явно хуже, но Филомина воспротивилась:

— Какой еще врач? И не подумаю. Ей за девяносто перевалило. Она устала; пора уж ей и уснуть навсегда в объятиях Господа Всемилостивого.

Филомина пригладила королеве-матери волосы, провела по губам розовой помадой, оживила румянами щеки. Стянув голубые тесемки на пеньюаре королевы-матери, она завязала ей под подбородком пышный бант. Поправив постель, выложила руки королевы-матери поверх полотняной простыни. Филомина ждала; грудь королевы-матери вздымалась все ниже. В комнате посветлело. Под карнизом домика защебетала птаха.

Решив, что уже пора, Филомина пошла в соседний дом, где в гостиной на диване спала, не раздеваясь, королева. Она проснулась мгновенно, как только Филомина тронула ее за плечо. Королева поспешила к матери, а Филомина, надев пальто, отправилась по остальным родственникам, неся печальную весть: королева-мать умирает. Держа мать за руку, королева пыталась внушить ей, что не надо умирать. Как она будет жить без матери? В комнату вошли Анна, Питер и Зара.

— Поцелуйте ее на прощанье,— сказала королева.

Затем пришла Диана; на одной руке она несла сонного Гарри, за другую уцепился Уильям. Оба мальчика были в пижамках. Наклонившись, Диана поцеловала королеву-мать в мягкую щеку и подтолкнула сыновей к ее постели.

С улицы донесся стук Маргаритиных высоких каблучков: она семенила вслед за Филоминой. Сьюзан, собачка королевы-матери, вскарабкалась на кровать и улеглась поверх покрывала в ногах хозяйки. Маргарита горячо обняла мать, потом спросила сестру:

— Ты вызвала врача?

Нет, призналась королева, не вызвала и добавила:

— Маме девяносто два года. Она прожила замечательную жизнь.

— Я ее уж раз пытала,— сообщила Филомина,— хочешь, говорю, чтоб в тебя трубки и разные штуковины навтыкали и чтобы за тебя машина дышала? А она мне и говорит: «Господи избави».

— Но не можем же мы сидеть себе и смотреть, как она умирает,— вспылила Маргарита.— Да еще в этой мерзкой комнатенке, в этом мерзком домишке, в отвратном этом переулке отвратного района.

[1] Ноэл Кауард — известный английский драматург, композитор, актер (1899—1973).

— А ей здесь нравится,— сказал Уильям.— И мне тоже.

Весть уже облетела переулок Ад, и к дверям домика потянулись соседи. Они негромко обменивались воспоминаниями о королеве-матери. Даррену Крисмасу было велено слезть с рычащего мопеда и вручную катить его из переулка куда подальше, чтобы рев его сюда не долетал. И в то утро никому не разрешалось красть бутылки из тележки молочника — в знак уважения к умирающей.

В восемь часов в домик пришел преподобный Смоллбоун, священник-республиканец; его известил продавец газет, у которого он покупал единственный на всю округу экземпляр газеты «Индепендент». Стоя возле постели королевы-матери, священник неслышно бормотал что-то о рае и аде, о грехе и любви.

Королева-мать открыла глаза и сказала:

— Знаете, а я ведь не хотела выходить за него. Ему пришлось трижды делать мне предложение; я тогда была влюблена совсем в другого!

И она снова закрыла глаза.

— Она сама не знает, что говорит,— заявила Маргарита.— Она же обожала папу.

А королева-мать вновь превратилась в Элизабет Боуз-Лайон, известную красавицу семнадцати лет; в замке Гламз она кружилась по бальной зале в объятиях своего первого возлюбленного, имени которого никак не могла припомнить. Думать становилось трудно. Вокруг темнело. Откуда-то до нее долетали голоса, но все тише, все глуше. Потом наступила тьма, только вдалеке забрезжил крохотный лучик яркого света. И вот она уже полетела к этому свету, и он принял ее в себя, и она стала лишь воспоминанием.

39. Пунктуация

Настала очередь Чарльза выбирать радиостанцию, и теперь вся камера слушала передачу Радио-четыре [1]. Ведущий, Брайан Редхед, беседовал с бывшим управляющим Английским банком, который накануне ушел в отставку. На его место пока никого не нашли.

— Итак, сэр,— продолжал допытываться мистер Редхед,— вы утверждаете, что даже вы, занимая столь высокий пост — управляющего Английским банком,— знать не знали об условиях японского займа? Мне в это поверить трудно.

— Мне тоже,— с горечью произнес бывший управляющий.— А отчего я, по-вашему, подал в отставку?

— И как же будет выплачен сей заем? — спросил мистер Редхед.

— А никак,— сказал управляющий.— Хранилища-то пусты. Изыскивая средства на свои безумные затеи, мистер Баркер дочиста ограбил Английский банк.

Дверь камеры отворилась, и мистер Пайк протянул заключенным письма.

— Жирнюге Освальду — от матери. Мозесу — одно от жены, другое от подружки. Тебе, как всегда, ничего,— обратился он к Ли. И повернулся к Чарльзу: — Одно Теку; судя по надписи на конверте, от какого-то блаженного.

Чарльз вскрыл конверт, в нем лежали два письма.

Дарагой папа!
Уминя все харашо а утибя харашо
Мне скозали нигде ты не аддыхаишь я видил Дарруна Крисмоса дак он мне скозал ты в кутуске
Гаррис в агароди все-все павыдерал

Любющий тибя Гарри. 7 лет.

[1] Канал общенационального вещания Би-би-си.

Дорогой папа!

Мама нам наврала, будто ты аддыхаешь в Шотландии. Видак наш сперли и падсвешники тоже каторые от того короля Георга каторый правил давным-давно. Мистер Крисмас знает парня каторый их спер. Он сказал он того парня вздует и забирет наши падсвешники взад.

В нашей школе скора будет новая крыша. Джек Баркер прислал миссыс Стриклан письмо и она вчера нас собрала и сказала.

Тетя Анна заимела лошадь зовут Гилберт. Она живет в канюшни в саду взади дома. Она розовая. Канюшня а не лошадь. Пришли нам пажалуста из тюрьмы денег у нас совсем нету.

Любящий тебя Уильям

P.S. Ответь пажалуста скорее.

Чарльз с ужасом прочел оба письма. И дело было не только в чудовищном незнании сыновьями родного языка, не только в орфографических ошибках, полном пренебрежении к правилам пунктуации или отвратительном почерке. Более всего удручило Чарльза содержание писем. Как только он выйдет из тюрьмы, первым делом прикончит Гарриса. И почему Диана даже не упомянула о краже?

Только он сложил письма, как дверь отворилась, и мистер Пайк объявил:

— Тек, у тебя бабушка умерла. Директор передает соболезнования и разрешает выпустить тебя на похороны.

Дверь закрылась; Чарльз пытался справиться с нахлынувшими на него чувствами. Его сокамерники, Ли, Карлтон и Жирнюга Освальд, молча глядели на него. Несколько минут спустя Ли произнес:

— Меня бы выпустили — я бы драпанул.

Чарльз неотрывно смотрел в тюремное окно на макушку явора, душа его рвалась на волю.

Тем же утром, вернувшись с занятий литературного кружка, Жирнюга Освальд вручил Чарльзу клочок бумаги:

— Это тебе, чтоб не унывал.

Поднявшись с нар, Чарльз взял из пухлой руки Освальда бумажку и прочел:

На воле

На воле пепси, леденцы,
И можно в магазин зайти,
Купить конфет, батончик «Марс»,
Кроссовки фирмы «Адидас».

Тут до Чарльза дошло, что он читает стихи.

Цветы на воле, птичий гам
Вот бы тюрьму покинуть нам.
На воле девочку найтить
И с ней куда-нибудь сходить.

На волю рвутся все друзья:
Чарли, Карлтон, Ли и я.

— Слушай, Освальд, а ведь чертовски здорово,— сказал Чарльз; он полностью разделял выраженные в этом творении чувства, хотя его банальность в формальном плане вызывала у Чарльза неприятие.

Сияя от гордости, Жирнюга Освальд вскарабкался на верхние нары.

— Прочитай вслух, Чарли,— попросил Ли, до сей поры не подозревавший, что сидит в одной камере с собратом-поэтом.

Когда Чарльз огласил стихотворение, Карлтон заметил:

— Слышь-ка, а стих-то вредный.

Ли по-прежнему отмалчивался. Его снедала творческая зависть. Его собственная «Киска-Пушиска», полагал он, была не в пример лучше.

Чарльз лег на нары, в мозгу стучали последние две строки стихотворения:

На волю рвутся все друзья:
Чарли, Карлтон, Ли и я.

40. Женское дело

Филомина и Вайолет умели положить и обрядить покойника. Этому они научились давно, в тяжелые времена. Они никак не ожидали, что это их умение пригодится в 1992 году, однако спрос на их услуги возник снова. В переулке Ад мало кто мог позволить себе обратиться к гробовщику — всю жизнь будешь по уши в долгах, если только причиной смерти не была производственная авария (тогда предприниматель идет на все, лишь бы умилостивить семью покойного). Страховки считались сказочной, неслыханной роскошью — все равно что поехать отдыхать за границу или в воскресенье взять да и подать ростбиф.

Понимая, как важно в таких случаях для родственников все время чем-то заниматься, женщины то и дело отправляли королеву с разными мелкими поручениями. Королева послушно шла. Ей стала тягостно находиться в опустевшем бунгало без ее жизнерадостной матери.

Закончив труды, обе женщины подошли к изножью кровати посмотреть на королеву-мать. У нее на губах застыла легкая улыбка, словно ей снился приятный сон. Они обрядили ее в ее любимое ярко-голубое вечернее платье, в ушах и на шее сверкали синим блеском сапфиры.

— Упокоенная она, правда же? — не без гордости спросила Филомина.

Вайолет смахнула слезы.

— Никогда не могла взять в толк, кому и зачем нужна королевская семья; но вот она была и вправду баба славная; балованная, а все ж таки славная.

Убедившись, что усопшая и спальня в полном порядке, они пошли прибирать остальные комнаты. Уилфа они отправили в магазин купить побольше молока, сахару и пакетиков для заварки чая: в ближайшие дни в доме будет много народу. В кухне к Филомине и Вайолет присоединилась Диана. Она принесла букет лиловых цветов на длинных стеблях. Опухшие от слез глаза ее были прикрыты темными очками.

— Я собрала их в саду... Для... для торжественного прощания — это, кажется, так называется...

Кухню незаметно заполнил едкий запах.

— Да это ж лук,— сказала Вайолет, принюхиваясь к букету,— трава огородная,— растолковывала она.

— Ой, неужели? — Смущенная Диана залилась румянцем.— Чарльз на меня жутко рассердится.

— Подумаешь большое дело,— сказала Вайолет.— Воняют вот только — это да.

— Тут бы лилии в самый раз были,— заметила Филомина.— Дак ведь они идут по фунту двадцать пять за штуку.

— Что идет по фунту двадцать пять за штуку? — спросил, входя в кухню, Фицрой Туссен.

— Да лилии, те, что сладко пахнут,— ответила Филомина.— Королева-мать их очень любила.

Фицрой до сих пор ни разу не видел Диану живьем. Опытным взглядом он сразу охватил все: лицо, фигуру, ноги, волосы, зубы и нежную кожу, черный костюм фирмы «Кэролайн Чарльз» и остроносые замшевые туфли фирмы «Эмма Хоуп». Чего бы он только не дал за возможность свозить на вечерок эту краснеющую леди в клуб «Старлайт» — выпить несколько коктейлей и потанцевать. Поверх цветов лука Диана смотрела на Фицроя. Какой он высокий, широкоскулый, красивый. И одет превосходно: костюм — «Пол Смит», туфли — «Гивз энд

Хокс». И пахнет от него изумительно. Голос мягкий, густой, как сироп. Ногти чистые. Зубы великолепные. И говорят, он хорошо относится к матери.

— Я хочу купить лилий, не желаете со мной проехаться? — предложил Фицрой.

— Желаю,— сказала Диана, и, оставив старух возиться на кухне, они отправились в цветочный магазин. Диана собралась было обойти машину, чтобы сесть на пассажирское место, но Фицрой крикнул:

— Эй! Ловите! — и бросил ей ключи.

Поймав их, Диана вернулась к водительской двери, открыла ее и скользнула за руль.

Возле полицейского кордона инспектор Холиленд изумленно воззрился на Диану и Фицроя.

— У вас сегодня свидание в тюрьме, миссис Тек?

Диана потупилась и отрицательно покачала головой. С того дня, как Чарльз попал в тюрьму, она каждое утро надеялась получить пропуск на свидание, но его все не было. Перед ними подняли шлагбаум, и Диана двинулась из переулка Ад в тот мир, который ей был более знаком: мир шикарных автомобилей, красивых кавалеров и дорогих цветов. По улице Ноготков она проехала мимо начальной школы, возле которой резвился Гарри. Накинув на голову пальто, он играл в грабителей — любимую свою игру. Объезжая спортивную площадку, Диана увидела Гарриса, который во главе большой стаи диковатых собак промчался по тоннелю через детскую площадку.

Фицрой вставил в стереомагнитофон кассету. Машину заполнил голос Паваротти — «Nessun Dorma» [1].

— Не возражаете, надеюсь? — спросил Фицрой.

— Нет, что вы, я его обожаю больше всех; я видела его живьем в Гайд-парке. А Чарльз предпочитает Вагнера.

— Вагнера? Тогда хорошего не жди,— сочувственно произнес Фицрой.

Наклонившись, он нажал еще одну кнопку, и в крыше открылся люк. Вырвавшийся из машины голос Паваротти привлек внимание королевы, которая, стоя у входа в «Еду-да-да», принимала соболезнования Виктора Берримена. Подняв глаза, королева увидела Диану за рулем машины; рядом, на пассажирском месте, сидел Фицрой Туссен и размахивал руками в такт музыке.

Что же дальше-то будет? — подумала королева и, собрав пакеты с покупками, двинулась в обратный путь, в переулок Ад.

А Диана с Фицроем неслись по дороге с двусторонним движением в город, дружно подпевая финальным тактам «Nessun Dorma»; их слабенькие голоса сплетались с мощным бельканто Паваротти. Навстречу им в направлении района Цветов двигалась запряженная лошадью повозка. Позади скопилось изрядное количество машин; разъяренные водители пытались заглянуть вперед в надежде улучить момент и обогнать гужевой транспорт.

— Это моя золовка со своим приятелем,— сказала Диана.

— Они похожи на цыган,— пренебрежительно бросил Фицрой.— И что это такое у лошади на голове?

Диана глянула в зеркало заднего вида.

— Это шляпа, которую Анна надевала в прошлом году на скачки в Аскоте.— И сухо добавила: — Пожалуй, лошади она идет больше.

Ей понравилось, что Фицрой засмеялся. Ей уже давно не удавалось рассмешить Чарльза.

Проезжая мимо тюрьмы, Диана вздохнула:

— Бедняжка Чарльз.

— Да. Вам, наверное, одиноко без него? — посочувствовал Фицрой.

Их взгляды встретились на какую-то долю секунды, но этого

---

[1] «Никто не спит» — ария Калафа из оперы Дж. Пуччини «Турандот» *(итал.)*.

оказалось достаточно, чтобы оба поняли: полное одиночество Диане теперь не грозит. Отсутствие мужа будет восполнено. Диана расцветала на глазах.

А солнце тем временем палило огород Чарльза. Из ящиков с перегноем, подвесных корзин и лотков с семенами испарялась вода; питательный компост высыхал, словно в пустыне Невады.

41. Читая газеты

Назавтра днем Вайолет Тоби, постучавшись в заднюю дверь королевского дома, прошла прямиком в кухню. В руках она держала свежий выпуск газеты «Мидлтон Меркьюри». Из-под стола высунулся было и зарычал на нее Гаррис, но Вайолет пнула его остроносой туфлей на высоком каблуке, и он убрался восвояси. Королеву Вайолет нашла в гостиной, она гладила шелковую блузку. Воротничок ей никак не давался.

— Противный, все морщит и морщит,— пожаловалась она.

Взяв утюг из рук королевы, Вайолет посмотрела на регулятор температуры.

— Он же у тебя на лен поставлен,— сказала она.— В этом вся загвоздка.

Королева выключила утюг и предложила Вайолет сесть.

— Вот это ты видела или нет? Тут про матушку твою.

Она протянула королеве газету. На седьмой странице, под сообщением о том, что в ночь на воскресенье в деревушке Пигстон Магна с веревки стянули белую майку, шла крохотная заметка:

УМЕРЛА БЫВШАЯ КОРОЛЕВА-МАТЬ

В переулке Ад (район Цветов) умерла в возрасте 92 лет бывшая королева-мать, в 1967 году открывшая травматологическое отделение Мидлтонской королевской больницы.

Королева вернула газету Вайолет, и та спросила:

— А вырезать неужто не хочешь?

— Нет,— ответила королева.— Хранить это вряд ли стоит.

И тут ей бросился в глаза кричащий заголовок на первой полосе: «КРИЗИС ИЗ-ЗА ЗАЙМА — ЯПОНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ УЛЬТИМАТУМ». Она снова взяла у Вайолет газету и прочла, что накануне Джек Баркер восемь часов подряд вел переговоры при закрытых дверях с руководителями казначейства и министром финансов Японии. Никакого заявления для прессы сделано не было.

Маркус Мур, корреспондент «Мидлтон Меркьюри» по финансовым вопросам, писал, что, как ему представляется, Британия стоит на пороге кризиса, самого тяжкого после мрачных времен второй мировой войны. Он с возмущением отмечал:

> «Общественности до сих пор неизвестно, чем именно обеспечивался заем во много миллиардов йен. Теперь стало совершенно ясно, что приверженность мистера Баркера открытости в управлении страной — обман. Иначе почему нас по-прежнему держат в полном неведении? Какие обязательства дала Британия Японии? «Мидлтон Меркьюри» настаивает: МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ».

— Интересно насчет этого японского займа,— проговорила королева, вторично возвращая Вайолет газету.

— Правда? — удивилась Вайолет.— А мне на политику наплевать. Она ж до моей жизни не касается.

— Я думала, вы поддерживаете Джека Баркера,— заметила королева.

— Ага, поддерживаю. Только его ведь скоро вышибут под зад коленкой.

Размышляя над углубляющимся финансовым кризисом, королева согласилась, что Вайолет вполне может оказаться права. Она сложила гладильную доску и убрала ее в шкаф под лестницей; и все это время ей не давал покоя вопрос: как она отнеслась бы к тому, чтобы вернуться в Букингемский дворец? Конечно, замечательно, если бы другие, невидимые руки гладили за нее белье, однако перспектива вновь приступить к исполнению своих официальных обязанностей приводила ее в дрожь. Она надеялась, что Джек сумеет выпутаться из трудностей.

42. Работа по дереву

На следующий день королева смотрела, как Джордж Бересфорд вбивает в гроб последний гвоздь.

— Вот,— сказал он с гордостью,— такая домовина и для королевы сгодится!

— Прекрасно сработано,— отозвалась королева.— Сколько я вам должна?

— Еще чего,— обиделся Джордж.— Подумаешь, какие-то обрезки досок, а гвозди у меня и так были.

Он провел по гробу рукой. Потом взял прислоненную к забору крышку и проверил, подходит ли она по размеру.

— Тютелька в тютельку, хоть и грех хвалить самого себя.

— Но вы же потратили время,— продолжала настаивать королева, надеясь, что время Джорджа обойдется не очень дорого. Службы социального обеспечения, выдавая похоронное пособие, не слишком расщедрились.

— Своему времени я теперь сам хозяин,— сказал Джордж.— А если я не выручу соседку, грош мне цена.

Королева провела рукой по крышке гроба.

— Вы настоящий мастер, Джордж.

— Я все ж таки был в учениках у краснодеревщика. И пятнадцать лет вкалывал на «Барлоуз».

Это название ничего не говорило королеве, но по тому, с какой гордостью Джордж его произнес, она поняла, что это весьма уважаемая фирма.

— Почему же вы оттуда ушли? — спросила она.

— Надо было ухаживать за женой,— ответил он, и лицо его помрачнело.

— Она заболела? — спросила королева.

— Удар у ней случился,— ответил Джордж.— Ей было тридцать три всего-навсего, говорливая была — страсть. Одним словом, утром я на работу ухожу, и она мне машет на прощанье, прихожу — она уже в больнице. Не говорит, не шевелится, не улыбается. Только и могла что плакать,— грустно добавил Джордж и продолжал, по-прежнему стоя к королеве спиной: — Словом, смотреть за ней больше некому было. А ее надо ж и помыть, и покормить, и все прочее, да еще и малыши, Тони с Джоном, вот я и бросил работу. А потом, когда она померла, фирма «Барлоуз» разорилась, а мне подвернулась только работа по оборудованию магазинов. С этим-то я с закрытыми глазами справляюсь. А все ж — работа. Мне тоскливо, если я не работаю. И не в одних деньгах дело.— Стараясь объяснить подоходчивей, он обернулся к королеве: — Просто тогда кажется... Вроде бы ты кому-то нужен... Ну, в общем, на кой ты, ежели не работаешь? А в магазинах у меня были товарищи что надо. Я уж три года как один живу; иной раз смотрю по телеку хорошую передачу и думаю, один-то сидючи: утречком расскажу ребятам.— Джордж рассмеялся.— Горюшко, одним словом, верно?

— А вы со своими товарищами встречаетесь? — спросила королева.

— Да нет, не получается,— объяснил Джордж.— Не свиданье же мне им назначать, в самом-то деле; они решат, что я сбрендил.

Он принялся рассовывать инструменты по специальным карманам

холщовой рабочей сумки. Для каждого предмета было свое гнездо. Королева заметила внутри на сумке черную надпись: «Барлоуз». Она взяла половую щетку и начала сметать в кучу кудрявые стружки. Джордж отнял у нее щетку.

— Это не для вас.

Но королева забрала ее обратно:

— Я вполне в силах замести стружки...

— Нет,— возразил Джордж, снова овладевая щеткой,— вас к черной работе не приучали.

— А пожалуй, напрасно,— и королева ловко выхватила щетку из его рук.

Оба примолкли, сосредоточившись каждый на своем деле. Джордж полировал гроб, а королева ссыпáла стружки в черный пластиковый пакет.

— Жалко, что ваша матушка померла,— вдруг сказал Джордж.

— Спасибо,— произнесла королева и впервые после смерти матери разрыдалась. Джордж положил тряпку и обнял королеву, приговаривая:

— Ничего, ничего, ты дай себе волю. Поплачь, поплачь всласть.

И королева всласть поплакала. Джордж увел ее в свой аккуратный домик, показал ей, где диван, велел лечь и, вручив рулон туалетной бумаги — промокать слезы,— ушел. Он знал, что в одиночестве ей легче будет предаться горю. Через четверть часа, когда ее рыдания немного стихли, он внес в гостиную поднос с чаем. Королева села и взяла у него из рук чашку с блюдцем.

— Извините меня, пожалуйста,— сказала она.

— Не за что тут извиняться,— сказал Джордж.

Пока они пили чай, королева попыталась прикинуть, сколько же чашек чая она выпила с тех пор, как переехала в переулок Ад. Наверное, сотни.

— Так приятно выпить чашечку чая,— сказала она вслух.

— И дешево, и все-таки горяченькое,— заметил Джордж.— Когда ничего нет, и это хоть какое-то удовольствие. Потом — не все же работать, надо в положенное время и чайку попить.

Королева допила свою чашку и протянула ее Джорджу, чтобы он налил еще. Ей хотелось немного отдохнуть, прежде чем браться за другие похоронные хлопоты.

В заднюю дверь постучали; вошли Спигги и Анна.

— Ваша матушка наплакалась вволю,— сообщил Джордж Анне.

— И хорошо,— сказала Анна; усевшись на валик дивана, она погладила мать по плечу. Стоявший позади королевы Спигги сжал ей руку повыше локтя, неуклюже выражая свое сочувствие.

— Мы со Спигги,— сказала Анна,— придумали, как доставить бабушкин гроб в церковь.

— Нашли у кого-то «универсал»? — спросила королева; она уже прикинула расходы и поняла, что катафалк и две машины для похоронной процессии им не по средствам.

— Нет,— ответила Анна.— Гроб может везти Гилберт.

— На чем?

— На повозке отца Спигги.

— Красочкой пройтись, и порядок,— добавил Спигги.

— У меня в кладовке есть несколько банок,— воодушевился Джордж.

— Послушай, Анна, милая,— сказала королева,— невозможно же хоронить маму на цыганской повозке!

Анна, которая в прежней своей жизни нередко выступала в поддержку цыган и их прав, несколько ощетинилась от этого пренебрежительного тона. Зато Спигги, в чьих жилах текла цыганская кровь, ничуть не обиделся.

— А я твою мамашу, Анна, понимаю. Что тут говорить, торжественными похоронами это не назовешь.

— Да ваша матушка была бы не против,— сказал королеве Джордж.— Я заметил, у нее, когда она ехала в карете, всегда бывало такое счастливое лицо.

Королева слишком устала и измучилась, чтобы спорить, и подготовка к торжественным похоронам, как их представляли себе в переулке Ад, пошла своим чередом. Было решено, что похоронным дрогам лучше всего подойдут краски лиловая и черная; Джордж, Спигги и Анна принялись соскребать с повозки прежнее веселое разноцветье, готовя ее к выезду через два дня по совсем не веселому поводу.

43. Занятия на несвежем воздухе

Британская ассоциация любителей занятий на свежем воздухе собралась на ежегодный торжественный ужин в Национальном (бывшем Королевском) географическом обществе. Банкетный зал был заполнен мужчинами и женщинами с обветренными лицами и отменным аппетитом. Байдарочники болтали с альпинистами. Мастера по спортивному ориентированию обменивались шутками с владельцами спортивных магазинов. Было заметно, что многие участники ужина чувствуют себя в вечерних туалетах неловко; им явно не терпелось снова влезть в свои видавшие виды тренировочные костюмы.

Почетным гостем на банкете был Джек Баркер. Он восседал за центральным столом; по правую руку от него сидел представитель Союза байдарочников Великобритании, а по левую — председательница Британской ассоциации спелеологов-любителей. Джек изнывал от скуки. Он терпеть не мог вылазок на природу, но сейчас охотно полез бы на Бен Невис [1], даже задом наперед и нагишом, лишь бы не выслушивать очередное бесконечное повествование о том, как его соседка по столу оказалась в затопленной пещере. Он отодвинул тарелку — суп отдавал рыбой.

— Это что за суп? — спросил он у стоявшего позади церемониймейстера.

— Рыбный, господин премьер-министр.

Когда Джек съел почти полпорции цыпленка по-королевски, его вдруг прошиб пот и он сильно побледнел.

Наклонившись к нему, представитель Союза байдарочников Великобритании с беспокойством спросил:

— Вы себя хорошо чувствуете, сэр?

— Не очень,— признался Джек.

Эрик Тремейн, присутствовавший на ужине как скромный член Британского клуба автотуристов и посаженный далеко от почетных мест, с тайным ликованием наблюдал, как церемониймейстер выводит Джека из зала.

— Какое неприличие,— заметил Эрик своему соседу, мастеру по затяжным прыжкам с парашютом, глядя, как Джека неудержимо рвет в полоскательницу, которую он стиснул в руках.

Когда в больнице Св. Фомы сделали лабораторный анализ супа из Джековой тарелки, то в нем обнаружились следы самого распространенного в стране гербицида и небольшая примесь средства для уничтожения улиток.

Поскольку Джек был единственным, кто пострадал на банкете, врачи и полицейские эксперты пришли к выводу, что имела место неумелая попытка отравить премьер-министра.

Следующим утром Эрик Тремейн сидел в своем прицепе, поставив его на площадке для машин неподалеку от Ист-Кройдона. Он в третий

---

[1] Гора в Северной Шотландии, высота 1343 м.

раз перечитал заголовок «ОТРАВЛЕНИЕ ПРОВАЛИЛОСЬ — ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЖИВ» и с отвращением отшвырнул газету.

44. Вверх по Коровьему взгорку

В день похорон королева проснулась рано. Она полежала немного, вспоминая мать, потом выглянула в окно. Солнце затопило переулок Ад. Возле дома Дианы стояла машина Фицроя Туссена.

Покопавшись в куче перепутавшихся колготок телесного цвета, королева наконец нашла пару, в которой почти не было спущенных петель. Она надела темно-синее шерстяное платье и, порывшись в нижнем ящике гардероба, отыскала синие лодочки. Затем отправилась в кладовку и долго перебирала коробки, пока не наткнулась на подходящую шляпу: синюю с белой репсовой лентой. Она примерила шляпу перед зеркальцем в ванной. До чего же я сейчас похожа на себя прежнюю, подумала она. С тех пор как они переехали в переулок Ад, она все время ходила в удобных юбках и свитерах. А теперь, в траурной одежде, она самой себе казалась напряженной и чересчур официальной.

Сойдя вниз, она покормила Гарриса, поджидавшего ее за кухонной дверью, потом налила себе кружку крепкого чая и пошла с нею в садик позади дома. У Беверли Тредголд бельевая веревка была увешана детскими вещичками, колыхавшимися на ветерке. Королева услышала, как взвыла стиральная машина Беверли, переходя на отжим. По другую сторону, в саду у Анны, она увидела Гилберта, жующего охапку сена. И вот уже отовсюду несется плеск воды, хлопанье дверей и голоса: обитатели переулка Ад встают и собираются на похороны, назначенные на раннее утро.

Вернувшись к себе, королева пригладила волосы, чуть-чуть подкрасилась и, взяв сумку, перчатки и шляпу, пошла в домик матери. Окна, по местному обычаю, были зашторены в знак того, что в доме кто-то умер. В кухне Филомина мазала маслом груду нарезанного белого хлеба; рядом на пергаменте лежал оранжевый тертый сыр, куски розового колбасного фарша и бежевая глыба мясного паштета — начинка для сандвичей, которые пойдут на поминки. Вошла Вайолет Тоби, в руках у нее был поднос с горкой крошечных, облитых немыслимо яркой разноцветной глазурью пирожных.

— Спасибо,— сказала королева.

Следом Беверли Тредголд принесла большой фруктовый пирог, чуть подгоревший с боков. Вскоре маленький пластмассовый столик, стоявший посреди кухни, был завален всякой снедью.

Прибыла принцесса Маргарита, вся в черном, и объявила:

— Люди раскладывают на лужайке перед маминым домом кошмарные букетики дешевых цветов.

Королева вышла на крыльцо в ту самую минуту, когда миссис Крисмас клала на траву охапку васильков; на прикрепленной к ним открытке было написано: «С искренними сабалезнованиями, супруги Крисмас и сыновья».

Вокруг толклись другие жители переулка Ад, читая надписи на цветочных подношениях. Было там и подношение от инспектора Холиленда — традиционный венок из красных, белых и голубых гвоздик. На открытке значилось:

«Да пребудет с Вами Божья благодать. От инспектора Холиленда и ребят у кордона».

Но самую пышную и красивую дань памяти усопшей нес через дорогу Фицрой Туссен. Две дюжины благоухающих лилий, окруженных облачком перекати-поля. Тут подъехал фургон цветочника, и от исполненных сочувствия соседей по переулку Ад на траву легли новые венки и букеты. Тони Тредголд оборвал всю сирень с запаршивевшего деревца, росшего у него в саду.

Ровно в 8. 30 к домику королевы-матери рысцой подошел Гилберт, запряженный в чудесно преобразившуюся повозку. Она сверкаа лиловой и черной краской, изнутри колес поблескивала золотая кайма, а по бокам повозки аккуратно, ярко-синим — любимым цветом королевы-матери — были выведены буквы: «К.-М.»

Уздечка у Гилберта была начищена до блеска, шкура лоснилась. Ради торжественного случая его заново подковали, и он ступал гордо, высоко поднимая ноги, словно привык быть на королевских торжествах в центре внимания. Толпа соседей по переулку Ад примолкла, когда Анна и Спигги вылезли из повозки и направились в дом. Наклонив голову, Гилберт принялся жевать венок инспектора Холиленда, но Уилф Тоби подхватил вожжи и, дернув, заставил Гилберта поднять голову.

В переулок Ад въехала полицейская машина; за рулем сидел констебль, а сзади — мистер Пайк и Чарльз. На Чарльзе был темный костюм, черный галстук и розовая рубашка. Волосы были стянуты на затылке теперь уже привычной красной махровой ленточкой. На правом запястье виднелся наручник. Мистер Пайк был в тюремной форме, на левой руке тоже красовался наручник. «Почему Диана не справилась с простейшим поручением? — думал Чарльз. — Ведь в письме я просил ее прислать *белую* рубашку». Машина остановилась; Чарльз и мистер Пайк, скованные в запястьях, вылезли и направились в дом. Королева огорчилась, увидев Чарльза. А она-то надеялась, что его уже постригли, как в тюрьме положено. И с какой стати он вырядился в розовую рубашку? Это что, протест анархиста против заведенных порядков?

В спальне королевы-матери собрались мужчины, которым предстояло нести гроб: Тони Тредголд, Спигги, Джордж Бересфорд, мистер Крисмас, Уилф Тоби и принц Чарльз, на это время освободившийся от мистера Пайка. Спигги нервничал. Он был на добрых восемь дюймов ниже остальных; дотянется ли он до гроба или будет, на потеху всем, хватать руками воздух? Джордж проверил винты на крышке, и под взглядами ближайших родственников покойной мужчины подняли гроб на плечи. Спигги поднапрягся и, к великому своему облегчению, почувствовал, что кончики пальцев касаются дерева. Осторожно лавируя, гроб вынесли из тесного домика.

Собравшиеся молча смотрели, как, подойдя к повозке сзади, мужчины ловко вдвинули гроб на место, и он стал прочно, удерживаемый собственной тяжестью. Королева попросила положить на крышку букетик душистого горошка; потом начали класть и другие цветы, и вскоре повозка напоминала рыночный цветочный лоток. Анна вскочила на козлы, взяла вожжи, и Гилберт тронулся приличествующим случаю похоронным шагом. Стоя за закрытой входной дверью бунгало, Филомина ждала. Услышав шарканье двинувшейся в путь толпы и замирающее вдалеке цоканье копыт Гилберта, она раздвинула шторы, впустив в комнаты солнечный свет. Затем распахнула входную дверь, чтобы выпустить дух королевы-матери.

Повозка и следовавшая за ней процессия миновали кордон. Инспектор Холиленд браво отдал честь, избегая встречаться глазами с Чарльзом. На некотором расстоянии от толпы, провожавшей королеву-мать в последний путь, ехал автобус с полицейскими — отгонять представителей прессы, ежели найдутся среди них храбрецы, готовые пренебречь запретом на освещение похорон в средствах массовой информации. До церкви и примыкающего к ней кладбища было всего полмили, но Диана уже жалела, что надела черные лодочки на высоченных каблуках; зато она снова была на виду, пусть всего лишь у местных жителей, которые, стоя у дверей своих домов, молча разглядывали процессию.

Из «Еды-да-да» вышел Виктор Берримен вместе с кассиршами и юным подсобным рабочим в бейсбольной кепке козырьком назад. Когда повозка поравнялась с ними, Виктор сорвал у юнца с головы кепку и успел прочесть ему мини-лекцию об уважении к усопшим. Миссис Берримен, отрезанная от мира своей агорафобией, грустно взирала из окошка наверху.

Оставался последний отрезок пути: Коровий взгорок, на котором стояла церковь. Гилберт напрягся в оглоблях, приноравливаясь к подъему. Вдоль дороги группа мужчин и женщин сажала деревья; они отставили лопаты, глядя на похоронную процессию.

— Деревья сажают! — воскликнула королева.

— Замечательно, правда? — сказал Чарльз.— По Радио-четыре передавали, что Джек Баркер распорядился провести массовую посадку деревьев. Надеюсь, ямы они подготовили как надо.— Он с беспокойством обернулся.

Диана уже спотыкалась, и Фицрой Туссен, ослепительный в своем темном костюме, заботливо взял ее под руку. Этой женщине, думал он, нужна поддержка, и он — тот самый мужчина, который готов ее оказать. Впрочем, в глубине души он понимал, что, восстановив однажды свое самоуважение, она сумеет выжить и в одиночку.

— Тпрруу,— пропела Анна, как ее учил Спигги, и Гилберт стал у погоста.

Похоронная процессия вползла в церковь и превратилась в общину прихожан; когда все расселись по местам, мужчины внесли гроб и поставили у алтаря. Королева просила, чтобы сначала исполнили «Все светлое и прекрасное», а затем — «Неслыханную благодать». Прихожане из переулка Ад охотно подпевали. Слова они знали и пели с наслаждением. В пивных частенько случались импровизированные спевки, конец которым клал только сам хозяин заведения. Высокие родственники усопшей пели более сдержанно, кроме королевы, странным образом испытывавшей прилив новых сил, какое-то почти освобождение. Ей слышался голос Крофи: «Гррромче, девочка, полными легкими!» — и она пела полной грудью, изумляя стоящих по бокам Маргариту и Чарльза.

В конце заупокойной службы священник возгласил:

— Прежде чем мы пройдем на кладбище, прошу вас присоединиться ко мне в благодарственном молении.

— Знать, в бильярд выиграл,— шепнул мистер Крисмас жене.

— Заткнись! — прошипела миссис Крисмас.— Имей, черт подери, уважение! Ты же в церкви.

Священник, помолчав, продолжал:

— Вчера было совершено покушение на жизнь нашего обожаемого премьер-министра. К счастью, благодаря заступничеству Божьему, все обошлось.

— К счастью для кого? — поинтересовалась принцесса Маргарита sotto voce [1].

И замолчала под испепеляющим взглядом королевы.

Хотя терпение священника было на исходе, он продолжал:

— Боже Всемогущий, благодарю Тебя за то, что пощадил жизнь слуги Твоего, Джека Баркера. Наша маленькая община уже испытала на себе благотворность его мудрого руководства. В школе нашей скоро будет новая крыша, предполагается отремонтировать ветхие дома...

— А мне перевод пришел вовремя! — прервал его сидевший сзади человек по прозвищу Джонсон-Перевод.

— А я получил работу! — крикнул Джордж Бересфорд, размахивая письмом из нового Министерства срочного жилищного строительства.

Другие тоже стали рассказывать о том, как лично их немыслимо облагодетельствовал Джек. Филомина Туссен в экстазе залопотала что-то непонятное, а мистер Пайк, охваченный общим возбуждением, признался, что мечтает увидеть в каждой камере тюрьмы «Замок» унитаз со сливным бачком.

— Мы преодолеем! [2] — крикнул он.

Ну, это уж слишком, подумал священник, прямо какое-то сектантское сборище. Он неодобрительно относился к харизматическому богослужению с тех самых пор, как его жена во время ссоры объявила, что

[1] Вполголоса *(итал.)*.

[2] Первая строка известной песни.

ему самому не хватает харизмы. И когда Чарльз выкрикнул, что, на его взгляд, распоряжение о посадке деревьев «свидетельствует о внимании мистера Баркера к окружающей среде», священник решил, что пора их унять; он велел прихожанам стать на колени и, сложив руки, тихонько помолиться.

Королеве был особенно тяжек тот миг, когда гроб опускали в разверстую могилу, и, прежде чем бросить на крышку горсть земли, она протянула руки к двум своим старшим детям. На лице Маргариты, прикрытом вуалью, выразилось неодобрение: королева показывает свои чувства — это дурно, неприлично, все равно что сорвать пластырь с открытой раны. Чарльз тоже не скрывал своего горя. Анна приникла к нему, и королева пыталась их утешить. Маргарита оторопела, увидев, что обитатели переулка Ад, в полное нарушение королевского протокола, подходят к сестре и обнимают ее. А что делает Диана в объятиях Фицроя Туссена? Почему Анна, склонившись, рыдает на плече толстенького коротышки? Маргарита, передернувшись, отвернулась и зашагала по взгорку вниз.

Поминки продолжались едва ли не до вечера. Королева охотно рассказывала о матери, естественно и непринужденно общалась с гостями. Филомина Туссен, сидя у себя на кухне, прислушивалась к звукам веселья у соседей. В доме, где подают алкогольные напитки, она находиться не может. Пододвинув стул, она взобралась на него и начала переставлять в высоком буфете банки, пакеты и картонки. Все те пустые банки, пустые пакеты и пустые картонки, которые составляли гордость старухи с нищенской пенсией.

В то самое время как поминки подходили к концу, принц Филип, подкрепленный искусственным питанием, сел на постели и принялся уверять новую временную сиделку, что он — самый настоящий герцог Эдинбургский. Он женат на королеве, он отец принца Уэльского, он плавает на королевской яхте «Британия», одно обслуживание которой обходится в 30 000 фунтов в день.

— Ясное дело,— певуче отвечала сиделка, внимательно глядя в широко раскрытые глаза безумца.— Ясное дело.

— А я — новый Мессия! — возгласил лежавший рядом больной.

Сиделка повернулась к нему.

— Ну, ясное дело,— сказала она.— Ясное дело.

Принц Чарльз умолял мистера Пайка разрешить ему осмотреть свой огород, и Пайк, подобрев после двух банок сверхкрепкого пива, уступил:

— Ладно, на минутку, а я пока пописаю.

Пайк пошел наверх в уборную, а Чарльз шепнул Диане:

— Быстро отыщи мой спортивный костюм из эластика и кроссовки.

Пока Диана бегала на поиски, Чарльз с ужасом оглядел обезвоженную пустыню, некогда бывшую его огородом. Донесся шум сливаемой воды, затем шаги — это Пайк пошел в ванную мыть руки. Чарльз сбросил траурные одежды и облачился в яркий спортивный костюм и кроссовки. Осознав смысл происходящего, Диана помчалась за кошельком. Протягивая Чарльзу банкноту в двадцать фунтов, она сказала:

— Счастливо тебе, дорогой. Жаль, что у нас с тобой жизнь не сложилась.

Чарльз уже бежал, когда мистер Пайк вытирал наверху руки; затем Пайк открыл в ванной шкафчик — на всякий случай проверить не мешает,— а Чарльз тем временем перепрыгнул через забор позади огорода; он уже мчался на север, к свободе, когда Пайк, удовлетворив свое любопытство, закрывал шкафчик и не спеша спускался вниз, готовясь препроводить заключенного обратно в тюрьму.

ИЮНЬ

45. Промашка

Джек Баркер принимал делегацию Союза матерей, ходатайствовавшую об узаконении публичных домов. Расположившись в гостиной дома десять по Даунинг-стрит, они поглощали горячие закуски и рассуждали о садо-мазохистских играх с плеткой и промывании толстой кишки. Джек всячески старался показать, что его ничуть не шокируют высказывания пожилых, достойных на вид матрон.

— Однако вы, например,— обратился он к главе делегации миссис Баттеруорт,— вряд ли бы обрадовались борделю по соседству с *вами*, правда?

Ухватив с проносимого мимо подноса кусочек хрустящих водорослей, миссис Баттеруорт возразила:

— А у меня и так бордель по соседству. Содержит его милейшая женщина, а девочки — просто золото. Какой у них ухоженный сад!

Перед мысленным взором Джека тут же возникли едва прикрытые шлюхи, подравнивающие бордюры у клумб.

— Как несправедливо, что они живут под постоянной угрозой судебного преследования.

Джек согласно кивал, но голова его была занята совсем другим. Через полчаса ему предстояло выступить в парламенте с официальным заявлением. При мысли о том, что ему надо сойти в эту медвежью яму, полную разъяренных зверей, и изложить, как именно он намеревается выплатить долг Японии, на Джека нападал колотун. В комнату вошла Росетта Хиггинс, личный секретарь Джека, давая понять, что пора ехать. Джек пожал миссис Баттеруорт руку, пообещал «заняться этим весьма важным вопросом», помахал на прощанье остальным и направился к двери. Выходя, он услышал, как миссис Баттеруорт говорит группе сбившихся вокруг дам:

— Глаза божественные, задница отменная, вот только в перхоти весь — обидно.

На пороге резиденции Джек отряхнул свой темный пиджак и подумал: «Ах ты, толстая старая корова, вот выясню, где ты живешь, и этот твой дом свиданий быстро по миру пущу». Но тут же устыдился таких мстительных мыслей. Что с ним происходит? Повернувшись к сидящей рядом в правительственной машине Росетте, он сказал:

— Купи мне потом этот «Хед энд шоулдерс», ладно?

— Сам покупай,— отрезала она.— Я и так по шестнадцать часов в день работаю. Когда мне ходить по магазинам?

— Не могу же я сам ходить по магазинам, согласись,— заканючил Джек.

— Да куплю я этот чертов шампунь,— вмешался шофер.— Вон, на углу Трафальгарской площади. Какие у тебя волосы, Джек? Жирные? Сухие? Нормальные?

— Какие у меня волосы? — спросил Джек у Росетты.

— Жидкие,— сказала она.

По утрам волосы Джека забивали в душе сток. Когда он мчался из своей приемной на официальную встречу, а потом в палату общин, он всюду оставлял осязаемые следы своего присутствия. Волосы его легко отделялись от головы и плыли по воздуху, выбирая, где бы приземлиться. На голове Джека они уже не чувствовали себя в безопасности, а потому и не испытывали к ней особой привязанности.

Когда машина, выехав с Даунинг-стрит, свернула на Уайтхолл, Росетта протянула Джеку папку с надписью: «БОМБА — ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ. СЕКРЕТНО».

— Просмотри-ка лучше это.

Джек улыбнулся. Слава Богу, хоть есть чем развлечься.

— Что там еще придумал этот старый пень?

— Его, кроме прочих, официально поддерживают Британский легион, Клуб автотуристов Великобритании и Федерация арендаторов. Прочти сам.

Открыв папку, Джек принялся за чтение. Эрик Тремейн стал уже чертовски досаждать ему. Зародившись в Кеттеринге, его идиотское движение охватило страну почти целиком. «Маркс и Спенсер» распродали все свои запасы бежевых автомобильных курток с резинкой на спине.

— Старый осел,— буркнул Джек, возвращая папку Росетте.— А королева ему хоть раз ответила?

— Последняя страница,— рявкнула Росетта и швырнула досье Джеку на колени.

Джек снова открыл папку, долистал до последней страницы и прочел фотокопию письма королевы, перехваченного почтой по дороге к дому «Эрилоб».

M12 9WL
Мидлтон
район Цветов
переулок Ад, 9

Уважаемый мистер Тремейн!

Благодарю Вас за письмо. Я весьма признательна Вам и Вашей жене за заботу о благополучии моем и моей семьи. Тем не менее я очень советую Вам целиком сосредоточиться на Ваших разнообразных увлечениях, и пусть БОМБА закончит свое существование. Мне не хотелось бы чувствовать себя ответственной за те недоразумения с властями, которые в противном случае могут у Вас возникнуть.

Приношу извинения за неприглядную бумагу и конверт. В нашем местном магазине выбор несколько ограничен.

Искренне Ваша
Элизабет Виндзор

P. S. Содержание нашей переписки почти наверняка не избегнет внимания властей. Поэтому вынуждена просить Вас больше мне не писать. Уверена, что Вы меня поймете правильно.

Переписка тем не менее продолжалась.

Шофер остановил машину и быстро зашагал в супермаркет. Джек читал фотокопию очередного послания Тремейна, собственноручно, с наклоном влево, написанного на обороте приглашения на открытие выставки «Идеальное жилище».

Ваше Величество!

От меня не ускользнул тайный смысл Вашей фразы: *«Уверена, что Вы меня поймете правильно»*. Именно поэтому Ваш молочник Барри Лейкер сам принесет Вам эту записку вместе с пинтой полужирного молока. Буду держать Вас в курсе событий.

Ваш
Эрик (БОМБА)

Переписка и на этом не оборвалась.

Ваше Величество!

Простите, что долго не писал. Нам с Лобелией пришлось несколько дней заниматься нашим автоприцепом. Туда вторглись какие-то вандалы и разломали двухэтажную кровать и оборудование для душа. От одного зрелища разрушений Лобелии стало так плохо, что пришлось отпаивать ее успокоительным, но теперь она вновь на коне. БОМБА растет не по дням, а по часам. У нас есть сторонники даже в Дамфрисе и Тотнесе. Наш почтальон (Алан) шутит, что скоро им придется отвести нам на почтамте специальный ящик для корреспонденции!

Лобелия шлет нежные приветы Диане (своей всегдашней любимице). Мои

любимицы — Вы и Анна (за добро, которое она несет за границей темнокожим ребятишкам).

С любовью,
Эрик

Можно спокойно посылать ответ через молочника Барри Лейкера. ОН — ИЗ НАШИХ.

Шофер вернулся в машину и сунул флакон «Хед энд шоулдерс» в бардачок.

В досье Тремейна было еще кое-что. Джек вздохнул, читая записки королевы к молочнику.

ЧЕТВЕРГ
На одну пинту больше, чем обычно, пожалуйста.
СУББОТА
Одну баночку йогурта, пожалуйста.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Позвольте, я уплачу Вам в среду, хорошо?
СРЕДА
Извините, Барри, перевод еще не пришел.

— Барри Лейкер работает на нас? — спросил Джек.

— Нет,— ответила Росетта,— он работает на молочный магазин; это самый обыкновенный разносчик молока, который просто оказался членом движения БОМБА. Как и миллионы других людей, Джек. Пора тебе отнестись к ним серьезно.

Но БОМБА была не тем предметом, к которому Джек мог относиться серьезно. Пока машина двигалась к Парламентской площади, он вынул из папки последние фотографии Эрика и Лобелии Тремейн и громко расхохотался. Фотограф щелкнул супругов в их садике. Эрик подреза́л плющ, буйствовавший в желобах на крыше. Его придурковатая физиономия была обращена к жене, которая протягивала мужу печенье с отрубями и дымящуюся кружку. Внизу на снимке значился час: «11.00 утра».

— Одиннадцатичасовой чай — точнехонько в одиннадцать часов,— веселился Джек.— Даже при том, что эта безмозглая жопа сидит на лестнице! И ты хочешь, чтоб я относился к ним серьезно. Да ты только глянь, как она одета! — воскликнул Джек, тыча пальцем в Лобелию.

— Ну, не умеет она одеваться — подумаешь, велика важность.

Джек хмуро смотрел на Памятник павшим, мимо которого с черепашьей скоростью тащился их лимузин.

— Нет, Росетта, не в том дело, что она не умеет одеваться. Просто одета она так, будто у нее крыша поехала. Их нужно освидетельствовать и упрятать в психушку.

Росетта раздраженно глядела на Уайтхолл из окна машины. Ей не нравилось, когда Джек бывал в таком настроении. Она предпочитала серьезного лидера, которому безразлично, кто как одевается.

Когда машина подъезжала к парламенту, их нагнали двое полицейских на мотоциклах и двинулись рядом.

— Проезжайте прямо, держитесь за нами! — крикнул один из них.

Признав в них моторизованную охрану членов палаты общин, шофер повиновался.

— Чрезвычайные меры безопасности,— заключила Росетта.

— И слава Богу,— отозвался Джек. Значит, его объяснения грозных для Британии финансовых связей с Японией придется отложить. Машина неслась по набережной; глядя на Темзу, Джек думал: а здорово было бы сесть на пароходик до Саутенда — и дальше, в открытое море.

К вечеру королева зашла к Пейтелу, торговцу газетами, намереваясь купить себе шоколадку. Когда она была сказочно богата, эта ерунда ее не привлекала; но теперь, в бедности, ей почему-то все время страстно

хотелось конфет. Разглядывая выложенные рядами сладости в ярких обертках, она заметила на прилавке свежий выпуск «Мидлтон Меркьюри» с аршинным заголовком: **«СЕНСАЦИЯ: ЖИТЕЛЬ АППЕР-ХЭНГТОНА В ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ ПАЛАТЫ ОБЩИН».** Испросив у мистера Пейтела разрешения, она стала читать статью.

Эрик Тремейн, житель наших мест, был сегодня арестован в Лондоне за хранение взрывчатых веществ. Пятидесятисемилетнего Тремейна, проживающего в Аппер-Хэнгтоне, неподалеку от Кеттеринга, обнаружили в подвале здания Парламента полицейский с собакой-ищейкой. В хозяйственной сумке нашего земляка нашли небольшое количество семтекса, пластиковой взрывчатки. Тремейна, бывшего торговца рыбой, увезли на допрос в полицейский участок на Боу-стрит.

Образцовый сад

Население Аппер-Хэнгтона еще бурно переживало происшедшее, когда репортер Дик Уилсон приехал туда, чтобы побеседовать с жителями. «А ведь в субботу Эрик должен был определить победителя соревнования «Образцовый сад»,— сообщила ему 85-летняя Эдна Лэптон.— Что теперь будет, не представляю».

Чудаковатый

Сосед Тремейна, пожелавший остаться неизвестным, сказал: «Эрик малость чудаковат, он так и не оправился после того, как лишился своего рыбного магазина». Миссис Лобелия Тремейн (59 лет) находится у друзей. Эрик Тремейн является основателем и лидером движения «Британцы, Освободим Монарха, Будем Активны!» (см. комментарий редакции на стр. 3).

Королева раскрыла газету на странице три.

В сегодняшнем номере мы сообщили о том, что полицейский и его отважная собака задержали жителя наших мест Эрика Тремейна, при котором было обнаружено взрывчатое вещество семтекс. Хотелось бы поздравить пса, кличка которого нам пока неизвестна. Кто знает, какое чудовищное несчастье он предотвратил? Читатели помнят, что наша газета в свое время поддержала начатую мистером Тремейном кампанию по восстановлению монархии, дабы помешать Джеку Баркеру безрассудно растрачивать средства, которых ни у него, ни у страны нет. Однако, обуреваемый стремлением добиться своего, мистер Тремейн, по всей видимости, готов был прибегнуть и к насильственным методам. Таких действий наша газета не одобряет и одобрить не может.

Аккуратно свернув газету, королева положила ее назад на прилавок.

— Именно таким я его себе и представляла,— заметила она, глядя на нечеткую фотографию на первой полосе.

— А вы его знаете? — спросил мистер Пейтел.

— Знала, что есть такой,— ответила королева, никак не решаясь сделать окончательный выбор между шоколадным батончиком «Фрайз» с мятной начинкой и коробочкой горошка «Смартиз».

46. Бедняк у ворот [1]

Королева сидела в комнате отдыха клиники «Угрюмые башни». Рядом, в белом больничном халате, примостился Филип. На спине у него крупными зелеными буквами было выведено: «СОБСТВЕННОСТЬ ГЗО» [2]. Разговор не клеился. Королева принялась читать «Олди» [3], а Филип — смотреть плохо настроенный телевизор, укрепленный на стене высоко над головой. Другие больные, сидевшие в комнате отдыха, вполне дружелюбно болтали с родственниками. Оторвавшись от статьи Джермейн Грир о том, как ухаживать за садом, расположенным возле

[1] Видимо, аллюзия на стих из «Ветхого Завета», Книга Пророка Амоса, 5, 10—11.
[2] Государственное здравоохранение.
[3] Английский журнал для пожилых людей.

ветреного перекрестка, королева оглядела комнату. А ведь не сразу отличишь больных от посетителей, мелькнула у нее мысль. Вот бы Филипа одеть не в пижаму, а в нормальный костюм!.. О чем он там бормочет? Она наклонилась к нему поближе.

— Ишь косоглазый,— бурчал Филип, уставившись в экран.

Проследив за направлением его взгляда, королева увидела его величество императора Японии Акихито, махавшего с верхней ступеньки поданного к самолету трапа. Потом камера показала принцессу Саяко, встречавшую отца внизу, возле трапа. Рядом стоял Джек Баркер, его плешь поблескивала на солнце. Филип волновался все больше.

— Косоглазый! — завопил он.

— Тише, милый! — сказала королева, однако Филип вскочил и, ругаясь и размахивая кулаками, двинулся к телевизору. Только теперь она поняла, почему телевизор подвесили так высоко. Санитар отвел Филипа в палату, чтобы уложить в постель; королева пошла за ними. Из комнаты отдыха доносилась необычная музыка; королева сразу узнала: японский государственный гимн, а играет, скорее всего, оркестр Колдстримского гвардейского полка.

Когда королева шла из «Угрюмых башен» к автобусной остановке, ей повстречалась компания обтрепанных бедолаг, рассевшихся табором у дороги. Один из них, молодой человек в пальто до пят, подошел к королеве и спросил:

— Сударыня, можно нам вернуться обратно?

Она всего лишь посетительница, объяснила королева, а не сотрудница клиники.

— Мы хотим обратно,— детским голоском сказала пожилая женщина.

Мужчина с разбитой физиономией, показавшейся королеве знакомой, закричал:

— Выкинули нас — живите, говорят, в этом, елки-палки, в обществе. А нам оно не по нраву, ваше общество, и мы ему тоже, елки-палки, не по нраву. Джек Баркер должен нас принять обратно. Говорил, приму-де, приму, вот пущай и примает, пущай и примает.

Выразив ему свое полное согласие, королева поспешила на автобус.

47. Уход со сцены

Молочник Барри стучался в дом номер девять по переулку Ад до боли в суставах. Было еще очень рано, полшестого утра, но ему необходимо было передать письмо королеве *в собственные руки,* как того требовала Лобелия Тремейн.

Наверху затявкал Гаррис, и вскоре королева, нечесаная, с затуманенными сном глазами, отворила дверь. Барри стоял перед ней, зажав, словно королевскую державу, пинту полужирного молока. Оглянувшись на полицейский кордон, он прошептал:

— Вам письмо, ваше величество.

Королева взяла у Барри молоко, а он в тот же миг одним движением сунул ей в руку конверт.

— От миссис Тремейн,— негромко сказал он и, повернувшись, зашагал к калитке.

Вздохнув, королева прикрыла дверь. А она-то надеялась, что вся эта дурацкая суета, поднятая Тремейном, уже позади. Она пошла на кухню и поставила чайник. Ожидая, пока он вскипит, вскрыла конверт и вынула несколько листков. Начала она с послания, написанного от руки на сложенной пополам открытке с изображением барсука.

Ваше Величество!

Как Вы уже, наверное, знаете, вчера арестовали моего мужа Эрика. Для нашего Дела это тяжкий удар. И тем не менее я, будучи всего лишь слабой женщиной, намерена возложить на себя груз ответственности, который нес

Эрик. Один доброжелатель из Австралии прислал нам копию заметки из «Сидней трампет», которая при сем прилагается...

Не дочитав записки Лобелии, королева взяла в руки глянцевитый листок с копией заметки.

ЕГО АНГЛИЙСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО УХОДИТ В НАРОД

Таинственное исчезновение экс-принца, администратора гастрольной труппы

Вчера вечером, за полчаса до поднятия занавеса, исчез Эд Уиндмаунт, главный администратор английской труппы, чей спектакль «Овцы!» идет в Королевском театре Сиднея с полным аншлагом. Управляющий отелем «Бридж вью» Клайв Трелфорд сказал: «Он ушел днем прямо в театр; в номере он явно не спал: постель была не смята». Мистер Крейг Блейн, директор труппы, сегодня заявил: «Мы совершенно сбиты с толку. Эд обычно очень точен. Опасаемся, что произошло что-то скверное».

Последним видел члена бывшего английского королевского семейства театральный осветитель Боб Ганторп. Вот что сообщил нам главный электроспец труппы: «Я работал над сценой и, глянув вниз, заметил, что здоровенный амбал, ни дать ни взять гималайский медведь, уводит Эда за кулисы. Я слышал, как Эд крикнул «Помогите!», но пропустил это мимо ушей: Эд — малыш на редкость неуклюжий, даже для англичанина, вот я и подумал, что он налетел на декорацию».

Сиднейская полиция опубликовала примерный портрет похитителя: «Рост шесть футов шесть дюймов, крупного сложения, лицо загорелое, сломанный нос, от левого уха ко рту идет косой шрам; одет в маскировочную куртку, зеленые брюки, зеленый берет и тяжелые башмаки».

Даты на факсе не было. Сколько же времени прошло с тех пор, как Эд исчез? Она надеялась, что хотя бы его, самого впечатлительного из ее детей, судьба пощадила; а теперь, по милости этой чертовой Лобелии Тремейн, забот у нее прибавилось. Королева нагнулась и, вынув открытку Лобелии из пасти Гарриса, дочитала ее. БОМБА и прочий бред занимали бóльшую часть письма, а в конце была приписка:

P. S. Из надежного источника я узнала, что принц Эндрю служит на подводной лодке где-то под полярными льдами.

— Так вот почему Эндрю не давал о себе знать,— сказала королева Гаррису.— Ему повезло.

48. Приглашение на обед

В полдень к королеве зашли Анна со Спигги и были поражены, застав ее в халате и шлепанцах. Она молча протянула Анне газетную вырезку. Памятуя, что Спигги читать не умеет, Анна тактично прочла ее вслух. Королева убрала с глаз растрепанные волосы и глубоко вздохнула.

— Я понимаю, мама, это для тебя новый удар,— сказала Анна,— но нельзя же распускаться.

Подведя мать к лестнице, она велела ей принять ванну и одеться.

— Спигги приглашает нас пообедать,— крикнула Анна, когда королева, шаркая ногами, выползла из ванной комнаты.

Пообедать? — подумала королева. И где же? В сосисочной? Или в придорожном кафе? А может, возле забегаловки, торгующей рыбой с жареной картошкой?

Она была приятно удивлена, узнав, что Спигги заказал им столик в Рабочем клубе района Цветов (поставив в журнале регистрации крест вместо подписи). Зал был хорошо обставлен; королева, успевшая зверски проголодаться, с радостью отметила, что в баре на прилавке горами высятся булочки с мясом, сыром и салатом, рулет с яйцом по-шотландски и куски пирога со свининой. В углу тихонько бормотал телевизор, придавая залу почти домашний уют. В соседнем концертном зале такие

же, как она, пенсионеры под запись оркестра Джо Лосса [1] разучивали старинные танцы.

На танцплощадке кружились Вайолет и Уилф Тоби. Вайолет была ослепительна: усыпанные блестками туфли без пяток на высоких каблуках, алое платье в таких же блестках и сияющее счастьем лицо.

Королева опустилась рядом с Анной на обитую искусственной кожей банкетку и приказала себе расслабиться.

Небрежной походкой Спигги подошел к бару и, вытащив по дороге из кармана скатанную в трубку пачку банкнот, заказал еду и напитки.

Пока Норман, угрюмый бармен, своими неопрятными руками собирал на подносе их обед, королеве припомнилось, как Крофи говаривала ей: «Надо съедать все, что тебе положат. Оставлять на тарелке — страшное неприличие!»

Когда стол был уставлен яствами и выпивкой, Анна подняла стакан горького пива и предложила королеве:

— Давай не будем говорить про наши семейные дела, хорошо?

Наступило молчание; наконец Спигги, проглотив половину рулета с яйцом, заговорил о Гилберте. И тогда завязалась оживленная беседа о лошадях, которых они знали и любили; разговор прервался, лишь когда на телеэкране возникло мрачное лицо Джека Баркера.

— Чегой-то стряслось,— взглянув на часы, сказал Спигги.— В это время обычно показывают передачи для ребятишек.— И, обращаясь к Норману, крикнул: — Э-гей, Норман, прибавь-ка звук.

Когда Норман, нашарив рычажок, повернул его в нужную сторону, Джек Баркер произнес:

— Таким образом, учитывая всемирный финансовый кризис, несущий угрозу стабильности в нашей стране и даже самому нашему образу жизни, правительство решило, что настала пора внести серьезные изменения в британскую конституцию.

Осушив бокал белого вина, королева скептически заметила:

— А у нас нет писаной конституции. Очевидно, Баркер намерен написать свою собственную.

Она подалась вперед, желая услышать, что же именно предлагается; но ее ожидало разочарование.

— Заняв пост премьер-министра, я получил высокое право осуществлять радикальные реформы, невзирая на противодействие самых разных сил. И впредь, какую бы должность я ни занимал, я всегда буду стремиться быть полезным своему народу, своей стране.

— Он что же, собирается подать в отставку? — спросила королева.

— Вот уж чего не хотелось бы,— сказал Спигги.— Он только вчера отменил подушный налог!

— Тихо, Спиггз,— шикнула Анна.

— Завтра в одиннадцать часов утра я выступлю с развернутым обращением к стране. Всего доброго! — внезапно закруглился Джек.

Ведущий в темном костюме торжественно объявил:

— Все назначенные на завтра передачи отменяются; вместо них пойдет специальный прямой репортаж. Он будет передаваться по всем каналам.

— Вот те на! — воскликнул Норман, который каждую свободную минуту проводил у телевизора.— Прямо, черт возьми, конец света.

49. Чай на троих

Торопливо покинув телестудию в Вестминстере, Джек с провожатым подошел к лимузину, чтобы ехать назад, на Даунинг-стрит. Хотя великолепные резиновые шины мягко катили по ровному асфальту, Джеку чудилось, что он ощущает под собою железные ободья повозки, грохочущей по булыжной мостовой к месту казни.

[1] Джо Лосс — американский эстрадный музыкант (1910—1990); танцевальная музыка в исполнении его ансамбля, очень популярная в 30—40-х гг., стала часто звучать и в 80-х.

В спальне своего pied-à-terre [1] — номера-люкс в отеле «Савой» — Саяко не сводила глаз с зеркала. Она упивалась собственным отражением. Она была великолепна, бесподобна, как и положено той, кому предстоит вскоре стать кумиром всех народов. Только что служанки помогли ей снять последнее, самое изысканное творение портновского гения, созданное специально для нее; аккуратно завернутое, оно уже висело в шкафу. Взяв сумочку и справочник «Дебреттс пиридж» [2], Саяко, одетая элегантно, хотя уже не столь ослепительно, в один из купленных на Слоун-стрит костюмов, спустилась вниз, где ее ждала машина, чтобы отвезти на чаепитие.

Когда лимузин подъехал к дому номер десять по Даунинг-стрит, Джек вылез не сразу, хотя шофер уже открыл ему дверцу.

— Чтой-то не так, Джек? — поинтересовался шофер, видя, что Джек мешкает.

Это «чтой-то» звенело у Джека в голове, снова навевая воспоминания детства и тогда же усвоенных жизненных правил. Он оцепенел и стал похож на манекен, который сейчас будет использован в искусственной дорожной аварии для проверки надежности систем защиты.

— Ноги свело,— солгал Джек.— Погоди минутку.

А на Даунинг-стрит бледная женщина в шелковом одеянии уже накрывала на низеньком столике чай. В приемной Джека ожидали высокие гости. Наконец Джек вошел к ним; он шагал по ковру без туфель, в одних носках, протягивая гостям руку; лишь в самый последний миг он, вспомнив ритуал, опустил ее и низко поклонился.

50. Лети вольным орлом [3]

В тот же день, когда королева оплачивала на контроле купленные в «Еде-да-да» продукты, Виктор Берримен опустил ей что-то в хозяйственную сумку.

— Потом посмóтрите,— шепнул он.

Разбирая дома покупки, она обнаружила, что таинственный предмет — это письмо к ней, написанное рукою Чарльза.

Дикая пустошь,
Дальний Север

Мамочка, дорогая моя!

Пишу впопыхах (на одном месте стараюсь не задерживаться), хочу тебе сообщить, что я бежал «за море на остров Скай» — конечно же, не буквально за море на остров Скай, но безусловно в те края.

Днем сплю, а передвигаюсь и ищу пропитание по ночам. Стараюсь слиться с вереском, и, по-моему, мне это удается. Особенно помогает то, что мой спортивный костюм (благословенная одежда, до того удобная — не передать) лилово-зеленого цвета.

Надеюсь до наступления зимы набрести на заброшенную ферму и там обосноваться. Потребности у меня очень скромные: сухой торф для костерка, вереск для подстилки, простая пища и, хотя бы изредка, номер-другой «Дейли телеграф».

Одна просьба, мамочка, прежде чем закруглюсь. Пожалуйста, передай привет от меня Беверли Тредголд, скажи, что у меня не было времени попрощаться. И разумеется, поклон Диане и мальчикам.

---

[1] Пристаница *(франц.)*

[2] Ежегодник, в котором печатается список английских аристократов.

[3] Здесь и далее цитируется популярная, ставшая народной песня на стихи шотландского поэта Г. Е. Боултона (1859—1935) «На лодке к острову Скай»:

Лети же, челнок наш, вольным орлом.
На весла, гребцы, налегай!
Везите того, кто рожден королем,
За море на остров Скай.

В песне поется о Карле Эдуарде, прозванном «Красавец принц Чарли» (1720—1788), английском принце из династии Стюартов, который в 1745 г. безуспешно пытался захватить английский престол и был вынужден бежать во Францию.

Меня зовет новая жизнь. Мне стало необходимо чувствовать, как лицо обдувает свежим ветром, необходимо слышать пронзительный крик зверьков, пойманных крылатыми хищниками.

Крепко тебя целую, дорогая моя мамочка.

Ч.

Побарабанив пальцами по кухонному столу, королева сказала вслух:

— Будь я курильщицей, сигарета сейчас мне очень бы пригодилась.

Ей больно было думать о том, что Чарльз, совершенно один, бежит куда глаза глядят. И как он, дурачок, перенесет суровую шотландскую зиму, когда самый воздух стынет от мороза? Распечатав коробочку «Смартиз», она высыпала содержимое на кухонный стол и сосредоточенно выбрала все красные горошины.

51. Зубы

Королева поставила будильник на четверть восьмого. Накануне вечером Гаррис домой так и не пришел.

— Бессовестный,— укоризненно сказала она.— Знает ведь, что я беспокоюсь.

И вышла в переулок Ад на поиски пса.

Через час королева включила в гостиной телевизор. Вид на Букингемский дворец занимал весь экран. Флагшток был пуст. Слышалась военная музыка — похоже, оркестр Королевской морской пехоты, подумала королева. Распутав провод и шланг пылесоса, обмотавшиеся вокруг гладильной доски, она наконец извлекла пылесос из шкафа под лестницей, притащила в гостиную и стала чистить ковер, не спуская глаз с экрана, хотя картинка не сменилась ни разу. Пылесос нет-нет и втягивал в себя размотавшиеся по краям ковра нити, которые Спигги не закрепил как следует, и королева всякий раз чертыхалась.

Королеве очень хотелось, чтобы в доме все блестело. Она пригласила родню и кое-кого из соседей посмотреть прямой репортаж. Вытирая пыль и полируя мебель, она заметила, что руки у нее слегка дрожат: ее терзало дурное предчувствие; заявление Джека Баркера не сулило ничего хорошего.

Без пяти одиннадцать в тесной гостиной яблоку негде было упасть. Разнося кофе и печенье, королеве приходилось лавировать, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу. По телевизору теперь показывали парадную дверь дома номер десять по Даунинг-стрит и собравшуюся вокруг толпу, которую сдерживала цепочка стоявших плечом к плечу полицейских.

Ровно в одиннадцать часов глянцевитая черная дверь отворилась, и появился Джек Баркер. Какой он бледный и усталый, подумала королева, будто ночь не спал. Джек подошел к сдвинутым в кучу микрофонам и поднял руку, успокаивая приветствующую его толпу. Он посмотрел на свои туфли, затем поднял голову и сказал:

— Британцы, сограждане, вчера я подписал документ, который изменит к лучшему нашу жизнь. Свою подпись под ним поставил также его величество Акихито, император Японии.

Джек извлек из кармана пиджака лист бумаги и поднял повыше, давая возможность операторам и туче фотокорреспондентов показать и запечатлеть его.

— Да говори же, болван! — вырвалось у королевы.

Наконец, сунув бумагу обратно в карман пиджака, Джек продолжил:

— С сегодняшнего дня между Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией, с одной стороны, и Японией — с другой, вступает в силу договор о дружбе, который закрепит особые отношения и постоянно растущие связи, существующие между нашими великими странами; договор этот принесет нам новую безопасность и процветание.

— Хватит пустопорожней болтовни, Баркер. Ближе к делу,— нетерпеливо сказала королева.

Джек заставил себя глянуть прямо в объектив стоявшей перед ним камеры, словно надеялся, посмотрев в глаза миллионам телезрителей, убедить их в своей искренности.

— С чувством радости и гордости я заявляю: этот договор вернет Британию на путь к новому величию. Мы опять станем частью империи, над которой никогда не заходит солнце.

Толпа разразилась ликующими криками.

— Куда он клонит? — пробормотала королева.

— Начиная с десятого апреля я служил народу в качестве премьер-министра. С сегодняшнего дня, по-прежнему находясь здесь, в доме десять по Даунинг-стрит, я буду служить вам в новой роли — генерал-губернатора Великобритании.

— Генерал-губернатора! — ахнула королева, но все в комнате на нее зашикали.

— Заботы о суверенитете нашей страны с нами разделит теперь Японская империя,— продолжал Джек.

Королева была не в силах больше сдерживаться.

— Он нас продал! — закричала она.— Продал как товар!

— В результате таких перемен в государственном устройстве,— продолжал Джек,— выплата краткосрочного займа в двенадцать триллионов йен, полученного правительством тринадцатого апреля и подлежащего погашению первого июня, откладывается на неопределенный срок. Наши новые федеральные отношения с растущей Японской империей, тщательно сбалансированные соответствующими финансовыми вливаниями, явятся гарантией того, что мы наконец получим необходимые средства для переустройства нашей великой страны так, как мы хотим и того заслуживаем. Теперь остается лишь закрепить этот политический и финансовый союз узами личного плана. Я счастлив сообщить, что именно это в данную минуту и свершается!

Черная дверь приотворилась, и Джек нырнул в дом.

— И чего это он тут наговорил? — спросил Спигги, совершенно сбитый с толку длинными учеными словами.

— Джек Баркер отдал нашу страну в залог Японскому банку! — воскликнула королева.

— Бог ты мой! Мы что же, теперь по-японски должны будем говорить? — изумилась Вайолет.

— Уж я, во всяком случае, не стану,— заявил Уилф.— Слишком стар я, черт побери, чтобы учить еще один язык; я по-английски и то еле-еле балакаю.

— Один мой знакомый,— заметила Беверли Тредголд,— сходил разок в японский ресторан. Жуть, говорит, полная. Кормили одной сырой рыбой.

— Пусть они не думают,— возмущенно начала Вайолет,— что стоит им сюда заявиться, и мы сразу перестанем готовить рыбу по-нашенски. Я, например, на это ни за что не пойду.

— А за квартиру кому теперь платить-то? — спросила Филомина Туссен.— Городскому совету, как раньше, или Японскому банку?

— Будь у нас нормальная писаная конституция,— процедила Маргарита,— ничего подобного бы не произошло.

Королева поспешно вышла из переполненной комнаты. Казалось, голова вот-вот лопнет. Неужели только она одна вполне поняла смысл заявления Баркера? Ведь совершен государственный переворот. Британию аннексировали, превратив в еще один отдаленный от метрополии японский остров. Королева пошла за дом, в сад. Гарриса по-прежнему нигде не было видно. В его миске лежала вчерашняя еда. Королева опорожнила миску в мусорное ведро под мойкой.

Хорошо хоть, что Филип сошел с ума, подумала она. Узнай он, что его любимую, ставшую родной страну продали, как рыбу на базаре, он бы, наверное... спятил.

Схватив транзисторный приемник «сони», королева швырнула его об стену. В дверях появилась Анна.

— Мам, пойди-ка посмотри,— сказала она.

Теперь показывали Малл [1], вдоль которого стояли толпы людей. Некоторые размахивали национальными флажками, другие — флагами с восходящим солнцем. Королеве, имевшей в таких делах огромный опыт, было совершенно ясно, что люди эти даже не догадываются, по какому поводу собрались. Они пришли просто потому, что полиция стала огораживать улицу барьерами.

Фицрой тем временем объяснял Диане, что может теперь лишиться работы. Он специализировался на экономическом спаде, напомнил он ей, а если со спадом покончено, зачем тогда он нужен?

Лица лондонцев исчезли с экрана, и камера показала золоченую карету, которую везла четверка белых лошадей, украшенных плюмажем; карета проехала под аркой Адмиралтейства и двинулась по Маллу. Толпа продолжала ликовать, хотя сквозь зашторенные окна не видно было сидящих внутри пассажиров.

— Идиоты, они и обезьян приветствовали бы точно так же! — воскликнула в ярости королева.

— А мы и были обезьянами, мама. Жили в зоопарке, и публика ходила на нас глазеть. Я рада, что вырвалась оттуда.

Королева заметила, что Спигги тихонько придвинулся поближе к Анне. В комнате стало невыносимо жарко. Королева чувствовала, что ей надо скорее выйти на свежий воздух. В висках у нее стучало.

Когда экипаж свернул в ворота Букингемского дворца, Тони Тредголд спросил:

— Кто ж там в карете-то?

— Откуда мне знать? — огрызнулась королева.

Картинка на экране сменилась: теперь под Тауэрским мостом проплывал японский фрегат. Шеренги английских и японских моряков на палубе отдавали честь. Королева презрительно фыркнула. Вдруг камера показала балкон Букингемского дворца, на который вышли две крохотные фигурки. Общий план резко сменился крупным, и стало видно, что одна из фигурок — Джек Баркер, одетый как игрушечный оловянный солдатик. На нем была треугольная шляпа с белым пером и багряный китель, увешанный знаками отличия и наградами, неизвестными королеве. Рядом с ним стоял император Акихито в ослепительном шелковом кимоно.

Они помахали собравшейся внизу толпе, и толпа тут же замахала в ответ. Затем Джек шагнул влево, а император вправо, и на балконе появились еще две фигуры, одна в мерцающем белом одеянии из шелка и шифона, в головном уборе с флердоранжем. Вторая — в серой визитке и цилиндре.

— А это еще кто, черт возьми? — воскликнула королева. Камера послушно приблизилась, чтобы ей было виднее. То был ее сын Эдвард с пасмурным лицом и тусклым взглядом; он держал за руку свою невесту — Саяко, дочь императора.

Королева не верила собственным глазам: император улыбается новоявленному зятю, а Эдвард, будто заводной манекен, наклоняется и целует молодую жену. Толпа внизу завопила так громко, что в телевизоре что-то задребезжало.

— Они похитили Эдварда! — вне себя от злости и отчаяния крикнула королева.— Теперь его заставят жить в Токио в качестве ее принца-консорта! — Она яростно тыкала пальцем в лицо Саяко на экране, бесповоротно невзлюбив свою новую невестку.

Тут раздался громоподобный гул. На экране стало видно небо над Букингемским дворцом; на переднем плане торчал пустой флагшток. В вышине с воем возникли бывшие «Красные дьяволы» [2], теперь окра-

[1] Широкая аллея в Сент-Джеймском парке, ведущая к Букингемскому дворцу.
[2] Самолеты британских воздушно-десантных войск.

шенные в желтый цвет, и принялись крутить над дворцом замысловатые «петли» и «бочки», вызывая восхищение толпы. Эдвард мрачно наблюдал, как самолеты исчезают над южной частью Лондона.

Вот тут-то оно и произошло. По флагштоку, высокомерно хлопая на ветру, медленно пополз вверх флаг. Флаг был японский.

— Что, мир уже совсем, черт подери, сошел с ума? — закричала королева.

Опираясь на руку Эдварда, Саяко нагнулась, видимо собираясь поднять нечто такое, благодаря чему ее мгновенно полюбят миллионы сидящих у телевизора обожателей животных. Она выпрямилась, и камера показала то, что Саяко зажала под мышкой. Это был Гаррис в украшенном флердоранжем ошейнике.

— Гаррис! Ах ты, поганый маленький предатель! — взвизгнула королева.

Гаррис льстиво заглядывал Саяко в глаза. Император протянул руку, чтобы погладить английскую собачку. Гаррис оскалил зубы и зарычал. Император по глупости еще раз попытался приласкать собачку, но успеха не имел: Гаррис злобно вцепился в большой палец императора. Император хлестнул Гарриса перчаткой и в тот же миг утратил расположение всей английской телеаудитории.

Гаррис злорадно оскалился, а потом залился яростным лаем. Камера показывала его все более крупным планом, и наконец его голова заняла экран целиком. Королева и ее гости в тревоге отпрянули от телевизора, на котором видны были только острые зубы Гарриса и его пурпурно-красный язык.

АПРЕЛЬ

52. Наутро после той ночи

Королева вздрогнула и проснулась. Прыгая перед телевизором, как мячик, Гаррис лаял с невиданным остервенением. Королева была вся в поту. Тяжелые полотняные простыни облепили ее влажным холодом. Как обычно, она поглядела в угол, на пятно сырости, но его не было, вместо него виднелось нечто похожее на тонкую шелковую обивку.

— Да замолчи же ты, паршивая псина! — крикнула королева.

Гаррис продолжал тявкать на пустой экран. Чтобы заставить его замолчать, королева взяла пульт дистанционного управления и включила телевизор. Было утро десятого апреля 1992 года, и Дэвид Димблби с воспаленными от бессонницы глазами устало повторял, что на выборах победила консервативная партия.

— О Боже, какой кошмар! — простонала королева и натянула одеяло на голову.

■

СЕКРЕТ БЕСТСЕЛЛЕРА

Со времени изобретения печатного станка у книги возникла проблема, которой она не знала в рукописную эпоху,— проблема тиража.

Какими бы мотивами ни руководствовался издатель, сугубо коммерческими или же альтруистическими, идейными, просветительскими, он естественным образом заинтересован в увеличении тиража своего издания. Однако, чем больше изготовленный тираж, тем выше риск, что вложенные затраты могут оказаться чрезмерными, а то и вовсе разорительными. Сходная проблема встает и перед книготорговцем: чем крупнее закупленная партия, тем обычно льготнее условия оптовой закупки и, соответственно, тем выше ожидаемая выгода от продажи. Однако если приобретенная партия слишком велика, то книготорговец терпит убытки, не говоря уж о таких случаях, когда он совсем не может продать купленную книгу.

Проблема тиража и размера оптовой партии существует всегда, но временами она обостряется, причем это происходит как в периоды культурного или экономического подъема, так и в периоды упадка, ибо и тот, и другой периоды характеризуются усилением конкуренции — или за счет повышенного предложения, или же за счет пониженного спроса.

Конец прошлого века, как известно, ознаменовался для США стремительным развитием техники, промышленности, экономики. Не отставали и печать, книгоиздательское и книготорговое дело. Издательства резко увеличили выпуск книг, в частности, произведения американских авторов вызывали к себе довольно широкий интерес, поэтому с 1895 года журнал «Букмэн» начал печатать списки бестселлеров, то есть, как бы мы теперь сказали, списки книг повышенного спроса, чтобы помочь розничным книготорговцам рассчитать величину оптового заказа на ходовое издание. Списки составлялись методом простейшего опроса владельцев книжных магазинов, при этом учитывалось даже не количество проданных экземпляров, а число номинаций, иначе говоря — как часто называлась та или иная книга. При подобном методе «голоса» трех маленьких магазинов с узким ассортиментом перевешивают один «голос» большого магазина с богатым выбором, где продажи исчисляются не единицами и десятками, а сотнями экземпляров. Впрочем, первые списки бестселлеров действительно адресовались лишь книготорговцам, давая им возможность выявить общими усилиями наиболее ходовые издания, чтобы при случае укрупнить оптовый заказ, разумеется, на выгодных для себя условиях. Список бестселлеров служил весьма ориентировочным указателем покупательского спроса, но отнюдь не претендовал на оценку рейтинга читательской популярности.

Ныне разница между *покупательским спросом* на книгу и ее *читательской популярностью* не столь очевидна, но в прежние времена она была весьма существенной. Дело прежде всего в том, что сама книга не являлась единственной и даже основной сферой бытования для многих литературных жанров, в частности — для романа. Америка второй половины прошлого века резко увеличила выпуск книг, особенно беллетристических, но этот рост был несравним с экспансией газетно-журнальной периодики. К 1885 году в США насчитывалось более трех тысяч периодических изданий, то есть ежегодно здесь выходили сотни тысяч газетных и журнальных номеров, на две трети заполняемых беллетристикой: рассказами, очерками, а главное — «романами с продолжением». Даже если допустить, что периодическое издание печатало лишь один роман за сезон, то получится, что едва ли каждый десятый из них выходил книгой. Ведь книжная публикация уже не была для читателей новинкой, а кроме того, она сильно уступала газете и журналу по тиражу.

Небывалая широта читательской аудитории и единовременность ее обращения к литературным новинкам были во многом обусловлены новой коммуникационной ситуацией, сложившейся во второй половине XIX века. За прокладкой подводного телеграфного кабеля между Америкой и Англией в 1866 году последовали прокладка кабеля в Индию (1869), Китай, Японию, Африку и Австралию (1870—73). Менее чем за десятилетие создалась глобальная система телеграфной связи, благодаря которой любая сенсация стала непосредственно «злобой дня» для всего мира. Носителями новой всемирно единовременной актуальности событий были ежедневная газета и еженедельный журнал, что объясняет возросший к ним интерес.

Тогда же периодику открыла для себя и реклама совершенно нового типа, связанная с массовым производством, разнообразным ассортиментом фирменных товаров, с патентованными изделиями и товарными знаками. Рекламный бизнес оказался столь прибыльным, что газета и журнал могли распространяться почти бесплатно, лишь бы привлечь внимание публики, завоевать высокую популярность, а главное — максимально поднять тираж, ибо доход от рекламы напрямую зависел от тиража.

Публика же ожидала теперь от газет и еженедельных иллюстрированных журналов прежде всего свежих новостей и занимательного чтения, которое обеспечивалось в первую очередь серийным романом, этой «мыльной оперой» конца XIX и начала XX века.

Новая пресса формировала иную читательскую публику, нежели традиционный литературный журнал, который тяготеет к салону, к идейно-художественной и вкусовой пристрастности, к ярко выраженным стилевым предпочтениям, к настойчивому полемическому противопоставлению своего «направления» любым другим. Литературный ежемесячник, альманах строят свою аудиторию по принципу избирательности, в то время как ежедневная газета и еженедельный журнал собирают ее, всячески стремятся ее расширить. Совершенствуется тип респектабельного и одновременно крупнотиражного газетно-журнального издания со специфическими запросами к публикуемому на ее страницах серийному роману, отличительными чертами которого являются занимательность, повествовательность, иначе говоря — «читабельность».

В свою очередь, в читательской среде, сформированной газетно-журнальной периодикой, начинает цениться разносторонняя осведомленность, информированность. От солидного делового партнера, от любого человека из «приличного общества», тем более от интеллектуала, ожидается, что он не отстает от жизни, находится в курсе свежих событий, знаком с литературными новинками, способен поддержать беседу о них, имеет на их счет собственное мнение, которое либо совпадает с суждениями признанных авторитетов, критиков, что опять-таки предполагает слежение за текущими беллетристическими и литературно-критическими публикациями, либо носит на этом фоне подчеркнуто независимый, оригинальный характер.

Ежедневная и еженедельная пресса вынуждена бороться за повышение тиража хотя бы потому, что его величина определяет ставку оплаты за рекламные объявления. Показатель тиража начинает восприниматься как важный рейтинговый фактор. Недаром в 1914 г. в Чикаго создается «Аудиторское бюро распространения» — первая служба учета и контроля данных о тираже печатных изданий.

Для поддержания высокого рейтинга, измеряющегося тиражом, газеты и журналы стремятся привлечь самых известных, популярных авторов, предлагая им высокие гонорары. Ранжирование писателей, их произведений задается и литературными премиями, которые вводятся именно в этот период: Шиллеровская (1859), Пушкинская (1882), Нобелевская (1901), Гонкуровская (1903), Пулицеровская (1917).

Постепенно список бестселлеров перестает служить лишь практическим подспорьем для розничных книготорговцев и приобретает несколько иной смысл. Если тираж газеты воспринимается в качестве объективного показателя ее популярности, то и тираж книги, количество проданных экземпляров становится ее рейтинговой характеристикой, чем-то вроде результатов покупательского плебисцита, открывающего свой рекламный потенциал.

Европейская ситуация была схожа с американской, но имелись здесь и свои особенности. Так, книжный и газетно-журнальный рынок Германии, ставшей в этой области практически недосягаемым мировым лидером, отличался высочайшей конкуренцией. За последний год перед первой мировой войной в Германии вышло почти 35 тысяч книжных изданий. Газеты и журналы публиковали ежегодно более 20 тысяч романов. Большие затраты на рекламу требовались уже хотя бы для того, чтобы просто обратить внимание публики на ту или иную книгу, выделить ее из огромной массы печатной продукции. Впрочем, не менее очевидно было и то, что умелая реклама себя оправдывает. Так, немецкий издательский концерн «Улльштайн» сумел добиться с 1910 года, именно благодаря массированной рекламной кампании, высоких стартовых тиражей для своей серии вполне серьезного романа. 50—60-тысячные тиражи и сейчас велики по европейским меркам, а тогда они казались неслыханно большими.

С 1900 по 1906 год журнал «Литераришес эхо» проводил опросы в книжных магазинах и библиотеках, чтобы выявить наиболее популярных авторов. В этих опросных списках лидировали, как правило, романы Густава Френссена (1863—

1945), пожалуй, самого читаемого и переводимого немецкого писателя конца XIX — начала XX века. В 1913 году его даже выдвигали кандидатом на соискание Нобелевской премии, которую он, возможно, и получил бы, если бы годом раньше нобелевским лауреатом не оказался другой немецкий автор — Герхарт Гауптман.

Преодолев к 1927 году долгий кризис, связанный с войной, поражением, революцией, инфляцией, Германия вновь заняла ведущее место в мировом книгоиздании. За этот год здесь вышло около 38 тысяч книг и около 7 тысяч журналов. Обострившаяся конкуренция вновь потребовала активизировать рекламную деятельность, а поскольку Европа переживала повальное увлечение всем американским, особенно американскими методами ведения бизнеса, то с 1927 года немецкий еженедельник «Литерарише вельт» приступил к регулярной публикации списков бестселлеров.

Особенным вниманием к рекламе продолжал отличаться мультимедиальный концерн «Улльштайн». Большинство известных немецких писателей работали в двадцатые годы на периодические издания этого концерна, выходившие колоссальными тиражами. Так, тираж газеты «Берлинер иллюстрирте» доходил почти до двух миллионов экземпляров. На страницах принадлежавшей концерну газеты «Фоссише цайтунг» в 1928 году появился роман тогда еще мало кому известного спортивного журналиста Э. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Вскоре роман был опубликован книгой, которая только за первые полтора года разошлась тиражом 3,5 миллиона экземпляров. Интерес к роману подогрела его американская киноэкранизация, горячие дискуссии вокруг автора, книги и фильма. Сам роман стал, пожалуй, первым мировым бестселлером в нынешнем понимании этого феномена и был переведен за непродолжительный срок на 30 языков.

Появление звукового кино и радио изменило саму структуру досуга. С одной стороны, для чтения книг теперь оставалось попросту меньше времени. С другой стороны, экранизация и радиоинсценировки литературных произведений необычайно расширили состав аудитории, у которой заметно повысился интерес к литературной первооснове. Сама мода, в том числе литературная, стала разнообразней, сложней, капризней, скоротечней, но она же сделалась и более массовой, более заразительной. Кинотеатры ежедневно посещались миллионами зрителей, миллионы людей напевали или насвистывали одну и ту же популярную мелодию, прозвучавшую с экрана или по радио. Точно так же миллионы людей одновременно зачитывались одним и тем же романом, а писатель мог оказаться таким же модным кумиром, как звезды кино. Таким был Ремарк. Его роман «Триумфальная арка» (1946) немедленно стал новым мировым бестселлером.

К этому времени сложились и отработались новые массовые формы книгораспространения и книгоиздания. Еще в 20-е годы возникли книжные клубы, насчитывавшие миллионы членов. Книжный клуб представлял собою по сути сбор массовой льготной подписки на респектабельную, модную, читабельную литературу, то есть был ориентирован на бестселлер. Репертуар книжного клуба был сравнительно узок, но и это обстоятельство оборачивалось для подписчиков определенным преимуществом — он получал *отобранные* книги, причем весьма добротно изданные. В свою очередь, благодаря огромному тиражу, гарантированному сбыту, хорошо планируемому наперед производству издатель получал возможность снижать цену и тем не менее добивался высокой прибыли.

В 30-е годы английское издательство «Пенгвин» начало выпуск серийных массовых изданий в бумажной обложке — пейпербэк, получивших быстрое распространение по всему миру. Для этих изданий опять-таки характерны массовость, относительная дешевизна, сравнительно узкий репертуар, отбирающий для себя, то есть для перепечатки, наиболее успешные первопубликации. К 50-м годам пейпербэк окончательно завоевал и континентальную Европу, прежде всего Германию, и Америку.

Этот же период ознаменовался стремительным распространением телевидения, приход которого (в частности, телевизионные постановки и демонстрация кинофильмов на телеэкране) завершил формирование рынка субсидиарных прав, то есть последующего использования первопубликации литературного произведения. Теперь издатель нередко решал для себя браться или не браться за тот или иной роман в зависимости от шансов продать право на его предварительную публикацию в газете или журнале, на клубное издание и пейпербэк, на переводы, на киноэкранизацию, радиоинсценировку и телевизионную постановку. Возникает новый тип книги, литературного произведения, которое изначально замышляется автором и издателем таким образом, чтобы охватить максимально широкую публику, причем не только читательскую, но и слушательскую, зрительскую

аудиторию разных стран мира. Вот что вкладывается теперь зачастую в понятие «бестселлер».

Меняется коммерческая установка издателя. Успех первоиздания важен ему не столько сам по себе, сколько как благоприятная исходная позиция для аукциона, с которого будут продаваться субсидиарные права. Чем шумнее успех первоиздания, чем выше рейтинг в списках бестселлеров, тем вероятнее, скажем, киноэкранизация и тем дороже будут проданные на нее права.

В этих условиях могут оправдать себя большие затраты на первоиздание. Ведь если становится известно, что издатель заплатил автору шестизначный долларовый аванс и намеревается стартовать шестизначным тиражом, то и книготорговец будет исходить из того, что не меньшую сумму издатель вынужден потратить на рекламу. Таким образом, следует ожидать повышенного спроса на книгу, поэтому целесообразно заранее заказать на льготных условиях большую оптовую партию. Подобной же логикой руководствуется издатель клубной серии и спешит заручиться лицензией, рассчитывая опередить конкурентов. Газеты и журналы, озабоченные собственным рейтингом, также не желают упустить свой шанс с предварительной публикацией новинки, которой обеспечен успех, крупными вложениями в рекламу... Так раскручивается механизм бестселлера. Впрочем, если не на подобные, то на какие-то другие уловки приходится идти хотя бы ради того, чтобы новинку просто заметили среди десятков тысяч ежегодно выходящих книг и среди сотен тысяч изданий, одновременно присутствующих на книжном рынке.

Из сказанного можно, пожалуй, заключить, будто феномен бестселлера достаточно хорошо изучен, а секретом успеха способен воспользоваться едва ли не любой мало-мальски талантливый писатель и соответственно любой состоятельный издатель — была бы готовность воспользоваться рецептом и имелись бы деньги на его реализацию. Отчего же тогда оказывается, что ни изготовление романов по ранее оправдавшим себя рецептам, ни фантастические затраты на рекламную «раскрутку», ни искусно создаваемая атмосфера сенсационности, ажиотажа вокруг автора и его нового произведения сами по себе еще не гарантируют успеха? Почему жизнь бестселлера становится все более скоротечной, эфемерной? Книги исчезают из рейтинговых списков, едва появившись. Все меньшее их количество задерживается там хотя бы на несколько недель. И наоборот: снова и снова невесть откуда появляются книги, которые завоевывают публику, так сказать, по старинке, без заранее спланированного сценария, в котором расписано все — от автора, которому будет заказан роман, его темы, героев, основных сюжетных поворотов до календаря рекламной кампании с хитроумно подгаданными и наперед известными датами предварительной журнальной публикации, презентации книги, заказных рецензий, телевизионных выступлений автора, публичных чтений из нового романа — а также встречи с читателями и раздача автографов, зарубежные турне, переводы, аукционы с продажей прав на клубные, карманные издания, на экранизацию и т. д., и т. п.

Примером незапрограммированного успеха может послужить главный американский бестселлер 1993 года, побивший сразу несколько абсолютных рекордов. Речь идет о небольшой повести, которую, как говорится, в один присест, а точнее — ровно за две недели написал отошедший от активной научно-преподавательской деятельности профессор экономики Роберт Джеймс Уоллер, живущий в маленьком городке штата Айова. Через приятеля, имевшего в Нью-Йорке знакомого литагента, рукопись попала к издателю, тот решил рискнуть, и весной 1992 года повесть была опубликована тиражом 29 тысяч экземпляров, что, по американским понятиям, вполне нормально для первого произведения никому не известного автора. Поскольку действие повести разыгрывается в «глубинке», издательство разослало 4 тысячи экземпляров провинциальным книготорговцам. Тем повесть понравилась настолько, что они стали дружески рекомендовать ее своим постоянным покупателям, которые, прочитав книгу, возвращались в магазин, чтобы купить сразу 5—10 экземпляров для подарка родным и знакомым. Нередко продавцы уговаривали и случайных посетителей книжного магазина купить эту книжку, обязуясь вернуть деньги, если она не понравится. Летом 1992 года повесть «Мосты в Мэдисон Каунти» появилась в списке бестселлеров и начала подниматься с нижних мест наверх, несмотря на то что запоздавшие рецензии были довольно разноречивы, ибо не каждому литературному критику пришлась по вкусу сентиментальная история любви 52-летнего фотографа Роберта Кинсейда из журнала «Нейшнл джиографик», который приехал в Айову снимать мосты Мэдисон Каунти. Случайная встреча с Франческой, вспыхнувшая страсть, разлука, любовь, пронесенная через всю жизнь, извечный конфликт между чувством и долгом.

Изустная пропаганда повести от книготорговцев к читателям, от знакомых к знакомым оказалась в конечном счете столь эффективной, что книжка Роберта Джеймса Уоллера потеснила в 1993 году даже таких маститых авторов, как Джон Гришэм, Том Клэнси или Скотт Туроу. На январь 1994 года повесть «Мосты в Мэдисон Каунти» продержалась в списке бестселлеров уже более 70 недель, она выдержала 46 переизданий и разошлась общим количеством около 5 миллионов экземпляров. Такого рекорда годовых продаж не достигала в США ни одна книга. Но это еще не все.

Мало того, что повесть появилась на аудиокассете, где ее читает сам автор, и эта кассета также лидирует в списке бестселлеров; мало того, что к бестселлерам относится и компакт-диск «Баллады из Мэдисон Каунти», исполняемые автором, теперь Стивен Спилберг планирует экранизацию повести.

Однако и этого американской публике показалось недостаточно. Она с таким любопытством накинулась на вторую повесть Уоллера, «Медленный вальс в Седар Бенд», что ее стартовый тираж в размере полутора миллионов экземпляров разошелся едва ли не за один день. Это явилось рекордно высокой продажей за столь короткий срок.

Третий рекорд связан с тем, что прежде ни одному автору не удавалось так долго занимать в списке бестселлеров своими произведениями сразу и первое и второе места.

Тем временем повести Уоллера уже переведены или переводятся на иностранные языки, а сам автор объявил, что работает над следующей книгой.

В 1995 году исполнится ровно сто лет с тех пор, как был напечатан первый список бестселлеров. К полувековому юбилею Алиса Пейн Хеккет выпустила книгу «50 лет бестселлеров», за которой последовали другие итоговые издания, посвященные каждому очередному десятилетию. Об этих изданиях и самом институте бестселлера можно прочитать в статьях Е. Немировского, опубликованных в еженедельнике «Книжное обозрение» (5 ноября 1993 г., № 44) и журнале «Книжное дело» (№ 4, 1993.). Столетний юбилей наверняка послужит поводом для множества новых публикаций на эту тему, исследователи составят рейтинговые списки самых популярных книг и авторов истекшего века, попробуют выявить самую читаемую книгу всех времен и народов. Можно не сомневаться, что будут выдвинуты новые, возможно, весьма убедительные гипотезы относительно того, почему вдруг огромное количество людей обращается к одному и тому же литературному произведению или почему одна и та же книга продолжает интересовать каждое новое поколение читателей. Однако до конца раскрыть этот секрет вряд ли когда-либо удастся, ибо для этого надо уметь не только понимать прошлое, анализировать настоящее, но и угадывать будущее.

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ

БЕСТСЕЛЛЕР: РУССКИЙ АКЦЕНТ

Бестселлер в России: говорить о нем грустно и смешно.

Мы вряд ли даже знаем, что это (бестселлер) такое.

То, что больше всего продают? Но учета такого не ведет наша книготорговля.

В России бестселлер представляет собой что-то иное, чем на Западе.

«Нормальный» бестселлер не читается у нас абсолютно.

«Парфюмер» Патрика Зюскинда, опубликованный «Иностранкой», прошел почти незамеченным. Когда полтора года спустя некое издательство решилось наконец-то выпустить его отдельной книжкой, в качестве рекламы оно использовало: «Впервые на русском!»

Публика проглотила ложь молча.

Молча? Да она ее просто не заметила.

Что естественно. Уж если у вас меняется отношение к собственной литературе, если из учителя жизни она превращается в ее (жизни) охаивателя — с какой стати зарубежная словесность будет иметь преимущества и пользоваться любовию народной? Хотя ведь — пользуется.

* * *

Кто реализует сегодня свои юношеские мечты стопроцентно?

Любители музыки.

34-летний друг мой скупает польские кассеты тоннами. Брюсс Спрингстин, «Дорз», «Слэйд»... То, что недослушано в детстве.

О музыке последних лет он уже ничего не знает.

Не так ли и наши интеллектуалы? Они все еще реагируют на шепотом выученные в отрочестве имена. Посмотрите, что в многочисленных опросах называется лучшими изданиями последнего времени? «Улисс» Джойса, бибихинские переводы Хайдеггера и даже трехтомный Горенштейн — он тоже из той, запретной зоны.

Тексты, которые должны были появиться на русском бог знает когда.

Иначе как реваншем за 70-е (а порой и за 30-е, и за 20-е) не назовешь ситуацию с книжным рынком в целом. Обилие авторов, в последние месяцы допущенных к нашим полкам, потрясает воображение. Не одна лишь классика детектива (Хайсмит, Джеймс, Чейз etc.), не только целые жанры (фэнтэзи), но и литература куда более важная для истории мировой культуры: Пруст, Барт, Хайдеггер (как, впрочем, и все основные философские тексты нашего века).

Книги же последних лет — те, что, собственно, и отражают сегодняшнюю культуру,— по-прежнему в России мало кому известны. Отставание, начавшееся десятилетия назад, практически не уменьшилось — разве что стало еще заметнее. Ибо масштабы его очевидны любому.

При всем том публика воспринимает подобное плетение в хвосте более чем спокойно. Да и не демонстрации же протеста ей устраивать?

Публика — всегда жертва чьей-то политики.

Ей нельзя навязать бестселлер. Зато условия игры, атмосферу, в которой появление бестселлера неизбежно, ей предлагают (на Западе) беспрестанно. Механизм этот прост и — совершенно, увы, в другой форме — существовал до недавнего времени и у нас.

«Там» издательства платят за рекламу в общенациональных изданиях. Издания отвечают взаимностью и все время пишут о книгах. Примеры хорошо известны. Еженедельные рецензионные приложения к «Фигаро» и «Монду», специальный ежегодный выпуск «Шпигеля», не говоря уж о таких парижских изданиях, как «Магазин литтерер» или «Кензен литтерер». В последнем, например, все авторы вообще печатаются бесплатно: знают, что престижно и что все столичные интеллектуалы вкупе с университетскими профессорами во всем франкофонном мире их обязательно прочтут.

А телевизионные книжные шоу? Еженедельный «Бульон культуры» по французскому ТВ-1 собирает миллионы. Немецкий же «Литературный квартет» с легендарным Марселем Райх-Райницки многими просто смотрится как бесплатный цирк. Комментарии и реплики критика (бывшего одно время завотделом литературы во «Франкфуртер альгемайне цайтунг», а до этого работавшего в том же «Шпигеле») передаются целый месяц из уст в уста, обсуждаются во всех тусовочных кафе, и вообще.

Ничего подобного у нас нет и в помине. Пресса пишет о книгах неохотно и, как правило, нерегулярно. Коли и пишет, то не благодаря, а вопреки деятельности издательств. Если последние и решат выдать газетному критику книжку для рецензии, то только со словами: приезжайте и сами забирайте. В Москве больше тысячи издательств — сколько же времени надо, чтобы все объехать?

Или — спрашивают меня в другой фирме — отчего бы не учредить нам с товарищами поощрительные премии для тех, кто о книжках все-таки пишет?

А отчего бы просто (спрашиваю я) не покупать рекламу и уж внутри редакции разбираться, куда какие деньги девать? Ведь на Западе книжные издания и полосы только благодаря этому и существуют (невербальный ответ см. ниже). На радио и телевидение серьезных авторов уже давно не пускают. Издательства каждый месяц вываливают теперь на лотки десятки названий прежних и новых западных хитов (большей частью поп-культурного качества) — публике хоть бы хны. Ажиотажа не вызывает ни расшифровка телесериалов, ни книги действительно приличных авторов.

То ли дело раньше

Конечно, скажет скептик, в 70-е книжки просто были «в цене» — не чета нынешней.

Более того: бестселлеры сразу назначались «сверху».

Один тип подобных книг — те, что распространялись «по макулатуре». К обладанию ими стремилась вся страна. Другой тип — подписки, прежде всего

приложение к «Огоньку». Многомиллионные тиражи последнего превращали охоту за квитанцией в дело не только увлекательное, но и прибыльное.

Сегодня в России нет механизма «навязывания» книги, хоть в чем-то напоминающего прежний, как нет и западных рыночных привычек облизывать потенциальных покупателей. Скажем, в поминавшемся уже «Магазин литтерер» из номера в номер печатается реклама 30-томной «Новой универсальной энциклопедии». Первый том, «на пробу», вам вышлют бесплатно, и две недели его можно листать вдоль и поперек, пока не надоест и не придет пора отсылать его обратно. Но: в качестве сувенира у вас останется нехилая такая ручка с золотым пером, а если на махину вы все-таки подпишетесь, то вам подарят еще и два толстенных фолианта, по географии и искусству, общей стоимостью почти в двести долларов.

И такое происходит всюду. У «Bordas», например, разработана целая система материального поощрения постоянных покупателей — ибо распространители «Bordas» подобных клиентов знают, как правило, в лицо. С одним из таких распространителей я познакомился на Парижском салоне книги.

Али (имя по его просьбе изменено) — араб (национальность, впрочем, тоже изменена) и раньше занимался инструктированием кого-то, типа учившихся плавать. Семья у Али большая, денег не хватало, и в какой-то момент он подался в издательское дело: искать клиентов. Теперь целыми днями мотается по всему Парижу и его пригородам, разыскивая новые жертвы для «Bordas» и навещая старые. Предлагает каталоги и проспекты новых изданий, соблазняя возможностью получить в подарок практически какой угодно альбом или энциклопедию.

Живет Али на маленькую ставку плюс комиссионные от проданного. Последние и составляют основу его заработка. А получает в итоге больше, чем его начальник, порой до 40 тысяч франков в месяц — сумма куда как приличная (достаточно сказать, что среднемесячный заработок во Франции составляет десять тысяч — столько получает, например, учительница, а журналисты из «Кензен литтерер» имеют уже от 16 до 35 тысяч, и это считается много). Но дальше уж как повезет: что за клиент пойдет и как звезды встанут.

В любой западной стране книги занимают в общем рынке положение обычного товара — разве что более изысканного (и менее необходимого для современной западной цивилизации). В связи с чем возникает только одна проблема: как можно больше средств вложить в рекламу, остающуюся по-прежнему двигателем всего и вся. И принципы этой рекламы ничем не отличаются от общепринятых: рекламируется товар, предназначенный конкретному потребителю.

Нам не надо объяснять, что это такое. Достаточно посмотреть телевизор или открыть любую газету. Что рекламируют «Джонсон энд Джонсон», «Проктэр энд сникерс» и прочие посланцы стран заходящего солнца? Конкретные товары. Зубные щетки, кремы, автомобили.

Что предпочитают рекламировать русские фирмы? Свое название и номер факса. Последнее желательно дать быстро и в самом конце, чтобы никто не успел записать. И лишь когда рынок перенасыщен, начинают появляться адреса магазинов и всякие завлекательные предложения. Но: сама фирма до этого уже «отрекламировалась» (отстрелялась), достоинства ее известны, и речь лишь о том, где и за сколько.

Книжки так у нас рекламировать не умеют и не хотят. Что терять попусту деньги, если системы продажи нет? — спрашивают себя издательства и бегут что есть мочи в «Книжное обозрение». Там-то и можно найти единственную в России рекламу на выходящие книги. Только предназначена она не тем, кто книги читает, а тем, кто их продает. Печальная картина? Но почему у производителей книг она должна быть лучше, чем у заводов и фабрик, выпускающих трикотаж или пряники? А что, вы где-то недавно видели рекламу тульских самоваров или трехгорских тканей? Эпоха всеобщей растерянности, к тому же всеобща для всех — и читателей, не знающих, чего бы им еще почитать этакого, и издателей, измученных поисками, чего бы этакого издать.

Как один из самых загадочных парадоксов наших дней: книги и авторы, давно уже ставшие бестселлерами в Европе или Америке, либо совсем не переведены в России, либо изданы столь неполно и скупо... Ах, неужели слова о «самой читающей и образованной» тоже оказались очередным мифом?

Например, Сейс Нотебом, голландец, звезда литературного небосклона 90-х, попал сегодня практически во все европейские книжные хит-парады. У нас — даже не упоминается.

Милан Кундера: отдельные публикации в «Иностранке» — и ни одного персонального томика.

Джон Ирвинг: перевод лишь одного романа, «Мир от Гарпа», в «ново-

стной» серии «Мировой бестселлер»— и восхитительное исчезновение с книжного рынка при полном молчании критики и аудитории (опять же: не демонстрации ведь устраивать?). Более того: «Новости» заявили, что сама публикация романа в рамках этой серии была ошибочной и впредь Ирвинг там не появится. Разве что отдельно. В необозримом, так сказать.

Тем удивительней сей факт на фоне обвальной американизации нашей культуры, когда не только уже кинематограф и эстрада, но и книжный рынок оказываются поглощенными родственниками приснопамятного дяди Сэма.

* * *

Пора, пора вводить новые слова (пишут западные исследователи): лонгселлер (долго продается), например...

Русский язык вряд ли быстро освоит это слово: к чему нам?

У нас-то и бестселлеров долго еще не будет.

Пока не возникнет общий «серый» поток.

Пока книжный рынок не заработает как рынок, с рекламными кампаниями, направленными на потребителя, а не оптовика, с нормальной, свойственной цивилизованным сообществам системой распространения, когда книжка ищет покупателя, а не наоборот.

Когда, наконец, нация осознает себя как некое целое и проникнется интересом к себе самой: только тогда начнет она интересоваться национальной литературой, тогда проявит интерес к текстам о себе, в каком бы жанре (мелодраматическом, фэнтэзи или детективном) эти тексты ни существовали.

С другой стороны, русскому бестселлеру трудно уродиться и в силу исторических причин. В появление автора типа, скажем, Майкла Крайтона, верится с трудом. Что за сюжеты у двух его вышедших недавно по-русски книжек? [1] «Восходящее солнце» хоть и детектив, но настолько антияпонский... Два сыщика расследуют убийство одной девицы на приеме по случаю открытия чего-то там японского в Сан-Франциско. Японцы встают на уши: не суйтесь, братцы, сами разберемся. Но простые американские полицейские одержимы любовию к истине. В поисках ее (истины, а не любви) они открывают для себя массу неприятного о родной стране. Политики куплены, мафия всесильна, и ни у кого, абсолютно ни у кого душа не болит за державу, на корню скупаемую иностранцами.

Фильм, снятый по роману, даже запретили показывать на Токийском кинофестивале, сочтя его оскорбляющим достоинство и пр.

«Парк юрского периода» известен теперь многим не только по многочисленным описаниям фильма Спилберга, но и благодаря волне динозавромании, докатившейся наконец-то и до нас. Между тем сама книжка по-своему даже интереснее экранизации. Крайтон и здесь пропихивает ряд идей, способных очаровать публику (список лиц, у которых он эти идеи заимствовал, приведен на последней странице). Персонаж по имени Малколм (в какой-то момент он обездвижел и выступает теперь в роли комментатора) объясняет философию современных ученых. Истина им абсолютна не важна. «В действительности ученых интересует результат их исследований. Они сосредоточены на одном: способны ли они что-либо свершить? И никогда не спрашивают себя: а нужно ли это свершать?.. Они верят, что открытие неотвратимо, а посему каждый рвется быть первым. В науке идет игра. Даже абстрактное научное открытие — это акт агрессии, подобный взлому». И дальше Малколм расписывает безобразные следы ученой деятельности: радиоактивные продукты, мусор на Луне... «Ученые, совершающие открытия, неизбежно оставляют следы. Открытие — всегда насилие над природой. Всегда!» Любовь к препарированию природы проистекает из простой причины: «Им не терпится оставить в мире свой след. Они не могут удовлетвориться ролью наблюдателей. Не могут просто оценивать то, что они видят. Нет, они не желают мириться с естественным ходом вещей».

В общем, если верить пьесе Горького «Дети солнца», в России подобный импровизированный митинг закончился бы массовым народным возмущением против ученого сословия, с битьем очков и поджогами частной собственности. Вероятно, именно скептические идеи и привлекают к бестселлерам Крайтона новых, верящих в свою интеллектуальность, читателей. Беллетристика начала века — от Конан Дойла до Чарской — была озабочена больше сюжетом или, в лучшем случае, познавательным пафосом a la Jules Verne. Нынешняя же социализация западного бестселлера достигла невероятных, немыслимых в русских книгах пределов.

[1] Опубликованы издательством «Вагриус».

Каждый второй роман Сидни Шелдона и — уже все подряд — произведения Джона Гришэма [1] строятся по простой схеме: ЦРУ — очень плохая контора, поскольку нехорошие люди, попав туда, начинают безобразничать, попирать законы и убивать невинных американцев (не говоря уже о разных прочих шведах), коли те встали — да хоть и случайно — поперек каких-нибудь секретных планов.

Да и государство немногим лучше — продолжают бестселлеристы дуэтом,— все продались, все повязаны, так что простому американцу, кроме как на себя да на случайную любовницу (-ка), и положиться-то не на кого.

Возможны ли такие сюжеты в России? КГБ — враг народа, правительство оплачивается мафией (хоть чеченской, хоть «красных директоров»), президент глуп, окружение его цинично и своекорыстно... Конечно, гг. Тополь и Незнанский отрабатывали какие-то версии на советском материале. Но современная российская действительность вправе гордиться своей художественной девственностью. Никто уже не посвящает ей простых, исполненных здравого реализма страниц; никто не описывает восхитительное наше государство, по-прежнему исполненное бесконечной прелести в глазах миллионов его подданных — чего бы там помазанники от власти с означенными подданными ни творили.

Да ведь и писателей у нас днем с огнем не найти — тех, что способны выполнить (социальный) заказ и увлекательно четко изложить некий сюжетец — без пошлости, но и без лишней скромности. Техника письма в современной РФ застряла на уровне постмодернистских видений, которые больше уже по части психоаналитиков, чем читателей (молодое поколение исключительно разумею, о литераторах же старшего призыва, орденоносцах и депутатах, сыновья почтительность не дозволяет правды говорить).

Свидетельством тому — запредельный провал, постигший недавнюю попытку дописания «Тихого Дона». Вряд ли у продолжателей «Войны и мира» — книга обещана в этом году — дела будут лучше.

Последний же общенациональный наш бестселлер, «Дети Арбата», сегодня можно листать разве что из культурологического любопытства. Что там за книжки читались в дни, когда незыблемость устоев еще рождала чувство безмятежности, а надвигающиеся перемены щекотали душу легким налетом тревоги?

Ах, рай социальной стабильности, где только и может бытовать бестселлер! Златые дни...

Но быстрота, с которой сменились декорации на расейском театре, лишила нас старого языка — а нового не дала. Но даже если и выработают его художники, создадут за своими столами, не скоро появится в России серия «Национальный бестселлер».

Пока наш книжный рынок не заработает как рынок... (продолжение см. выше: вскоре после звездочек. Вторых).

ВЛАДИМИР РАННЕВ

ЧТО НЕСЕТ С БАЗАРА РУССКИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Заметки социолога

Неустойчивая, изменчивая конъюнктура нашего книжного рынка требует внимательного к ней отношения. В рамках московской газеты «Книжный бизнес» я и мои коллеги периодически проводим работы по книжному маркетингу. В предлагаемой статье я бы хотел остановиться на результатах двух работ, проведенных весной этого года: рейтинги популярности продаваемых в Москве изданий и массовый опрос жителей Москвы по книжной проблематике.

Рейтинги популярности продаваемых в Москве книг осуществлялись еженедельно, и к моменту написания статьи их было проведено двенадцать.

Интересен тот факт, что за три месяца проведения рейтингов общий объем продажи книг упал на 10% (среднее для всех опрошенных точек). Эту цифру можно было бы считать случайной или отнести к возможным периодичес-

[1] «Дело о пеликанах» и «Фирма» изданы «Новостями» в серии «Мировой бестселлер».

ким колебаниям покупательной активности потребителя (сезонным, приуроченным к очередному скачку цен, курса доллара и т. д), если бы не общее мнение не только розничных, но и многих оптовых книготорговцев о существующей тенденции к уменьшению объемов продаваемой литературы. Эта тенденция объясняется не только насыщением рынка, но прогнозируется в будущем общим падением доходов населения, а значит — ограничением возможности людей тратить деньги на товары «второстепенной» жизненной необходимости. А для подавляющего большинства потребителей книги относятся именно к таким товарам.

Первоначально вся многообразная литература была поделена на две группы с учетом объема продаж: «художественная и философско-гуманитарная литература» и «специализированная литература». Но после проведения двух рейтингов выяснилось, что первые 4—5 позиций в них занимают издания в мягких обложках, с которыми остальные книги не могут спорить по объему продаж. Стало ясно, что на книжном рынке существуют, если можно так выразиться, разные весовые категории. Поэтому художественная и философско-гуманитарная литература была поделена на две группы: в мягкой обложке и в твердом переплете.

После нескольких попыток провести рейтинг популярности среди изданий в мягких обложках выяснилось, что эта работа сегодня не имеет смысла, так как в лидерах оказываются одни и те же книги (в основном серии «Мировой бестселлер» издательства «Новости» и серии «Любовный роман» издательства «Радуга»). Это очень показательный результат, который объясняется тем, что жанровый состав книг в мягкой обложке, а значит, и количество наименований сегодня ограничены, т. к. фактически такие издания — преимущественно детективы и сентиментальные романы, которые скрашивают поездки в метро, стояние в очередях и часто выбрасываются сразу после прочтения. Несмотря на «поименное» лидерство изданий в мягких обложках, данный сегмент рынка — пока в ограниченном, «ущербном» положении: среди всех книг, продаваемых в Москве, его доля составляет всего 24% (по данным массового опроса). Таким образом, на книжном рынке пока еще не сформировался самостоятельный «рынок мягкой обложки», рынок книги на один день, на одну неделю.

К примеру, на Западе этот рынок очень обширен, количество наименований огромно, и в общем объеме продаваемой литературы книг в мягких обложках — подавляющее большинство. Хотя, надо признать, есть и объективные причины для этого: высокий темп жизни, который определяет желание покупать книгу для отдыха, не требующую глубокого сопереживания, книгу легкую в прямом смысле этого слова, книгу-попутчика и как результат — книгу дешевую, которую не жалко выбросить по прочтении. Формирование «рынка мягкой обложки» в нашей стране уже происходит. Возможно, через полгода-год именно такие книги будут в большинстве на прилавках уличной торговли и торговли в метро.

Среди изданий, попадавших в таблицы проведенных рейтингов, есть те, чей успех закономерен, но объясняется разными причинами. Или это книги, авторы которых уже давно были известны в стране, читающая публика долго ожидала их выхода, и издатели не ломали головы, решая напечатать их (например, собр. соч. Дж. Чейза). Или это книги, чей успех был определен массовым интересом к конкретному жанру (например, романы Ж. Бенцони и С. Шелдона, фантастика С. Кинга). Это также «книги-продолжения» по следам отшумевших бестселлеров («Ретт Батлер» Д. Хилпатрик — продолжение романа «Унесенные ветром»). Издатель не ошибется, покупая права на выпуск очередного кинoромана, зная сегодняшнюю страсть публики к сериалам и желание иметь полюбившихся героев всегда под рукой («Твин Пикс», «Просто Мария»). Вполне понятен и успех хорошо изданной детской литературы.

Но есть среди лидеров и такие издания, массовый интерес к которым требует отдельного комментария.

Может показаться неожиданной популярность серии «Легион». Необязательно даже перечислять авторов книг этой серии, так как все они — писатели доселе мало известные современному читателю, а их романы, кроме безызвестности, еще и крайне слабы по любым литературным критериям. Для издателей такой набор книг должен был быть рискованным предприятием, тем более что эта серия — в дорогом целлофанированном переплете. Но именно высококачественное полиграфическое исполнение, а главное — верно предугаданная тенденция к серьезному повышению спроса на большие, чисто исторические романы (без примеси сантиментов или мистики) оказались достаточным основанием для того, чтобы известные лишь очень ограниченному кругу людей писатели раскупались так активно. Потенциальный покупатель, подходя к прилавку, видел хорошо изданный том, и, по словам многих розничных торговцев, ставших нашими респондентами, одного вопроса «а про что это?» и ответа в двух-трех словах

было достаточно, чтобы книга незнакомого писателя была куплена даже по дорогой цене. Более того, купив один выпуск серии, не будучи уверенным в своем впечатлении, читатель фактически обрекал себя на покупку следующих.

Рост популярности исторического жанра подтверждается еще одним фактом. Если успех мэтра в этой области — В. Пикуля объясняется волнующей сегодня многих проблематикой его романов (патриотизм, судьба России и т. д.), то весьма симптоматична реанимация интереса к ушедшим, казалось бы, навсегда в прошлое эпическим полотнам о советской жизни. Вновь изданы «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Строговы». И изданы не административным постановлением, а вполне сообразуясь с потребностями рынка. Объяснение этого анахронизма доступно может быть лишь социальной психологии, но ясно одно: ностальгия — не самое последнее из чувств. Если же говорить о цифрах, то в жанровом соотношении книг, участвовавших в рейтингах, процент изданий исторического жанра повысился за три месяца с 6% до 17%, т. е. почти в три раза.

Результаты рейтингов свидетельствуют о том, что на рынке книг нет явно выраженной устойчивой группы лидеров (за редкими исключениями, такими, как «Твин Пикс», романы Ж. Бенцони, Д. Кунца, С. Шелдона) и происходит напряженное соревнование между более чем шестью десятками книг, разрыв между «соревнующимися» изданиями минимальный. И даже приведенные в качестве исключений примеры своему месту в лидерах обязаны минимальному количеству баллов, отделявших их от вслед идущих. Именно с этим связано, например, бессистемное «блуждание» бестселлеров по строкам рейтингов, периодическое исчезновение из лидеров и появление в них вновь.

Издания, ставшие бестселлерами, в большинстве своем — книги зарубежных авторов (90%). Жанровое соотношение изданий, ставших бестселлерами, получилось следующим (среднее для 12 проведенных рейтингов):

художественная и философско-гуманитарная литература

Авантюрно-приключенческая — 15%
Детективная — 19%
Сентиментальная — 17%
Фантастика — 14%
Детская — 11%
Историческая — 17%
«Серьезная литература» [1] — 2%
Философско-гуманитарная — 5%

специализированная литература

Словари и учебные пособия — 27%
Энциклопедическая, научная и справочная — 28%
Экономическая и техническая — 16%
Естественные науки и книги о природе — 1%
Домоводство, рукоделие, кулинария — 15%
Медицина, физкультура, спорт — 12%
Искусство и искусствоведение — 1%

Таким образом, можно сделать вывод о том, что покупательная активность читателя снижается; конкуренция, а значит, и требования к качеству продукции и цене растут. Время ненасыщенного рынка, который «глотал» все, что на него выбрасывалось, ушло в прошлое. Сегодня издателям и книготорговцам приходится быть крайне осторожными, в особенности издателям и в особенности при составлении планов на будущее.

При этом необходимо знать не только, что издавать, но и в каком оформлении, за какую цену, каким тиражом, как провести рекламную кампанию и т. д. Примером необходимости такой информации может служить история с изданным «Республикой» романом Дж. Джойса «Улисс». Безусловно, издание этой книги было правильным расчетом. Правильным было и решение выпустить ее в твердом переплете с «супером», с хорошими иллюстрациями и т. д. Но все эти решения принимались лишь на основе предположений, пусть даже опытных и компетентных людей. Поэтому, выпустив 100 тыс. экземпляров и успешно реализовав тираж, издатели решили напечатать еще 50 тыс., которые до сих пор не могут найти своего покупателя даже по прошлогодней «весенней» цене. Будучи

[1] Здесь и далее под «серьезной литературой» подразумевается классическая и современная литература (как русская, так и зарубежная), не относящаяся ни к одному из прочих перечисленных жанров.

большим издательством, «Республика» перенесла этот удар, но подобные примеры можно привести с многими небольшими издательствами, неудачно выпустившими первую книгу и исчезнувшими после этого.

Абсолютными лидерами среди книг, продаваемых в Москве, являются детективы. Близки друг к другу цифры для приключенческой, сентиментальной и исторической литературы, фантастики (вместе с детективами эти жанры составляют 60% от всей продаваемой литературы). 11% — логичная цифра для детской литературы. «Серьезная литература» отвоевала всего 2%, но необходимость в ней сейчас растет.

Интересна и характеристика покупателей некоторых жанров.

Для сентиментальной литературы цифры оказались более чем красноречивыми. 90% читающих ее — женщины, причем подавляющее большинство из них — старше 35 лет. 37% — пенсионеры и домохозяйки. На втором месте рабочие (вернее, работницы) — 24%. Из мужчин (10%), покупающих книги этого жанра, всего 2% сопереживают героиням любовных историй. Остальные 8% мужчин приобрели книгу в подарок женщине.

Для детективов цифры дифференцируются плохо. Это говорит о том, что детективы читают люди всех возрастов, любого образования и социального положения, мужчины и женщины. Единственная показательная цифра — всего 2% покупающих литературу этого жанра — пенсионеры и домохозяйки.

Фантастику предпочитают читать мужчины (73%), причем мужчины молодые (70% из них в возрасте до 35 лет). Интересно, что среди пожилых женщин старше 55 лет ни одна не интересуется этим жанром. Более трети покупающих фантастику — студенты и учащиеся (38%). Самая маленькая цифра у пенсионеров и домохозяек (1%).

Наконец, «серьезная литература». Подавляющее большинство читающих ее — люди с высшим образованием (74%). 66% — квалифицированные специалисты, руководители среднего звена, служащие. Минимальная цифра у рабочих (4%). Лишь 2% купивших такие книги в последний месяц — молодые люди до 20 лет.

Подавляющее большинство изданий, покупаемых в Москве,— книги зарубежных авторов (89%). Книги отечественных писателей — 11%. Наиболее популярными авторами сегодня являются: Дж. Чейз, С. Кинг, Ж. Бенцони, С. Шелдон, Д. Кунц, Д. Хилпатрик, Дж. Коллинз, Э. Успенский, В. Пикуль, А. Суворов.

Теперь попытаемся разобраться в мотивах покупки тех или иных книг. Наибольшее количество читателей покупают книги, как это ни странно, сообразуясь не с именем конкретного автора, а с жанровой принадлежностью (41%). Эта цифра говорит о том, что для почти половины респондентов имя автора и название книги имеют второстепенное значение, главное, чтобы это был или детектив, или боевик, или любовный роман, или фантастика и т. д.

Среди тех книг, которые покупаются просто потому, что человеку захотелось что-нибудь почитать, подавляющее большинство — детективы, приключения, фантастика и любовные романы. Совсем нет здесь «серьезной литературы». Всего 2% — книги, которые должны скрасить время в дороге детям (но чаще книгу заменяют мороженое, жвачка и т. д.). 75% — это недорогие книги (до 1.500 рублей), а 50% — совсем дешевые брошюры (до 500 рублей). Всего 3% респондентов позволили себе потратиться на более серьезную сумму (3 тыс. рублей и более), просто чтобы «что-нибудь почитать».

Неожиданная цифра получилась для изданий, покупаемых в качестве подарка. Половина из них — детская литература. Очевидно, фраза «книга — лучший подарок» по-прежнему актуальна, лишь когда речь идет о детях. Другие литературные подарки — это детективы и издания сентиментального жанра. Всего 1% — «серьезная литература».

Вполне естественно, что в отличие от стоимости книг, покупаемых, когда «просто захотелось что-нибудь почитать», большинство книг-подарков — это дорогие издания от 1.500 рублей, а многие — более 3.000 рублей. Покупатель предъявляет требования к товару (качество, цена), в первую очередь исходя из мотивов покупки. Поэтому, планируя тираж, оформление и приблизительную цену книги, производителю необходимо знать причины, по которым данное издание может привлечь покупателя, а также учитывать его финансовые возможности, его готовность пожертвовать частью своего заработка.

Результаты проведенного анализа рынка позволяют сделать вывод, что издатели и распространители книжной продукции находятся как бы в инертном

состоянии. Ушел в прошлое благодатный для любого издателя период ненасыщенности рынка, период острого дефицита, «борьбы» покупателя за книгу. Сегодня идет борьба уже среди самих производителей за своего читателя, ибо с появлением у покупателя ВЫБОРА появился собственно РЫНОК производителей и, как следствие, конкуренция между ними. Однако похоже, что производитель играет по правилам, стихийно сложившимся еще в дебюте игры, и не ощущает изменяющихся условий.

ВИКТОР БЕЙЛИС

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРНОМ УСПЕХЕ И ДЕНЕЖНОМ ИНТЕРЕСЕ

Слово «бестселлер» в русском обиходе не столько амбивалентное, сколько двусмысленное. Если это похвала, то с оттенком иронии и даже сарказма. Если хула — то с подспудным восторгом и ясно различимой завистью.

Бестселлером на Западе была хорошо продаваемая, т. е. приносящая доход книга, которая по причине своего успеха лежала на всех прилавках; в России бестселлером считалась книга, которую невозможно было достать, успех которой предвиделся, а потому тираж всячески ограничивался. В результате бестселлером в Москве могли стать «Ригведа» или философский трактат Людвига Витгенштейна. Эти книги хотели бы достать и поставить на полку библиофилы, не испытывающие ровно никакого интереса к индийской культуре и не прочитавшие в своей жизни ни одной философской строчки, кроме разве: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Бестселлер приносит доход издателю (в первую очередь) и автору. Оставим в стороне первого — это важная, но в литературном процессе не первостепенная фигура. Поговорим о втором: существует ли автор, который бы не думал о доходах? «Наш век — торгаш»,— говорит книготорговец в разговоре с поэтом, и поэт, до того говоривший стихами, переходя на прозу, произносит: «Вы совершенно правы. Вот моя рукопись. Условимся». Это в тех самых стихах Пушкина, из которых вылетела крылатая строчка: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Чего только не предпринимал Пушкин, чтобы доказать всем — и прежде всего самому себе,— что можно жить на литературные доходы и даже покрыть ими свои аристократические долги. Увы! Это выходило у него несравненно хуже, чем у создателя тогдашнего бестселлера «Ивана Выжигина». Фаддей Венедиктович Булгарин гораздо успешнее справился с задачей и не только не имел долгов, но еще и считал барыши. Ссылки на вечность не помогут — Фаддей Венедиктович и ныне «любезен народу»: каким тиражом «Выжигина» ни издай — раскупят, да и прочтут — это ведь не «Евгений Онегин» по школьной программе.

Продолжим цитату из Пушкина: «Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика... Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому».

А что, собственно, неприятно? Человеку нужны деньги — а кому же они не нужны? Почему-то противно, что импровизатор желает их заработать хоть и собственным трудом, но не конторщиком, не торговлей, а настоящим, неподдельным вдохновением. Он спокойно, по достоинству оценивает свой талант и пользуется им по своему же разумению, то есть соотнося артистические способности с чужой волей — заказом публики.

Однако в русской культуре это осталось надолго — убеждение, что для художника — для его творчества и судьбы — необходима и плодотворна благородная нищета. Но вот парадокс: богема на Западе — это нищая поэтическая братия, богема в российском обиходном представлении — это не считающие денег, не имеющие нравственных принципов, сладко развратничающие, не лишенные таланта «бражники и блудницы».

Два прекрасно уживающихся мифа: один — культурно-элитарный — о бескорыстной инспирации, другой — культурно-низовой — соединяющий образ «гуляки праздного» с «куронепоклеванными» бабками. Первому соответствует, условно говоря, судьба автора «Мастера и Маргариты». Светлый человек, проживший достойную жизнь в нищете и противостоянии внешним обстоятельствам, написавший в стол великий роман и получивший всесветное посмертное признание.

Другой разновидности творчества соответствует, например, «Тарзан». Здесь тоже прошу не искать сарказма: «Тарзан» живет уже много десятилетий, и, пробыв один год в Германии, я с удовольствием, правда все убывающим, посмотрел по телевизору чуть не с десяток киноверсий этой книги (возможно, бессмертной).

В своей несколько высокомерной, но, вероятно, справедливой статье «Магия книги» Герман Гессе, утверждающий жреческое отношение к литературе, пишет: «На самом деле в мире духа ровным счетом ничего не изменилось с того времени, когда Лютер переводил Библию, а Гутенберг изобрел свой станок».

Не прибегая к понятию «бестселлер», Гессе говорит в основном о старых книгах, но любопытно, что упоминает все-таки и о Тарзане. Булгаков по причине его неизвестности, конечно, не называется, но я часто задумываюсь, а не знаком ли был автор «Мастера и Маргариты» со «Степным волком»? «Мы каждый день можем наблюдать,— пишет автор «Степного волка»,— как поистине удивительно, сказочно складываются судьбы книг, как они бывают наделены то силой высочайшего очарования, то даром делаться невидимыми. Поэты живут и умирают, будучи известны немногим или вообще никому, и только после их смерти, часто лишь спустя десятилетия мы вдруг видим, как их творения возрождаются, окруженные сиянием, будто времени просто не существует».

Мне представляется, что книги, когда-либо имевшие успех, в особенности массовый успех и кажущиеся нынче прочно и основательно забытыми, имеют шансы неожиданно возродиться из пепла. У времени свои ритмы, своя пульсация; ритмы если и не повторяются полностью, то все же вызывают резонанс, и старые книги вновь производят колебания и отдаются в душах читателей. Это, разумеется, относится и к тем творениям, которые признаны «бессмертными», но в некоторых поколениях вызывают лишь зевоту.

Герман Гессе продолжает: «...изо всех древних сокровищ китайской мудрости спустя тысячелетия послевоенная Европа открыла вдруг одного-единственного Лао-цзы; плохо переведенный и плохо прочтенный, он делается, похоже, игрушкой моды, как Тарзан или фокстрот, но на живой, творческий пласт нашей духовной жизни он оказывает громадное воздействие».

Что нужно, чтобы стать автором бестселлера? В русском опыте широкую поддержку имеет следующий ответ: лучше всего быть великим, но при жизни непризнанным писателем — это верный способ удостоиться после смерти миллионных тиражей и славы. Какой простор для мечтаний любого самомнительного из непечатающихся талантов и графоманов! Другой способ стать автором бестселлера — это уже *быть им*. Тогда в аннотации или на обложке напишут: «Новая книга Джона Ирвинга, автора бестселлера такого-то года «Мир от Гарпа». Или же: «Новый шедевр Ричарда Баха — всемирно известного автора «Чайки по имени Джонатан Ливингстон».

Нынче в России можно издать бестселлер — как западный, так и отечественный. Издавать пока не умеют, да неважно, дело в появившейся возможности, в перемене ситуации. А назовите-ка хоть один российский бестселлер! Что можно купить повсюду? Берроуз, Толкиен, Камасутра, Блаватская, Гессе, Барков, Булгаков, Солженицын. Где бестселлеры? Даже не говорю: отечественные; где западные?

Вот и поразмыслим теперь: а изменилась ли ситуация, как об этом все говорят? То есть изменилась ли она для литературы? Разумеется, литератор как человек подвергается тем же воздействиям, что и другие: живет сыто или голодно, пригрет властью или гоним ею. Но характер труда его тот же. Как у хлебороба, живет ли он при феодализме, капитализме или социализме. Если говорить о русской литературе в ее советский период, то разве в том, что по гамбургскому счету можно считать искусством, произошли какие-либо качественные сдвиги? Или разве Пастернак как литератор-профессионал чем-то существенным отличался от Иннокентия Анненского или должен был чего-то стыдиться перед Владимиром Набоковым (как бы последний ни насмешничал над «Доктором Живаго»)?

А литература живет, как и жила: автор пишет, потому что не может иначе, когда для него «дышат почва и судьба», а для нас и, возможно, для вечности

начинается искусство. Но вот в разговоре возникло слово «барыш», которое располагается рядом со словом «успех» в той новой социо-экономической ситуации, в которой оказались наши соотечественники, в том числе, конечно, и литераторы. Часто говорят о разности отношения к литературе в России и на Западе. Считают, что на Западе относятся к литературе как к фикции, а у нас — как к некоей высшей истине. Тем самым успех, как своего рода фикция, не может иметь успеха (пардон за каламбур) в русской литературе.

Нынешний россиянин, очевидно, может прийти к достижению материального благополучия безнаказанно, без отсидки в тюрьме за хозяйственные преступления и без заклеймения общественным презрением. Может ли такой россиянин войти в русскую литературу? Думаю, что может, но если счет по-прежнему гамбургский, то такой россиянин придет либо как трагический, либо как комический персонаж. И дело не в том, что русская литература всегда была антибуржуазна, а в том, что ни в одной литературе мира успех не образует сюжета, т. е. именно фикция (fiction) не позволяет поставить успех в центр художественного произведения. Литература в определенном смысле — родная сестра религии и восходит к тем или иным ритуалам, т. е. космической игре, в которой жизнь человека имеет вид четко оформленного, завершенного и совершенного смыслоносящего драматического сюжета. Указание на американскую литературу как разработчицу мифологемы успеха также ошибочно, поскольку миф этот принадлежит скорее рекламе (где он у Фолкнера, у Фицджеральда, у Сола Беллоу?) Успех — вне литературы, потому что успехом может завершиться лишь усилие, но не жизнь и не действо, не пассион.

Кроме того, успех не равнозначен, а зачастую и заказан человеческому счастью. Литературный успех различных писателей в различных читательских кругах — не всегда бестселлер. Бестселлер же — всегда успех, по крайней мере, материальный.

Каким бы авторитетом, какой бы безупречной репутацией ни располагал Роберт Музиль среди своих знаменитых современников Германа Гессе и Томаса Манна, это не помогло ему найти издателей для одной из величайших книг XX столетия «Человек без свойств». Стала ли эта книга бестселлером, когда в 1984 году вышла в русском (замечательном!) переводе тиражом в 50 тысяч экземпляров? Я доставал ее с трудами и переплатами, а прочитана она покупателями, по-моему, не больше, чем тоже быстро распроданные труды Карла Ясперса.

Мне кажется, что в русской культуре навсегда сохранится настороженное отношение к успеху. Большие тиражи подозрительны. Все ли хорошо у печатаемого героя со вкусом? Говорят, Пастернак был в ужасе, когда ему рассказали, что песни на его слова поют в электричке.

В каталоге библиотеки Франкфуртского университета я обнаружил книги: «Бестселлер в Древнем Риме», «Бестселлер в Средние века» и т. д. Реестры наиболее читаемых книг разных эпох. Как-то зыбко становится. Все, что пишется на земле, хоть у десятка читателей, да будет пользоваться успехом. Для этих десяти написанное — бестселлер, которому они знают цену. «Мой дар убог, и голос мой негромок,— может думать скромнейший из авторов,— но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие...»

❖ *КРИТИКА*

МИЛАН КУНДЕРА

КОГДА ПАНУРГ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ СМЕШНЫМ

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЮМОРА

Госпожа Грангузье, бывшая на сносях, объелась требухи, посему ей пришлось прописать вяжущее средство, да такое сильное, что устья маточных артерий у роженицы расширились и ребенок проскочил в полую вену, а затем поднялся вверх и выпал из левого уха матери. С первых же фраз книга Рабле раскрывает перед нами все свои карты: то, о чем в ней рассказывается, несерьезно; иными словами, здесь не утверждается никаких истин, научных или мифологических, не дается описаний фактов в том виде, в каком они предстают перед нами в действительности.

О, счастливые времена Рабле, когда бабочка романа только-только взмывала в воздух, неся на крыльях чешуйки лопнувшей хризалиды! Если Пантагрюэль в своем великанском обличье принадлежит прошлому волшебных сказок, то Панург прибывает из еще неведомого в ту пору будущего, принадлежащего роману. Неповторимый миг зарождения нового искусства наделяет книгу Рабле невероятным богатством; чего в ней только нет: правдоподобие и вымысел, аллегория и сатира, великаны и обычные люди, побасенки и размышления, реальные и фантастические путешествия, ученые диспуты и виртуозные словесные игры. Теперешний романист, наследник XIX века, испытывает завистливую тоску по причудливой и пышной вселенной первых романистов, ему недостает той веселой свободы, которой они в ней наслаждались.

Подобно тому как на первых страницах книги Рабле Гаргантюа падает на мировые подмостки из уха матери, в «Сатанинских стихах» Салмана Рушди два героя вываливаются из взорванного самолета и летят вниз, болтая и распевая песенки, да и вообще ведут себя комично и совершенно непредсказуемо. Один из них, Джибрил Фаришта, «плывет в воздухе то брассом, то баттерфляем, то свертываясь в клубок, то простирая руки и ноги в мнимую бесконечность мнимой зари», а другой, Саладин Шамша, «несется стремглав, словно тень; на нем серый костюм, застегнутый на все пуговицы, и котелок на голове; руки он держит по швам», а вокруг этих двух персонажей, спереди и сзади, сверху и снизу, реют в пустоте самолетные сиденья с откидными спинками, картонные стаканчики, кислородные маски и пассажиры. Этой сценой и открывается роман — ведь Рушди, подобно Рабле, знает, что связь между автором и читателем должна быть установлена с самого начала, что читателю необходимо уяснить: то, о чем здесь рассказывается, несерьезно, даже если речь идет о самом ужасном.

На этом сочетании несерьезного и ужасного построены те главы «Четвертой книги» Рабле, где корабль Пантагрюэля встречает в открытом море судно торговца баранами. Один купец, заметив, что Панург не носит гульфика и что к его шляпе прицеплены очки, начинает издеваться над ним, обзывать рогоносцем. Панург тут же решает отомстить: он покупает у насмешника самого лучшего барана и швыряет его в воду; привыкшие всюду следовать за вожаком остальные бараны тоже прыгают в море. Ошалевшие гуртовщики хватают их кто за шерсть, кто за рога и сами оказываются в пучине. Тем временем Панург берет весло, но не затем, чтобы помочь им, а чтобы помешать вскарабкаться на палубу; при этом он, рассыпая перлы красноречия, описывает тонущим печали мира сего и радости жизни вечной, доказывая, что мертвые счастливее живых. Тем же, кому еще не расхотелось жить среди людей, он желает встречи с китом, который поглотил бы их, как некогда Иону. Когда все пошли ко дну, брат Жан поздравляет Панурга с очередным подвигом, упрекая его лишь за то, что он бесполезно извел столько денег. «Видит Бог,— ответствует ему Панург,— я доставил себе удовольствия больше чем на полмиллиона франков».

Сцена сама по себе нереальна, невозможна, но не таится ли в ней, по крайней мере, хоть какая-то мораль? Может быть, Рабле обличает жадность купцов, наказание за которую должно нас развеселить? Или он, как и пристало ярому антиклерикалу, насмехается над глупостью религиозных формул, изрекаемых Панургом? Поди угадай! Тут каждый ответ неминуемо превращается в ловушку для простаков.

Октавио Пас утверждает, что «ни Гомер, ни Вергилий не знали юмора; Аристотель как бы предчувствовал его, но по-настоящему он появляется только у Сервантеса. (...) Юмор — это великое изобретение современного духа». Эта мысль кажется мне фундаментальной: юмор не был изначально присущ человеку, это — *изобретение*, связанное с зарождением романа. Стало быть, юмор — это вовсе не то же самое, что смех, насмешка, сатира, но особая разновидность комического, о которой Пас говорит (и в этом ключ к пониманию сути юмора), что она «придает двусмысленность всему, с чем соприкасается». Те, кто не способен насладиться сценой, где Панург топит купца, никогда и ничего не поймут в искусстве романа.

ОБЛАСТЬ ДВУСМЫСЛЕННОЙ МОРАЛИ

Если бы кто-нибудь спросил у меня, в чем самая частая причина недоразумений между мной и моими читателями, я не колеблясь ответил бы: в разных взглядах на суть юмора.

В первые годы моей жизни во Франции я был кем угодно, но только не пресыщенным скептиком. И когда одно крупное медицинское светило пожелало познакомиться со мной, потому что ему понравился мой «Прощальный вальс», я был страшно польщен. По мнению этого профессора, мой роман — это подлинно пророческое произведение; создавая образ доктора Скреты, который лечил женщин от мнимого бесплодия, впрыскивая им с помощью специального шприца свое собственное семя, я будто бы затронул одну из великих проблем будущего. Итак, профессор пригласил меня на конференцию, посвященную вопросам искусственного оплодотворения, и прочел набросок своего доклада. В нем говорилось, что донорство спермы должно быть анонимным, бесплатным и — тут он пристально посмотрел мне в глаза — одушевленным тройственной любовью: к неведомой яйцеклетке, призванной осуществить свою естественную миссию, к личности донора; продлевающейся посредством донорства, и, наконец, к супружеской чете, страдающей от бесплодия. Закончив эту тираду, он снова уставился на меня и заявил, что, несмотря на все свое ко мне уважение, вынужден меня покритиковать: я не сумел достаточно ярко обрисовать всю моральную красоту подобного донорства. Я попытался было защищаться: «Мой роман — произведение комическое, мой доктор — фантазер, не нужно все это принимать чересчур всерьез!» — «Если так,— нахмурился мой собеседник,— то и к вашим романам тоже нельзя относиться серьезно». Я не знал, что ему ответить, и только тут до меня дошло: нет ничего более трудного, чем понимание юмора.

В той же «Четвертой книге» описывается морская буря. Вся команда, высыпав на палубу, пытается спасти судно, и лишь Панург, скованный страхом, только и делает, что жалуется и скулит; его великолепным нытьем заполнены целые страницы. Едва буря стихает, к нему возвращается храбрость и он начинает распекать всех остальных за их мнимую лень. И вот что интересно: этот трус, лентяй и кривляка не только не вызывает у нас ни малейшего отвращения, но в этой сцене бахвальства нравится нам больше всего. Именно благодаря таким сценам книга Рабле и становится в полном смысле слова романом, то есть *областью двусмысленной морали.*

Эта двусмысленность не говорит об аморальности романа, она как раз и является его *моралью*. Моралью, которая противится неискоренимой человеческой привычке судить обо всем с кондачка, судить пристрастно, ничего не поняв и ни в чем не разобравшись. Эта страстная склонность к суждению выглядит с точки зрения мудрости романа непростительной глупостью, наихудшим из зол. Романист в принципе не отвергает законности морального суждения, он лишь изгоняет его за пределы романа. Если вам это угодно, можете обвинять Панурга в трусости, обвинять Эмму Бовари, обвинять Растиньяка — это ваше дело; романист здесь ни при чем.

Создание воображаемой области, где моральные суждения необязательны, было подвигом огромного значения: только в ней могли выявить себя персонажи романа, то есть образы, созданные не ради подтверждения какой-то абстрактной истины, не являющиеся аллегориями добра и зла или олицетворениями противоборствующих объективных законов, а воплощающие в себе живых, самостоятельных людей, движимых своей собственной моралью, своими собственными законами. Западное общество привыкло считать себя обществом прав человека, но, прежде чем человек сумел завоевать эти права, он должен

был сформироваться как личность, осознать себя личностью и заставить себя уважать в этом качестве, что было невозможно без содействия всех видов европейского искусства и, в частности, романа, который побуждал читателя вглядываться в других людей, постигать их истины, отличные от его собственных. В этом смысле я согласен с Чораном, который именовал европейское общество «обществом романа» и говорил о европейцах как о «детищах романа».

ОБМИРЩЕНИЕ

Обезбóжение мира (Entgötterung) — одно из самых показательных явлений Нового времени. Обезбожение не равнозначно атеизму: оно обозначает ситуацию, в которой индивид, мыслящее «эго», заменяет собой Бога в качестве основы мироздания; человек может оставаться верующим, преклонять колени в храме или молиться перед сном в постели, но его благочестие отныне ограничено пределами его собственной субъективной вселенной. Описав эту ситуацию, Хайдеггер приходит к заключению: «Боги в конце концов уходят. И пустота, образующаяся после их ухода, заполняется отходами от исторической и психологической разработки мифов».

Разрабатывать мифы и прочие священные тексты исторически и психологически — значит обмирщать их, профанировать. Последнее слово происходит от латинского «profanum» — так называлось место перед храмом, вне храма. Профанация, стало быть,— это удаление святыни из храма, ее перенесение во внерелигиозную сферу. По мере того как атмосферу романа незримо насыщает смех, роман становится наихудшим видом профанации. Ибо религия и юмор несовместимы.

Тетралогию Томаса Манна «Иосиф и его братья», создававшуюся между 1926 и 1942 годами, можно считать типичным примером «исторической и психологической разработки» священных текстов, которые в забавном и восхитительно скучноватом пересказе Манна разом теряют весь свой священный характер: вечносущий Бог становится человеческим творением, выдумкой Авраама, который вывел его из политеистического хаоса сначала как высшее, а потом и единственное божество. Сознавая, кому он обязан своим существованием, этот Бог восклицает: «Просто невероятно, каким образом этот человечишка сумел меня познать! Разве не он дал мне имя? Поистине, мне остается только освятить его миропомазанием». Но вот что самое главное: Манн то и дело подчеркивает, что его роман — произведение юмористическое. Священное писание, вызывающее смех! Взять хотя бы историю Иосифа и жены Потифара: когда, обезумев от неразделенной любви, она прикусывает себе язык и пытается соблазнить Иосифа, присюсюкивая как ребенок: «пи со мной, пи со мной», он, храня целомудрие три года подряд, терпеливо объясняет ей, что это невозможно. Наступает роковой день, когда они остаются в доме одни; она снова начинает твердить свое: «пи со мной, пи со мной», а Иосиф в который раз последовательно и методично излагает ей доводы, в силу которых он не может этого сделать. Но во время объяснений «плоть Иосифа восстает против его духа», восстает столь мощно, столь великолепно, что жена Потифара, увидев это «восстание» и вконец обезумев, срывает с него рубашку. А когда перевозбужденный Иосиф бросается прочь, она, вне себя от отчаяния, начинает кричать, вопить и звать на помощь, обвиняя его в насилии.

Роман Манна снискал единодушное признание, свидетельствующее о том, что профанация уже не считается оскорблением нравов, а составляет часть их. В течение всего Нового времени неверие теряло свой вызывающий и подстрекательский характер, а вера, в свою очередь, утрачивала былую миссионерскую убежденность и нетерпимость. Решающую роль в этой эволюции сыграл шок сталинизма: силясь вытравить в нас всякую память о христианстве, он с чудовищной ясностью показал, что все мы, верующие и неверующие, богохульники и богомольцы, принадлежим к одной и той же культуре, укорененной в христианском прошлом, без которого мы были бы всего лишь бесплотными тенями, безъязыкими краснобаями, изгоями, лишенными своей духовной родины.

Я получил атеистическое воспитание и был вполне им доволен до тех пор, пока в самые черные годы коммунистической диктатуры не стал свидетелем гонений на христиан. Язвительный и восторженный атеизм ранней молодости тут же рассеялся как детская придурь. Я начал понимать моих верующих друзей и, движимый чувством солидарности, стал иногда ходить вместе с ними в церковь. В то время я еще не был убежден в существовании Бога как вершителя наших судеб. Да и что, в сущности, я тогда мог знать о Нем? И что знали мои верующие друзья? Была ли их вера твердой уверенностью? Я сидел на церковной скамье со странным и счастливым ощущением, что мое неверие и их вера диковинным образом близки друг к другу.

КОЛОДЕЦ ПРОШЛОГО

Что такое личность? В чем состоит ее неповторимость? Этими вопросами задается каждый роман. И в самом деле, чем определяется наше «я»? Тем, что мы делаем, нашими поступками? Но поступки выходят из-под нашего контроля, оборачиваются против нас самих. Способен ли человек понять себя самого? Могут ли потаенные мысли служить ключом к загадке его личности? А может быть, человек определяется своим взглядом на мир, своими идеями, тем, что по-немецки называется Weltanschauung [1]? Именно такова эстетика Достоевского: его персонажи наделены глубоко личным, оригинальным мировоззрением, согласно которому они действуют с неодолимым упорством. У Толстого же, напротив, личное мировоззрение вовсе не является той прочной основой, на которой зиждется человеческая индивидуальность: «Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят». Но если самостоятельная мысль не является основой человеческой личности, если она имеет не большее значение, чем шляпа, то где же тогда искать это основание?

Важнейший вклад в эти бесконечные поиски внес Томас Манн: мы думаем, что действуем или мыслим, на самом же деле и действует, и думает за нас кто-то другой (или другие): извечные привычки, древние архетипы, которые, став мифами, переходящими из поколения в поколение, обретают неодолимую силу внушения, гипнотически ведущую нас, по словам Манна, от самого «колодца прошлого». «Является ли человеческое «я»,— пишет он,— чем-то узкоограниченным, герметически замкнутым в своих эфемерных плотских пределах? Не принадлежат ли многие из составляющих его элементов внешней по отношению к нему и куда более древней целокупности? (...) Разве различие между духом как таковым и личным духом не бросалось в глаза людям прошлого с такой же отчетливостью, как и нам сейчас? (...) Все обстоит так, как если бы мы столкнулись с феноменом, который можно назвать подражанием или продолжением, с концепцией жизни, согласно которой роль каждого из нас состоит в воскрешении издавна существовавших форм, мифических прообразов, начертанных предками и позволяющих им без конца перевоплощаться».

Распря между Иаковом и его братом Исавом — всего лишь повторение древнего соперничества между Авелем и братом его Каином, между «любимчиком» Бога и завистником, которым Бог пренебрегает. Эта распря, чья «мифическая схема начертана предками», находит свое новое выражение в судьбе сына Иакова, Иосифа, тоже принадлежащего к разряду «любимчиков». Движимый вечным чувством вины «любимчиков» перед «отверженными», Иаков посылает Иосифа мириться с завистливыми братьями, но эта затея, как известно, кончается плачевно: они бросают Иосифа в колодец.

Даже страдание, эмоция, вроде бы не поддающаяся контролю, является всего лишь «подражанием и повторением»: когда роман сообщает нам о поведении и речах Иакова, скорбящего о погибшем сыне, Манн комментирует это следующим образом: «То были не его собственные слова, это чувствовалось сразу. Так или в этом роде, согласно старинным песням, говорил уже Ной при виде потопа, и слова Ноя Иаков присвоил себе. (...) Есть словосочетания скорби, которые, как по заказу, подходя к делам позднейшим, дают выход горестям жизни (...) хотя не следует думать, будто это хоть сколько-нибудь лишает их непосредственности». Знаменательная концовка: подражание не означает утери непосредственности, подлинности, ибо человек просто не может не подражать тому, что уже было; при всей искренности своих чувств он — всего лишь чье-то перевоплощение; сколь бы подлинным он ни был, его душа — только слагаемое внушений и приказаний, доносящихся из колодца прошлого.

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ В РОМАНЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН

Вспоминаю о тех днях, когда я сел писать свою «Шутку»: с самого начала и непонятно почему я был уверен, что благодаря образу Ярослава мне удастся заглянуть в глубины прошлого (прошлого народного искусства) и что «я» этого персонажа выявится в этом взгляде и посредством этого взгляда. Впрочем, все четверо главных героев романа созданы схожим образом: в них отражены четыре личных взгляда на коммунизм, соответствующие четырем отрезкам прошлого. Людвик — это коммунизм, вырастающий из едкого духа вольтерьянства. Ярослав — коммунизм как желание восстановить патриархальное прошлое, сохраненное в фольклоре. Костка — коммунистическая утопия, привитая, как дичок, к Евангелию. Гелена — коммунизм как источник энтузиазма для homo sentimentalis. Все эти личные мирки опи-

[1] Мировоззрение *(нем.)*.

саны в момент их разложения; это четыре формы распада коммунизма, крушение четырех старых европейских утопий.

В «Шутке» прошлое проявляется либо как одна из граней психики персонажей, либо в виде эссеистических отступлений; позднее мне захотелось вывести его на сцену более непосредственным образом. В своей книге «Жизнь в другом месте» я описал биографию молодого современного поэта на фоне исторического полотна всей европейской поэзии, так что его поступки становятся неотличимыми от поступков Рембо, Китса, Лермонтова. Потом я пошел еще дальше, изобразив в «Бессмертии» столкновение разных исторических эпох.

Будучи молодым писателем и живя в Праге, я ненавидел слово «поколение», которое отталкивало меня своим стадным духом. И впервые ощутил какую-то связь с другими уже гораздо позже, во Франции, прочтя «Terra nostra» Карлоса Фуэнтеса. Возможно ли, думал я, чтобы кто-то, живущий на другом материке, не похожий на меня ни своим творческим путем, ни культурой, поставил перед собой такую же творческую задачу — совместить в одном романе различные исторические времена,— задачу, которую я по своей наивности считал посильной только для меня одного?

Немыслимо понять, что такое «terra nostra» Мексики, не склонившись над колодцем прошлого. Не на манер историка, который старается увидеть в нем события в их хронологической последовательности, а просто для того, чтобы спросить себя: как может выглядеть *суть* мексиканской земли? Фуэнтес схватил эту суть посредством романа-сновидения, где многочисленные исторические эпохи сливаются в некую призрачную поэтическую метаисторию; ему удалось создать нечто неописуемое и, уж во всяком случае, до сих пор невиданное в литературе.

В последний раз это чувство тайного эстетического родства охватило меня при чтении «Венецианских празднеств» Соллерса, странного романа, чей сюжет, начинающийся в наши дни, разворачивается подобно сцене, на которой один за другим выступают Ватто и Сезанн, Моне и Тициан, Пикассо и Стендаль,— сцене, где разыгрывается спектакль, посвященный их речам и их искусству.

А между этими двумя произведениями я поместил бы «Сатанинские стихи» со всей их системой зеркал: сложная личность европеизированного индийца, terra non nostra, terrae non nostrae, terrae perditae [1],— чтобы постичь эту изломанную личность, роман исследует ее в разных точках планеты: в Лондоне, в Бомбее, в пакистанской деревне и, наконец, в Азии VII века.

Сосуществование различных эпох ставит перед романистом техническую проблему: как связать их вместе, чтобы роман не потерял своей цельности?

Фуэнтес и Рушди нашли фантастические решения: у первого персонажи перемещаются из одной эпохи в другую посредством собственных перевоплощений, у второго эту надвременную связь осуществляет Джибрил Фаришта, превращающийся в архангела Гавриила, который в свою очередь становится медиумом Махунда (литературный вариант Мухаммада).

У Соллерса и у меня фантастики нет и в помине. У Соллерса картины и книги, увиденные и прочитанные его персонажами, служат окнами, распахнутыми в прошлое. У меня прошлое и настоящее измеряются одними и теми же мотивами и темами.

Может ли это подспудное эстетическое родство (незамечаемое и не могущее быть замеченным) объясняться взаимным влиянием? Нет. А может быть, все дело во влияниях, испытанных обоими авторами? Но что это за влияния? Разве мы не дышали одним и тем же воздухом истории? Разве нас не сблизила, в силу своей собственной логики, сама история романа?

ИСТОРИЯ РОМАНА КАК МЕСТЬ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

История... Можно ли еще ссылаться на столь устаревший авторитет? Все нижеследующее отражает чисто личную точку зрения на этот вопрос: будучи романистом, я всегда чувствовал себя в сердцевине истории, посреди дороги, где можно вести разговор не только с теми, кто меня опередил, но даже и с теми (хотя это проблематично), кто идет следом за мной. Я, разумеется, говорю об истории романа, а не о какой другой, и говорю о ней так, как я ее вижу: она не имеет ничего общего с внечеловеческим «разумом» Гегеля, она не предопределена заранее и не тождественна идее прогресса; это чисто человеческая история, творимая людьми, вернее сказать — *некоторыми* людьми, и, следовательно, сравнимая с эволюцией отдельного художника, который действует то банально, то непредсказуемо, то гениально, то без проблеска гениальности, а к тому же постоянно упускает отпущенные ему возможности.

Я во всеуслышанье объявляю

[1] Чужая земля, чужие земли, потерянные земли *(лат.)*.

о своей приверженности к истории романа, сознавая, что все мои романы дышат ужасом перед Историей как таковой, враждебной и бесчеловечной силой, которая нежданно-негаданно набрасывается на нас откуда-то извне, калеча наши жизни. И, однако, я не вижу никакого противоречия в таком двойственном отношении к Истории человечества и истории романа, ибо это совсем разные вещи. Если первая не подвластна человеку, а навязана ему как некая чужеродная сила, с которой он не может справиться, то вторая — история романа, живописи, музыки — порождена человеческой свободой, глубоко личными творческими усилиями человека, возможностями его выбора. Суть истории искусства противоположна сути Истории как таковой. Благодаря своему личностному характеру история искусства — это месть человека безличной Истории человечества.

Но что понимать под личностным характером истории романа? Разве не должна была эта история век за веком руководствоваться общим, постоянным и, стало быть, надличностным смыслом ради создания хотя бы одного романа? Нет. Я полагаю, что даже этот общий смысл всегда остается личным, человеческим, ибо в ходе истории понятия о том или ином виде искусства (что такое роман?) и взгляды на его эволюцию (откуда и куда он идет) беспрестанно меняются с каждым новым художником, с каждым новым произведением. Смысл истории романа состоит в поисках этого смысла, в постоянном созидании и воссоздании, всегда включающих в себя все прошлое романа: Рабле наверняка не называл своего «Гаргантюа и Пантагрюэля» романом. В его времена это был не роман, он *становился* романом по мере того, как последующие романисты — Стерн, Дидро, Бальзак, Флобер, Ванчура, Гомбрович, Рушди, Кис, Шамуазо — вдохновлялись им, открыто признавая в нем краеугольный камень этой истории.

Исходя из всего вышесказанного, понятно, что выражение «конец Истории» никогда не вызывало у меня ни тревоги, ни опасений. «Как хорошо было бы забыть о той, что высосала все соки наших коротких жизней, расточила их на свои бесполезные труды, как хорошо было бы забыть об Истории!» («Жизнь в другом месте».). Если она и впрямь должна закончиться (хотя я не могу конкретно вообразить себе этот конец, о котором так любят разглагольствовать философы), то пусть себе потопрапливается! Но та же формула «конец истории» в приложении к искусству леденит мне сердце; я отлично представляю себе этот конец, ибо подавляющая часть современной романной продукции не укладывается в историю романа: это сплошные романизированные исповеди, романизированные репортажи, сведения счетов, автобиографии, сплетни, доносы, политические уроки, романизированные агонии мужей, отцов и матерей, романизированные дефлорации и роды, романы ad infinitum до скончания времен, романы, в которых не говорится ничего нового, не содержится никаких творческих поисков, никаких попыток переосмысления человека и формы романа,— романы, неотличимые один от другого, предназначенные лишь для того, чтобы проглотить их утром и выкинуть вечером.

Я считаю, что великие произведения могут зарождаться только в лоне истории соответствующего искусства и в качестве *соучастников* этой истории. Лишь глядя на эту историю изнутри, можно понять, что в ней ново, а что вторично, что является открытием, а что подражанием; иначе говоря, только внутри истории произведение может существовать как некая *ценность*, которую мы в силах заметить и воздать ей должное. Нет, как мне кажется, ничего более пагубного для искусства, чем его отход за пределы истории, отступление в хаос, где эстетические ценности становятся неразличимыми.

ИМПРОВИЗАЦИЯ И КОМПОЗИЦИЯ

Создавая «Дон Кихота», Сервантес по ходу дела бесцеремонно перестраивал характер своего героя. Свобода, очаровывающая нас у Рабле, Сервантеса, Дидро, была связана с импровизацией. Сложное и жесткое искусство композиции стало настоятельной необходимостью только в начале XIX века. Сложившаяся к тому времени форма романа, действие которого разворачивалось в очень ограниченном временном пространстве, на перекрестке, где переплетаются судьбы многих персонажей, требовала тщательно рассчитанного плана действий и сцен: перед тем как сесть за работу, романисту приходилось так и этак прикидывать этот план, уточнять и прорисовывать его, чего никогда не делалось раньше. Достаточно для примера перелистать заметки Достоевского к «Бесам»: в семи записных книжках, которые в издании «Плеяды» занимают четыреста страниц (а сам роман — семьсот), мотивы озабочены поисками персонажей, персонажи — поисками мотивов; герои оспаривают друг у друга место протагониста; Ставрогина нужно женить, «но на ком?» — спрашивает себя Достоевский и пытается одну за дру-

гой сосватать ему трех невест, и т. д. (Парадоксом все это кажется лишь чисто внешне: чем сложнее механизм расчетов, тем более живыми и естественными выглядят персонажи. Предрассудок, согласно которому конструктивное сознание считается «антихудожественным» элементом, калечащим «живой» характер персонажей, порожден сентиментальной наивностью тех, кто ничего не смыслит в искусстве.)

Романист нашего века, с тоской оглядывающийся на искусство старых мастеров романа, не в силах возобновить прерванную нить повествования; ему не дано предать забвению колоссальный опыт XIX века; желая обрести непринужденную свободу Рабле или Стерна, он должен примирить ее с требованиями композиции.

Вспоминаю мое первое чтение «Жака-фаталиста»: очарованный этим дерзновенно разнообразным богатством, где размышления соседствуют с анекдотами, где один рассказ включает в себя другой, околдованный этой свободой композиции, словно бы насмехающейся над единством действия, я спрашивал себя, чем обусловлен этот великолепный беспорядок: тщательной, строго рассчитанной конструкцией или эйфорией чистого импровизаторства? Нет сомнений, что здесь преобладает импровизаторство, но вопрос, который когда-то возник у меня сам собой, помог мне осмыслить поразительные конструктивные возможности, заключенные в этом безудержном импровизаторстве, возможности богатого и сложного построения, тщательно рассчитанного, выверенного и продуманного подобно тому, как были продуманы самые дерзкие архитектурные фантазии строителей готических соборов. Неужели такой конструктивный «умысел» наносит ущерб чарующей свободе романа? Лишает его элементов игры? Но что такое, собственно говоря, игра? Любая игра немыслима без правил, и чем они жестче, тем она увлекательней. В противоположность шахматисту художник сам изобретает свои собственные правила; импровизируя вне правил, он оказывается менее свободным, чем действуя в созданной им самим системе ограничений.

Попытка примирить свободу Рабле или Дидро с требованиями композиции ставит перед романистом нашего века и такие проблемы, которые не возникали перед Бальзаком или Достоевским. Возьмем, например, третий том «Сомнамбул» Броха: это «полифонический» поток, состоящий из «пяти «голосов», пяти совершенно независимых линий, не связанных между собой ни единством действия, ни общностью персонажей и носящих совершенно разный жанровый характер (A — роман, B — репортаж, C — рассказ, D — стихи, E — эссе). В восьмидесяти восьми главах книги эти пять линий перемежаются довольно странным образом: A—A—A—B—A—B—A—C—A—A—D—E—C—A—B—D—C—D—A—E—A—A—B—E—C—A—D—B—B—A—E—A—A—E—A—B—D—C—B—B—D—A—B—E—A—A—B—A—D—A—C—B—D—A—E—B—A—D—A—B—D—E—A—C—A—D—D—B—A—A—C—D—E—B—A—B—D—B—A—A—D—A—A—D—D—E.

Что вынудило Броха избрать именно этот порядок, а не какой-нибудь другой? Чем объяснить то, что в четвертой главе разрабатывается линия B, а не C или D? Уж во всяком случае не логикой, ибо, повторяю, эти пять линий не связаны между собой единством действия. Автор руководствовался иными критериями: очарованием неожиданного соседства различных жанров (стихи, проза, афоризмы, философские размышления); контрастом различных чувств, пронизывающих те или иные главы; неравномерностью объема этих глав и, наконец, развитием одних и тех же основных проблем, отражающихся в этих пяти линиях словно в пяти зеркалах. За неимением лучшего, назовем эти критерии *музыкальными* и подведем итог: XIX век разработал искусство композиции, а наше столетие обогатило его музыкальностью.

«Сатанинские стихи» построены из трех более или менее независимых линий. A: жизнеописания Саладина Шамши и Джибрила Фаришты, современных индийцев, живущих то в Бомбее, то в Лондоне. B: кораническая история, повествующая о зарождении Ислама. C: шествие паломников в Мекку, во время которого они пытаются пересечь море пешком и тонут в нем.

Эти три линии выявляются в девяти частях романа в следующем порядке: A—B—A—C—A—B—A—C—A (кстати: в музыке такой порядок называется рондо: в нем постоянно повторяется основная тема в сопровождении нескольких побочных).

А вот каков ритм всего ансамбля романа (в скобках я привожу округленное число страниц французского издания): A(100), B(40), A(80), C(40), A(120), B(40), A(70), C(40), A(40). Можно заметить, что линии B и C имеют всюду одинаковую длину, что придает ансамблю ритмическую упорядоченность.

Линия A занимает пять седьмых объема книги, линии B и C — по одной седьмой каждая. Отсюда ясен доминирующий характер линии A: центр тяжести романа — в описании судеб Фаришты и Шамши.

Линии B и C, будучи побочными, тем не менее содержат в себе *эстетическое ядро* романа; именно благодаря им Рущди смог осветить основную проблему любого романа (проблему личности) с помощью неожиданного приема, не укладывающегося в условные рамки психологического повествования. Личность Шамши и Фаришты раскрывается не в детальных описаниях их душевных состояний; их тайна обусловлена сосуществованием в психике этих персонажей двух цивилизаций — индийской и европейской; она обусловлена их духовными корнями, от которых они оторвались, но которые тем не менее продолжают жить в них. В каком месте обломились эти корни, как глубоко надо спускаться, чтобы нащупать рану? Здесь нам помог бы взгляд в «колодец прошлого», взгляд в самую сердцевину проблемы, заключающейся в экзистенциальной раздвоенности обоих главных героев.

Иаков, будучи всего лишь «подражанием и повторением», непонятен без Авраама, который, согласно Манну, жил за столетия до него, равным образом Джибрил Фаришта непонятен без архангела Гавриила (Джибрила), без Махунда (Мухаммада), непонятен без теократического Ислама, без Хомейни и даже без той фанатичной девушки, которая ведет паломников к Мекке или, вернее, к смерти. Все это — образы духовных возможностей, спящих в душе героя, возможностей, из которых он должен выковать собственную личность. В этом романе нет ни одной важной проблемы, которую можно было бы решить, не заглянув в «колодец прошлого». Кто из героев добр, а кто зол? Выглядит ли дьяволом Шамша по отношению к Фариште или Фаришта по отношению к Шамше? Дьявол или ангел вдохновляет паломников? Что означает их гибель в море — жалкий конец или торжественный взлет к небесам? Кто скажет, кто ответит? А что происходит, когда эта неуловимость добра и зла становится пыткой основателя какой-нибудь религии? Разве не звучат в душе любого христианина чудовищные слова отчаянья, неслыханное богохульство Христа: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Разве в догадках Махунда, спрашивающего себя, кто нашептал ему суры, Бог или дьявол, не таится сомнение, на котором основано само человеческое существование?

ПОД СЕНЬЮ ВЕЛИКИХ ПРИНЦИПОВ

Начиная с выхода в свет «Детей полуночи», вызвавших в ту пору (в 1980 году) единодушное восхищение, никто в англосаксонском литературном мире не сомневался, что Рущди — один из одареннейших романистов современности. «Сатанинские стихи», изданные по-английски в сентябре 1988 года, были встречены с вниманием и оценены по достоинству. Никто в то время не мог предвидеть, какая буря разразится вокруг них через несколько месяцев, когда владыка Ирана, имам Хомейни, приговорил Рущди к смерти за богохульство и пустил по его следам свору убийц, организовал травлю, которой до сих пор не видно конца.

Это произошло перед тем, как роман был переведен на другие языки. Повсюду, кроме англосаксонских стран, скандал вокруг книги предшествовал ее появлению. Французская пресса поспешила опубликовать выдержки из еще не изданного романа, чтобы читатель мог судить о причинах приговора,— шаг вполне нормальный, но для романа убийственный. Публикуя лишь те фрагменты, что вменялись автору в вину, издатели с самого начала превратили произведение искусства в *обвинительный акт*.

Я никогда не буду злословить в адрес литературной критики. Ибо нет ничего хуже для писателя, чем ее отсутствие. Я говорю о той критике, что занята размышлением и анализом, что по нескольку раз перечитывает книгу, о которой хочет говорить (подобно великой музыке, которую можно слушать без конца, великие романы создаются для бесконечного перечитывания), о критике, которая, не вслушиваясь в неумолимый ход курантов современности, способна рассуждать о книгах, созданных и год, и тридцать лет, и триста лет назад; о критике, которая пытается уловить новизну произведения, чтобы вслед за тем вписать его в историческую память. Если бы подобные размышления не сопровождали историю романа, мы ничего не знали бы сегодня ни о Достоевском, ни о Джойсе, ни о Прусте. Без них любое произведение подвергалось бы предвзятым оценкам и обрекалось на скорое забвение. Так вот, случай с Рущди доказал (если здесь еще нужны какие-то доказательства), что такие размышления теперь не в чести. Литературная критика незаметно, потихоньку, в силу вещей, в силу эволюции общества и прессы превратилась в простую (нередко умную, неизменно торопливую) *информацию о литературных новостях*.

В случае «Сатанинских стихов» этой новостью стал смертный приговор их автору. В такой ситуации, когда речь идет о жизни и смерти, почти неприлично говорить об искусстве. И в самом

деле, что такое искусство по сравнению с великими принципами, над которыми нависла угроза? Сейчас по всему свету все внимание комментаторов сосредоточено на проблеме принципов: свобода выражения и необходимость ее защищать (ее и впрямь защищали, протестовали, подписывали петиции); религия; Ислам и Христианство; а также и такой вопрос: имеет ли автор моральное право богохульствовать и тем оскорблять религиозное чувство верующих? И такое сомнение: а не набросился ли Рушди на Ислам исключительно для саморекламы, для того чтобы распродать свою нечитабельную книгу?

С загадочным единодушием (по всему свету — одна и та же реакция) литераторы, интеллектуалы, завсегдатаи салонов отнеслись к этому роману со снобистским презрением. Они решили в который раз не поддаваться коммерческому давлению и не стали читать то, что показалось им простым объектом сенсации. Однако подписали петиции в защиту Рушди, сопровождая этот акт сардонической усмешкой: «Его книга? Ах, нет, нет, увольте. Я ее не читал». Мне никогда не забыть той головокружительной беспристрастности, которую они тогда афишировали: «Мы осуждаем приговор Хомейни. Свобода выражения для нас священна. Но мы осуждаем также и эту нападку на религию. Нападку мелочную, недостойную, оскорбляющую народную душу».

Вот-вот, ни у кого больше не осталось сомнений, что Рушди *напал* на Ислам, ибо только обвинение было реальным, что же касается текста самой книги, то он не имеет никакого значения и как бы вовсе не существует.

СТОЛКНОВЕНИЕ ТРЕХ ЭПОХ

Ситуация единственная в истории: по своему происхождению Рушди принадлежит к мусульманскому обществу, которое, в большей своей части, живет еще в эпоху, предшествующую Новому времени. Но свою книгу он пишет в Европе, в эпоху Нового времени, точнее, в конце этой эпохи.

Подобно тому как иранский Ислам в этот момент шел от религиозной умеренности к воинствующей теократии, история романа в лице Рушди расставалась с церемонной профессорской улыбкой Томаса Манна и проникалась разнузданным воображением, почерпнутым из вновь открытого источника раблезианского юмора. Доведенные до крайности антитезы столкнулись между собой.

С этой точки зрения приговор, вынесенный Рушди, выглядит не случайностью и не безумием, а отражением глубочайшего конфликта между двумя эпохами: теократия выступила против Нового времени, избрав своей мишенью самое яркое его выражение, роман. Ибо Рушди отнюдь не богохульствовал. И не нападал на Ислам. Он просто-напросто написал роман. Но для теократического духа это было хуже любого нападения. Когда посягают на религию (посредством полемики, богохульства, ереси), хранители храма вполне могут защищаться на собственной территории, пользуясь собственным языком; но роман для них — это нечто вроде иной планеты, иной вселенной с иными законами бытия, это преисподняя, где бессильна их единственная истина, где сатанинская двусмысленность обращает любую достоверность в загадку.

Подчеркнем это: не нападение, а двусмысленность. Вторая часть «Сатанинских стихов», инкриминированная автору в силу того, что в ней упоминается Мухаммад и зарождение ислама, представлена в романе как сон Джибрила Фаришты, который впоследствии создал на его основе никудышный фильм, где сам сыграл роль архангела. Повествование, таким образом, подвергается *двойному* остранению (сначала как сон, затем как *дрянной* фильм, обреченный на провал) и подается не в виде утверждения, а в виде некой *игровой фантазии*. Можно ли считать эту фантазию непочтительной? Я так не думаю: мне лично она позволила впервые в жизни проникнуться *поэзией* исламской религии, исламского мира.

Я настаиваю на том, что в фантасмагорической вселенной романа нет места ненависти: писатель, который создает роман ради сведения счетов (будь они личными или идеологическими), обречен на тотальный и неотвратимый творческий крах. Айша, девушка, ведущая к смерти завороженных паломников,— это настоящее чудовище, но она в то же время соблазнительна, полна волшебных чар (вокруг ее головы всегда дрожит живой ореол из бабочек), а нередко и трогательна; даже в портрете имама-эмигранта (воображаемом портрете Хомейни) чувствуется почтительное понимание; современное западное общество обрисовано скептически и автор не отдает ему предпочтения перед восточной архаикой; роман «исторически и психологически разрабатывает» древние священные тексты, но в то же время показывает, насколько они *опошлены* телепостановками, рекламой, индустрией развлечений. Но быть может, автор хотя бы безоговорочно симпатизирует тем своим героям, в ком воплощены «левацкие» идеи, героям, клей-

мящим распущенность современного мира? Ничего подобного, они изображены такими же распущенными, как и окружающее их общество; никто полностью не прав и никто целиком не виноват в том необъяснимом *карнавале относительности*, которым является это произведение.

Стало быть, «Сатанинским стихам» можно инкриминировать лишь искусство романа как таковое. Вот почему во всей этой плачевной истории самым плачевным выглядит не приговор Хомейни (порождение жестокой, но безупречной логики), но неспособность Европы защитить и объяснить (терпеливо объяснить самой себе и другим) самое европейское из всех искусств — искусство романа, иначе говоря — объяснить и защитить свою собственную культуру. «Детища романа» упустили из рук искусство, которое их сформировало. Европа, «общество романа», отреклась от себя самой.

Я не удивляюсь тому, что сорбоннские теологи, эта идеологическая полиция XVI века, запалившая столько костров, устроила Рабле веселенькую жизнь, заставляя его без конца бежать и скрываться. Что мне кажется куда более удивительным и достойным восхищения, так это покровительство, которое ему оказывали владыки того времени, кардинал дю Белле, например, кардинал Оде, и особенно сам король Франциск I. Хотели ли они таким образом защитить принципы? Свободу выражения? Права человека? Мотив их поведения был куда возвышеннее: они любили литературу и искусство.

В сегодняшней Европе не видать никаких кардиналов дю Белле, никаких Франциском. Но остается ли Европа Европой, то есть «обществом романа»? Иначе говоря, живет ли она еще в эпоху Нового времени? Не переходит ли уже в иную, пока безымянную эпоху, для которой искусства не имеют никакого значения? Зачем в таком случае удивляться, что она не была потрясена сверх меры, когда, впервые за всю ее историю, было приговорено к смерти искусство романа, самое близкое для нее искусство? И разве в этой иной эпохе, пришедшей на смену Новому времени, роман не влачит уже существование смертника?

ЕВРОПЕЙСКИЙ РОМАН

Чтобы точно определить искусство, о котором идет речь, я называю его *европейским романом*. Я не имею в виду романы, созданные только в Европе и только европейцами, а романы, составляющие часть той истории, которая началась на заре Нового времени в Европе. Существуют, разумеется, и другие романы: роман китайский, японский, роман Древней Греции, но эти романы не связаны никакими эволюционными узами с историческим начинанием Рабле и Сервантеса.

Я говорю о *европейском романе* не только затем, чтобы отличить его от романа, например китайского, но и затем, чтобы показать его сверхнациональную историю; французский, английский или венгерский роман не в силах создать свою собственную, независимую историю, все они участвуют в истории общей, сверхнациональной, представлющей из себя единственный контекст, в котором могут выявить и смысл эволюции романа, и ценность отдельных произведений этого жанра.

В течение разных фаз развития романа разные страны перенимали инициативу одна у другой, как во время эстафеты: сначала лидировала Италия в лице Боккаччо, затем Франция в лице Рабле, затем Испания Сервантеса и плутовского романа; XVIII век был эпохой великого английского романа, а в конце его в процесс вмешалась Германия в лице Гёте; XIX век целиком принадлежал Франции, однако последняя его треть ознаменована появлением русского, а вслед за ним — скандинавского романа. XX век — это центральноевропейская эпопея, в которой участвуют Кафка, Музиль, Брох и Гомбрович...

Если бы Европу населяла всего одна нация, история ее романа вряд ли могла на протяжении четырех веков отличаться такой жизненной силой и таким разнообразием. Вечно новые исторические ситуации (вкупе с новым жизненным содержанием), возникавшие то во Франции, то в России, то еще где-нибудь и давшие ход искусству романа, одаряли его новыми порывами вдохновения, подсказывали новые творческие решения. Дело обстояло так, словно роман по ходу своего развития пробуждал одну за другой разные области Европы, подчеркивая их своеобразие и в то же время приобщая к единому всеевропейскому сознанию.

И лишь в нашем столетии, впервые за всю историю романа, его великие инициативы стали зарождаться вне Европы: сначала, в двадцатые и тридцатые годы, в Северной Америке, потом, в шестидесятые,— в Америке Латинской. Испытав удовольствие, доставленное мне искусством антильского романиста Патрика Шамуазо, а затем книгами Рушди, я предпочитаю теперь более обобщенно говорить о *романе к югу от тридцать пятой параллели* и, проще, о *романе Юга*: это новая и великая культура романа, для которой характерно поразительное чувство реальности, сочетающе-

ся с разнузданным воображением, не признающим никаких рамок правдоподобия.

Это воображение чарует меня, хотя я не совсем понимаю, откуда оно происходит, кто был его родоначальником. Кафка? Разумеется. В нашем столетии именно он узаконил неправдоподобное в искусстве романа. Однако кафкианское воображение отличается от воображения Рушди или Маркеса, чья пылкая фантазия коренится, скорее всего, в крайне своеобразной культуре Юга, в ее устной и до сих пор живой литературе (Шамуазо говорит, сколь многим он обязан сказителям-креолам), или, если взять Латинскую Америку, в ее барочном искусстве, более пышном, более «сумасшедшем», чем барокко европейское,— об этом любит напоминать Фуэнтес.

Еще один ключ к загадке этого вдохновения — *тропикализация* романа. Я намекаю на фантазию Рушди: пролетая над Лондоном, Фариштa мечтает о том, чтобы «тропикализировать» этот угрюмый город, и перечисляет выгоды тропикализации: «учреждение национальной сиесты 〈...〉, новые породы птиц на деревьях — попугаи, павлины, какаду; новые виды деревьев — кокосовые пальмы, тамариск, баньян 〈...〉, религиозный пыл, политическая активность 〈...〉, обычай ходить в гости без предупреждения; закрытие домов для престарелых; почтение к знатным особам, более острая пища 〈...〉 Отрицательные стороны: холера, тиф, слоновая болезнь, тараканы, пыль, шум, культура крайностей».

(«Культура крайностей» — это великолепная формула. Последние фазы развития романа характеризуются в Европе доведенными до крайности повседневными нуждами, софистическим анализом серости на сером фоне, а вне Европы — скоплением самых неожиданных совпадений, красками, забивающими друг друга. Все это чревато серой тоской в Европе, живописной монотонностью вне ее.)

Романы, созданные к югу от тридцать пятой параллели, какими бы странными они ни казались на европейский вкус, являются продолжением истории европейского романа, его формы, его духа; они поразительным образом близки к его первоистокам; нигде сейчас старые раблезианские соки не бушуют так весело, как в произведениях этих неевропейских романистов.

КОГДА ПАНУРГ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ СМЕШНЫМ

В последний раз возвращаюсь к Панургу. В «Пантагрюэле» описывается, как он влюбился в одну даму и решил любой ценой добиться взаимности. В церкви, во время службы (вот оно, чертово богохульство!), он нашептывает ей сногсшибательные сальности (которые в современной Америке обошлись бы ему в сто тридцать лет тюрьмы за сексуальное приставание), а когда она его отвергает, он мстит ей, обсыпая ее платье порошком, приготовленным из половых органов суки в течке. Едва эта дама вышла из церкви, как за ней тут же увязались все окрестные псы, общим числом, как уточняет Рабле, шестьсот тысяч четырнадцать, и принялись мочиться на нее. Когда мне было двадцать лет и я жил в рабочем общежитии, под подушкой у меня лежал том Рабле в чешском переводе. Я столько раз читал соседям по комнате эту историю, что они запомнили ее наизусть. Хотя все они были людьми крестьянской морали и несколько консервативного склада, в их смехе не звучало ни малейшего осуждения в адрес веселого проказника; они до такой степени обожали Панурга, что стали звать его именем одного из наших знакомых, но не бабника, как это можно предположить, а юного тихоню, наивного девственника, который боялся, как бы его не увидели голым под душем. В ушах у меня до сих пор звучат их вопли: «Панург, марш под душ! Или мы искупаем тебя в собачьей моче!»

Я слышу их смех над чрезмерной стыдливостью товарища, но в нем звучит и восхищение этой стыдливостью. Они потешаются над нескромными речами Панурга в церкви, но их восхищает также и непреклонность дамы, и наказание собачьей мочой, которым она поплатилась. Кому или чему сочувствовали мои тогдашние друзья? Стыду? Бесстыдству? Панургу? Даме? Псам, получившим завидную возможность помочиться на красавицу?

Вот он, юмор, божественный проблеск, озаряющий мир со всей его моральной двусмысленностью и человека со всей его неспособностью судить других, юмор, опьянение относительностью всего человеческого, странное наслаждение, порожденное уверенностью в том, что нельзя быть уверенным ни в чем.

Но юмор — вспомним Октавио Паса — это еще и «великое изобретение современного духа». Он существовал не всегда и не будет существовать вечно.

С тоской на сердце я думаю о том дне, когда Панург перестанет быть смешным.

Перевод с французского
Ю. СТЕФАНОВА

ПИСАТЕЛИ МИРА О РУССКОЙ ПРОЗЕ СОВЕТСКИХ ЛЕТ

(Составление и послесловие М. ЛАНДОРА)

АРТУР КЁСТЛЕР

СТРЕЛА В НЕБО (1952)

...В 1930 году советский режим был юн; иностранцам было еще нелегко открыть реальность за мифом; а кроме того, притяжение России ощущалось куда сильнее из-за экономического кризиса и угрозы фашизма в Европе. Мягкосердечные либералы, не любившие Маркса и не выносившие насилия, по возвращении из туристических поездок по России начинали сочувствовать «великому советскому эксперименту». Встревоженные промышленники и банкиры признавали, что в конце концов «может что-то в этом и есть». Все, от знатных дам до зубных врачей, входили в комитеты различных «Обществ в поддержку культурных связей с СССР». А незабываемые русские фильмы той поры с восторгом принимали критики и зрители, независимо от их политических взглядов.

Когда я вспоминаю такие ленты, как «Буря над Азией» или «Броненосец «Потемкин», я и сейчас думаю, что они были среди сильнейших испытанных мною потрясений. Несколько в меньшей мере это можно сказать и о спектаклях Таирова и Мейерхольда, чьи театры гастролировали в Европе, и о книгах новой советской прозы — «Воре» Леонова, «Тихом Доне» Шолохова, «Железном потоке» Серафимовича и рассказах Исаака Бабеля о гражданской войне. Не знаю, да и не хочу знать, как бы я воспринял все эти вещи сегодня; в ту пору казалось, словно Советская Россия готова создать свежую и сияющую культуру, которая в свое время — вероятно, в конце второй пятилетки — достигнет великолепия Ренессанса и Золотого века Греции.

Перевод с английского М. ЛАНДОРА

ФРАНСУА МОРИАК

В ОЖИДАНИИ РУССКОГО ПРУСТА (1934)

Я был удручен, прочитав в «Эко де Пари» ответ моего дорогого собрата и друга Таро на выпады Карла Радека против буржуазной литературы. Написав простую фразу: «Пруст часто с неистовой страстью терпеливо и мелочно описывал совершенно пустую светскую публику, занятую своими похождениями, столь же пустыми, как она сама, и не заслуживающими того, чтобы их запечатлели на бумаге...» — да, простой этой фразой Таро уступает противнику все и во многом ослабляет свои, столь существенные, возражения, которые адресует Радеку в других местах.

Большевики возрождают вечное смешение моральной и социальной ценности людей и того человеческого интереса, который они представляют для романиста. Напоминание об этом интересе прежде шло к нам от здравого смысла, и все же совсем не плохо, что благодаря большевизму некая упрощенность в понимании этой проблемы ныне равномерно установилась у правых и левых, у Радека и аббата Бетлема.

Существует снобизм наоборот, который обязывает нас отрицать всякий интерес к человеку, стоящему *выше* определенного социального уровня. Однако всякий человек в силу того лишь, что он существует на земле, что он дышит, страдает, любит, ненавидит,— будь то под лепными потолками особняка Германтов, в комнате кокотки Одетты Сван, на кухне семьи Гранде или в бедном доме Ионвиля, где чахнет Эмма Бовари,— способен побудить к созданию шедевра.

Как грустно жить в эпоху, когда надо ежедневно напоминать эту элементарную истину!..

О, мы слишком хорошо понимаем, почему у Гоголя, Толстого, Тургенева, Достоевского не оказалось ни одного наследника в стране, которая прежде стояла во главе европейской литературы. Но если когда-либо этот наследник родится, если какое-либо зерно русского гения сумеет прорасти в стороне от советских оранжерей, если ему удастся развиться, дать цветы и плоды, это будет не то, что воображает Радек.

Бальзак, Пруст узрели человеческую суть сквозь общество своей эпохи. Всякое социальное государство, даже пролетарское, порождает некое общество. Общество, которое ныне строится в республике Советов, нам неизвестно. *До тех пор, пока оно не даст миру великого романиста, мы не будем его знать.* Ибо надежно лишь свидетельство романистов. Все путешественники нас разочаровали: они ничего не увидели, вернее, они только видели, они нам сообщают лишь видимость, они ничего не узнали из того, что таится внутри.

Человека нельзя пересоздать. Политичес-

кая и социальная революция изменяет человека, но не пересоздает его. Я заранее приветствую этого неведомого Пруста; он, возможно, уже сейчас, в каком-нибудь далеком русском городе, исследует изнутри это человеческое общество, о котором мы ничего не знаем, кроме того, что оно жестоко страдает. Для этого еще безымянного Пруста все интересно, кроме официального и условного. Для него нет ничего слишком низменного, никакой человек не кажется ему пошлым, всякое событие достойно описания постольку, поскольку несет в себе открытие, он втайне собирает в закрома обильный урожай того, что презирает Радек, и придет день, когда он вернет Советской России то, что Советская Россия невольно ему предоставила. Он покажет миру ее истинное лицо...

Перевод с французского Е. ЛЫСЕНКО

ОЛДОС ХАКСЛИ

ЛУЧШИЕ РАССКАЗЫ ГОРЬКОГО
Из предисловия к сборнику (1939)

С автором, читанным в переводе, у нас нет непосредственного знакомства — судить о нем приходится путем умозаключения...

Какое суждение можем мы вынести по переводам сочинений Горького о природе его искусства? Наиболее существенная черта, которую, кажется нам, можно выделить, это то, что Горький был писателем, полагавшимся для достижения нужного ему эффекта на качество словесной ткани произведения, по крайней мере, не меньше, чем на его композицию...

Некоторые из самых основных его идей, по-видимому, выражены приемом варьирования словесной ткани его произведений. Например, идея, что за видимым убожеством и нищетой, и жестокостью человеческой жизни — и вопреки им — существует некая скрытая действительность; она могла бы проявиться, если бы люди потрудились поискать ее, полную красоты и добра,— эта идея почти везде выражена средствами нюансировки словесной ткани произведения. Она не утверждается, но внушается расположением слов и предложений, в которых речь идет о других вещах. Прием, чаще всего используемый Горьким для передачи этой мысли,— внезапная, без всякого перехода, модуляция от самой грубой разговорной речи к языку лирически насыщенному и возвышенному...

Горький не удовлетворяется намеками на существование красоты, скрытой в убожестве, и потаенного добра, присутствующего в зле и тупости будней. В своих беллетристических произведениях он также старается изобразить людей добродетельных. В «Отшельнике», например, дан тонко исполненный портрет доброго человека, и в других его произведениях можно найти немало образов подобного рода.

Положительные образы у Горького интересны не только сами по себе, но также потому, что они очень отчетливо иллюстрируют трудности, которые всегда ждут одаренных воображением писателей при изображении добра...

Перевод с английского Е. ЛЫСЕНКО

ДЖОРДЖО БАССАНИ

ТРИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯ (1946)

В «Зависти» Юрия Олеши мы видим всю сумбурность и трудную неоднозначность значительных произведений. Во всех смыслах книга эта невероятно русская. Проблематика ее изложена многословно и лихорадочно, ее атмосфера удушливо знойная и грозовая, ее города овеваемы самыми радикальными ветрами, персонажи там действуют как бы в пустоте,— все это напоминает Достоевского. Конфликт между старым и новым миром — «brave new world» Хаксли,— между индивидуумом и коллективом, между фантазией и машиной, тот же конфликт, что привел к самоубийству столь многих из отчаявшихся художников, требует к концу, для своего разрешения, некоего акта веры, мистического заклания жертвы, оставляющего нас, читателей, оглушенными и разочарованными, как после совершенного над нами насилия. Приятие мысли об абсолютном превосходстве («мы знаем, что существуют только два мира: старый и новый») возбуждает в душе Олеши бурю страдания, воздействию которой подвергались — да будет мне позволено рискованное сравнение — художники, не столько принявшие, сколько претерпевшие Контрреформацию. Только это страдание может служить оправданием, пусть формальным и поверхностным, творческого кризиса. Олеша искал отдушину в некоем экспрессионистском варварстве, полном решимости не останавливаться ни перед какой дерзостью, решимости скомпрометировать ломкой традиционных структур самые основы повествования.

Что до двух других, Н. Тихонова и А. Яковлева, не столько «поэтов», сколько «художников» (то есть литераторов), то они, хотя и обратились к школе более гармоничной традиции, но не стали от этого менее отчаявшимися, чем Олеша. Прекрасный рассказ Тихонова «Вечный транзит» напоминает Конрада, напоминает великолепные фанфары славы и смерти, которые звучат всегда — от Шекспира и позже, до Элиота и Хемингуэя — на лучших страницах англосаксонской литературы. Впрочем, это, быть может, лишь одна из миссий России — в обмен на сырьевые материалы возвращать, время от времени, старому Западу некоторые из самых несомненных достижений европейской цивилизации? Культурные связи между Байроном и Пушкиным в начале прошлого века обогатили Европу героическим образом юной Татьяны.

«В четыре часа утра» А. Яковлева, рассказ, ярко переведенный Умберто Барбаро, напротив, делает откровенную попытку (рассказ появился в 1925 году, в разгар нэпа) затронуть скептические, сумеречные струны Чехова, воссоздать музыку его унылого моросящего дождя.

Перевод с итальянского Е. ЛЫСЕНКО

ЭНГУС УИЛСОН

СТРАСТЬ И ИРОНИЯ (1957)

В содержательном и остром предисловии к этому собранию новелл Бабеля м-р Триллинг говорит о сильном впечатлении, которое на него произвел более ранний перевод «Конармии», вышедший в 1929 году. И я тоже живо помню, как подействовала на меня эта книга,— прочел я ее годом позже. Семнадцати лет я был особенно ненасытным читателем. И в ту пору, думаю, взялся за «Конармию», привлеченный ее «полной откровенностью». Это выражение было в ходу у издателей и критиков — книга обещала те же потрясения, что и, скажем, роман Ремарка «На Западном фронте без перемен».

Но по каким бы сомнительным причинам я ни начал читать ее в юности, присущая книге мощь скоро заставила о них забыть. «Конармия» была из тех произведений прозы, что наиболее отчетливо установили для меня неоднозначность человеческих эмоций. Бабель, как я понял, находил красоту и юмор в насилии, даже в жестокости; и в то же время это писатель большой мягкости — не только сострадания и жалости, но и нежности и любви. И больше того: я понял, что для Бабеля эти противоположные эмоции сливались воедино. Ту же неоднозначность мне предстояло снова обнаружить порою у Лоуренса — и у Хемингуэя; но нигде, кажется, я уже не ощутил, что она выражена столь же удовлетворительно и полно, как в «Конармии».

Перечитывая эти рассказы в новом издании — и знакомясь там с другими, до того не переводившимися вещами Бабеля,— я получаю не меньшее впечатление. Чего я не воспринимал в том возрасте — это совершенства его техники, с которым он добивается своих эффектов. На Бабеля глубоко повлиял Мопассан. Черный романтизм, замаскированный под натурализм, лирическое описание места действия, контрастирующее с грубой жизненностью и нелитературностью происшествий, во многих отношениях придают этим рассказам, в основном 20-х годов, старомодный отпечаток XIX века. Однако, если даже не говорить об исключительной природе их содержания, рассказы Бабеля — нечто куда большее, чем подражание Мопассану, и по настроению, и по стилю, созданному в удивительном соответствии с настроением. Проза его описаний и диалогов — живая и богатая деталями, но она легко, почти незаметно, переходит в изречения — сгущенные, лаконичные, в манере «листовки». Повествователь, со своей иронией и состраданием, стоит в стороне, но само повествование такой силы, что ясно, до чего задеты его чувства.

Перевод с английского М. ЛАНДОРА

ЭЛИО ВИТТОРИНИ

ИЗ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «КУЭСТО Э АЛЬТРО» ОБ «ОТТЕПЕЛИ» (1962)

...Я не склонен усматривать в советской литературной «оттепели» тенденцию «возврата». Если все писатели «оттепели» говорят о Маяковском и о Блоке и, пожалуй, о Есенине, они это делают так же, как хрущевцы — в отношении их политической и идеологической линии — говорят о возврате к Ленину; порвать с позорным упадком отцов, вероятно, легче, ссылаясь на порядочность дедов. Никто, однако, не говорит, например, об Исааке Бабеле, хотя он — самый великий прозаик ленинского периода и единственный русский писатель, сказавший в те годы несколько больше того, что уже было сказано перед 1917 годом. Блок, Есенин и другие (Маяковский в какой-то мере стоит особняком как некий предшественник Брехта) всего лишь повторяли — в применении к темам победоносной революции — европейский литературный опыт, уже проявивший себя понемногу везде (и везде с одинаковым пылом и одинаковой абстрактностью), а также требования, предъявляемые революцией. Бабель, напротив, видит революцию не как исполнение лирической мечты (которое, уже по одной этой причине, следует только воспевать, только прославлять); он видит ее как реальность борьбы, явленной ему внешним миром в момент схватки старого и нового, и в изображение революции он вложил огромную познавательную силу и яркость, благодаря чему сумел на несколько лет предвосхитить — уж не говоря об эпических чертах и о скупой простоте живописного отображения — позицию, получившую впоследствии мировую славу в произведениях Хемингуэя. Ныне в России много читают Хемингуэя и восхищаются тем его достоинством, которое прежде всего характерно для Бабеля,— Бабель же там остается в забвении...

Перевод с итальянского Е. ЛЫСЕНКО

ДЖОН ДОС ПАССОС

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ПАРИС РЕВЬЮ» (1968)

...Некоторые русские могли бы оказаться среди наших лучших союзников: ведь на деле они хотят во многом того же, что и мы. Но

именно эти люди беспомощны при бюрократическом порядке вещей. По-моему, это хорошо видно на примере Пастернака и его любопытной книги «Доктор Живаго». В большой мере она представлялась голосом из прошлого, словно ожило что-то тургеневское. Книга очень привлекла меня, она показала ту сторону русского народа, которой я глубоко сочувствовал. Она показала, что эта сторона русского духа, этот гуманизм XIX века не перестали существовать. Конечно, Пастернак был из старшего поколения. Все же до тех пор, пока людей учат грамоте и позволяют им читать русскую литературу XIX века, будут появляться новые Пастернаки.

Перевод с английского М. ЛАНДОРА

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

РОМАН СЕГОДНЯ (1967)

Два «больших» европейских романа, с большим интервалом, как бы при замедленной съемке, появившиеся после войны: «Доктор Фаустус» Томаса Манна и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака,— запечатлели соответственно неспособность Германии и России противостоять саморазрушительному порыву, возникшему в момент исторического кризиса; оба романа — произведения большого объема и приближаются к традиционному пониманию величия, однако они столько же вопль отчаяния, сколько ликующий возглас приятия мира. Возможно, времена ныне уже неблагоприятны для создания шедевров, которые охватили бы и возвеличили жизнь как таковую.

Перевод с английского Е. ЛЫСЕНКО

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

О ПАСТЕРНАКЕ ТРЕЗВО (1970)

...Пастернак ускользал от любых категорий, «смысл» его стихов приводил на ум ящериц и мотыльков — кто взялся бы, пользуясь гегелевскими терминами, пришпилить подобные явления? Он не срывал плоды с Древа Разума Ему было достаточно Древа Жизни. На аргументы он отвечал своей священной пляской.

Мы можем согласиться, что в данных условиях это была единственно возможная победа. Но если мы признаем, что эпохи, когда поэзию увечат, когда мысль под запретом и поэзия сведена к образности и музыкальности,— это не самые здоровые эпохи, тогда победа Пастернака предстает Пирровой победой. Если поэт может сохранить свою свободу, только слывя безобидным шутом, *юродивым*, святым, ибо лишен разума, это значит, что его общество поражено недугом. Пастернак заметил, что его поставили в положение Гамлета. Как существо священное, он был защищен от гнева властелина, и поневоле он разыгрывал карту своего дара свыше. Но как мог он справиться со своим негодованием при виде преступлений, совершаемых над миллионами людей, как мог он справиться со своей любовью к страдающей России? Вот в чем был вопрос...

...«Доктор Живаго» — книга христианская, однако в ней нет и следа той полемики с антихристианской концепцией человека, которая составляет силу Достоевского. Христианство Пастернака а-теологично. Очень трудно анализировать мировоззрение, стремящееся быть вовсе не мировоззрением, но просто «близостью к жизни», когда оно, по сути, смешивает противоречивые идеи, заимствованные из обильного чтения. Возможно, нам и не следовало бы его анализировать. Пастернак был человеком, зачарованным действительностью, которая для него была полна чудес. Он принимал страдание, ибо истинная суть жизни — это страдание, смерть и рождение заново. И искусство он считал даром Святого Духа.

Однако мы ничего бы не знали о его потаенной вере, если бы не «Доктор Живаго». Его поэзия — даже если не принимать во внимание цензуру — была слишком хрупким инструментом для выражения идей. Дабы совершить свой Гамлетов подвиг, Пастернаку пришлось написать большой роман. Подвигом этим он создал еще один миф о писателе, и мы вправе предположить, что этот миф будет жить в русской литературе подобно другим, уже мифическим событиям: дуэли Пушкина, борьбе Гоголя с дьяволом, уходу Толстого из Ясной Поляны.

Перевод с английского Е. ЛЫСЕНКО

Послесловие

Отзывы писателей Запада, относящиеся к «советике», у нас собирали усердно. Но то, как живет наша лучшая проза 20-х и 50-х в современной культуре, мы почти не знаем.

Из парадной коллекции отзывов изымалось все спорное. И оставалось только догадываться о непосредственной реакции видных писателей XX века на созданные здесь книги. Ее и стремится представить эта публикация — вместе с предыдущими («ИЛ», 1987, № 11; 1989, № 6).

Два взгляда, брошенные Артуром Кёстлером и Франсуа Мориаком на советскую литературную сцену 30-х, контрастны.

Молодой Кёстлер был восприимчив к советскому мифу. И многие из тех, кто оценил горькое прозрение «Слепящей тьмы», например, Хемингуэй, ждали 1-й том его мемуаров — «Стрела в небо». Этот «взгляд назад» из 1952-го на пору мирового кризиса был отмечен и достоинством, и беспощадностью к своим иллюзиям. Среди них и упования на Государство рабочих и крестьян, этого небывалого мецената, что обеспечит Золотой век искусства. Тут весьма ощутима стихия иронии. Но в ней никак не растворены восторги автора от кино Пудовкина и театра Мейерхольда, от всей прозы нового опыта, начиная с леоновского «Вора». Сильные художественные впечатления, питавшие тогда фантастику надежд, для мемуариста не подлежали пересмотру.

А Мориак 30-х, в отличие от Кёстлера, да и Андре Жида, за которым внимательно следил, к советскому мифу остался невосприимчив. И полемически резко отозвался на Первый съезд писателей в Москве. С тревогой написал Мориак о дорогой ему русской традиции: у Гоголя нет ныне наследников. Хотя он и не сомневался: «русский Пруст» — новый классик в своей, самой влиятельной в Европе, традиции — появится. И только от него мир узнает о том жестоко страдающем обществе, которое строят в Советской России.

Пусть не все тогда Мориак угадал — в этом журналистском отклике было нечто провидческое. Наследники Гоголя у нас были, хотя сколько лет еще и «Котлован», и «Мастер и Маргарита» оставались в рукописи. Но именно по таким весьма неофициальным вещам и судит теперь мир о нашем обществе, построенном в 30-е.

И ему открывается все полнее, что наша традиция не исчезла и в ранние советские годы.

В 1939-м в Нью-Йорке вышел том рассказов Горького с предисловием Олдоса Хаксли. Он включал и рассказы 20-х — «Отшельника» и «Карамору»; доныне это одно из самых известных изданий Горького на Западе. В период между мировыми войнами художественный авторитет русского прозаика был высок, о чем можно судить и по интервью Томаса Манна берлинской «Фоссише цайтунг» от 13.XI.1929. Получив Нобелевскую премию, тот назвал трех заслуживающих ее кандидатов вне Германии: Голсуорси, Жид, Горький. И в предисловии Хаксли нас сразу останавливает тон разговора о новейшем мастере, под стать старым мастерам.

Оно заставляет взглянуть свежими глазами на мировую литературную судьбу Горького. Здесь отразились две особенности этой судьбы, мимо которых неизменно проходила наша критика. Прежде всего: на Западе к автору «Детства» тяготели писатели-интеллектуалы, чьи поиски характерны для культуры XX века. Манн и Музиль (его отзывы приводились в нашей первой подборке), Унамуно и Кафка, Жид и Хаксли. И потом: в каждой литературе у него были острые толкователи, чье слово доходило до нескольких поколений. Во Франции это Жид и Бернанос, включивший в 1935-м пережитые строки о «Детстве» в свой роман о сельском священнике. А в Англии — Честертон и Хаксли. Оба чутко восприняли горьковскую малую прозу, и многим остались памятны размышления первого о «Бывших людях» и второго — об «Отшельнике».

За рамки своей эпохи вышел и роман Юрия Олеши «Зависть», о котором проницательно написал в 1946-м Джорджо Бассани, сильный писатель итальянского Сопротивления. До мировой славы Олеши было тогда далеко, она пришла в последние десятилетия. Но и в ту пору, после войны, о близком ему мастере, полузабытом на родине и почти неизвестном на Западе, всегда помнил Набоков.

Вот лишь две выдержки из его писем Э. Уилсону. 30.X.1945 Набоков пишет: «Книга Симонова [1] и не лучше и не хуже той макулатуры, что публикуется в России последние 26 лет (исключая всегда Олешу, Пастернака и Ильфа — Петрова)». А 24.VII.1947 он отозвался на мысль Уилсона, высказанную в «Нью-Йоркер», что хорошо бы объединить в одном обзоре русских писателей после 1917-го безотносительно к их месту жительства и политической линии: рядом были названы, между прочим, Троцкий и Шолохов, Набоков и «исчезнувший» Пастернак. Набоков откликнулся так: «Вы забыли Олешу в вашем интересном перечне».

Ныне об Олеше написано на Западе немало. Но на этом фоне и выделяются сжатые строки Бассани: он куда острее чувствовал *внутренний трагизм* «Зависти», чем, например, Эндрю Баррет, автор посвященной ей монографии (Бирмингем, 1981). Олеша для Бассани — это наследник Достоевского, под пером которого возникает гротескный советский мир. Тот, что вызывает оправданную ассоциацию с «дивным новым миром» Хаксли: и тут культ пользы и здоровья, и тут власть внушенной коллективу догмы. Сходной оказывается и участь личности, человека культуры: недаром роман ассоциируется у Бассани с судьбой отчаявшихся советских поэтов, покончивших с собой.

Совсем иная мировая судьба у «Конармии» Бабеля: почти сразу книгу узнали повсеместно, и она дошла до литературных кругов. А в середине 50-х ее переиздали, и куда выше поднялась волна ее популярности. Но и в новых дискуссиях отчетливо звучали голоса писателей, пораженных ею в молодости, порою до дебюта. В прежних подборках это были Карпентьер и Кальвино. В этой — Энгус Уилсон и Витторини.

---

[1] «Дни и ночи»

Подход их к этой книге — для обоих живой в десятилетиях — совершенно разный, но подходы эти дополняют друг друга. Для Уилсона открывшийся ему в рассказах о 1-й Конной *неистовый романтик* неожидан в пору успеха Ремарка, с его беспросветной прозой об окопах первой мировой войны. А для Витторини он — из *пионеров реализма* после этой войны, предвосхитивший Хемингуэя. (Замечание тем более важно, что Витторини переводил и пропагандировал Хемингуэя в фашистской Италии. Но его антитеза: Бабель — и русские поэты после Октября, будто бы лишь следовавшие европейским канонам, куда менее нас убеждает. Из этих канонов далеко выходили, например, и Есенин, и Блок; и человеческая стихия, и концепция «Двенадцати», безусловно, отозвались в «Конармии»).

Куда важнее упрек Витторини дружественным ему писателям нашей «оттепели» — В. Некрасову или А. Вознесенскому. Проходя мимо Бабеля как великого имени в XX веке, они теряют контакт с целым периодом художественных поисков на Западе — между «Облаком в штанах» и «Фиестой». Для Витторини «Конармия» осталась одной из самых приметных вещей европейского авангарда.

Обратимся теперь к «Доктору Живаго»: *за все советские годы ни одна написанная здесь книга не* имела такого широкого резонанса на литературном Западе. В прежних подборках приводились отклики на нее Мориака и Моравиа, Камю и Фланнери О'Коннор: все они относились к поре публикации, к 50-м. Теперь приводятся более поздние: роман поэта прочно вошел в современную культуру — и его не перестали обсуждать.

Имена тех, кто о нем высказывается, достаточно неожиданны: Джон Дос Пассос, Энтони Бёрджесс, Чеслав Милош. У каждого свой взгляд на роман, но сопоставляя эти несхожие взгляды, и можно себе представить его жизнь на Западе сегодня.

Американцы особенно восприимчивы к прозе Пастернака: от Фолкнера, назвавшего его «первоклассным писателем», и до Апдайка. В самой ткани этой прозы, кстати, немало такого, что возвращает к американцам,— будь то сцена страшно анонимной смерти на войне или виньетка о глухонемом крайнем революционере. И в то же время роман возвращает к нашей классике.

На это прежде всего реагировал Дос Пассос: «словно ожило что-то тургеневское». Он прочел книгу как роман о русской интеллигенции — и решил высказаться именно об этом, собеседнику Эйзенштейна и Пудовкина, прожившему у нас шесть месяцев в 1928-м, было что сказать. Он знал культурную Москву перед той порой, когда умрет, почувствовав удушье, доктор Живаго.

Бёрджесс и Милош подходят к «Живаго» как к событию в современной литературе. Оба убеждены: большая проза поэта, которую так легко критиковать за наивность техники, за использование приемов столетней, а то и большей давности, стала современным романом. Бёрджесс обостренно чувствует масштаб «Живаго», сравнивая (и сближая) этот смелый роман национальной самокритики с «Доктором Фаустусом» Т. Манна.

А Милош находит, что задолго до «Живаго» Нобелевскому комитету следовало обратить внимание на славянскую поэзию и ее мастера — Пастернака. Но книга эта остается совершенно необычным художественным явлением. Здесь для Милоша и парадокс: лирический поэт, ушедший в себя, пишет роман. И неизбежность: поэт не может его не написать, совершая «Гамлетов подвиг», восстанавливая русскую традицию.



ТОНИ МОРРИСОН

НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ 1993

«Жила однажды на свете старуха. Слепая, но мудрая». А может быть, старик? Скажем, гуру. Или темнокожий дед, утихомиривающий неугомонную ребятню. Мне приходилось встречать эту или очень похожую историю в различных культурах.

«Жила однажды на свете старуха. Слепая. Мудрая».

В известном мне варианте эта женщина — дочь рабов, американская негритянка — живет в маленьком домике неподалеку от города. Для окружающих ее мудрость несомненна и не имеет себе равных. Среди своих соплеменников она считается и воплощением закона, и воплощением греха. Ее почитают и боятся. Слухи о ней разносятся далеко и достигают города, где мудрость деревенских пророков всегда вызывает насмешку.

Однажды к старухе приходят несколько подростков, которые, похоже, хотят испытать ее провидческий дар, разоблачить обманщицу, каковой они ее считают. Их план прост: они приходят к ней в дом и задают ей вопрос, пользуясь ее отличием от них, отличием, которое они считают глубочайшим изъяном: ее слепотой. Подростки стоят перед ней, и один из них говорит:

— Старуха, у меня в руке птица. Скажи, живая она или мертвая?

Она не отвечает, тогда они повторяют вопрос:

— Живая или мертвая птица у меня в руках?

Она все еще не отвечает. Она слепа и не видит тех, кто пришел к ней, не говоря о том, что они держат в руках. Она не знает, каков их пол, цвет кожи, откуда они родом. Она только знает, что движет ими.

Старуха молчит так долго, что подростки едва сдерживают смех.

Наконец она отвечает, и голос ее звучит мягко, но строго.

— Не знаю,— говорит она.— Не знаю, живая у тебя птица или мертвая, знаю только, что она у тебя в руках. В твоих руках.

Ее ответ можно было понять так: если она мертва, то, значит, вы либо нашли ее такой, либо убили. Если она жива, вы еще можете убить ее. Оставить ей жизнь или нет — решать вам. В любом случае ответственность лежит на вас.

Подростки, кичившиеся своей силой и смеявшиеся над беспомощностью старухи, получили выговор — им было сказано, что они отвечают не только за свою выходку, но и за крошечный комочек жизни, принесенный в жертву их целям. Слепая женщина отвлекла их внимание от притязаний на власть, обратив внимание на средство, с помощью которого эта власть достигается.

Размышление над тем, что (кроме собственного хрупкого тела) могла означать эта птица-в-руке, привлекало меня всегда, но в особенности сейчас, когда я думала о работе, которой я занимаюсь и благодаря которой я оказалась здесь. Мне нравится видеть в этой женщине писателя. Ее беспокоит то, что язык, на котором она думает, данный ей с рождения, вручен, пущен в ход, даже утаен от нее в каких-то недостойных целях. Будучи писателем, она воспринимает язык отчасти как живое существо, над которым она властна, отчасти как систему, но более всего как действие — действие, имеющее последствия. Поэтому обращенный к ней вопрос подростков «живая или мертвая?» вполне осмыслен, ведь она думает о языке как о чем-то подверженном смерти, уничтожению; несомненно находящемся в опасности, от которой его можно спасти лишь усилием воли. Она верит, что если птица в руках ее нежданных гостей мертва, за это отвечают те, на чьем попечении она была. Для нее мертвый язык — это не только тот, на котором больше не говорят

и не пишут, но и разбитый параличом язык, любующийся собственной окостенелостью. Как язык политиков, подвергающий и подвергаемый цензуре, не знающий жалости при исполнении своих полицейских обязанностей, не имеющий иного желания и цели, чем постоянное наркотическое самолюбование, иной мысли, чем о собственной исключительности и превосходстве. Но и умирая, он не перестает активно противодействовать разуму, обманывать совесть, подавлять человеческие возможности. Он не допускает вопросов, не может ни создавать новых идей, ни выносить их, не может придавать форму иным мыслям, служить для изложения других историй, преодолевать неприязненное молчание. Официальный язык выкован, чтобы поощрять невежество и охранять привилегии, он подобен доспеху, отполированному до невыносимого блеска, оболочке, с которой рыцарь давно расстался. Но таков он есть: глупый, хищный, слезливый. Он вызывает благоговение школьников, дает убежище тиранам, пробуждает вымышленные воспоминания об устойчивости, о согласии общества.

Она убеждена, что когда умирает язык — вследствие небрежности, неприменения, пренебрежения, безразличия,— или когда его убивают по указу, в его гибели виновата и сама она, и все, кто пользуется языком, кто создает его. В ее стране дети поотрывали себе языки и используют пули, чтобы преодолеть безгласность, лишенную и лишающую речи, речи, от которой отказались взрослые, речи, которой они не пользуются ни для того, чтобы найти смысл, ни для того, чтобы руководить, ни для того, чтобы высказать любовь. Но она знает, что на убийство собственного языка способны не только дети. К этому склонны инфантильные главы государств и торговцы властью, чья зияющая пустотами речь никак не связана с уцелевшими у них человеческими побуждениями — ведь они говорят только с теми, кто подчиняется им или только для того, чтобы добиться подчинения.

Систематическое разграбление языка можно определить по склонности его носителей забывать о его тонких, сложных, повивальных свойствах во имя угрозы и порабощения. Деспотический язык не только определяет насилие — он сам насилие; не только определяет границы знания, но ограничивает знание. Будь это темный государственный язык, или псевдоязык безмозглой медиа, или высокомерный, но окостеневший академический язык, или продающийся вразнос язык науки; будь это тлетворный язык закона-лишенного-нравственности или язык, предназначенный для отчуждения национальных меньшинств, прячущий под литературной наглостью расистскую суть,— его следует отбросить, выхолостить, разоблачить. Это язык-кровопийца, хорошо защищенный, прячущий под покровами респектабельности и патриотизма свои фашистские сапоги, непрерывно опускающийся к самым нижним пределам, к пучине разума. Сексистский язык, расистский язык, теистский язык — вот типичные языки власти, они не могут позволить и не позволяют появиться новому знанию, они препятствуют обмену идеями.

Старуха полностью сознает, что ни корыстолюбца-интеллектуала, ни алчного диктатора, ни продажного политика или демагога, ни обманщика-журналиста не убедят ее размышления. Существует и будет существовать язык воспламеняющий, способный вооружить граждан, чтобы они убивали друг друга на площадях и в зданиях суда, в почтовых отделениях, в спальнях, на аллеях и бульварах; язык взволнованный и возвеличивающий, но не говорящий ни слова о горечи и опустошении, вызванных ненужной гибелью людей. Существует и будет существовать далее уклончивый язык, одобряющий насилие, пытки, убийство. Существует и будет существовать далее обольстительный язык-мутант, предназначенный для того, чтобы душить женщин, забивая им горло, как гусиным паштетом, их собственными непроизносимыми, переходящими все границы словами; он будет скорее языком надзора, маскирующегося под исследование; языком политики и истории, пытающихся умолчать о страданиях миллионов; языком, заставляющим трепетать разочарованного, а ограбленного броситься на соседей; высокомерный псевдоэмпирический язык, ловко запирающий творческую личность в клетку неполноценности и отчаяния.

Однако, скрытое под красноречием, романтическим ореолом, учеными ассоциациями, волнующее или соблазнительное, сердце такого языка ослабевает или, возможно, не бьется совсем — если птица уже мертва.

Она думала о том, чем могла бы быть история любой дисциплины, если бы от нее не требовалось, чтобы она тратила жизнь и время — как предписывают рационализация и господствующие представления — на фатальные рассуждения об исключительности, перекрывающие доступ к знанию как для исключающего, так и для исключения.

То, что Вавилонская башня не была воздвигнута, принято считать несчастьем. Распри — или тяжесть многих языков — помешали возвести ее. Единый язык мог бы помочь строительству, и небеса стали бы досягаемы. Чьи небеса? — задает она

вопрос. Какие? Возможно, достижение Рая оказалось бы преждевременным, опрометчивым, если ни у кого не нашлось времени понять другие языки, другие взгляды, другое изложение фактов. Если бы нашлось, воображаемый Рай мог бы обнаружиться у них под ногами. Разумеется, запутанный, требовательный, но Рай, увиденный как жизнь, а не как небеса загробного существования.

Ей бы не хотелось оставить у своих юных визитеров впечатление, что язык должен оставаться живым, просто чтобы существовать. Жизненность языка — в его способности изображать действительную, вымышленную и возможную жизнь тех, кто говорит на нем, читает и пишет. Иногда ему приходится занять место опыта, но не заменить его. Он изгибается дугой, стремясь туда, где может быть смысл. Когда Президент Соединенных Штатов понял, что его страна превратилась в кладбище, он сказал: «Мир не обратит особого внимания на то, что мы здесь говорим. Но он никогда не забудет того, что мы сделали». Его простые слова обладали жизнеутверждающей силой, поскольку не скрывали, что 600 000 человек погибли в катаклизме расовой войны. В этих словах и звучал отказ восславлять, презрение к «подведению итогов», подтверждение «невозможности что-либо добавить или отнять». Это трогает ее как подтверждение, что язык никогда не оправдает жизнь целиком и полностью. И не должен. Язык не может быть связан с рабством, геноцидом, войной. Он не должен высокомерно жаждать этого. Его сила, его счастье — в стремлении к невыразимому.

Великий или убогий, роющийся в книгах, разрушающий, отказывающийся от святости; хохочущий во всю глотку или перешедший в неартикулированный крик, сделавшийся особо отобранным словом или обдуманным молчанием — невредимый язык устремляется к знанию, а не к разрушению. Но кто не знает о существовании литературы, запрещенной из-за того, что она задает вопросы, опозоренной из-за того, что она содержит критику, вымаранной из-за того, что она альтернативна? А сколько людей было возмущено мыслью об уничтожившем себя языке?

Работа со словом возвышенна, думает старуха, ведь она созидательна; она создает смыслы, обеспечивающие наши различия, наши человеческие различия — то, чем жизнь каждого не похожа ни на какую другую.

Мы умираем. Возможно, в этом и есть смысл жизни. Может быть, этим наша жизнь измеряется.

Однажды к старухе пришли и задали вопрос. Кто они, эти подростки? Что они поняли из этой встречи? Что они услышали в ее последней фразе: «Птица в твоих руках»? Слова, захлопывающие дверь или отпирающие засов? Возможно, они услышали следующее: «Это не мое дело. Я старуха, я негритянка, я слепа. Моя мудрость сейчас в том, что я знаю: я не могу помочь вам. Будущее языка принадлежит вам».

Вот они стоят. Допустим, у них в руках ничего нет. Допустим, этот приход был всего лишь уловкой, хитростью, чтобы впервые в жизни о них заговорили, чтобы восприняли их всерьез. Попытка вторгнуться во взрослый мир, в миазмы речей о них и ради них, но никогда не обращенных к ним. Их одолевают неотвязные вопросы, среди которых тот, что они задали: «Живая или мертвая птица у нас в руках?» Возможно, вопрос означал: «Может ли кто-нибудь сказать нам, что такое жизнь? Что такое смерть?» Это вовсе не уловка и не глупость. Прямо поставленный вопрос заслуживает ответа мудрого человека. Старого человека. А если старый и мудрый человек, проживший жизнь и стоящий перед лицом смерти, тоже не может ответить, то кто же даст ответ?

Но она не отвечает; она хранит свою тайну, доброе мнение о самой себе, свои афористичные высказывания, свое несравненное искусство. Она сохраняет дистанцию, увеличивает ее и скрывается в своем одиночестве, в утонченном, привилегированном мире.

Больше она не говорит ни слова. Это глубокое молчание. Глубже слов, произнесенных ею. Тишина заставляет их волноваться, и вот, в раздражении, они заполняют ее наскоро придуманным языком.

— Существуют ли речь, слова,— спрашивают они ее,— которые ты можешь дать нам, чтобы они помогли нам пробиться сквозь dossier ваших неудач? Сквозь ваше воспитание, то, которое вы только что дали нам и которое не воспитание вовсе, потому что мы все время внимательно следим как за тем, что вы сказали, так и за тем, что вы сделали? Через барьер, который вы поставили, отделив благородство от мудрости?

У нас в руках нет птицы, ни живой, ни мертвой. У нас есть только ты и наш важный вопрос. Неужели ты не догадалась, что в руках у нас ничего нет? Разве ты не помнишь собственной юности, когда язык был бессмысленным волшебством? Когда то, что ты говоришь, может не иметь значения. Когда воображение стремилось постичь недоступное? Когда вопросы так мучительны, что весь дрожишь от ярости незнания?

Должно ли наше сознание начать сражение с теми героинями и героями, с кем ты уже сражалась и проиграла, не оставив для наших рук ничего, кроме того, что ты воображаешь в них? Твой ответ хитроумен, но его хитрость запутывает нас и заставляет запутывать тебя. Твой ответ неприличен своим самодовольством. Он похож на телевизионное выступление, лишенное смысла, если в наших руках ничего нет.

Почему ты не подошла, не коснулась нас чуткими пальцами, оставив иронию, оставив нотации до тех пор, пока ты не узнаешь, кто мы. Неужели ты с таким презрением восприняла нашу уловку, наш modus operandi, что не поняла — мы тщетно пытались завладеть твоим вниманием? Мы молоды. Незрелы. Всю свою недолгую жизнь мы только и слышим, что должны нести ответственность. Что это может означать в мире, обернувшемся катастрофой, где, как сказал поэт, «ничто не нужно объяснять, поскольку поднято забрало». То, что мы унаследовали, оскорбительно. Ты хочешь, чтобы у нас, как у тебя, были старые, пустые глаза, которым доступно лишь жестокое и банальное? Ты думаешь, мы так глупы, чтобы позволить снова и снова обманывать себя видимостью государственности? Как ты смеешь говорить нам о долге, когда мы глубоко отравлены вашим прошлым?

Ты опошляешь нас и опошляешь птицу, которой в наших руках нет. Неужели не существует контекста для наших жизней? Не существует песен, прозы, стихов, полных жизненных соков, не существует истории, основанной на опыте, приобретенном вами, истории, которая могла бы помочь нам стать сильными? Ты взрослая. Ты стара и мудра. Не думай о том, чтобы спасти положение. Подумай о наших судьбах и поведай нам о своем собственном мире. Напиши рассказ. Повесть, которая коренным образом изменит все, которая создаст нас в то самое время, как будет создаваться. Мы не осудим тебя, если ты не сумеешь воплотить все свои стремления; если любовь так воспламенит твои слова, что они займутся пламенем, не оставив ничего, кроме ожогов. Или, если твои слова, искусные, как руки хирурга, наложат швы на кровоточащие раны. Мы знаем, что ты не сумеешь сделать этого должным образом — раз навсегда. Одной страсти недостаточно. Мастерства тоже. Но попробуй. Ради нашего и твоего спасения оставь свое имя на улице, расскажи нам о том, чем был для тебя мир с его светлыми и темными сторонами. Не говори нам, во что верить, чего бояться. Покажи нам просторные одежды веры и стежок на сорочке новорожденного страха. Ты, старуха, благословенная в своей слепоте, умеешь говорить с нами на языке, которым говорит только язык, дающий возможность видеть без изображений. Только язык защищает нас от ужаса безымянного. Только язык — это созерцание.

Расскажи нам, что значит быть женщиной, чтобы мы смогли понять, что значит быть мужчиной. Каково там, за гранью. Что значит оказаться здесь бездомным. Оторванным от того, кого знаешь. Что такое жить на окраине города, который не выносит твоего присутствия.

Расскажи нам о кораблях, отплывших от берега на Пасху, о коробочке семян в поле. Расскажи о фургоне, переполненном рабами, о том, как нежно звучит их пение, а дыхание легче падающих снежинок. Как они догадываются, ощущая плечо соседа, что следующая остановка будет последней. Как с руками, молитвенно прижатыми к чреву, они думают о жаре, о солнце. Подняв кверху лица, как будто для того, чтобы их забрали. Повернувшись, как будто для того, чтобы их забрали. Они останавливаются у постоялого двора. Надсмотрщик и его помощник входят в дверь, прихватив фонарь, оставив рабов петь в темноте. От лошадиной мочи в снегу между копытами поднимается пар, а ее журчание вызывает у замерзших рабов зависть.

Дверь отворяется: из освещенного проема выходят парень и девушка. Они взбираются в фургон. Через три года парень обзаведется ружьем, но сейчас у него в руках фонарь и кувшин теплого сидра. Девушка раздает хлеб и куски мяса, и каждый, кому она дает еду, получает в придачу ее взгляд. Одну порцию каждому мужчине, две — женщине. И взгляд. Они смотрят в ответ. Следующая остановка будет их последней. Но не эта. Эта их согрела.

Когда подростки кончают говорить, снова наступает молчание, наконец женщина прерывает его.

— В конце концов,— говорит она,— теперь я вам верю. Я верю, что у вас в руках нет птицы, потому что вы поистине поймали ее. Смотрите. Как красиво получилось то, что мы с вами сделали — вместе.

Перевод с английского В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ

Трибуна переводчика

В. ГОЛЫШЕВ, В. ХАРИТОНОВ

ПРИЗРАЧНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО

К 90-летию со дня рождения М. Ф. ЛОРИЕ

Поскольку перевод — отчасти искусство мимикрии, и перевод тем лучше, чем призрачнее его посредничество, о нем всегда легче высказаться в отрицательном смысле, чем в положительном. Сетования переводчиков на то, что «о них вспоминают лишь тогда, когда хотят поругать», и справедливы и безосновательны: об идеальном переводе можно было бы либо сказать общие слова, либо поместить рядом оба текста.

Мария Федоровна Лорие больше полувека переводила англоязычную прозу и представляет собой как раз тот случай, о котором высказаться особенно трудно. Можно отметить, что авторитет ее среди профессионалов всегда был необычайно высок. Мы знали переводчиков, вероятно, более популярных у читающей публики, хотя и не превосходивших ее талантом. Объясняется это ее сдержанностью, скромностью и тем, что она не переводила шлягеров.

Работала Лорие относительно медленно, потому что не была сторонницей спонтанного подхода, и обживание близкой к книге среды, как литературной, так и фактологической, занимало в той или иной форме много времени.

«Когда переводишь, например, Фицджеральда,— заметила она как-то в беседе с авторами [1],— надо представлять себе разницу в психике жителей северных и южных штатов. Не только в психике, но в укладе жизни и в истории. Иначе обязательно получится ошибка, где-нибудь да проскользнет. Если это промышленный центр, надо знать что-то из истории промышленного развития. Не говоря о том, что в книге может идти речь о какой-то специальности, которую ты должен изучить или позвать кого-то на помощь. У одного в книге ботаник, у другого шахтеры, и тоже надо знать, как что называется или называлось — ведь и терминология меняется со временем».

Ее идеалом было полное филологическое усвоение книги: переводчик должен быть в состоянии и написать статью об авторе или книге, и снабдить ее исчерпывающим комментарием. Это говорит об обостренном сознании ответственности за интерпретацию, которая есть первородный грех реального перевода.

Отношение Лорие к оригиналу было резко избирательным, и определив для себя свой диапазон, она старалась быть верной ему, что требует от профессионала иногда выдержки, а иногда простого терпения.

Много времени, пожалуй, больше, чем кто-либо из переводчиков такого класса, она уделяла теневой работе — редактуре и занятиям с менее опытными коллегами в семинарах. Это обстоятельство заслуживает отдельного разговора, мы же отметим только, что оно находится в связи с очень четким осознанием себя как звена — звена не только межъязыкового, но звена в преемственном развитии культуры. Если бы переводчиков можно было разделить на традиционалистов и модернистов, то Лорие надо было бы отнести к первым. Любая современность хочет рассматривать себя как нечто более исключительное, чем есть на самом деле, и нашему времени с его экстенсивным развитием цивилизации амнезия особенно опасна.

Среди переводов Лорие мы не найдем интеллектуальных боевиков, подержанных — то есть самых привлекательных — новаций, а также захватывающих производственных романов; ее интересы были сосредоточены в русле традиции, но традиции живой — поэтому мы не увидим среди ее работ и тех всемирных памятников, которые уже давно вошли в состав наших клеток, но в своем самостоятельном виде сильно покрыты музейной пылью. Книги, которые перевела Лорие, находятся в повседневном культурном обиходе: Ч. Диккенс, У. М. Теккерей, О. Уайльд, Дж. Б. Шоу, Дж. Голсуорси... Жизнь не раз сталкивала ее с американской литературой (рассказы Т. Вулфа, Э. Хемингуэя, Дж. Лондона, Г. Мелвилла, роман Фицджеральда, автобиография Б. Франклина), но наиболее стойкие симпатии ее отданы английской литературе — Ш. О'Кейси, С. Моэм, И. Во, Пол Скотт...

Диккенс для перевода, безусловно, один из труднейших авторов. Писатель глубоко национальный, ярчайшая творческая личность («Неподражаемый»!) — как он может удовлетворительно чувствовать себя в чужой языковой культурной среде? Драматическая судьба «русского» Диккенса не исключение — в других языках дело обстоит не лучше. От Диккенса исходит заражающей силы эманация творчества, артистизма, Диккенс — само излишество, крайность, и поэтому в переводчике (даже помимо его воли) пробуждается творец-соперник. Старые переводы И. Введенского, грешащие дикой отсебятиной, не только простительны как начальный этап освоения Диккенса в России, но и показательны как симптом того «сепсиса», от которого не застрахован ни один пристрастный (а беспристрастных не бывает) интерпретатор Диккенса. Как раз больший вред нанесли великому классику буквалисты. Когда они наложили на него свои «объективные» принципы,

[1] Из многих бесед одну или две удалось записать на пленку.

этот самый живой писатель заговорил коснеющим языком. И ранний Диккенс по сей день остался terra incognita. Зато во всем блеске предстал Диккенс зрелый, вовремя спасенный переводчиками кашкинской школы,— В. Топер, О. Холмской и др. М. Лорие принадлежит перевод романа «Большие надежды». Известный английский романист и литературовед Энгус Уилсон так писал об этом романе: «Большие надежды» получились самым цельным из всех произведений Диккенса, ясным по форме, с сюжетом, согласующим глубину мысли с занимательной простотой изложения...» Радуясь раскованной легкости, в особенно удачных местах хочешь, чтобы было еще «лучше», еще больше «по Диккенсу». Но посмотрите в оригинале: как сдерживает себя Диккенс! Он «лаконичен» в этом романе, безудержную импровизацию обуздал благоразумный расчет. Ни одна важная черта или подробность не теряется и не забывается, и переводчица внимательно «протягивает» художественную деталь. В тексте «все есть», и все сохранилось: косвенно это подтверждает, пожалуй, самый краткий во всем собрании сочинений Диккенса комментарий к роману. А главное, в романе несомненная диккенсовская атмосфера. Например, интерьеры: вещи не только называются по их прямому утилитарному назначению, но еще окутаны флером своего, сокровенного существования, вступают в таинственные отношения между собой. Здесь мало, по цеховой терминологии, взять слово на ощупь, на вкус и на запах — здесь надо обладать тем редчайшим зрением, которое позволяет различить лучистый ореол, облекающий слово, когда, сохраняя неделимость понятийного ядра, оно «по краям» трепещет, принимает иные отзвуки, обрастает ассоциациями. Порукой успеха служит то, что для Лорие самодовлеющего слова не существует — слово имеет смысл в контексте предложения, главы, книги и, если угодно, всего творчества писателя. (В случае с Диккенсом подобные «слова» давно внесены в рубрику его знаменитых «лейтмотивов».) Отменный знаток русской литературы (и, конечно, Гоголя и Достоевского, которых здесь к месту вспомнить), Лорие мастерски передает одухотворенность материального мира у Диккенса.

Русская литература — цель и средство ее работы. «Занимаясь переводом, я по-новому стала читать свою, родную литературу... Это пришло тогда, когда пришло сознание, что мы работаем в родной литературе». Роман «Большие надежды» переведен отличным русским языком. Это современный, живой, но и, разумеется, слегка архаизированный язык. Вообще говоря, переводя классику, современный переводчик не может натуралистически копировать язык, примерно соответствующий эпохе оригинала. А впечатление, которое производит перевод, должно равняться на то, как его воспринимали первые читатели. И приходится конструировать некий стиль «ретро», внятный и чуть-чуть диковинный для сегодняшнего уха. Переводя Диккенса и Теккерея, Лорие читала русскую литературу 19 века — чтобы «пропитаться языком, вспомнить массу возможностей русского языка»: «Когда я работала над 19 веком,— над Теккереем, в основном,— я массу перечитала нашей литературы 19 века,— причем не только первый ряд, но и некоторые вещи второго ряда, скажем, Писемского и Вельтмана, Одоевского, Даля, Павлова... Массу выписывала по дороге — такого, что, казалось, может пригодиться, что забылось, но не устарело, и можно дать, и из языка не ушло — причем не только слова, а какие-то повороты и словосочетания. Потом оказалось, что из всего этого, из всех записей, непосредственно взять и употребить в своем переводе пришлось очень немногое».

Только правильно поставив дыхание, можно с такой виртуозностью передать сложнейший синтаксис Диккенса — его громоздкие периоды держат у Лорие почти идеальное равновесие, прочитываются и осмысливаются единым духом. Это тем более победа, что замысловато построенная фраза очень часто у Диккенса (впрочем, и у Теккерея) несет смеховую нагрузку, рассчитана на комический эффект.

Ирония и юмор нашли в Лорие отзывчивого собеседника и в работе над романом Теккерея «Пенденнис»; это первый в советское время перевод романа на русский язык. Выбор его представляется внутренне закономерным — как продолжение работы над «историей молодого человека 19 века». Здесь то же крушение псевдонадежд, примерно та же среда. В выборе среды Лорие вообще была чрезвычайно разборчива — по собственному признанию, она лучше всего слышала интеллигентную речь, хотя, например, простонародье и даже уголовный мир (в «Больших надеждах») изъясняется у нее вполне достоверно. Художественный мир Диккенса и Теккерея близок переводчице, и в этом, пожалуй, главный секрет ее успеха, который до конца не раскроет никакой анализ. Попросту говоря, с этими писателями у Лорие одна группа крови.

Если заслуги переводчика правильнее всего оценивать по наиболее удавшимся, конгениальным работам, то о классе его не меньше могут сказать переводы наименее удобных произведений. В качестве примера возьмем переведенный Лорие рассказ Томаса Вулфа «Только мертвые знают Бруклин».

Перевод этого рассказа на русский заведомо обречен на частичную неудачу. В Москве нет Бруклина и соответственно — сильного бруклинского акцента, который окрашивает речь рассказчика. Акцент передан в написании слов. Сложность задачи усугублялась тем, что рассказчик изъясняется на простонаречии.

«По-английски писатели в первую очередь коверкают произношение,— говорила Лорие,— а соответственно коверкать произношение по-русски — ничего не дает. Потом, сам слог чуть перетянешь — и сразу то ли рязанский, то ли орловский... Просторечие из всех слоев языка наиболее национально. А поэтому чем свободнее с ним обращаешься в пределах русского, тем больше переделываешь англичан в русских, что тоже нельзя. И кроме того, чтобы давать синтаксис более разговорный и менее книжный, кроме этого, кажется, ничего у нас так и не придумано».

Последнее замечание в основном справедливо: о просторечии велись и ведутся многоголосые дискуссии, принципы провозглашаются, и даже убедительно, но работа над ним и поныне требует каждый раз нового подхода. Прибавим, что «Только мертвые знают Бруклин» — первая публикация Вулфа на

русском (1958). Что же получилось у Лорие в столь неблагоприятных обстоятельствах?

Точно выбран словарный слой. Исключен малейший элемент и заокеанской экзотики, и речений, слишком привязанных к русским реалиям. Синтаксис упрощенный, с уменьшенной частотой подчинительных конструкций, деепричастий и причастных оборотов. Инверсии — глагол в конце фразы; в употреблении их — безошибочное чувство меры, так что они и не теряются, и не заваливают текст в общедоступную стилизацию. Это — так сказать, технология, которую мы рассматриваем отдельно лишь в целях упрощения.

Конечно, в этом рассказе автор показывается нам лишь одним боком: мы видим не Вулфа расточительного, а Вулфа-накопителя. Но он не просто внимательно вслушивается в речь горожанина, а проецирует за обыденной и не слишком логичной беседой картину неясную, но тревожащую нас своим хмурым размахом. И переводчица проявляет особую чуткость, улавливая неадекватные реакции участников беседы, не упуская ни одного косноязычного намека и тех типично вулфовских дыр в диалоге, за которыми маячит не только и не столько подстилающий драматургический ход, сколько очертания исполинского людского муравейника и чувство заброшенности. Иными словами, подтекст донесен полностью.

При этом у читателя есть четкое ощущение, что разговаривают здесь не русские, не англичане, а американцы, и американцы городские, в свойственном им ритме. Чем это достигнуто? — понять трудно. Наверное, интуитивным использованием множества ассоциаций, которые есть у русского читателя. Как-никак, для каждого из нас Америка уже открыта.

Таким образом, и здесь мы наблюдаем те же качества Лорие-переводчицы: острое чутье, строгость и замечательную пластичность в обращении с родным языком. И одно новое, порожденное неблагоприятными обстоятельствами: здоровый практицизм в определении главных и второстепенных задач. Однако работа над Вулфом была для Лорие лишь коротким эпизодом.

Бесспорная удача переводов классических произведений английской литературы, казалось бы, должна была обречь Лорие на некий академический статус. Но Лорие легко одолевает вековую дистанцию литературного процесса и органически входит в сегодняшнюю англоязычную прозу. Легко — потому что обогащена опытом литературного развития, органически — потому что литература — это целое, истоки которого питают современность, но и сами питаются ею, чтобы не пересохнуть. Английский роман особенно дорожит традициями. Возьмите любой «пейпербэк», любой современный роман в издании для массового читателя, и вас поразит тон, в котором выдержаны характеристики, кричащие с обложек и суперобложек: «в духе Филдинга», «подобно Свифту» и т. п. Конечно, речь идет не о равновеликих талантах, а всего-навсего об отдаленной жанровой перекличке, и никто не внакладе — ни современный романист, который нисколько не обольщается относительно своего места в традиции, ни тем более классик, с которого лишний раз смели пыль. Таким же здравым, живым подходом к литературе отмечен стиль работы Лорие во всем освоенном ею историко-литературном диапазоне. Некоторых современных авторов, прошедших через руки Лорие, мы уже назвали. Сейчас время назвать Мердок.

«Мердок интересна мне бесконечно разнообразным переплетением человеческих отношений». В 1966—1982 гг. Лорие выпустила в своем переводе четыре романа Мердок — «Под сетью», «Алое и зеленое», «Дикая роза» и «Море, море». Мердок — трудный автор, в каждой книге она разная: другие проблемы, другая психология, другая поэтика. Опознавательный признак ее лежит в глубине: это тот морально-этический пафос, та одержимость в поисках верного самому себе «я», которые делают ее героев вполне современными людьми, не забывающими, однако, что они не первые и не последние решают этот вопрос. Отсюда, нам кажется, некоторая укрупненность героев Мердок в русских переводах: уж коли они вступают в русскую литературу, где «проклятые вопросы» впервые были поставлены свыше ста лет назад, то они вынуждены немного подтянуться. Проза Мердок в переводе Лорие перенимает широкое дыхание русской классической литературы. И оказывается, что это впечатление не навязано ни пристрастиями переводчицы, ни тематически близким материалом («история семьи»): в один год с выходом по-русски «Под сетью» Мердок дает в Англии интервью, где признается в своем всегдашнем преклонении перед Толстым, Достоевским.

Опыт же работы над «Алым и зеленым» интересен еще в одном отношении. Читавшие роман по-русски не преминут отметить, что со страниц книги Дублин встает «как живой». Выслушаем переводчицу: «Я тогда листала книги по Ирландии, по Дублину. Снимков видела массу, даже кое-что попросила мне переснять — чтобы уж действительно видеть. И тогда я увидела, кстати, как неправильно в свое время писали про О'Кейси — что он жил в жалких домишках на окраине Дублина. Ничего похожего — совсем не окраины: это улицы в самом Дублине, в старом Дублине, обветшавшие, запущенные, а когда-то богатые. Потом дома были проданы, не ремонтировались, потом туда набилась беднота — но никакие не окраины... Этот дождь вечный там...» Лорие не только «увидела» Дублин — она еще зябко почувствовала его вечную сырость, особенно сгустившуюся в тревожные предгрозовые дни накануне Ирландского восстания 1916 года.

Среди самых заметных работ Лорие — перевод книги Сомерсета Моэма «Подводя итоги». Теоретически это та проза — понятийная,— которая лучше всего поддается переводу. Но книги переводятся не теорией, а Лорие на деле оптимальным образом использовала все возможности, которые давал ей текст. В оценке этого перевода можно надеяться на несколько большую объективность хотя бы потому, что автор пространно излагает здесь свои стилистические установки, и мы можем судить, насколько отвечает им перевод.

Мало кто из писателей имел бы такое же право, как Моэм, повторить слова его современника Людвига Витгенштейна: «Все то, что вообще может быть мыслимо, должно быть мыслимо ясно. Все то, что может быть

сказано, должно быть ясно сказано». И мало кто был озабочен, как Моэм, написанием именно того, что может быть сказано. «После долгих размышлений я решил, что мне следует стремиться к ясности, простоте и благозвучию. Порядок, в котором перечислены эти качества, отражает степень значения, какое я им придавал». Все эти качества сохранились в переводе в высшей степени. В первую очередь, конечно, потому, что были свойственны самой Лорие, как человеку, пишущему порусски. Может быть, в иной пропорции — да, и ей приходилось иногда их отставлять, потому что профессионал-переводчик, даже самый цельный, в отличие от автора, не может быть полностью верен своим стилистическим предпочтениям.

Здесь, как и в других работах, мы видим у Лорие чрезвычайную чуткость к тончайшим оттенкам мысли, и именно эта чуткость, как ни странно, больше всего затрудняет достижение тех свойств стиля, которых требует автор. Чем точнее пытается переводчик воспроизвести мысль, тем, вообще говоря, больше языковых единиц он должен использовать в родном языке. Ибо, как заметил О. Мандельштам, «любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку». Там, где в английском достаточно существительного, в русском может потребоваться существительное с прилагательным, а то и целым придаточным предложением. Наращивание слов вступает в противоречие и с ясностью, и с энергией выражения. Точность начинает противоречить сама себе, ибо и ясность, и энергия тоже в нее входят. Лорие, которая, почувствовав у себя многословие, считала слова, сравнивая длину оригинала с переводом — при общем либеральном отношении к «10—15% припека»,— удалось найти выход из этого противоречия, не утяжелив слога в прозе, которая по самой своей логичности дает переводчику так мало возможностей для маневра.

Сказать об этом переводе, что текст производит впечатление родившегося в русском языке,— мало, потому что русский язык рождает всякие тексты. Перевод Лорие привлекает редким сочетанием правильности с естественностью и свободой — настолько полно ей удается снять напряжение между мыслью и выражением, сказываемым и сказанным, логикой и живым, радующим русское ухо синтаксисом. Особо надо отметить в этой работе свободное владение словарем. Ей чужд языковой пуризм тех теоретизирующих переводчиков, которые больше всего боялись, что у них поймают лишнее «иностранное» слово — понимая под этим словом европейское и забывая, что многие слова, которыми они пользуются с удовольствием,— азиатские, просто вошедшие в язык раньше и, как правило, более конкретного содержания. «Каурая лошадь» — татарского происхождения, а «момент» — слово не более латинское, чем «минута», которой его предлагали заменить; просто оно вошло в русский обиход всего-навсего век назад. Так что вопрос упирается в то, насколько уместнее в прозе конкретное понятие, чем абстрактное, и на сколько веков или десятилетий одно слово укоренилось в русской речи раньше, чем другое. Надо понимать, что это вопрос не принципа, но вкуса, и, следовательно — по русской поговорке,— не предмет для спора. Если довести такую позицию до абсурда, то от английского, скажем, писателя надо потребовать отказаться от всех слов французского происхождения, как более новых и на круг более абстрактных.

Впрочем, сейчас это мало кого волнует, и язык коммерческих переводных книжек превратился в русско-американское панаше. Жизнь посмеялась не только над бедными пуристами, но и над теми, кто им возражал.

Лорие умеет найти — и находит их в изобилии — точное и веское русское литературное слово, но не будет насиловать текст ему в угоду, и если оно окажется недостаточным по широте или смещенным по значению, предпочтет ему слово заимствованное. Подобным же образом, если окажется, что какое-то бойкое разговорное словцо способно точнее передать мысль, она употребит его без особых колебаний, хотя в отличие от многих, в особенности младших коллег, не питала слабости к жаргону. Тут проявился ее литературный практицизм: каждую конкретную задачу она стремилась решать индивидуально, полагаясь на свой вкус и чувство меры, а не перекладывая свою работу на принципы. Ибо принципы — часто лишь способ экономить умственную энергию.

Повторяем, что практичность ничего общего не имеет с оппортунизмом — и здесь, и в других переводах Лорие не свойственно облегчать себе жизнь, поступаясь содержанием ради русской органичности. Последнее — источник половины переводческих вольностей. В основе другой половины — естественно возникающее у переводчика чувство собственности по отношению к тексту. В скромной дозе оно неизбежно, но, идя дальше, переводчик начинает воображать себя сочинителем и ссылаться на знаменитое изречение, что он (переводчик) должен быть соперником автора,— почему-то упуская из виду, что это изречение принадлежит великому поэту, который мерил по себе. А чаще в результате такого соперничества автор встает со страниц своей книги, вытаскивая из волос солому, с налитыми кровью глазами и туповатым выражением лица. Грубо говоря, надо знать, кому ты соперник, кому — нет. Поэтому, если речь заходит о вольностях в переводе, позволительно перейти с филологических оценок на этические. И тогда, не опасаясь высокопарности, можно сказать, что переводческое смирение — такая же осязаемая черта у Лорие, как строгость.

(Критерии точности и вольности, как известно, в разные времена были разными, и не исключено, что через какое-то время в ходу опять будут вольные переводы. Похоже, что разные обстоятельства, которые здесь неуместно обсуждать, не обещают близкого поворота, но если таковой случится, мы надеемся, что хотя бы корень слова «перевод» будет заменен.)

Теоретики перевода отмечают две болезни переводного стиля: обобщение, обесцвечивание словаря и эмоциональное усиление ударных мест. Первое: слово выбирается с допуском, конкретное заменяется более общим, нейтральным. Информационный элемент стремится возобладать над художественным. Второе: пытаясь компенсировать это, переводчик пережимает в ударных — или удобных — местах. Нечто подобное можно

наблюдать и в строе фраз, например, когда чрезмерное следование синтаксису оригинала перемежается резко национальными эллиптическими ходами. Отчасти это обусловлено объективными обстоятельствами, но в каждом переводе можно найти места, где вина, очевидно, лежит на самом исполнителе. Тут, как нигде, необходим самоконтроль — и как раз благодаря ему, а также высокой разрешающей способности по всей площади текста и нелюбви к внешним эффектам в переводах Лорие стиль в большой степени сохраняет свою первоначальную однородность, консистентность, и то, что пишущие о переводе любят называть находками, не лезет в глаза, а вплавлено в текст. Отсюда — особое впечатление убедительности и достоверности, которое производят ее переводы — в частности, книги Моэма.

Еще одной важной проблемой при переводе этой книги было сохранение тона. Автор говорит о себе, говорит искренне, но нигде не переходит на доверительность. Но говорит он не в воздух и доказывает не теорему, ему важно все время удерживать внимание, а для этого — определенные симпатии читателя. Никакая техника и находчивость здесь не заменят переводчику слуха. И в этом переводе мы видим, выражаясь спортивным языком, безупречное чувство дистанции. (У русского писателя в подобной книге дистанция, наверно, была бы короче — и тем не менее нас нигде не преследует ощущение сухости).

Таким же образом обстоит дело с юмором. Если человек считает, что чувство юмора существует для того, чтобы говорить шутки, ему лучше не переводить английскую литературу. Юмор — это не способ коммуникации, а способ приятия мира, потому что он в первую очередь обращен на себя. (Тягостным остроумием, в частности, омрачен широко известный перевод «Пиквикского клуба».) Лорие была счастливо наделена чувством юмора и отчасти благодаря ему перевод «Больших надежд» стал у нас первым трехмерным переводом Диккенса. Юмор Моэма более закрытый, и Лорие, прекрасно улавливая его, нигде не выжимает из него смех.

И, наконец, последнее, о чем иногда следует говорить раньше всего. Сама по себе языковая одаренность не позволила бы правильно перевести эту книгу, если бы предмет ее был чужд или безразличен переводчику. Выше мы упоминали о том, что Лорие стремилась обживать конкретную среду, готовясь к очередной работе. И, может быть, успех ее в этой книге, заметный даже на фоне ее собственных переводов, в первую очередь предопределен тем, что данная среда (то есть литература и писательство по преимуществу) была давно ею обжита. Ибо Лорие не просто один из самых культурных переводчиков нашего времени, и сказать, что она любила литературу,— почти ничего не сказать. В ее восприятии между жизнью и жизнью в литературе не было четкой грани, и в ее речи слова из жизненного обихода свободно переходили в другой. Вот почему в ее переводах нет внешней оживленности — они живые, ибо замешаны на подлинном энтузиазме. Только, учитывая сказанное выше, это — контролируемый энтузиазм.

Лорие ушла последней из плеяды классиков перевода, которые на практике нашли его разумные принципы и во многом предопределили его дальнейшую жизнь. Она была не только превосходным переводчиком, но и для всего цеха — эталоном честного отношения к профессии.

АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС

Силач со слабинкой

Adolfo Bioy Casares. Un campeón desparejo. «Tusquets»

Местом действия в новой повести восьмидесятилетний Адольфо Бьой Касарес вновь выбрал свой родной город Буэнос-Айрес. Главный герой, как и многие персонажи его произведений,— простой аргентинец, таксист Луис. Он силен телом, чего не скажешь о духе. По натуре Луис — защитник слабых и обиженных, однако сражения донкихотствующего таксиста со злом подчас нелепы. Как и испанский идальго, он тоже Рыцарь Печального Образа: его Дульсинею зовут Валентина. Несколько лет назад она ушла от Луиса из-за его пристрастия к спиртному. Влюбленный таксист грезит ею и ищет ее повсюду.

Городские странствия Луиса в поисках Валентины составляют основу повествования из 26 глав. В череду событий, случившихся всего за неделю, автор привнес элемент фантастики: его герой встречается с капитаном Немо. Знаменитый персонаж Жюля Верна вручает борцу за справедливость чудодейственное снадобье, ибо уверен: такой человек употребит дарованную силу на добрые дела. Эта сцена — дань корифею-фантасту от основоположника аргентинской научной фантастики. Ближе к концу писатель включает в сюжет и детективную историю, в которую попадает Луис. Сам финал остается — в присущей Бьою Касаресу манере — недосказанным, но с намеком, что в развязке не последнюю роль играет все та же Валентина.

МЭВИС ГАЛЛАНТ

Через мост

Mavis Gallant. Across the Bridge. «Douglas Gibson/McClelland and Stewart»

Почему зло существует и откуда оно берется? Эти философские вопросы неизменно звучат в произведениях М.Галлант. Однако в новом сборнике рассказов известная канадская писательница поворачивает излюбленную тему другой стороной и исследует истоки человеческой узколобости. Первые четыре новеллы сборника похожи на главы незаконченной повести. Их персонажи — монреальцы, члены одной семьи. Они близки друг другу не только по крови, но и по духу: в их доме гордятся, например, обеденным столом на 14 персон, родством и связями с теми, чьими именами названы улицы и мосты города. Самооценка этих людей меняется в зависимости от их финансового положения.

Сюжет за сюжетом автор демонстрирует всевозможные проявления человеческой ограниченности: мужчины довольствуются воспоминаниями об убогих увеселениях, а писатели-эмигранты из их числа и вовсе ничего не хотят от жизни; молодые женщины безропотно вступают в брак с родительскими избранниками; юные девы коротают дни как смиренные старушки — без мечты о принце. Герои одной из новелл усыновляют ребенка, не испытывая к нему ни малейшего интереса. На малыша смотрят как на полезную вещь — лекарство для истеричной женщины, которая становится его матерью. Зная об этом, врач (предположительно, отец ребенка) все же помогает устроить усыновление. Словом, обыватели не столь безобидны, как кажется, а грань между пассивной узколобостью и активным злом весьма расплывчата.

ХУАН ГОЙТИСОЛО

Сага о Марксах

Juan Goytisolo. La saga de los Marx. «Mondadori»

Суденышко доставляет на Адриатическое побережье Италии очередную группу беженцев из коммунистической Албании. За их высадкой молча наблюдают Карл Маркс, Женни, три их дочери и пресловутая служанка Ленхен. Время изумляться позади, ибо уже несколько месяцев все семейство следит по телепередачам и сообщениям в печати о крушении системы, основанной на марксистской теории.

С этого эпизода начинает «Сагу о Марксах» испанский писатель Хуан Гойтисоло. Прошлое и настоящее, художественный вымысел и подлинные события, фантазия и документалистика гармонично вплетаются в ткань повествования. Наряду с историческими личностями (Энгельс, Бланки, Нечаев) в книге действуют литературные персонажи, а также сам автор в лице рассказчика и его издатель. Последний, озабоченный тем, что такого рода роман будет труден для читателей, ведет с его создателем весьма забавные переговоры-уговоры. Однако тот продолжает усложнять композицию, включив в нее, например, сюжет об экранизации своего произведения, демонстрации этого фильма по телевидению и теледебатах с участием М.Бакунина.

«Сага о Марксах» — книга не промарксистская и не антимарксистская. В надежде вызвать полемику автор предназначает ее и нынешним марксистам, и бывшим (как он сам), и тем, кто и вовсе не иссушает мозг подобными теориями.

ДОРИС ДЁРРИ

Так я красивая?

Doris Dörrie. Bin ich schön? «Diogenes»

Тридцатидевятилетняя Дорис Дёрри — известный и популярный западногерманский кинорежиссер. Она утвердила себя и как литератор. Для самовыражения в художествен-

ной прозе Д. Дёрри предпочитает малые формы, о чем свидетельствуют два предыдущих сборника ее рассказов — «Любовь, тоска и вся эта чертова дребедень» и «Что вам от меня нужно?» (см. о них «ИЛ», 1988, № 9 и № 1989, № 9).

На сей раз автор поведала 16 трагикомических историй о людских радостях и горестях. Герои одной из новелл, Леопольд и его молодая супруга, пробуют жить не так, как обыватели-соседи, и приглашают в свой дом семью вьетнамских беженцев, потчуют их, дарят теплую одежду. Однако благие намерения спотыкаются о порог культурных различий; через пару дней нижнебаварские доброхоты сдаются. Персонажи другой, любовной, истории знакомятся в группе психотерапии в Италии. Он после недавнего развода тоскует по детям. Она лечит полученное из-за детей нервное расстройство, тоскуя по оставленной карьере инженера-строителя. Когда он приезжает повидаться с ней, его ждет маленький сюрприз...

Шарлотта, героиня еще одного рассказа, также хочет вернуться к работе и потому ищет няню для своей дочки. Кандидатка должна почитать хозяйку, не путаться у нее под ногами, но всегда быть под рукой. Кроме того, она должна быть отменной поварихой, бесстрашной воспитательницей и обладать хорошей кармой. Конкурс выигрывает юная Анита, всего две недели назад перебравшаяся с востока страны. Но ее восточногерманская карма оборачивается неожиданностью...

КЛАУДИО МАГРИС

Граф

Claudio Magris. Il Conde. «Il Melangolo»

В произведениях одного из наиболее заметных итальянских писателей Клаудио Магриса особую роль играет вода. И в предыдущих его книгах («Дунай», «Другое море»), и в повести «Граф» водная стихия выступает как полноправное действующее лицо. События разворачиваются в Западной Европе, точнее, на западноевропейских реках. Молодой рыбак определяется в напарники к человеку по прозвищу «Речной граф» для, как ему кажется, вполне достойного и милосердного дела. Вдвоем они прочесывают устья рек, извлекая тела самоубийц и утопленников.

В поведении Графа последняя забота о мертвых сочетается с сильной неприязнью к живым. Он легко меняет своих бесчисленных и безымянных женщин, способен на злые шутки: например, раскладывает на пляже голых утопленников — «позагорать» и попугать курортников. Граф смеется над мечтой своего молодого напарника о надежной, любящей жене и с помощью обмана женит его на умственно неполноценной девушке. Униженный парень теряет всякую надежду иметь нормальную семью.

Однажды в сети к Графу и рыбаку попадает деревянная сирена — обломок затонувшего корабля. Граф хочет пустить ее на дрова, однако парень отнимает деревянную красавицу и, обнимая ее, ищет в неодушевленном лице черты знакомых живых женщин... Через много лет состарившийся рыбак размышляет под шум дождя о покрывающей, очищающей и умиротворяющей все воде, в которой скоро исчезнет и он сам.

ФРАНСУАЗА МАЛЛЕ-ЖОРИС

Слезы

Françoise Mallet-Joris. Les larmes. «Flammarion»

Сюжет нового романа крупнейшей бельгийской писательницы, члена Гонкуровской академии Ф.Малле-Жорис отчасти изложен в пространном подзаголовке: «Подлинная история восковой фигуры, двух девушек — грустной и веселой, правителя и палача, избавленная от ненужных нравоучений». В основу книги положены реальные события (в частности, реальны главные мужские персонажи — известный разбойник Картуш, регент и палач Сансон). В начале XVIII века возлагались большие надежды на развитие медицины, и среди прочих новшеств получила распространение анатомическая церопластика — художественная лепка из воска, изображавшая человека в разрезе. В коллекции герцога Орлеанского находилась такая восковая фигура молодой женщины, и роман «Слезы» рассказывает о трех вымышленных женских судьбах, связанных с ней.

Для «живой» половины моделью послужила дочь аристократа, красавица Антуанетта, лишенная наследства и оказавшаяся в публичном доме. Для «неживой» — некая Жанетта, служанка, скончавшаяся при родах. А лепила их из воска скульптор-медик Катрин, ученая и художница, попавшая в кабалу к богатому коллекционеру (от ее лица ведется повествование). Судьбы трех женщин переплетаются, в то время как каждая из них вынуждена бороться за существование. Их общее творение — рассеченная надвое восковая фигура — служит многозначным символом: это жизнь и смерть, искусство и наука, чувство и знание, внешнее и внутреннее, красивое и отталкивающее — все то, что, по мнению Ф.Малле-Жорис, с особой силой столкнулось в ту эпоху.

ЮГО МАРСАН

Тело солдата

Hugo Marsan. Le corps du soldat. «Verdier»

Французский прозаик и эссеист Юго Марсан создал сложное повествование, насыщенное сюжетными переплетениями и тонким психологическим анализом. Главный герой романа, пятидесятилетний актер, сидя в захудалой парижской гостинице, излагает на бумаге события своей прошлой жизни.

Много лет назад, во время алжирской войны, судьба свела его с солдатом по имени Жан. Вспоминая о той поре, актер пишет о похожей на фильмы Висконти новогодней вечеринке в казарме: солдаты, переодевшись женщинами, пытаются вернуть себе кусочек гражданской, мирной жизни. Но бурное веселье не избавляет их ни от кошмаров войны, ни от ужасной судьбы каждого в отдельности. Когда Жан погибает — его кто-то зарезал,— главный герой, не веря официальной версии

(«смерть при невыясненных обстоятельствах»), мучается чувством вины и ненависти.

Самый суровый свидетель — память — не дает ему покоя и годы спустя, когда его давний партнер по сцене Морис (они выступают вдвоем) пишет пьесу и осуществляет постановку о приключениях своего коллеги и рядового Жана. Некий Мэтт — темная личность — узнает в персонажах спектакля реальных людей и пытается шантажировать главного героя, причастного, как ему кажется, к гибели Жана. Актеру с трудом удается бежать в Париж из превратившегося в кошмар Хейвенбада («Райского города») — аналога Брюгге или Амстердама, где разворачивается современная часть событий.

АУГУСТО РОА БАСТОС

Прокурор

Augusto Roa Bastos. El fiscal. «Alfaguara»

Вышла в свет долгожданная для читателей и главная для самого автора книга, которая завершает его «Парагвайскую трилогию», начатую романами «Сын человеческий» (1960) и «Я, Верховный» (1974). Ее первоначальный вариант был готов еще в 1989 году; падение режима Стресснера заставило Аугусто Роа Бастоса (ставшего, кстати, в том же году лауреатом премии имени Сервантеса) полностью переработать книгу.

Главный герой романа — парагвайский изгнанник с символическим именем Феликс Мораль. Он живет во Франции, читает лекции по латиноамериканской культуре (сам Роа Бастос преподает литературу в Тулузском университете). Движимый ненавистью к диктатуре, Феликс Мораль намеревается убить «тиранозавра» — так окрестил он диктатора, в образе которого легко угадывается Стресснер. Хроника событий, касающихся этого замысла, положена в основу повествования. Оно представлено в форме письма главного героя к своей возлюбленной, а ее ответное послание составляет эпилог. Подруга Феликса иронизирует над той ролью всеведущего прокурора, которую он взял на себя, так как сомневается в его решительности. Однако для Феликса это — единственное оправдание его жизни, то, что может очистить его доброе имя от клеветы, связанной с эмиграцией.

Трилогия охватывает всю современную историю Парагвая, начиная с XIX века и кончая 1980-ми годами. Страстный протест против абсолютной власти одного человека, объявляющего себя наместником Бога,— стержень и романа «Прокурор», и трилогии в целом, и всего творчества Аугусто Роа Бастоса.

БРЕЙТЕН БРЕЙТЕНБАХ

Возвращение в рай

Brayten Braytenbach. Return to Paradise. «Faber»

Южноафриканский поэт, прозаик и публицист Брейтен Брейтенбах (его стихи печатались в «ИЛ», 1988, № 8) уже много лет живет в эмиграции. Однако всякая поездка на родину дает ему пищу для творчества. Итогом первого недолгого пребывания в ЮАР в 1973 году стала книга «Одно лето в раю», с ироничным названием которой перекликается заглавие его новой публикации, где автор делится впечатлениями о ЮАР, которую он вновь посетил в 1991 году. Хотя официально система апартеида рухнула, от встречи с обновленной страной Б. Брейтенбах испытывает главным образом растерянность и разочарование. Долгожданная революция, на его взгляд, провалилась: слишком много предательств, коррупции, лжи. Лишившись иллюзий, экс-революционер Брейтенбах тем не менее помогает разрабатывать план развития демократических институтов в Южной Африке, который предлагает общественный деятель Ван Зил Слабберт.

Писатель не ограничивается рамками «южноафриканской темы» и, размышляя о судьбах всего континента, приходит к выводу, что Африка умирает. Бесконечные войны, засухи, эпидемии, нищета, хозяйничанье военных, продажность чиновников, молчание интеллектуалов — все это губит одну страну за другой. На таком фоне еще прекраснее кажется изумительная африканская природа, мастерски описанная в книге (Б.Брейтенбах известен и как художник), еще заметнее литературные портреты его друзей-африканцев — поэтов Юса Криге и Яна Рабие, а также прозаика Андре Бринка.

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА

Из Москвы: к истокам объявленного путча

Giulietto Chiesa. Da Mosca: alle origini di un colpo di Stato annunciato. «Laterza»

Для своей пятой книги о России известный итальянский журналист из газеты «Стампа» избрал полемический жанр. Ее первую часть составляет очерк Гавриила Попова «Август 1991 года». Во второй части дает оценку событий последних пяти лет Дж. Кьеза, их очевидец. Важное место в его критическом анализе занимает вопрос о роли творческой интеллигенции.

В 1989 году представители науки и культуры внезапно поднялись на политический олимп. В СССР, а затем и в Восточной Европе писатели, поэты, музыканты, философы сделались политическими лидерами и даже президентами. Между тем в России разочарованные интеллектуалы отошли от непоследовательного архитектора перестройки. Этот шаг итальянский политолог считает крупной тактической ошибкой интеллигенции и возлагает на нее немалую долю вины за последующие потрясения. Впрочем, ускорить реформы безболезненно невозможно, утверждает автор. Нереальна и полная декоммунизация, ибо проводить ее некому: исключая немногих диссидентов и беспартийных, интеллигенции в чистом виде нет, ведь в большинстве своем она — часть номенклатуры, не говоря уже о верхушке, послушной и продажной.

■

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

СЕН-ЖОН ПЕРС (SAINT-JOHN PERSE; псевдоним, наст. имя — Алексис Сен-Леже Леже; 1887—1975) — французский поэт, дипломат; в период немецкой оккупации правительством Петена был лишен французского гражданства и вынужден уехать в США, где прожил до 1957 года. За свое поэтическое творчество Сен-Жон Перс удостоен Большой Национальной премии Франции по литературе (1959) и Нобелевской премии (1960). Автор поэмы «Анабасис» («Anabase», 1924), цикла поэм «Изгнание» («Exil», 1944), поэм «Ветры» («Vents», 1946), «Створы» («Amers», 1957), «Хроника» («Chronique», 1960) «Птицы» («Oiseaux», 1962) и др. Главы из трех поэм — «Анабасис», «Ливни» и «Створы» — напечатаны в «ИЛ» (1989, № 7).
Публикуемая поэма «Снега» из цикла поэм «Изгнание» и фрагменты поэм «Ветры» и «Створы» печатаются по текстам собрания сочинений поэта («Oeuvres completes». Bibliotheque de la Pleiade. Paris, Gallimard. 1972).

МОРДЕХАЙ ЦАНИН (род. в 1906 г. в Польше; жил в Советском Союзе, Японии, Индии, Египте) — израильский писатель, пишет на идиш. Автор романов «На болотистых почвах» (Варшава, 1935), «Артапанус возвращается домой» (Тель-Авив, 1966), «Чужие небеса» (Т.-А., 1972), «Любовь в бурю» (Т.-А., 1972), «Взбунтовавшийся Меджибож» (Т.-А., 1976), «Вынесение приговора» (Т.-А., 1985), сборника новелл «По ту сторону времени» (Т.-А., 1988), книги эссе «Путями еврейской судьбы» (Т.-А., 1967) и др. произведений. Составитель двухтомного словаря иврит-идиш и идиш-иврит. Публикуемые рассказы взяты из книги М. Цанина «По ту сторону времени» (Тель-Авив, изд. «Прогресс», 1993).

СЬЮ ТАУНСЕНД (SUE TOWNSEND; род. в 1946 г.) — английская писательница. Автор нескольких пьес, романа «Тайный дневник Адриана Моула, тринадцати лет и девяти месяцев от роду» («The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13³/₄»), принесшего Сью Таунсенд признание и успех. В «ИЛ» напечатаны фрагменты этого романа и его продолжения «Тяжкое отрочество Адриана Моула» («The Growing Pains of Adrian Mole»; 1986, № 4 и 1988, № 7). В «ИЛ» опубликована также ее повесть «Ковентри возрождается» («Rebuilding Coventry», 1991, № 3). Роман «Мы с королевой» вышел в Англии в 1992 году («The Queen and I». London, Methuen, 1992).

МИЛАН КУНДЕРА (MILAN KUNDERA; род. в 1929 г.) — чешский прозаик, поэт, эссеист. С 1975 г. живет в Париже. (В 1979 г. был лишен чехословацкого гражданства.) Автор романов «Жизнь в другом месте» («Život je jinde», 1970; отмечен во Франции премией Медичи, в Италии — премией Монделло), «Прощальный вальс» («Valčik na rozloučenou», 1972), «Книга смеха и забвения» («Kniha smichu a zapomění», 1978). «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Милана Кундеры, напечатав переводы его романов «Шутка» (1990, № 9—10) и «Необыкновенная легкость бытия» (1992, № 5-6).
Эссе М. Кундеры «Когда Панург перестанет быть смешным» («Le jour où Panurge ne fera plus rire») взято из его книги эссе «Преданные завещания» («Les testaments trahs». Paris, Gallimard, 1993).

Переводчики:

СТРИЖЕВСКАЯ НАТАЛИЯ ИОСИФОВНА — поэт и переводчик французской поэзии. В ее переводах публиковались произведения Вийона, Рембо, Лотреамона, Бодлера, Аполлинера, Нерваля, Малларме, Бретона, Арагона, Сен-Жон Перса («ИЛ», 1989, № 7) и др.

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.) — переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор сборников переводов «Поль Элюар. Стихи» (1971), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976, 2-е дополненное издание 1992 г.), переводил стихи Сен-Жон Перса, Р. Шара, Боске, Гильвика (1993, № 10) и др. В его переводах издавались романы «Воспоминания Адриана» М. Юрсенар, «Большой Мольн» Алена-Фурнье, «Ночной полет» и главы из книги «Цитадель» А. де Сент-Экзюпери, «Мадрапур» Р. Мерля («ИЛ», 1993, № 6), повести «Взгляд египтянки» («ИЛ», 1977, № 1), «Дитя-зеркало» Р. Андре («ИЛ» 1981, № 6) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1993).

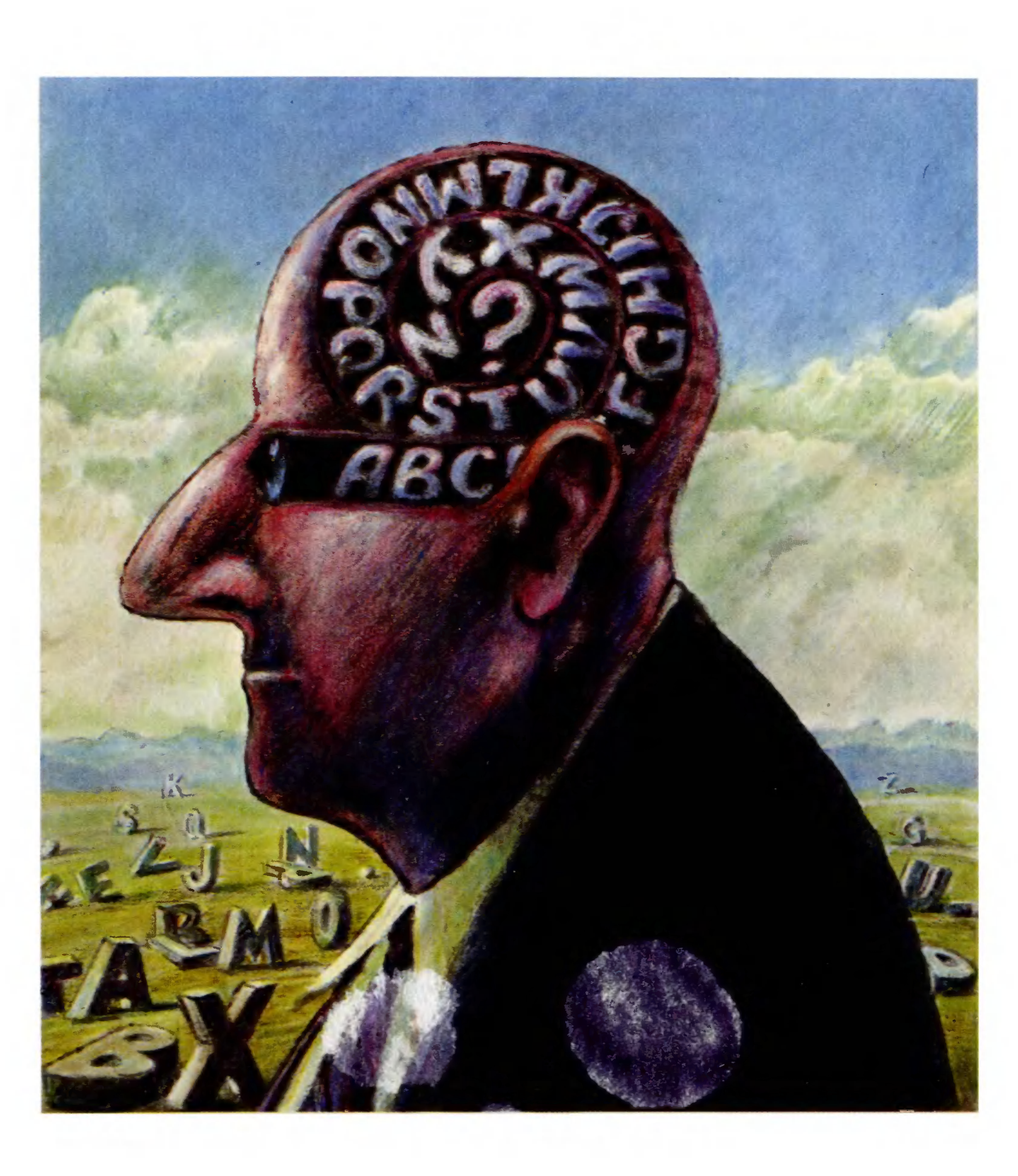
БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ (род. в 1939 г. в Бессарабии, с 1965 г. жил в Москве, с 1991 г.— в Израиле) — поэт и переводчик.

Переводил на русский язык произведения Михаила Эминеску, Альфреда Жарри, Р.-М. Рильке, Антонио Мачадо и др. «ИЛ» публиковала его переводы стихов Мирчи Динеску (1981, № 7), Марка Шагала (1988, № 5), Х.-Н. Бялика (1990, № 4), рассказы И. Б. Зингера (1989, № 4). Удостоен литературных премий им. Герша Сегала (1992), им. Сарры Горби (1993) и др.

СТАМ ИННА СОЛОМОНОВНА — лингвист, кандидат филологических наук, переводчик с английского. В «ИЛ» в ее переводах напечатаны повесть Сью Таунсенд «Ковентри возрождается» (1991, № 3), рассказы Чарльза Джонсона (1992, № 4), «Время убийц. Этюд о Рембо» Генри Миллера (1992, № 10) и др. Автор ряда работ по современному английскому языку.

СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1939 г.) — поэт, прозаик, переводчик с французского. В его переводах публиковались стихи А. Шенье, Э. Верхарна, Ф. Вийона, А. Боске, повесть Вольтера «Белый бык». В «ИЛ» напечатаны переводы: романа А. Камю «Счастливая смерть» (1992, № 2), романа-репортажа Р. Мерля «Солнце встает не для нас» (1988, № 10), главы из книги А. Камю «Человек бунтующий» (1990, № 5, 6), книга «Белое и черное» Эжена Ионеско (1993, № 10).

■





НЛО

ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1994, № 7, 1- -224